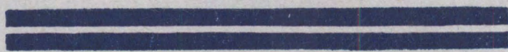


Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й М И Р

6



1973

1973

ИЗВЕСТИЯ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIX

№ 6

Июнь, 1973 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|---|------|
| ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ | |
| ЛЕОНИД ПОЧИВАЛОВ — В океане | 3 |
| ВЛАДИМИР ЦЫБИН — Я — обелиск, стихи | 26 |
| ГЕОРГИЙ БЕРЕЗКО — Дом учителя, роман. Продолжение | 31 |
| Н. ЗЛОТНИКОВ — Три стихотворения | 126 |
| МАРИЭТТА ШАГИНЯН — Человек и время, воспоминания. Часть третья. Дом Феррари. Окончание | 128 |
| ГЕНРИХ БЁЛЬ — Групповой портрет с дамой, роман. Окончание. Перевела с немецкого Л. Черная. Послесловие Т. Мотылевой | 154 |
| ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ — Скалы, роци, вэгорья, стихи. Перевел с сербскохорватского Борис Слуцкий | 211 |
| НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ | |
| ИВАН ЩЕДРОВ — Джой Бангла! | 214 |
| ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА | |
| ФЕЛИКС КУЗНЕЦОВ — Судьбы деревни в прозе и критике | 233 |
| ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ | 251 |
| КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ | |
| <i>Литература и искусство</i> | 254 |
| С. С. Смирнов. Правда сурового времени.— Вл. Гусев. Напоминание о романтике.— Вадим Ковский. Посредничество писателя.— Ст. Рассадия. Право на откровенность.— Лев Разгон. Как требует жанр. | |

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

| | Стр |
|--|-----|
| <i>Политика и наука</i> | 269 |
| Е. Амбарцумов. Опыт политической биографии.— Д. Биленкин. Когда параллельные сливаются...— И. Рознер. На востоке России. | |
| КОРОТКО О КНИГАХ — Сергей Сутоцкий.— Мария Прилежаева. На Двадцать четвертом съезде. ♦ В. Кантор.— В. Астафьев. Дядя Кузя — куриный начальник. ♦ Вадим Сикорский.— Сергей Марков. Стихотворения. ♦ Л. Таран.— Альберт Лиханов. Осенняя ярмарка. Рассказы и повести. ♦ М. Гаврилова.— Гульчехра Нуруллаева. Ташкентское время. Стихи. ♦ А. Майкапар.— М. Бражников. Древнерусская теория музыки. ♦ М. Кнебель.— Е. Полякова. Станиславский-актер. ♦ Е. Терновский.— А. Моруа. Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго | 281 |
| КНИЖНЫЕ НОВИНКИ | 287 |

О ЧЕ Р К И И А Ш И Х Д Н Е Й

ЛЕОНИД ПОЧИВАЛОВ

★

В ОКЕАНЕ

На повестке дня мартовского пленума Правления Союза писателей СССР стоял один вопрос: «Писатель и пятилетка». Посвященный одной из наиболее актуальных проблем современной литературы, пленум не случайно привлек внимание нашей общественности, и на его трибуну вместе с писателями поднимались представители партийных организаций и рабочих коллективов. Шел разговор высокого идеологического накала о настоящем и будущем литературы, о том вкладе, который должны внести литераторы в общее дело свершений планов пятилетки.

Огромные задачи возлагаются на художественную публицистику — наиболее оперативный, боевой жанр нашей советской литературы.

В ее традициях — крепкие творческие связи с заводами, колхозами, стройками, коллективами ученых, активное вторжение в их жизнь, яркое отображение нашей действительности, достижений научной мысли, показ героев труда.

XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза указывал: «...чем теснее связь художника со всей многогранной жизнью советского народа, тем вернее путь к творческим достижениям и удачам».

Советская публицистика проникает во все сферы нашей жизни, открывая читателю все богатства духовного мира человека в его неустанном творческом поиске.

Очерк писателя Леонида Почивалова рассказывает об одной научной экспедиции, местом действия которой служило судно «Витязь», а объектом исследования — океан.

Примечательным и отрадным явлением в этом плавании «Витязя», за которым следили научные круги многих стран, было тесное содружество советских и американских ученых. Благоприятными оказались результаты научного поиска, протекавшего в атмосфере взаимопонимания, добросердечия и мужества.

ИЗДАВНО мне прислали гавайскую газету «Гонолулу адвертайзер» двухгодичной давности. В ней была статья о нашем «Витязе». Два молодых американца Дональд Хассонг и Марк Одегард в интервью для газеты рассказывали о своем двухнедельном пребывании на борту советского судна.

Я читал статью, и всплывали в моей памяти те дни в бушующем океане, и покачивающийся на волне маленький «Махи», и первые его посланцы на «Витязе» — Дональд и Марк, славные работающие парни.

А почему бы нет?

На борту «Витязя» Валерия Здоровенина называют самым довольным человеком. Он из тех, кто радуется жизни бурно, широко и не скрывает этого. Его любимое выражение: «Жизнь хороша и удивит». Его фамилия полностью соответствует всему облику Валерия: молод, крепок телом, сил в избытке, глядишь на него — и кажется, что здоровье есть нечто зримо материальное, нечто твердое и нерушимое, как гранит, и именно из этого материала и высечен Здоровенин со всеми частями своего тела, мощными, как узлы тяжелого грузовика, — креп-

кой колонной шеи, плечами, способными своротить кирпичную стену, ногами, которым нетрудно устоять под тяжестью обрушившегося небосклона. Валерий по утрам бегаёт по шлюпочной палубе, расширяя свои легкие до объема кузнечных мехов, по вечерам швыряет в небо пудовые гири — закаляет мускулы. Его спортивный энтузиазм заразителен. Глядишь на него, и тебе тоже хочется подбрасывать над головой гири и носить такую же жизнеутверждающую фамилию.

Здоровенин энергичен, деятелен, уверен в себе, общителен, хорошо говорит по-английски. В нашей экспедиции он ученый секретарь. Мне кажется, для такой работы самый подходящий человек. Он доволен этой работой, доволен своим здоровьем, предстоящим увлекательным плаванием, приключениями, которые оно сулит. Он верит, что жизнь удивит! Сейчас радуется самому себе особенно. Ведь именно благодаря ему «Витязю» в океане предстоит необычная встреча.

Одна и та же мысль не часто рождается одновременно сразу в нескольких головах, у кого-то она появляется первой. Впервые эта хорошая идея шевельнулась под черной и жесткой, как щетина, цыганской шевелюрой Здоровенина.

...Это случилось в предыдущем рейсе «Витязя». Судно на короткое время зашло на Гавайские острова в порт Гонолулу — пополнить запасы пресной воды и провизии. Научная слава у нашего старенького «Витязя» в Тихом океане громкая. Не удивительно, что местные ученые тут же заинтересовались неожиданным визитом советского исследовательского судна. Пригласили нескольких участников нашей экспедиции в университет. Не так уж часто встречались советские геофизики с американскими, а наука их молодая, быстро набирающая разбег, смелая, выдвигающая все новые и новые неожиданные гипотезы. Есть о чем поговорить. В тот раз зашел разговор о проблемах исследования верхней мантии Земли. В Тихом океане эти исследования могут дать особенно интересные результаты. Но они дороги, требуют много сил, серьезной предварительной подготовки. Например, эксперимент по анизотропии провести одним судном — дело очень сложное. Конечно, лучше на двух судах...

И вот тут-то и родилась эта мысль. Возможно, об этом подумали и другие, но первым ее высказал Здоровенин.

— Если бы нам встретиться да двумя судами...

Его тут же с восторгом поддержали, удивляясь очевидной простоте и здравости этой идеи. Отличная идея! Почему бы, в самом деле, не провести двумя кораблями совместные исследования? Все говорит о том, что польза от этой встречи будет немалая. Для достижения одной цели используют огромный опыт и обширные знания советских и американских ученых, а также самую современную аппаратуру. Ведь в геофизических исследованиях океанского дна СССР и США сделали больше других стран, значит, как говорят, им и карты в руки.

В Москве в одном из кабинетов, вход в который оберегал строгий секретарь, Здоровенина выслушали, сделали несколько неопределенных кивков, без уверенности потянулись к перу. На листок бумаги, подвернувшийся в ворохе других бумаг, легло несколько закорючек, и Здоровенину показалось, что закорючки утонули в этом ворохе, как в сугробе. «Не выйдет!» — подумал он, выходя из кабинета.

Но в нескольких небрежно брошенных на лист бумаги строках оказалась стойкая жизненная сила, она не дала им утонуть в бумажных топях, и однажды в том же самом кабинете сухие строчки, зафиксировавшие горячую идею, рожденную в Гавайском университете, сойдя с листа уже официальной бумаги, вдруг обрели живой, окрашенный радостью голос:

— Встреча состоится!

Состоится или не состоится?

Из-за шторма «Витязь» опоздал к установленному японскими властями сроку нашего захода в порт Симидзу. Мы вошли в гавань порта, стали на якорь в благопристойном отдалении от берега, принялись посылать на берег запросы. Час спустя примчалась стремительная моторка, по ее окраске, по каскам четырех ее пассажиров мы поняли: полицейские. Лодка острым килем очертила вокруг «Витязя» широкий пенный круг на покойной воде гавани, в бинокль мы разглядели, что одна из касок козырьком нависла над фотоаппаратом: «Витязь» спокойно и методично фотографировали, словно снимали отпечатки пальцев. Полицейские, сделав свое дело, стремительно умчались, оставив нас в недоумении и тревоге.

Через час подскочил к «Витязю» большой белый катер. Люди в штатском размахивали руками. Руководитель нашей экспедиции профессор Удинцев узнал знакомых — ученые из Токайского университета. Маленький человек в очках в мегафон весело сообщил по-английски:

— Все в порядке! Идите к причалу. Через полтора часа встретимся!

Каждое лицо в катере сияло одинаковой вежливой улыбкой. Среди пассажиров катера мы разглядели двух европейцев. Поняли: те самые американцы, которые прилетели в Симидзу на встречу с нами.

Полный улыбок, катер умчался, вселив в нас надежду, а через четверть часа мы получили от портовых властей ультимативную радиограмму: «Немедленно покиньте территориальные воды Японии!» Вот тебе и улыбки!

Пришлось убираться восвояси. Из такой покойной гавани «Витязь» ушел в открытый штормовой океан и много часов в ожидании болтался на тяжелой штормовой волне. В Симидзу не торопясь решали: пускать или не пускать?

С каждым часом настроение портилось. Неужели откажут? Формально власти будут правы: не опаздывай, порядок есть порядок. Но в Симидзу нас ждут четверо японских ученых, которые должны стать участниками нашей экспедиции, и двое американцев, прибывших сюда специально, чтобы обеспечить встречу «Витязя» с американским научно-исследовательским судном в открытом океане.

Больше других горевал Здравенин. Разводил руками:

— Ведь это же в интересах науки! В том числе и японской науки! Как же не пустить? Мы же не торговое судно, а научное.

Кто-то из бывалых заметил:

— В том-то и дело, что научное. Для чиновников понятие «научное» значит выходящее из рамок привычных представлений, а стало быть, вызывающее подозрение. С торговым судном проще — ящики, контейнеры. Вскрыл, осмотрел — все ясно.

Нас все-таки пустили. Помогли коллеги из Токайского университета в Симидзу. Ученые ведь тоже имеют связи и в мире чиновников. Наука становится серьезной общественной силой, с ней приходится считаться.

Американцы

На берегу, как на просторной сцене, казалось, поставили декорации к премьере — свежие, только что на совесть выкрашенные. Черная асфальтовая полоса причала, желтая арматура порталных кранов, красные шлемы резервуаров портовых нефтехранилищ, за ними на склоне холма блекло-зеленая бахрома соснового леса, еще выше —

голубой простор неба, и в нем будто нарисованная неправдоподобно четкая, открыточно-живописная белая шапка Фудзиямы.

Причал был пустынным, и это еще более подчеркивало безжизненность декоративно-пестрого облика дальней окраины здешнего порта.

Через полчаса после прихода «Витязя» среди этих декораций появились действующие лица. Подкатили одна за другой несколько черных автомашин, и вышли из них одетые в черное люди. Они, как и тогда, в катере, одинаково размахивали руками и одинаково улыбались. Белизна их зубов и полоски крахмальных воротничков сорочек резко контрастировали с темным тоном костюмов.

В толпе японских ученых броско выделялись двое. Казалось, они очутились тут случайно, вроде бы досужие соглядатаи-туристы, забредшие в порт. Вот уж трудно было поверить, что эти двое — ученые. Как бы наперекор сдержанно-официальному облику японцев они были с головы до ног ярко окрашены — один блондин, другой жгуче рыжий, в пестрых рубашках, светлых спортивных куртках и брюках, замшевых ботинках — все составные части их костюмов были намеренно несовместимых тонов. Да еще роста каждый по два метра. Нелепо возвышались они над малорослыми японцами — долговязые, немного неуклюжие, в непринужденно-ленивых, типично американских позах людей, привыкших в любых обстоятельствах держаться так, как им нравится: мы, мол, американцы и плевать нам на все ваши порядки и обычаи, сами с усами. В первые минуты нарочитая экстравагантность их облика, ленивые позы могли вызвать раздражение. Но стоило к ним приглядеться повнимательнее — и парни вдруг начинали нравиться. У них были юношески живые лица и широко раскрытые, ищущие, готовые к удивлению глаза. Они цепко хватали взглядами палубы «Витязя», свисающие над бортами наши головы и, казалось, что-то ждали с интересом и настороженностью.

Цветских людей эти два молодых американца видели впервые в жизни. О чем они думали в эти минуты нашей встречи? Потом, спустя несколько месяцев в интервью для гавайской газеты они скажут: «Сначала мы немного опасались. Мы не знали, как к нам будут относиться эти люди, как они одеты, каковы их привычки. Мы просто не представляли, чего ожидать. Но уже через несколько часов почувствовали себя среди них совсем как дома. Более приятных людей трудно представить. Нам кажется, что русские — это чрезвычайно добросердечные люди, с ними легко. Вы знаете, они очень похожи на американцев. Да они и выглядят как американцы. Когда мы подходили к их судну, мы видели множество лиц над фальшбортом, они с любопытством разглядывали нас. И какое разочарование — на них даже не было меховых шапок».

Последняя фраза произнесена была с шуткой — это отметила газета, — но за шуткой стояла явная настороженность, даже некоторая опаска: а каковы они, эти таинственные русские? И было смешно читать такое. Оказывается, мы все еще «таинственны» для кого-то, не распознаны, все еще вызываем опаску и недоверие, нас еще легко могут представить в жарких тропиках в меховых шапках, с балалайками в руках и не удивятся, если на борту «Витязя» вместо «газика»-вездехода, который мы везем с собой для геологических экскурсий, обнаружат лихую тройку вороных. А потом недоумевают, что мы выглядим как американцы, одеваемся, как они, в тропиках ходим в шортах, а не в ватных штанах, что «русские знают об английской литературе даже больше, чем мы», это особенно поразило Дональда Хассонга и Марка Одегарда. Вот они, плоды многолетней предубежденности, необъективной информации и извращения фактов. Дан и Марк не

мелкие, затюканные житейскими заботами клерки, они — ученые, люди образованные. Как же мало о нас знают. Выходит, встреча с нами для них — открытие неизведанного мира.

Вот с толпой японцев они медленно поднимаются по трапу и оказываются на борту «Витязя». У них радостно расширяются глаза, когда у трапа молодой жизнерадостный здоровяк, явно их одноклассник, весело приветствует гостей на хорошем английском языке:

— Добро пожаловать, коллеги! Очень рады вас видеть.

— Вы говорите по-английски?!

— Вроде бы!

Через час я сталкиваюсь у трапа со Здоровениным.

— Уезжаю! — радостно сообщает он. — Американцы пригласили. У них арендованная машина. Решили прокатиться в одно интересное местечко.

— Какое же?

Он смеется:

— Потолковал я с ними, и пришли мы к заключению: почему бы не попытаться залезть на автомашине на самую Фудзияму? Говорят, что туда идет дорога. — И, убегая, добавляет на ходу: — Отличные ребята! В море с такими идти можно!

В океанскую глушь

Мы покинули берега Японии и уходим в глубину океана. Путь наш на юго-восток, в ту сторону, где лежит Америка. Наша экспедиция пополнилась — теперь на борту четверо молодых японских ученых, скромных, предупредительных, изящно вежливых и молчаливых. И еще Дан и Марк.

Гости, понятно, в центре внимания обитателей «Витязя». С одинаковым любопытством приглядываемся и к японцам и к американцам. До чего же они разные во всем: в поведении, манерах, разговорах, интересах. Мы перебрасываем психологические мостики и к тем и к другим. Мостики к американцам наводятся пока быстрее и увереннее. Может быть, потому, что в отличие от японцев, которые хотя и являются нашими близкими соседями, но до сих пор по-настоящему нам неизвестны, об американцах мы знаем куда больше. Даже те из витязян, кто впервые в жизни с ними встречается, подготовлены в какой-то степени к этой встрече. Уж по крайней мере, никто не считает, что эти молодые парни предложат научить нас курению марихуаны или вздумают развлекаться ковбойской стрельбой из кольтов по топовым огням на мачте.

Конечно, мы в какой-то степени знаем американцев. Знаем их с детства. Один из первых граждан Нового Света, кто приходит в нашу жизнь еще в ранние годы, — славный мальчишка, забияка и выдумщик Том Сойер. А потом приходят и навсегда остаются в нашей жизни другие колоритные соотечественники Тома Сойера, представленные нам Джеком Лондоном и Драйзером, Купером и Хемингуэем. И наш духовный мир был бы куда беднее без них. Не только об английской литературе, но и об американской знаем мы довольно много.

Литература, кино, музыка, печать немало дали нам в представлениях об образе жизни американцев, их духовном мире. Эти знания научили критическому осмысливанию многих явлений и сторон жизни американского общества, полной острых противоречий, противоборства, резких социальных, классовых и расовых конфликтов, несправедливости, насилия и одновременно нравственного величия тех, кто

выступает против этого насилия. Десятилетия научили нас видеть в Америке, в тех, кто вершит ее политику, олицетворение воинствующего противоборства тем идеям, на которых основана жизнь нашего общества, постоянное стремление нанести нам максимальный политический, нравственный и материальный ущерб. Конфронтация... Она длилась десятилетиями, и потери от этого несли не только мы, но и сама Америка. Да, мы идейно непримиримы, полярны в своих воззрениях на общественное устройство мира, но неужели только сила может нас рассудить?

Почему не искать пути к элементарному сотрудничеству? Две величайшие державы в мире... Сколько они могут принести пользы всему человечеству!

Сотрудничество... Чтобы сотрудничать, надо знать друг друга. Знаем ли мы американцев? Вроде бы да, а в сущности, мало. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». А увидеть — значит, понять, понять, попробовать найти общий язык. Наука, торговля, культура, медицина, защита среды... Да мало ли в чем мы можем с американцами говорить на языке, понятном друг другу.

Так вот, мы должны увидеть американцев вблизи и найти с ними общий язык.

Пока на борту «Витязя» их двое — Дан и Марк. Они освоились, и лица их уже не вооружены дежурной вежливой улыбкой, с которой люди обычно входят в чужую, незнакомую, поэтому настораживающую среду и к среде этой надо приспособиться, создать о себе благоприятное впечатление. Американцы довольно быстро «нашли себя» — деловиты, озабоченны, быстры: у них есть дело. Они притащили в радиорубку небольшой металлический ящик, недолго поколдовали над ним, и вот уже профессор Удинцев, сжимая в руке маленький микрофон, негромко, не напрягая голоса, словно по судовому телефону, беседует с начальником американской экспедиции профессором Малаховым, который находится на борту «Махи», за многие сотни миль от нас. Беседует по-русски, ибо Малахов — американец русского происхождения. Потом, повертев переключатели на своем ящичке, Дан и Марк также без труда связываются с Гонолулу, со своим институтом, просят тамошнюю телефонистку соединить их со своими квартирами, коротко выясняют у жен домашние дела.

Удинцев, мальчишески-заводной, полный энергии, каждую минуту готовый к быстрым решениям и действиям, покрутился по радиорубке и стремглав, словно боялся опоздать, ринулся по трапу вниз, к своей каюте. На ходу распорядился:

— Всех начальников отрядов, американцев, японцев — ко мне. Будем обсуждать план работы с «Махи». — Повернул в мою сторону круглое, белое, озаренное воодушевлением лицо: — Представляет, с «Махи» сообщили: ждут нас в великолепном месте!

— А чем оно великолепно?

— Замечательно спокойный подводный рельеф. Как раз для нашей работы.

— А как на поверхности? Тоже спокойно?

— На поверхности? — Он недоуменно взглянул на меня, собрав в раздумье складки на лбу. — Не помню точно, но кажется, там шторм в шесть баллов.

Отголоски этого еще далекого шторма мы ощущаем сейчас. В океане мертвая зыбь, огромные волны вздымаются по бортам «Витязя», горбят линию горизонта. Волны швыряют судно то с борта на борт, то с носа на корму. А Тихий океан всего-навсего просто «дышит». Он благодушен. Не дай бог увидеть его во гневе!

Шторм

...Мы уже далеко от островов Японии. Находимся в пустынной зоне океана. За последние три дня встретилось только одно судно: однажды глухой, беззвездной ночью где-то у самого горизонта тоскливо помаячил слабый огонек и вскоре погас. Чайки давно покинули нас, только альбатрос, огромный, черный, с широко распахнутыми, чуть загнутыми книзу крыльями, все еще с отважным постоянством сопровождает «Витязя».

И вот однажды мы увидели на горизонте темную точку. Это был «Махи». Все высыпали на палубы. Суда медленно сближались. Страшно было наблюдать, как волны швыряют маленький, в ржавых потеках, побитый морем «Махи» — того гляди перевернут. Нам нужно пересаживать людей. Удастся ли? Слишком силен шторм. Прощел «Махи» в опасной близости от «Витязя». На палубе его яркими гроздьями висели, судорожно вцепившись в леера, пестрые и живописные американцы. Размахивали руками, целились в нас кинокамерами, ветер доносил их нестройные крики. Вот-вот ринутся на абордаж!

Долго болтался на волнах «американец» поодаль от «Витязя», таковой со стороны беспомощный, будто без руля и без ветрил, не решаясь из-за ветра снова подобраться ближе. А по радио шли переговоры. Порешили: рисковать не стоит, лучше идти к недалекому, затерявшемуся в океане японскому островку Маркус, чтобы под его защитой совершить пересадку.

Расстались затемно, снова взяв курс на восток. В неприятном забортном мраке где-то далеко-далеко за кормой робко поблескивал огонек поспевавшего за нами «Махи». Было приятно сознавать, что в штормовом океане мы уже не одиноки — кто-то рядом.

* * *

...Проснулся я ранним утром от чьего-то голоса за дверью какюты: — Маркус!

Выскочил на палубу. Очень хотелось поскорее взглянуть на «наш» первый в путешествии остров в открытом океане. Взглянул и разочаровался. Вроде бы и нет острова. Свисает из белесого неба длинная и тоненькая стрела высоченной радиомачты, у основания ее чуть потолще самой мачты узенькая светлая полоска земли. Вот и весь остров. Не будь мачты, его бы и не разглядели. Когда подошли ближе, в бинокли рассмотрели и все остальное на этом невзрачном клочке суши. А остального немного: белая полоска песчаного пляжа у моря, за ним зеленый барьер кустарника, белые стены нескольких домиков казенного вида, цистерны нефтехранилища и в сторонке от них на пустыре такой неожиданный и такой несуразно огромный на этом клочке суши серебристый и пузатый, как выброшенная штормом на сушу великанская рыбина, тяжелый четырехмоторный самолет. Через бинокль читая на его борту надпись: «Военно-морские силы США».

Вечером того же дня американцы, пересевшие к нам на борт с «Махи», рассказывали, что самолет совершил вынужденную посадку на Маркусе вчера: еле дотянул до острова, отказали моторы, не сел, а плюхнулся, поломав шасси и винты, чуть не сделав «козла».

— А летчики-то остались живы? — спросила с тревогой одна из женщин нашей экспедиции.

— Живы!

— Ну, слава богу! — И облегченно вздохнула.

Вот бы высадиться нам на островок, размяться, переждать непогоду! После шторма и изнуряющей до одури качки походить бы по

твердой земле, на пляжном песочке поваляться. Да нельзя! Даже поближе подойти не можем. На Маркусе американская военно-морская база, японцев здесь нет, хотя на карте островок и именуется японским. Давно этот такой невидный, почти голый, ничем природой не утешенный коралловый островок — «под ружьем». Даже без бинокля нетрудно разглядеть на берегу серые бетонные глыбы исковерканных старых дотов. Они похожи на черепа великанов, которые черными глазницами амбразур смотрят на море. Когда-то маленький японский гарнизон, обреченный на гибель, оказал здесь отчаянное сопротивление американскому морскому десанту. Сколько крови впитал в себя этот пляжный песок! Сейчас под нами в вечном мраке глубин лежат на дне павшие в битвах японские и американские корабли с моряками, которых так и не дождались на берегу.

Здесь, под защитой Маркуса, море потише, качает слабее. От стоящего вблизи берега «Махи» отделяется катер, стремительно идет к нам. И вот уже через несколько минут карабкаются по штурмтрапу, по-моряцки уверенно цепляясь босыми ногами за его планки, наши гости.

Небольшого роста, юношески подтянутый, даже изящный, светловолосый человек с таким «нашенским» русским лицом — профессор Олег Малахов, начальник американской экспедиции. Он почти чисто говорит по-русски, лишь проскальзывает небольшой акцент да временами слов не хватает («Как это называется большая посуда из дерева, где... огурцы солят, рыбу тоже солят?» — «Бочка». — «Вот, вот, бочка!»). Родился Малахов в Москве, во время войны оказался вместе с матерью на оккупированной гитлеровцами территории, был вывезен в Германию, оттуда занесла судьба в Новую Зеландию, потом на Гавайи.

Нет времени водить по судну гостей, показывать оборудование, лаборатории. Собрались в каюте у Удинцева, разложили на столе карты, схемы, чертежи. Я поразился: совсем не знают друг друга, а как легко и просто складывается разговор, как быстро находят общие точки зрения. «Махи» будет здесь, «Витязь» уйдет в эту зону, в этом районе расставим радиобуи, с этого места начнем взрывать... Каждому из сидящих за столом все ясно, даже для того, кто с английским не очень в ладах. Кивок головы: «Файн!», «О'кэй!», «Хорошо!».

Мне же доступно пока одно: в огромном районе размером в двести километров, в зоне, еще не исследованной геофизиками, необычайной по рельефу дна, будут проведены крупные исследования по изучению земной коры, лежащей под дном океана, и прежде всего таинственной верхней мантии Земли. Исследования необычные — немного их было проведено в океане, а сотрудничество в этом деле советского и американского кораблей будет первым в истории. Мы нуждаемся друг в друге: на борту «Витязя» сложные донные сейсмические станции, «Махи» же оборудован спутниковой навигационной аппаратурой. А ко всему прочему на борту двух судов находятся одни из лучших специалистов Советского Союза и Америки в этой области науки.

...Разговор деловой, непринужденный, точный. Но по лицам чувствую, что волнуются, что уже заряжены нетерпением, азартом предстоящего опыта, который много может дать. И это сейчас главное, что объединяет их, спланивает, вызывает взаимное доверие, чувство ответственности за успех дела, и уже не думаешь, что за столом американцы, японцы, русские, — какое это имеет значение! За столом над картой ученые, которым предстоит общая работа.

Договорились. Все ясно. Теперь к делу. Несколько американцев будут на «Витязе», четверых наших молодых специалистов во главе со Здорвениным отправляем на «Махи». Ребята совершают акробати-

ческие трюки, чтобы со штормтрапа угодить в вихляющуюся внизу у борта «Витязя» шлюпку с американского судна.

Мы снимаемся с якоря и уходим в океан, оставляя за кормой остров Маркус со старыми, разбитыми японскими дотами и потерпевшим аварию самолетом военно-морских сил США.

* * *

...Опять открытый океан. Опять ветер, качка, и опять бьется в каютах посуда. Временами ложимся в дрейф, ставим донные сейсмические станции. Контейнер с помещенной в нем станцией уходит на дно на глубину в шесть тысяч метров. А на поверхности остается пенопластовый поплавок с шестом — буй. Буи, как вехи, отмечают маршрут нашего «Витязя».

...В кают-компани за мой обеденный стол посадили Рокне Джонсона. Из всех американцев он, пожалуй, больше других вызывает у меня любопытство. Высоченного роста, лысоват, неулыбчив, большие голубые глаза неторопливо с холодной внимательностью обозревают тесный мирок нашего «Витязя», кажется, каждую мелочь фиксируют, оценивают, откладывают в памяти, и порой почему-то неуютно бывает под взглядом этих глаз. За столом обычно молчит, хлебает наш každодневный флотский борщ с равнодушием, словно не обедает, а заправляется, и никаких в нем эмоций, как в автомобиле, в который наливают бензин: то ли нравится борщ, то ли, наоборот, испытывает к нему отвращение.

Каждый вечер на прогулочной палубе крутят кинофильмы. Джонсон в отличие от остальных американцев не пропускает ни одного сеанса. Но никогда не принимает участия в обсуждении увиденного. Вообще, лицо его никак не отражает отношения к обстановке, в которой очутился. А ведь очутился Джонсон на «Витязе» вполне добровольно. Прямого касательства к предстоящей научной работе по изучению мантии не имеет — он специалист в другой области. Поэтому у него нет особых дел в наших лабораториях, встречаешь там его сутулую фигуру — яркая цветастая рубашка, длинные старомодные шорты, резиновые шлепанцы на босу ногу — чаще всего в одиночестве. Ни с нашими не сошелся, как другие американцы, ни со своими особенно не общается. Вправду странно, что вызвался пожить на «Витязе», сами американцы удивляются. Ведь Джонсон — бэрчист, член полуфашистской американской организации, на его симпатии рассчитывать не приходится.

Удинцев попросил Джонсона выступить на нашем еженедельном научном семинаре в кают-компани — согласился. Он специалист по цунами. Рассказывал о происхождении цунами, их разрушительной силе, о возможности заранее оповещать об их приходе. Он, Джонсон, что-то в этой области пытается сделать: задался целью добиться в фоне звуковых волн, уловленных в момент землетрясения приборами, выделения тех волн, которые свидетельствуют о рождении цунами.

— Однако, чтобы разобраться в показаниях приборов, нужна куча времени. Когда обнаружишь на ленте «визитные карточки» цунами, то достаточно просто взглянуть в окно на океан: гости уже явились, — сказал Джонсон.

Я был удивлен: Джонсон пошутил, Джонсон даже улыбнулся.

В нашей каюте мы допоздна обсуждаем его доклад. О цунами говорить интересно — будоражит фантазию. Цунами, землетрясения, тайфуны... Сколько неотвратимых явлений природы, перед которыми мы еще так слабы и бессильны со всей своей цивилизацией — атомоходами и синхрофазотронами, космическими ракетами и пересадкой серд-

ца. Вот налетит сейчас тайфун с ветром под двенадцать баллов... Что мы перед ним даже со спутниковой навигацией.

Поддавшись грусти — а она так легко приходит на судне к вечеру, после нелегкого дня, особенно тогда, когда океан неприятен и зол, — кто-то берет гитару, трогает струны:

Мчится бешеный шар
И летит в бесконечность.
И смешные букашки
Облепили его:
Вьются, вьются, жужжат
Из расчета на вечность.
.. Исчезают, как дым,
Не узнав ничего.

На стене нашей каюты висит необычная карта. На ней изображен Тихий океан таким, каким бы выглядел без воды. Невидимые нам, плывущим сейчас по нему, гигантские горные цепи, чудовищные разломы — трещины в земной коре, великий Эверест до самой макушки мог бы поместиться в такой трещине, даже вершиной ему не дотянуться до поверхности воды, — ребристые бескрайние подводные плато, одиночные горные пики, торчащие на них... И ведь не фантазия художника! Довольно точное отражение рельефа океанского ложа. Каждый одинокий подводный пик нанесен на карту почти с такой же достоверностью, как встреченные в океане острова. Можно представить, какой гигантский труд вложен в этот висящий на стене лист бумаги! Сотни тысяч миль пути, дни и ночи у эхолотов — каждая горюшка, изображенная на карте, «ощупана» во мраке бездны чуткими приборами. Карте отдали силы ученые многих стран, но больше других — американские и советские, эти страны ведут в Тихом океане основные исследования. Такой картой ученые могут гордиться, хотя она и стоила множеству людей невзгод, лишений, здоровья, даже жизни.

.. Исчезают, как дым,
Не узнав ничего.

Конечно, в этой душещипательной, под вечернее настроение песенке Вертинского слова звучат довольно эффектно, но...

— Не пора ли нам ложиться? Ведь завтра начинаем взрывы.

Завтра кое-что новое мы все-таки узнаем.

Американец Клиф Марч, которого подсадили в нашу каюту, растелил постель, потом долго приглядывался к карте, стоя перед ней в задумчивости. Укладываясь на койку, со вздохом заметил:

— И все-таки то, что нам известно об океане, — ничтожно.

И грянул бой...

Кормовая геофизическая лаборатория сейчас центр всей научной деятельности на нашем судне. Теперь здесь не до «морской травли». Кажется, что ты попал на артиллерийский командный пункт. Главным здесь Лазарь Коган, начальник всех взрывников на «Витязе». Его подвижные черные, необычайно густые и длинные — от виска до виска — брови бьются, как крылья грозной птицы. Лазарь решителен, сосредоточен, голос его громок и жесток, глаза с металлическим блеском — кажется, он полки бросает в кровавую схватку с врагом. Он расположился у полевого телефона и отдает короткие распоряжения на корму, где работают взрывники. Рядом с ним сидят Джонсон — и

он приобщился к делу! — и еще один американский ученый, склонившийся над портативной рацией: поддерживает прямую связь с «Махи».

— На корме! Приготовиться! Внимание! Огонь! — И по-английски: — Файер!

И вторя ему, почти одновременно американец кричит в свой микрофон:

— Фар!

Сразу же включается осциллограф, жужжит, как шмель, готовясь записать взрыв. И через какие-то мгновения тяжкий удар в корпус корабля, будто напоролся «Витязь» на подводную скалу.

Я спускаюсь по трапу на корму. Подступы к кормовой площадке огорожены канатами, на канатах подвешены щиты с кроваво-красными надписями: «Стоять! Опасно!» За канатами — лучший наш взрывник молчаливый крепыш Николай Глебов и двое его помощников. Их движения четки, скупы, выверенно-горопливы, как у артиллеристов, ведущих обстрел. Им подносят светлую чурку обернутого в бумагу тротила, такую безобидную на вид! В чурку они вставляют детонатор; блеск вспыхнувшей спички, поджигающей бикфордов шнур, движение руки, всплеск воды за бортом — и через секунды взрыв. Взрыва не слышно, он в глубине океана, только пенистый круг вдруг обозначится на поверхности далеко за кормой.

— Сколько же рыбы там сейчас всплывает! — говорю я стоящему рядом Клифу Марчу.

Он усмехается в бороду:

— Не только рыба. Однажды вот так же тихонечко взрывали — и вдруг всплывает огромная... подводная лодка. Вот мы перетрусили! Хорошо, что была наша.

— Может и сейчас такое случится?

— Вполне. Их немало здесь рыскает.

— Отдать бы их ученым!

Клиф кивает:

— О! Мы, пожалуй, придумали бы, что с ними делать!

Клиф высокого роста, как и почти все оказавшиеся на «Витязе» американцы. Внешность удивительно соответствует его характеру. У него устремленный вперед профиль — острый длинный нос, торчащая вперед клинышком негустая темно-русовая борода, из-за уха целится в вас острием титаново-отточенный карандаш (карандаши выглядывают отовсюду: из-под бороды, из карманов рубашки, джинсов). Клиф ходит быстро, вытянув голову вперед, и весь его облик свидетельствует о постоянной целеустремленности. Кажется, ко всему на свете у него строгий научный подход. Сегодня вытаскивал блокнот и потребовал, чтобы я ему разъяснил «принцип образования» русских имен и фамилий. Что значит «ович» в окончаниях отчества? Почему нужно отчество? Как объясняются русские имена и фамилии? Например, что значит Леонид? И каждый мой ответ старательно записывал в блокнот. Пояснил: знакомство с новым народом надо начинать прежде всего с азов — со значения его имен.

— Вы понимаете сущность научного эксперимента, который мы сейчас проводим? Не совсем? Так я попробую объяснить.

Хватает лист бумаги, извлекает откуда-то из-под бороды три цветных карандаша и принимается вырисовывать схему:

— Вот «Витязь», вот «Махи», а вот донные сейсмические станции. На «Витязе» подрывают заряды. Звуковая волна от взрыва идет ко дну, проникает через осадочные породы, через земную кору, достигает мантии Земли, здесь, попадая в иную, более плотную среду, меняет свое направление и наконец, преломившись в мантии, идет обратно, тут-то ее и ловят донные сейсмические станции, а также

аппаратура на «Махи». По изменению скорости прохождения волн через разные пласты океанского дна мы и определяем их природу. Понятно? — И помолчав, серьезно, даже с некоторым пафосом, добавляет: — Это очень важный и интересный эксперимент. Не только по научным результатам. Мы показываем, что можем успешно работать вместе для пользы всех людей, для будущего. И лично я этому чрезвычайно рад.

Запратал карандаши под бороду и умчался в лабораторию, бросив мне на ходу поощрительное «о'кэй!».

* * *

— Клиф, вы бывали на острове Яп?

Мой сосед, полулежа на койке, что-то старательно записывает в блокнот своим четким красивым почерком — может, идеи научные или просто впечатления о своей жизни на «Витязе».

— Яп? Я слышал, что вы намерены туда зайти. — Он бросает блокнот в сторону, вскакивает, принимается торопливо расхаживать по каюте.

— Это прекрасная мысль — посетить остров Яп! Удивительный остров. Клад для геологов. Вам повезло.

О Япе наши геологи частенько вспоминают. Это первый запланированный в маршруте «Витязя» остров в Океании. Геологи считают, что для них Яп представляет наибольший интерес. Очень древние горы на острове. Исследования их дадут много сведений для раздумий ученых о происхождении обширного района Тихого океана.

Я тоже прочитал о Япе все что мог. Интересен не только геологией. Прошлое у него любопытное. Хочется взглянуть на фе — гигантские каменные деньги размером с мельничный жернов, которые были в свое время распространены на острове. В середине у них дырка — чтобы удобно было носить такую «монету» на шесте. Говорят, на острове этих фе осталось еще немало. Яп — единственное в мире место, где существовали такие огромные, тяжелые и неудобные деньги.

...В 1872 году у острова Яп, который входит в архипелаг Каролинских островов, разбилось парусное английское судно «Бельведер». Спасся только первый помощник капитана ирландец О'Кифи. Он нашел приют у местных жителей, которые встретили его довольно радушно. Моряку понравилось на острове — богатая растительность, бананы, кокосовые пальмы, дынные и хлебные деревья, лагуны, полные рыбы. Да еще обитали на Япе приветливые, веселые, беззаботные люди. О'Кифи быстро обжился на острове и вскоре сообразил, что каменные деньги — настоящий клад. Предприимчивый ирландец понял: можно сделать неплохой бизнес. На случайно зашедшем на Яп судне О'Кифи добрался до Гонконга, нанял парусную китайскую джонку с матросами и вернулся на Яп. Жители Япа добывали знаменитые фе на соседнем острове Палау, там в горах вырубали свои высоко ценимые каменные деньги и за триста миль по океану на утлых лодчонках доставляли на родной остров. О'Кифи предложил перевозить фе на более надежной и вместительной джонке. За эту услугу япцы стали добывать для ирландца копру, которую О'Кифи продавал в Гонконге. Дэвид О'Кифи завоевал такой авторитет, что вскоре на совете вождей его провозгласили королем Япа. Дела новоиспеченного «короля» пошли отлично — он быстро богател. Построил богатую виллу, даже пианино выписал, завел счет в гонконгском банке. Его семилетнее безмятежное царствование было нарушено Испанией, которая вдруг вспомнила, что остров открыт ее подданными еще в XVI веке. Япом Испания завладела, потом его хозяином стала

Германия, потом Япония. А сейчас он находится под контролем Соединенных Штатов Америки.

Прочитал я, что фе существуют на Япе до сих пор. Там их тысячи, и они по-прежнему высоко ценятся. За фе можно получить любой товар — кур, свиней, фрукты. Держат фе возле домов, используют в качестве ограды или украшения двора.

Конечно, Клиф прав. Побывать на таком острове — большая удача. Кажется, после Миклухо-Маклая, который здесь высаживался в 1876 году, на Япе наши соотечественники еще не бывали. Все это делает заход на Яп особенно привлекательным. Вот только до сих пор мы еще не получили от американских властей разрешения на заход. Запросы посланы, и не один, а ответа пока нет. Может быть, все-таки разрешат? Ведь экспедиция наша научная, значит, в успехе ее заинтересована и мировая наука.

* * *

Вечером на прогулочной палубе крутили документальный фильм «Слово об одной русской матери». Автор его находился среди нас. Это Павел Русанов, оператор Центральной студии документальных фильмов, наш экспедиционный кинолетописец. Фильм большой убедительности — о войне, о женщине, потерявшей семерых сыновей и живущей сейчас памятью о своих павших детях.

Рядом со мной на скамейке пристроился Джонсон. Народу было много, мы сидели тесно, и в самые напряженные моменты фильма я ощущал, как американец напрягается всем телом, словно тяжкая беда русской матери вдруг легла и на его плечи. Когда фильм окончился, Джонсон мне показался еще более замкнутым и даже суровым. Вдруг он спросил:

— Сколько людей погибло в вашей стране во время войны?

Я ответил. Ждал, что он скажет еще что-то, но Джонсон молчал.

Я пошел на шлюпочную палубу, лег в старый, разломанный шезлонг. Океан был необычно спокойным, дышал легко и беззвучно, как спящий ребенок. Наверное, именно в такую погоду назвал его Магеллан Тихим. «Витязь» еле ощутимо переваливался на незаметной волне с боку на бок, и небо надо мной покачивалось справа налево вместе с застывшим в нем дождем звезд. Покачивались незнакомые созвездия — вправо, влево, осторожно касались моих глаз хрупким золотистым пучком лучей. Я смотрел на звезды, и мне казалось, что еще мгновение, еще одно-единственное маленькое усилие воображения — и я что-то разгадаю, что-то пойму в этом беззвучном шепоте звезд.

Вдруг в дальнем конце палубы сверкнул желтый «земной» огонек сигареты и блеснула в свете палубных огней никелированная игла антенны транзистора, распорол тишину колючий треск радиоволн, и жестяной мужской радиоголос обронил фразу: «...шестнадцать убитых и тридцать четыре раненых...»

* * *

«Махи» мы давно не видим. Он ходит в восьмидесяти километрах от нас по огромному кругу, в центре которого «Витязь», и методически швыряет в воду заряды взрывчатки. Теперь «слушаем» его уже мы.

Кормовая сейсмическая лаборатория — по-прежнему центр научной жизни на судне. Из-за ее двери часто слышится грозное: «Огонь! Файер!» Кто-то пошутил: «Советско-американский объединенный штаб по отражению нападения пришельцев с другой планеты». Командует здесь сейчас доктор наук Ирина Петровна Косминская, маленькая энергичная женщина. В ее бригаде наши геофизики В. Нови-

ков, В. Шаблицкий, Б. Хлопов и американцы Джонсон, Марк и Клиф. У всех темные, осунувшиеся лица, тяжелые, налитые усталостью глаза. Работают днем и ночью. Притащили наш электрический самовар и кофе пьют непрерывно.

Работа идет четко, слаженно, и наши и американцы трудятся во всю силу: одна бригада и каждый в ней понимает другого с полуслова.

Не всегда все ладится. Первое время были отказы во взрывах — не срабатывали детонаторы. При попытке опустить за борт донную сейсмическую станцию вдруг оборвался трос от удара налетевшей волны, и станция безвозвратно ушла на дно. Другую станцию, окончив эксперимент, поднимали три часа, поднимали медленно, осторожно, не дай бог, чтобы на этот раз трос оборвался. Вес огромный — сама станция да стальной трос длиной больше чем в шесть километров. Раньше использовали тросы нейлоновые, легкие. Потом от них отказались — слишком часто обрывались, хотя по крепости надежнее стальных. Полагают, акулы перекусывали, привлекал акул необычный белый цвет троса.

И вот наконец подняли станцию благополучно. От нее многое зависит в успехе нашего недельного эксперимента. На баке полно зрителей. Отвинтили крышку цилиндра контейнера, и сразу же раздался вздох облегчения: вода не попала в контейнер — ведь давление-то на шестикилометровой глубине гигантское. Потом осторожно извлекли из цилиндра его содержимое — раму, на которой смонтирована сейсмическая станция. И тут ужаснулись. Магнитофонная пленка намоталась на одну из катушек не полностью, хвост ее пучком торчал в раме между приборами. Неужели все пошло насмарку? Сколько времени затратили на подготовку этой станции, на установку ее на бую в океане, на спуск и подъем, сколько бессонных ночей провели в лаборатории! И вдруг... все из-за того, что заело в пустяковой детали — катушке. Тяжелую раму с приборами подняли на руки и скорбно, бережно, как большого ребенка, понесли в лабораторию. Прибежали туда наши, американцы, японцы. У всех траурные лица. Правда, часть пленки все же намотана на катушках. Есть еще маленькая надежда... Теперь, главное, побыстрее расшифровать магнитные записи на ленте...

...Сидели в каюте у Удинцева, пили наш неизменный кофе. Малахов рассказывал о «Махи»: бывший минный тральщик времен второй мировой войны, Гавайский университет приобрел его за тридцать тысяч долларов, и вот на нем ведутся морские геофизические исследования. Судно маленькое, не очень удобное для такой работы. Даже при небольшом шторме бросает его, как щепку. Изнурила качка. А ведь они уже семь месяцев в плавании. Не просто достается хлеб насущный ученым. После окончания работ с «Витязем» возьмут курс на Гонолулу, пора домой, жены заждались. Так важно, что под завершение своего многомесячного плавания состоялась встреча с «Витязем». Прекрасный материал можно привезти в Гонолулу, ничего подобного раньше и не было! Лишь бы все было удачно...

Но вера в удачу поколебалась. Лица у всех по-прежнему траурные.

...Толчком распахнулась дверь, и в каюту ворвалась сияющая Косминская.

— Товарищи, взгляните, какая красота!

Кинула на стол рулоны лент осциллографа с царственной улыбкой щедрой феи — будто целый ворох счастья нежданно принесла приунывшим людям. Быстрые, нетерпеливые руки хватили ленты, с трепетом разворачивали, разглядывали, как выигравшие лотерейные билеты. «Прекрасно! Вандерфул! Поздравляю! Конгратулейшн!»

Я уже привык к этой смеси русского и английского. За неделю выработался в сейсмической лаборатории этот своеобразный «язык», состоящий из слов русских, английских и международных общепринятых научных терминов. «Тебе какого налить чаю: стронг или послабже?» И это вовсе не щеголяние иностранными словечками — просто времени не хватало порой даже на то, чтобы произнести фразу полностью... Мысль выражали одним словом. Тем, которое подвернулось. И всем понятно.

Появились и шутки, рожденные совместной работой. Сперва в микрофон кричали, выходя по радио на связь: «...«Махи»! «Махи»! Я — «Витязь»! Прием!» Потом позывные подправили, окрасив юморком: «Маня, Маня! Я — Витя! Прием». наших ученых, которых командировали на «Махи» для совместной работы с американцами, шутя прозвали «махистами», а сам «Махи» — Малаховкой, поскольку фамилия начальника американской экспедиции — Малахов. А Малаховка — это дачная станция в Подмоскowie.

Эксперимент удался! Полный восторга Здоровенин носился по палубам, сообщал встречным:

— Все в порядке!

От избытка чувств хватанул на ходу свои любимые гири и весело швырнул вверх. Строгий Клиф, придя в каюту, вытащил из-за уха карандаш, что-то записал в блокнот, потом, глубокомысленно помолчав, заявил:

— Конечно, мы в эту встречу сделали немало, но океана мы все еще не знаем. Все — впереди.

Прощание

Сегодня последний день с «Махи». Завершив работу в сейсмической лаборатории, бригада Косминской вчера устроила ужин для американцев и японцев, которые работали с ней. Закусывали кальмарами и прекрасной рыбой корифеной, пойманной накануне собственноручно. Было много тостов — за «Витязя», за «Махи», за ее Величество Науку, за Океан, который всегда разделял людей, а может и должен соединять. Кто-то поднял тост за наш общий дом — планету Земля, такую прекрасную, такую теплую, добрую, единственную во всем мироздании, за то, чтобы нашли люди в себе мудрость спасти ее от беды, сделать счастливой.

И все чувствовали, что в этих тостах не просто обычная и обязательная застольная вежливость гостей и хозяев. В них как бы подводились главные итоги нашей встречи: во имя чего она была? Ведь не только для того, чтобы совместными усилиями исследовать участок дна Тихого океана. Конечно же, встреча была очень важна для науки. «Оказывается, мы работали в очень интересном месте, — рассказывают Одегард и Хассонг в газете «Гонолулу адвертайзер». — Все были поражены, до чего вышло хорошо. Никто не мог даже предполагать, что мы получим такие отличные результаты. У нас было единое искреннее чувство, что если бы мы все могли чаще заниматься общими делами, все было бы гораздо лучше».

Накануне прощального вечера Клиф Марч, глядя через иллюминатор в штормовой океан, сказал:

— Люди вышли из океана и когда-нибудь должны уйти в океан снова. Потому что на земле им уже скоро не хватит места. — Он обернулся ко мне: — Готовы ли мы уйти в океан?

— Лично я пока не готов. Мне что-то не очень хочется. Особенно сейчас, — сказал я.

Он улыбнулся:

— Мне тоже. Но может быть, уже нашим правнукам придется. А океана мы до сих пор по-настоящему и не знаем.— И сокрушенно покачал волосатой головой: — Не знаем! Все впереди.

Это его любимое выражение: все впереди! Клиф захватил с «Махи» кипу книг по научной фантастике и футурологии, почитывает их каждую свободную минуту (фантастика — любимая его литература) и охотно заводит разговор о проблемах завтрашнего дня. Мне кажется, что всем своим стремительным обликом, даже торчащей вперед бородой Клиф каждую минуту устремлен в завтрашний день.

Сегодня, когда в каюте укладывал он свои вещи и запикивал в чемодан любимые книги, я сказал:

— Ну вот, Клиф, расстаемся, а океана так и не узнали...

Короткая улыбка шевельнула его бороду:

— Значит, придется встретиться снова.

— Может, на Япе?

Он серьезно взглянул на меня.

— На Япе не смогу. Дома много дел накопилось. А вообще с удовольствием еще поработал бы на «Витязе». Интересно с вами.

Ну вот, пора и расставаться! Недалеко от «Витязя» качается на крутой волне «Махи». Мы уже привыкли к его полувоенному-полуштатскому облику, с боевито нацеленным на волну острым носом, с торчащей вперед над форштевнем лебедкой глубоководного якоря, с серой палубной надстройкой, такой непривычной без дымовой трубы, со срезанной книзу на корме линией борта, короткой мачтой, на которой развевается английский флаг — почему английский, я так и не понял, видимо, здесь таинства морской коммерции, возможно, Гавайский университет узаконивал свое исследовательское судно какими-то окольными путями.

Расстаемся! Нам грустно. Будет недоставать в океане мерцающих огоньков махонького «Махи».

Прощались коротко, без сантиментов, как и положено в море, — хлопок по плечу, жест рукой, несколько слов: «Спасибо за все!» — «Спасибо и вам!» — «Жаль расставаться». — «Жаль!» — «Может, еще встретимся?» — «Может быть...».

Вот они уже все в катере: Клиф, Марк, Дан, Малахов, Джонсон, другие... Катер рванулся вперед, высоко подпрыгнув на волне, и заковылял по пенистым гребням к «Махи».

Я услышал голос капитана с крыла мостика:

— Даем ход!

«Витязь» вздрогнул, что-то внутри него тяжело зашевелилось, и вдруг, словно набрав полные легкие воздуха, оглушающе громко, длинно забасил на весь океан своим хриловатым гудком: «Прощай, «Махи»!» И «Махи» почти одновременно голосом послабее, пожиже, но с юношеской бойкостью ответил нам теми же тремя долгими прощальными гудками. На его палубе пестрели американцы. Многие сорвали с себя рубашки и размахивали ими. В бинокль я отыскивал знакомых. Маленький светлоголовый Малахов застыл на крыле мостика с согнутой над головой, как при салюте, рукой; на баке Дан и Марк, вцепившись в белые пластиковые леера, напряженно подались вперед над бортом — того гляди вывалятся в волну; Клиф согнулся крючком, ухватил одной рукой бороду, будто опасается, что ее унесет ветром, волосы на голове дыбом, и вид у Клифа какой-то обескураженный, словно он еще никак в толк не возьмет случившееся... Джонсон? Вон он — на корме, как всегда поодаль от других. Прислонился спиной к лебедке, поглядывает в нашу сторону. Вдруг, будто подстегнутый внезапным порывом, одним движением срывает с себя такую знакомую нам, в лиловых разводах модную рубаху и бросается

на корму. Сейчас, когда я вспоминаю уходящий от нас «Махи», прежде всего предстает перед моими глазами одинокая долговязая фигура Джонсона на корме и подхваченный ветром над его головой кусок лиловой ткани.

...Кто-то в избытке чувств не выдерживает, стремительно забирется на мачту все выше, выше, чуть ли не к самой ее вершине, схватился одной рукой за рею, другую поднял в приветствии, а кто именно — и в бинокль трудно разобрать: мы ушли уже далеко. И тут за кормой «Махи» вдруг взметнулся столб воды, почти одновременно долетел до нас приглушенный глубиной грохот взрыва, потом второй, третий... Американцы в нашу честь подрывали остатки своей взрывчаткой.

* * *

Вот так мы и расстались с «Махи». Идем на юг, к теплым экваториальным широтам. Жизнь на судне снова входит в привычные рамки дальнего плавания. Шторм утих.

К 5 декабря, Дню конституции, выпустили стенную газету. Конечно, передоая с «подведением итогов». Итоги неплохие. Опубликовали в стенгазете шуточную поэму геохимика Анатолия Шараськина — про «Витю» и «Маню», про то, как эта парочка, несмотря на шторм, обхаживала в океане друг друга. Поэма кончалась так:

Море тихо, ветер слаб,
Держим курс на остров Яп.

Вечером в кают-компании выступали «махисты», четверо наших молодых ученых во главе с Валерием Здорвениным, которые целую неделю провели на борту «Махи». Рассказывали обо всем полезном и заслуживающем внимания, что встретили у американцев, — их научной аппаратуре, методике исследований, системе обработки данных. Все это нам пригодится в научной работе. Мы знаем, что и американцы нашли на борту «Витязя» немало для себя полезного.

Выступили геологи, рассказывали о геологии Яп. Всем ясно, что Яп — настоящий «остров сокровищ» для ученых.

* * *

На другой день, пройдя Северный тропик, «Витязь» внезапно изменил курс и пошел к островам Адмиралтейства.

Разрешения на заход на остров Яп нам не дали.

День без тени

На листке отрывного календаря, что висит на стене нашей каюты, выгнула крутую шею девятка. Сегодня 9 февраля 1971 года. День удивительных событий.

Вокруг нас по-прежнему пустынный океан. В нем решительно ничего не происходит. Над океаном жаркое небо с редкими кучевыми облаками. Оно тоже пустынное, даже птиц морских не видно. Но мы стоим на палубе и с напряжением вглядываемся сквозь стекла темных очков в слепящий небосвод. Конечно, ничего в нем не увидим. События произойдут в сотнях миль от нас. Но вдруг? Вдруг случится какая-либо ошибка в расчетах, а сотня-другая миль в этом случае — пустяки.

Капитан сказал:

— Быть готовым при необходимости прийти на помощь.

Понятно, мы надеемся, что все кончится благополучно и эти трое окажутся в точно намеченном месте. Но всякое может случиться,

и витязяне в любой момент готовы спустить за борт спасательные боты, а мы, члены экспедиции, не выпускаем из рук кинокамеры и фотоаппараты.

За нашими спинами распахнута дверь радиорубки. Репродуктор приемника выбрасывает хриплые обрывки английской речи. Речь многоголоса, напряженна, отрывиста — в ней быстрота событий и тревога ожидания. Даже для тех, кто английский не понимает, ясно, что где-то происходит нечто необыкновенно важное.

Так и есть на самом деле. Наш «Витязь» приближается к островам Самоа, и именно в их районе в эти минуты должны приводниться американские астронавты, которые возвращаются с Луны.

...Мы прислушиваемся к обрывкам английских фраз. Астронавты вошли в атмосферу Земли. Скорость — тридцать тысяч километров в час... Покинули ракету... Опускаются в кабине на парашюте — десять метров в секунду. Чей-то дрожащий от волнения голос отсчитывает: ...три, две, одна, ноль... Пауза. У нас замирают сердца. И уже другой голос: «Приводнились! Кабину заметил поисковый вертолет. Идет к месту спуска».

Вздыхаем с облегчением. Вернулись! Целы, невредимы эти отличные, мужественные парни. Портретов их мы еще не видели. Наверное, такие же простые парни, как те, что были на «Махи». Их имена теперь уже не забыть. Будем гордиться ими так же, как американцы гордятся тем, что на свете существовал Гагарин, первый космонавт нашей планеты, что существует среди них Армстронг, человек, который первым ступил на Луну.

Как хорошо, что у нас на борту — американец! Приятно его поздравить с успехом. Это Клиф Марч. Все-таки он не смог с нами расстаться. В Сиднее на пирсе среди встречающих «Витязя» я увидел человека со знакомым лицом, удивительно знакомым лицом. Неужели Клиф? Только какой-то другой, вроде бы чудесным образом помолодевший на несколько лет. Чего-то в его облике не хватало, какой-то очень важной, решающей детали. Все было как будто бы на месте, даже из-за уха торчал карандаш. Ну ясно же: нет бороды! Сбрил Клиф свою устремленную в будущее бороду.

Он торопливо пошел к трапу.

— Клиф, я вижу, вы уже приготовились войти в океан! — крикнул я ему с борта. — Конечно же, борода под водой — излишняя роскошь!

Он легко взбежал на палубу, протянул мне руку.

— С глубинами океана я все же подожду. А пока решил снова поработать с вами на «Витязе». Как, койка в каюте еще свободна?

И вот Клиф Марч снова делит с нами наш стол с неизменным флотским борщом, нашу нелегкую работу в лабораториях, наши муки в жарких, некондиционированных каютах. А сегодня мы делим с ним общую радость по поводу удачного лунного эксперимента.

— Клиф! Поздравляем с благополучным возвращением космонавтов.

К нему тянется множество рук.

Клиф как всегда улыбается одними глазами:

— Моя личная заслуга в этой истории не столь уж велика.

На все случаи жизни приготовлена у Клифа шутка. Он явно не настроен вдаваться в подробности успеха очередного космического эксперимента. Горд, конечно, но похвалы ему претят. Быстрым движением вытаскивает из-за уха карандаш и острием втыкает в щель на палубе.

— Взгляните! Разве не удивительно?

— Что удивительно? Карандаш?

Клиф с шуточной укоризной смотрит на меня.

— Такое событие происходит у вас на глазах, а вы не замечаете! Приглядываюсь к карандашу — ничего не понимаю. Просто торчит из палубы красный, остро отточенный карандаш, один из многих, что всегда воткнуты в Клифа.

— А тень где? — мягко, тоном доброго наставника, подходящего на помощь бесполовому ученику, говорит Клиф. — Тень?!

Тень... Действительно, нет тени! Вот чудеса! Над нами ярко светит солнце, а его лучи вроде бы карандаша и не касаются. И Клифа не касаются, и рядом со мной нет моей тени, и даже фокмачта будто прозрачная. Мир без теней. Никогда не переживал такого. Я потерял свою тень! Тревожно как-то...

Пошел к нашим штурманам за разъяснениями. А штурманы ничему не удивляются.

— Что тут особенного? Бывает и такое!

Объясняют: просто нам повезло — около двенадцати часов дня «Витязь» оказался в той географической точке, на той широте и долготе, в которой в полдень солнце находится в полном зените. Поэтому лучи его падают на землю совершенно отвесно, словно к каждому из лучей подвесили грузик. Значит, тень находится сейчас под карандашом, под Клифом, под фокмачтой. Очутиться именно в двенадцать часов дня в такой точке земного шара — редкая удача. Вот каким необычным оказался нынешний день 9 февраля.

Но это еще не все сюрпризы, приготовленные им для нас. В вахтенном журнале я прочитал запись, которую сделали двенадцать часов назад, на рубеже сегодняшних и вчерашних суток. Вот она: «9 февраля 1971 года. Вторник. Случай с полуночи. Сува — Апия. (Это курс, по которому мы идем, — из столицы Фиджи в столицу Западного Самоа.) 00 час. 00 мин. В связи с пересечением демаркационной линии перемыны дат с запада на восток повторяем дату 9 февраля 1971 года».

Сегодня утром на отрывном календаре в нашей каюте листок за вчерашний день остался нетронутым. Вчера было 9-е, сегодня тоже 9-е. В моей жизни впервые повторяется один и тот же день — вторник. А вот через три дня, когда «Витязь» снова будет пересекать эту удивительную линию времени, направляясь обратно из Западного Самоа в Фиджи, в вахтенном журнале появится такая запись: «13 февраля 1971 года. Суббота. Случай с полуночи. Апия — Сува. 00 час. 00 мин. В связи с плаванием в долготе 12-часового пояса капитан принял решение дату 12 февраля 1971 года пропустить».

Вот так и случилось: взял капитан и по собственной воле изъял из нашей жизни полнехонький февральский день, да еще какой — пятницу, «легкую», милую пятницу, которая у нас на родине предшествует двум выходным дням. Получается, что в прожитых днях моей жизни я теперь недосчитаюсь одной пятницы, зато окажется в ней один «лишний» вторник. Если меня кто спросит: «А что вы делали 12 февраля 1971 года?» — я вполне серьезно отвечу: «Ничего не делал. Даже не жил в этот день. Просто в моей жизни этого дня не существовало вообще». Пожалуй, такой ответ может у людей вызвать сомнение относительно моих умственных способностей. Подумают: наверное, перегрелся под тропическим солнцем.

А объясняется все просто. Пересек наш «Витязь» 9 февраля 1971 года сто восьмидесятью долготу и вступил в Западное полушарие Земли. За бортом все тот же Тихий океан, все та же легкая зыбь в океане, все то же колючее тропическое солнце в небе. Никаких необыкновенных событий в природе не произошло. А мы оказались... во вчерашнем дне. Линии времени в океане не видели — она прочерчена лишь на картах.

Вот какой удивительный был день сегодня. Для всех, кто на бор-

ту «Витязя». А для академика А. В. Пейве в особенности. Дело в том, что 9 февраля у него день рождения. Вчера мы приходили в гости к академику, поздравляли.

Нельзя быть невнимательным. Ведь сегодня опять 9-е. Надо пойти к Александру Вольдемаровичу и поздравить его еще раз. Почему бы не использовать такой редкий случай, чтобы самым законным образом опять оказаться в гостях?

Мы снова собираемся в каюту академика. Он разливает по фужерам припасенную бутылку шампанского.

— За мое здоровье мы пили вчера. Я предлагаю тост за другое. За сегодняшний день... без тени. Пусть он нам запомнится. Отличный солнечный денек. Отличные принес новости.— Он с улыбкой взглянул на Клифа: — Так вот за такие деньки и в будущем... без тени!

Прорванный занавес

Мог ли когда-нибудь представить себе, что окажусь на острове Вити-Леву? Вити-Леву... Год назад даже не слышал, что существует на свете такой. Большой гористый остров в архипелаге Фиджи, среди множества других островов Океании.

Кажется, будто очутился в странной красочной сказке. Сижу за рулем автомашины, которую взял в аренду в порту. Веду машину куда-то. Куда именно — никто из нас не знает. Под колесами машины хрустит щебенка нелегкой, мечущейся из стороны в сторону горной дороги. Над дорогой, как головы окаменевших чудищ, торчат острые скалы, на их вершинах лохматятся сине-зеленые заливки джунглей. Временами горы расступаются, и тогда меж их склонами вспыхивает голубой треугольник океана. Он так ослепительно ярок, что кажется, будто там не вода, а пламя.

Честно говоря, не совсем точно, что мы едем куда-то. Цель у нас есть: отыскать интересное для наших блокнотов и кинокамер. Нам нужна экзотика. Конечно, самое лучшее — крокодилы, удавы, охотники за черепами. Но ничего подобного на острове Вити-Леву нет. Хотя бы местную деревушку снять, да такую, чтоб была позкзотичнее, покрасочнее! Именно об этом мечтает сейчас кинооператор Павел Русанов.

Горы неожиданно мельчают, дорога выпрямляется как по линейке и стремительно скатывается вниз. Мы въезжаем в долину. И вдруг среди зарослей — деревня.

Деревня такая экзотическая, что нарочно не придумаешь. Русанов остолбенел, судорожно вцепившись в ручку кинокамеры. Как будто специально для него и поставили эту деревню. В ней есть все, чтобы поразить зрителя чистопородной экзотикой: большие деревянные, со страшными совиными глазами боги, сплетенные из пальмовых листьев хижины, возле хижин клумбы, на них прекрасные тропические цветы и огромные морские раковины. Над хижинами картинно шевелят листьями пальмы, по посыпанным песком дорожкам прохаживаются курчавоволосые, в оглушающе-ярких платьях меланезийские женщины, даже босоногие малыши и те в рубашках самых броских тонов, словно их одевали так специально для позирования перед русановским киноаппаратом.

Выходят из дома двое молодых мужчин. Обнажены по пояс, показывают черными мускулистыми плечами, будто хотят поразить нас: вот какие богатыри живут на острове! Один из них на хорошем английском языке говорит:

— Мы рады приветствовать вас! Машину, пожалуйста, поставьте на той стоянке, потом проходите в конец деревни, через час начнется программа.

— Какая программа? — удивляемся мы.

— Та, которую приготовила наша фирма.— И в голосе парня звучат интонации рекламного агента.— Народные танцы, потом обед из национальных блюд, съемка... По семь долларов с человека.

Мы явно попали не туда. Деревня-то не настоящая — для туристов.

Не нужна нам показательная деревня. Нужна настоящая.

— Езжайте по дороге подалее — там найдете настоящую, — с явным разочарованием объясняет парень.— Вы американцы?

— Нет! Из Европы.

— К нам больше американцы приезжают. Они любят, чтобы экзотика была удобной. А у нас, пожалуйста, и стоянка для автомашин и прохладительные напитки...

Едем дальше. Едем долго — целый час. Все уныло молчат. По пути крошечная горная речушка, мост над ней, на холме деревушка — несколько невзрачных халупок. Недалеко от моста в речке деревенские женщины полощут белье. Они в цветастых платях — в простеньких, вовсе не нарядных, как в показательной деревне.

— Прекрасный кадр! — вздыхает Русанов.— Вот бы!..

Я останавливаю машину:

— А вы попробуйте! Издали. Телеобъективом.

Съемка, конечно, будет долгой, и я, оставив машину у моста, иду к деревушке. Под холмом у дороги небольшая бензоколонка, и рядом с ней дощатый киоск, где за грязными стеклами витрины пыльные бутылки с фруктовой водой. Захотелось пить. На барьере терраски киоска сидит девушка. Голову ее украшает копна черных мелкокурчавых волос типичной меланезийки. Рядом с ней на ступеньке лестницы — обнаженный по пояс здоровяк, сложенный как молодой бог, но в отличие от богатырей из «показательной» деревни мускулатуру свою напоказ не выставляет — просто присел передохнуть.

— Меня зовут Виола, — любезно представляется девушка по-английски.

Тут же посылает подвернувшегося мальчонку за лавочником, чтоб тот открыл для меня киоск с фруктовой водой. Спрашивает, откуда я.

— Из Советского Союза.

Она в удивлении прыгивает с барьера и приближается ко мне, словно хочет получше рассмотреть неожиданное чудо: человек из Советского Союза!

— Господи! — почти кричит она, всплеснув руками.— Вы на вид совсем такие же нормальные люди, как и мы — я, мой брат Рафаил, — она тычет пальцем в сторону сидевшего рядом здоровяка, — как все жители нашей деревни.

Вот уж не предполагал, что мне предстоит не брать, а давать интервью! Она засыпает меня вопросами:

— Почему вы не в военной форме? Почему у вас нет пистолета? Как раз вчера я смотрела в Суве фильм «Прорванный занавес», — сообщает девушка.— Не видели? Там показаны русские. Но они совсем не похожи на вас. У них такие страшные, злые лица, в руках винтовки, на плечах погоны. Все они мне не понравились.

Наверное, из таких фильмов Виола знает о России следующее: в России очень холодно, все в ней ходят в военной форме, встают по гудку, едят по гудку, даже спать ложатся по гудку, а детей обязательно отдают в лагерь военного типа. Дети и молодежь маршируют по улицам с ружьями и несут лозунги: «Мы завоюем весь мир!»

Я рассказываю о сегодняшней Москве, о Гагарине, о нашем «Витязе»... И Виола смотрит на меня немигающими глазами.

Пришел лавочник, высохший лысоголовый старичок, присел рядом с Рафаилом, обхватил руками острые колени, терпеливо слушает.

— Вы же пить хотите! — спохватывается Виола и требует, чтобы лавочник немедленно принес лимонад. Тот покорно исполняет приказ. Я протягиваю деньги, но лавочник делает протестующий жест рукой:

— Не надо денег. Вы наш гость. Вас так было интересно слушать!

Подходит Русанов с остальными нашими спутниками. Отснялся. Доволен. Разрешили снимать вблизи. И никаких денег не потребовали! Виола и Рафаил зовут нас к себе в дом:

— Может, чаю хотите? А кокосового молока?

Рафаил приносит перламутровую ракушку, которую нашел в океане, протягивает мне:

— На память о нашей деревне.

Хорошая это деревня! Даже не предполагали, что на неведомом нам острове Вити-Леву, в бедной горной деревушке, случайно встретившейся по дороге, вдруг найдем друзей.

— Виола, я обязательно о нашей встрече напишу.

Ее темные глаза вспыхивают радостью:

— И пришлете мне то, что напечатаете?

— Пришлю.

Пора уезжать. Нам предстоит еще долгий путь. Может быть, Виола и Рафаил придут сегодня в Суву и заглянут на «Витязь»?

— Если вечерний автобус на Суву не опоздает, то приеду обязательно сразу же, как только закончу работу. Лишь бы не опоздал автобус! — Она минуту молчит, задумчиво склонив курчавую голову на длинной красивой шее. — Как жаль, что ваш корабль уходит сегодня! Вы совсем не такие, какими я представляла русских по фильмам.

В Суву мы возвращаемся вечером. Мы устали, разомлели от жары. Куда деваться в чужом вечернем городе? С рекламой целится в нас из пистолета герой киновоевика с красивым и жестоким лицом профессионального убийцы. «Прорванный занавес». Производство США.

Зал в кинотеатре просторный, и в нем ни единого свободного места. Еще бы! Фильм-то завлекательный: про шпионов! На экране в течение двух часов разворачиваются умопомрачительные приключения американского агента Армстронга. Образцовый супермен: крепкий подбородок, ясные глаза, треугольный торс, узкая талия. Отважен, элегантен, жесток, хитер, изворотлив... Проникает в ГДР, чтобы вывести секретную физическую формулу. Естественно, Армстронгу в этом деле помогает очаровательная блондинка, которая в него немедленно влюбляется. Ну как в такого не влюбиться! Все, с кем шпион сталкивается в ГДР, выглядят глупыми и примитивными. Особенно советские военные. Они самые непривлекательные люди в фильме — грубые увальни без малейших признаков интеллекта. Недаром Виоле так не понравились.

Надо же, тот, кто первым высадился на Луне, тоже носит фамилию Армстронг. Два Армстронга...

У выхода из кинотеатра мы сталкиваемся с Клиффом Марчем. Он издали машет нам рукой и весело кричит через головы толпы с явным расчетом на то, чтобы его услышали все:

— Ну как, понравился наш боевик? Красиво мы изображаем вас, русских? — И еще громче добавляет: — К этой глупости нам всем нужно относиться с юмором. Очередной голливудский бред! Я надеюсь, вы не огорчены?

— Нисколько! — отвечаем мы.

— На наше судно идете? — спрашивает Клифф, пробираясь к нам. — Я с вами.

Чувствуем, что на нас сосредоточиваются взгляды вдруг притих-

шей толпы. Под этими внимательными, удивленными, растерянными взглядами не спеша идем вместе с Клифом по улице, которая тянется к порту, — трое русских и американец. Идем на «наше» судно.

...На «Витязе» полно гостей. Сегодня в семь отход — пришли проводить те, с кем успели витязяне подружиться за два дня пребывания на острове. Ведь «Витязь» — один из немногих советских кораблей, которые побывали на островах Фиджи. Понятно, нами интересовались.

В одной из кают меня знакомят с шестью учеными. Возглавляет группу невысокого роста черноволосый человек, похожий на итальянца. Он профессор университета в Суве, а все остальные — преподаватели этого университета: англичане, американцы, австралийцы... И все говорят по-русски. Кто-то почти свободно, кто-то с трудом, но объясняем мы на нашем родном языке. Удивительно! За тридцать земель, на далеком тропическом острове в небольшом местном университете — и вдруг кружок друзей нашей страны!

Наступает час прощания. Скоро семь. Несколько раз выходим с Русановым к трапу взглянуть, не приехала ли Виола. Наверное, запылал автобус на Суву. Жаль!

Нас не провожают толпы — всего десятка три фиджийцев и европейцев стоят на пирсе. Но это наши друзья. Среди провожающих — Клиф Марч. На этот раз он расстается с нами окончательно. Сам так сказал: мол, с радостью поработал бы еще, да дела дома.

Даже не верится, что уже не будет среди нас нашего «остроугольного» Клифа, не мелькнет на палубе его стремительная фигура, его всегда озабоченное лицо, свидетельствующее о том, что Клиф Марч целиком и каждоминутно принадлежит науке, и только науке, разве только глаза его не всегда подтверждают это, живые серые глаза явно участвуют в окружающей действительности во всем ее многообразии. Кажется, Клиф постоянно носит внутри себя мягкую добрую улыбку, как скрытый ото всех неугасающий огонек, и этот внутренний свет неизменно проступает в покойном блеске его глаз. Будет не хватать нам этой улыбки.

Прощай, Клиф! Конечно, океана по-настоящему мы еще не знаем, ты прав. Но ведь у нас все впереди. Не мы, так другие встретятся с тобой или твоими товарищами, потому что не может быть иначе, потому что мы нуждаемся друг в друге, потому что для нас, людей, еще много дела на прекрасной планете, которая зовется Земля и которую нам нужно сберечь. Если встретишь Армстронга, передай ему от нас привет! Только именно тому Армстронгу, кто первым вступил на Луну.

«Витязь» медленно отваливает от причала.

И вот тут я вдруг замечаю двоих, которые бегут от портовых пакузов к причалу. Узнаю их сразу — молодых, стройных, длинноногих: Виола и Рафаил. Добегают до края причала и останавливаются рядом с Клифом и другими. Их распахнутые рты жадно глотают воздух. Устали. Наверное, далеко пришлось добираться от автобусной остановки. В руках у Виолы ветка хибискуса, прекрасного цветка тропиков. Она долго машет ею над головой, а потом бросает в воду. Так здесь принято: если, прощаясь с вами, в море бросают цветы, значит, хотят, чтобы вы вернулись сюда снова.



ВЛАДИМИР ЦЫБИН

★

Я — ОБЕЛИСК

Памяти Ярослава Смелякова.

Легло мне в подножье широкое русское поле
и замяти свист.
Я — слезы, Россия, твои, я — матери горе слепое,
я — обелиск!

Надо мною кружится без эха, без тени, без света
время, как лист.
Подо мной, потонув в тишине, отдыхает планета,
я — обелиск.

Вы не знаете, люди, как трудно стоять не в молчанье
над стужей плиты,
когда вы приносите мне в недвижимом и строгом признании
живые цветы.

Вернулись с войны обелиски, а кажется — это березы
вернулись с войны...
Живой я — и плачу... но только — гранитные слезы,
они не видны.

Хотел бы поднять над собой еще выше, чем есть, пятилучье
державной звезды.
Хотел бы я слышать и плеск, и дрожащие белые сучья,
и шелест скирды.

Хотел бы стать инеем белым, иль веткою хвойной,
иль снежью тугой.
Вы только потрогайте гранит мой прямой и спокойный
своею рукой!

Приникните ухом к груди моей каменной, ставшей
иным бытием,—
услышите вы стократ повторенное молчание павших
в молчанье моем.

Живой я, живой. И верить хочу, что меня, словно песню,
разбудит горнист.
Но разве воскреснешь из камня?
Но разве из камня воскресну
я — обелиск?

Я ЖДУ

Под тучей дождевой
мой день новорожденный
спеленат синевой,
тугой листвой зеленой.

Я жду, чтоб пела высь,
чтоб теплые, как бани,
подсолнухи зажглись
недвижные — от рани.

Куда меня несет
вдаль от бывшего берега,
вот-вот
и горизонт
проломится от бега...

Куда мои бега?
Туда ли, в самом деле,
где белые стога
на корточки присели...

Спешу — в глаза твои,
в твои глаза, где в стыни,
как у речной струи,
дрожит комочек сини...

Ни вспять, ни отдохнуть...
И мечен доброй метой
сквозь жизнь летящий путь,
спеленат далью этой...

Весь мир — моя родня,
я жду еще покуда,
что там, за кромкой дня,
живет, как аист, чудо.

И я мечту храню —
вот день мой
путь окончит,
и в эхо прозвеню,
как в школьный колокольчик...

* * *

Лишь только забудусь чуть,
и снова — все та же просыпь,
как парус в морскую жуть —
так в память меня относит.

Доверчиво плыть и плыть,
и знать — не нужны усилья,
стараясь на миг забыть,
что к взмаху готовы крылья...

Я плыл от былой мели,
не греб второпях, не правил —

туда смотрел, где вдали
себя ж самого оставил.

Недвижно старела мгла,
недвижно волна качала —
и песня за мной плыла,
и песня во мне молчала.

На дальнем пути своем,
на качке постиг сурово,
что только под острием
душа источает слово.

* * *

Перемешались явь и дремь,
смотрю сквозь памяти затменье:
столетья жил
иль только день?
И кто я сам, как не мгновенье?

Как будто дождь сквозь синеву,
по капельке одной мгновенья
вот в этот день,
где я живу,
процежен буду ли сквозь время?

Вот я один — и я не прав,
и, как крутым прибором сушу,
век-пахарь, все перепахав,
мне перепахивает душу.

Как будто из иного дня
я слышу с грустью неспешной —
во мне живет
взамен меня
другой — и тоже неутешный.

* * *

Шагая по прохладе на покос,
где лето опочило на расстиле,
я слышу — как на свет мгновенных рос,
на плеск листвы остуженных берез
неслышно просыпается Россия.

Прозрачные настуженные сны
под окнами прилегшей тишины
оборвались — и скрипнули ворота,
и наземь иглы старые сосны
посышались от гула самолета.

И белый день с увала на увал
потек, поплыл туда, где отмигал
зеленый семафор — остаток лета.
Когда проснутся Волга и Урал,
озябнув, просыпается планета.

Я и сейчас
среди своих забот
жалею тех, кто ныне на чужбине
по холоду навальных трав взгрустнет,
что белый день, как белый гусь, плывет,
плывет, как будто сотканный из стыни.

Пусть приведет домой их всех верста.
— День добрый! — говорю тебе, ветла.
К земле давно припала ты, как стланик,
и ясен день, и даль моя светла,
и в отчий дом спешу я, словно странник.

Мой край родной — опушка и лесок, —
день льется чистый, как березы сок.
И сколько я по свету ни скитаюсь —
на каждый твой негромкий колосок
нетерпеливым сердцем откликаюсь.

СЛЕДЫ

В снегах увязла даль —
и чьей-то спешке вслед
сквозь снежный календарь
я свой оставил след.

Забыв тепла комок
на снеговой стерне —
то напрямик, то вбок
иду по крутизне.

Нестертые лежат
следы — былого весть,
того, кто век назад
прошел, как я, вот здесь.

Словно круги воды —
расходятся следы...

Вот след. Ему вдогон
спешу издалека:
осколком он прожжен
сквозь эту даль в века.

Следы — то здесь, то там,
срослись, переплелись.
Рассвет примерз к снегам,
прямой
как обелиск.

Бежит тропа моя,
бежит в снега и таль,
и ею вписан я
навечно в эту даль.

Тебе, идущий вслед,
в заснеженной степи

я свой оставил след —
и ты в него вступи.

И я вступаю в след,
словно в прозрачный свет...

ДОРОГА

Вспоминаю я мало-помалу,
остужаясь душой вдалеке,
как оставил озябшую маму
на продутом стоять большаке,
как пылилась на старой обнова —
полушалок, с кистями края.
И спешу я сквозь протемь бывшего
на дорогу, где мама моя.
Перед грустью ее стародавней,
по-сыновьи стесняясь любви,
я скажу: не поеду! Куда мне!
Я останусь — лишь только живи!..
Не с того ли ты сердцем простыла,
торопясь отпустить из села,
что ты всех от себя отпустила,
всех дороге детей отдала.
Всех манила дорога, как тайна.
Вот и я в неизвестную слепь
уходил, обречен на скитанье,—
уводили костры через степь..
Ты мне кажешься прежней, дорога,
как тогда, когда шел по жнивью.
Ничего. Ты спроси с меня строго
за окольную память мою —
ведь не все, что я мог, то отмерил,
ведь сбивался с пути, как слепой.
И остуженной совестью верил,
что тебя уведу за собой.
Не увел... Сам теперь без подмоги.
А без матери жить каково?
И стою я на старой дороге,
дожидаясь не знаю кого.
И хотя день сухой и морозный
только кончился здесь, невдали,
но на белой ветле придорожной
негасимые почки взошли.



ГЕОРГИЙ БЕРЕЗКО

★

ДОМ УЧИТЕЛЯ*

Роман

Пятая глава

УДАЧНАЯ КОМАНДИРОВКА. ЖЕНЩИНЫ

1

Ваня Кулик сидел в кабине машины, курил и смотрел, как Настя, тенью скользя от окна к окну, затворяла ставни,— он ждал, когда она кончит со своими обязанностями. Вообще-то после долгого и нелегкого дня, после баньки и горячего чаю, которым напоила Настя, его клонило ко сну, и он подумывал: а не лучше ли завалиться без промедления на оставленную для него здесь, в общежитии, койку?.. Он и познакомиться с этой Настей как следует не успел, рассмотрел только, что она глазаста и несчастна. А несчастливых людей Ваня сторонился, как сторонятся опасно больных, от которых можно и самому захворать. Все же он крепился и медлил, куря папиросу за папиросой, чтобы не уснуть тут же в кабине, повалившись на протертое до дыр, продавленное сиденье. И даже не голод по женщине удерживал его на этом НП, а некий шаблон поведения, привычка в определенных обстоятельствах поступать так, а не иначе. Странно было бы отказываться от того, что само, казалось Ване, шло ему в руки.

У своих товарищей в таксомоторном гараже Кулик прослыл человеком ловким и везучим: он и зарабатывал побольше других — умел обходиться с пассажирами,— и числился в передовиках, и жил весело, особенно везло ему у женщин. Это завидное обстоятельство вызывало даже удивление: парень был на вид неказист, роста среднего, а лицом, щекастым и белобровым, просто, как говорится, не вышел; стригся он «под бокс», как и его товарищи, оставляя надо лбом коротенький белесый вихор, а в нерабочие дни надевал такой же, как у всех, синий шевиотовый костюм, купленный в мосторге. И выделяло его не столь уж, впрочем, редкостное умение побрякать на гитаре; песен он знал множество и с удовольствием их пел под гитару своим небольшим сильным тенором. Но не в этом заключался секрет его многих побед, да и не обладал он, в сущности, никаким секретом: он был всего лишь искренен и не опасался своей искренности. Как истинный донжуан, он каждый раз вновь дивился замечательному искусству природы, создавшей женщину такой, какая она есть. И, не скрывая своего восхищения, он устремлялся к

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 4, 5 с. г.

цели с нерассуждающей уверенностью в том, что не может его искренность не понравиться или обидеть. Если бы Кулика спросили, каким ему представляется рай, он ответил бы, что в раю, наверно, лучше дороги, а что касается женщин, то лучших, чем на земле, он и не желает: они и здесь были прекрасны и добры, прося лишь о том, что они называли любовью. Его восхищению нимало не мешали та нагловатая снисходительность, то ласковое презрение, с какими он, избалованный успехами, думал о них.

Легкая, расплывчатая тень метнулась через двор — Настя перебежала к баньке и скрылась в ней, должно быть, чтобы навести порядок после мужчин. Но находилась она там что-то чересчур долго, вероятно, мылась сама. И, подумав так, представив себе ее моющейся, а потом лежащей на полке, разомлевшей, Кулик превозмог свою сонливость.

Ожидая в машине, он услышал, как вернулись с прогулки хозяйская девчонка и этот красавчик иностранец. Тоже парень не промах, подумал Ваня с чувством товарищеской солидарности. Разговаривая на каком-то нерусском языке, словно бы даже заспорив, они прошли мимо, не заметив его, и с крылечка донесся смех девчонки. «Договорились», — удовлетворенно сказал про себя Кулик.

Но вот из баньки вырвалось серое облачко пара, а в нем возник белый призрак — Настя выскочила в одной рубашке и помчалась к крылечку. Кулик посидел еще немного, вновь заколебавшись, идти к ней или не идти, а отоспаться, что было бы, конечно, разумнее. И, точно выполняя какую-то повинность, он выбрался из кабины, потянулся всем телом, разминаясь, и направился в дом. Он дознался уже, что Настя жила отдельно в пристройке, куда можно было попасть прямо из кухни, в которой они пили чай. Двери в сенцы и оттуда в кухню оказались еще не запертыми, а в теплом кухонном мраке под дверью в пристройку сквозила слабая полоска света...

Осторожно, на полусогнутых, он подошел и прислушался: за дверью раздавалось глухое шлепанье — это ходила босая Настя. Он подмигнул сам себе и коротко постучал, шлепанье прекратилось, затем вновь послышалось — быстрое и легкое. Безотчетно улыбаясь, Кулик постучал погромче, и дверь приоткрылась.

— Не помешаю? — сипло сказал он. — Разреши на огонек.

Он тут же сильно надавил на дверь, она подалась, он шагнул в комнату и, озадаченный, застыл на месте. В первое мгновение он просто не узнал Настю: перед ним — тут и вправду можно было не поверить глазам — стояла наряженная к венцу невеста или, может быть, святая... Он хмыкнул, готовый расхохотаться, но что-то помешало ему, смех застрял в глотке...

На Насте было белое свободное, ниспадавшее до полу платье без рукавов из какой-то воздушной материи, с золотым блестящим пояском на талии; веночек из крохотных белых цветов лежал на ее голове, а распущенные после купания волосы гладко струились на плечи матово-черными ручейками. Для полного наряда не хватало только туфель — из-под платья высовывались маленькие ступни с розоватыми пальчиками, поставленные прямо, как у святых на иконах.

— Ты что это?.. Собралась куда? — выговорил Кулик первое, что пришло в голову.

— Заявился все-таки, — сказала она с явной досадой. — Ну что ты здесь потерял?

— А может, ты под венец идешь?.. Может, к богу на бал?.. Слышала такой романс? Может, тебя жених дожидается? — Он понемногу развеселился.

Она долго не отвечала, прижав к груди скрещенные руки, всматриваясь в его кругло улыбавшееся толстое лицо.

— Точно... — отозвалась наконец она. — Мой жених точно меня дожидается, давно — с той самой, с финской.

— Брось, брось! — Кулик был не рад уже своей шутке. — Теперь чего уж...

— Нет, ты правильно сказал... Ой и правильно! — необыкновенно вдруг оживилась она. — Теперь уж нас никто не разлучит. — И будто догадка осветила ее худенькое, с запавшими щеками лицо; блеснули в огромных затененных провалах глаза. — Спасибо тебе за верное слово!

— Ладно, лапушка, — сказал Кулик виновато, — мы люди неверующие, живем, пока живы. Извиняюсь, что разобрал.

Она со странным благодарным выражением взглянула на него и быстро на носках, едва касаясь пола, понеслась к зеркалу на комод... Большое, старинное, в овальной раме красного дерева, оно в этой просторной бревенчатой комнате было самой приметной и, вероятно, самой любимой вещью; алые и белые бумажные розы украшали его, свисая из-за рамы на стекло.

...Лишь час назад Ольга Александровна объявила Насте, что вопрос об их эвакуации решился, что завтра они все уезжают и что с собой можно взять только самое необходимое — пару белья да зимнее пальто. «А куда ехать?! — воскликнула Настя. — Что нам здесь помирать, что где ни где!» «Но зачем помирать? Будем надеяться на лучшее», — сказала Ольга Александровна. А сама отрывисто дышала, утирала пот со лба и тут же попросила накапать ей сердечных капель. «Разбомбят нас по дороге... А не разбомбят, с голоду померем, а то от тифа», — сказала Настя.

Кончив дела по дому, она побежала первым делом в баньку — перед дорогой, как перед могилой, полагалось помыться. А придя из баньки, она тут же открыла свой сундук — среднего размера, но вместительный, прочный, обитый крест-накрест жестяными полосками и со звоночком, раздававшимся, когда его отпирали. Сюда во все годы, что Настя служила в Доме учителя, она складывала все свое самое лучшее и дорогое. И она принялась перебирать это содержимое сундука, вынимать и разглядывать каждую вещь; о каждой она могла бы рассказать, когда и за сколько была куплена и как долго к каждой покупке она примеривалась. В сундуке хранилось ее приданое: белье, сшитое к свадьбе, чистого льна сорочки с кружевцами, мадаполамовые простыни и пододеяльники с мережкой, полдюжины наволочек, два стеганых одеяла, две завернутые в полотно пары выходных туфель — белые босоножки и черные, на высоком каблуке лодочки, — новая вязаная шерстяная кофта, отрез на мужской костюм — подарок жениху. А сверху, чтоб не помялось, покоилось заботливо обернутое полотенцами платье, в котором она должна была ехать в загс расписываться...

Пять лет назад она, сирота, убежавшая из детдома, нищенка, побиравшаяся по церквям, по деревенским чайным, нянька в семье сельского попа, и не мечтала о таком богатстве. И сейчас она никак не могла освоиться с дикой мыслью, что завтра она бросит здесь все на разграбление: хватай кто хочет, тащи, топчи! У нее забилось сердце, когда она опять увидела бостоновый отрез, так и оставшийся лежать свернутым в ее сундуке. И, прощаясь со своими выходными туфельками, она еще раз прощалась со своими надеждами на иную, лучшую жизнь, на жизнь в любви. Когда она развернула свой свадебный наряд, его окутал пахучий желтоватый дымок — это

Ольга Александровна посоветовала посыпать платье толченой апельсиновой коркой от моли. И Настя почувствовала себя жестоко одуроченной: берегла свое сокровище, не надевала, тряслась над ним, а зачем, для чего? Свадьбы уж не будет, никогда не будет, ей и самой оставалось жить всего ничего... Со смутной усмешкой то ли над своими планами на жизнь, то ли над советами и планами всех добрых людей она рассматривала и вертела, держа на весу, эту свою вчерашнюю драгоценность... И она не удержалась — накинула платье на себя бог весть зачем, словно бы с глухой издевкой над собой. Внутренне недобро посмеиваясь, она примерила и веночек, подаренный ей к свадьбе Ольгой Александровной, — глупая, как и она, старуха говорила, что сама когда-то венчалась в нем... И Насте было теперь даже не больно, а как-то чудно, туповато, злобно.

С этой злой туповатостью, с оглушенным сознанием встретила она и своего ночного гостя — молодого солдата, шофера. Их много ныне проходило мимо, таких же страдающих по бабам, оторванных от семейств, — нельзя было и обижаться на них. Но этого настырного парня она только что чуть не вытолкала — уж очень некстати был его приход. И она выпроводила бы его, если б не случилось чего-то похожего на чудо — ее поздний гость оказался добрым вестником, специально в утешение посланным к ней. С первых же его слов она прозрела — сказанные на пороге, они сразу же натолкнули ее на спасительную догадку, будто высекали все осветительную искру: «К богу на бал!..» Это прозвучало для нее совсем как в тех старинных историях, которые рассказывались по воскресеньям в церкви. И все, что было необъяснимым, темным и ужасным, подобным смерти и грозившим смертью, стало и понятным и радостным — дело и вправду, как видно, шло к свадьбе. А то, что она загодя, не зная еще о таком счастливом повороте в своей судьбе, облачилась для свадьбы, тоже подтверждало ее догадку.

В ее тусклом от времени зеркале, едва она приблизилась к нему, возникло воистину чудесное видение. Из дымной глубины зеркала, как из облачного тумана, вышла вдруг необыкновенная женщина в ангельском веночке, облаченная в дивное, все из белого газа одеяние. Веря и не веря, Настя смотрела на это свое и не свое изображение, осененное красными и белыми розами. И ей подумалось, что наконец-то после всех испытаний и несчастий — наконец-то! — она видит себя не такой, какой привыкла видеть и какой ее видели и привыкли видеть все, а такой, какая она есть на самом деле, со своими истинными чувствами, со своей любовью. Настя словно бы открыла сейчас себя для себя. И это открытие показалось ей началом недоступной разумению, пугающей, но и прекрасной перемены в ее жизни — перемены, которую она до сих пор считала смертью...

Кулик присел между тем к столу, выкрутил огонь в лампе — он не любил унылой полутьмы — и огляделся. Ему все больше здесь нравилось: чудаковатая, но завлекательная хозяйка этой тихой, удобной во многих отношениях жилплощади была еще вдобавок натурой поэтической, то есть близкой ему самому. Повсюду на окнах, на столе, на стенах, у рукомошника виднелись здесь эти милые предметы женского поэтического умения — вышитые дорожки, занавески, полотенца с травами и птицами, а умело склеенные и насаженные на проволоку цветы — даже более яркие, чем живые, — стояли и в вазочке на столе и торчали из трещинок в бревнах между развешанными там фотографиями. Матерчатый коврик (целая картина «Утро в лесу» с играющими медведями, хоть сейчас на выставку!) был протянут по стене над кроватью с никелированными шишечками, с пирамидой подушек мал мала меньше.

— А что? Неплохо у тебя,— похвалил Кулик.— «Свой уголок я убрала цветами...» Есть такой романс. Совсем, знаешь, недурно.

Настя обернулась, и он опять подивился — так она переменялась невесть с чего, и следа не осталось от ее прежней хмурости. Она раскраснелась, и ярко, огненно в ее глубоких глазницах блестели глаза. Кулик искренно восхитился:

— Ну точно как сосватанная! Тебя сейчас... ну, куда угодно! Хотя б и в Москву, в сад Эрмитаж!

Она с необъяснимым, чуть ли не молитвенным выражением вглядывалась в него.

— Тебя как звать-то? И не знаю еще,— сказала она.

— Главным что ни на есть русским именем,— сказал он,— которым и цари назывались.

— Иваном звать, угадала? — почему-то обрадовалась она.

— Точно!

— Иваном...— повторила она медленно, как бы запоминая,— по церковному Иоанном.

— К тому же Ивановичем.— Он сипло засмеялся, довольный знакомством с этой необъяснимой женщиной — ничего подобного ему не встречалось еще.

— Тебя послал кто? — вырвалось у нее.— Чей ты?.. Говори...

Вместо ответа Кулик вытащил из кармана штанов банку консервов, пачку печенья — служба в интендантстве имела свои существенные преимущества,— а из другого кармана фляжку в суконном чехле и встряхнул ее, в фляжке забулькало.

— На сухую глотку не поговоришь,— сказал он.— Стопочек не найдется у тебя? А, лапушка, баядерка!..

Настя помедлила мгновение и всплеснула руками.

— Ой!.. Чего ж это я?! — вскрикнула она.— И стопочки найдутся и что другое... О господи, совсем голову потеряла!

И она кинулась в угол к шкафчику с посудой; легкое платье ее раздулось и приподнялось, открыв щиколотки.

— Когда б имел я золотые горы!..— воскликнул Кулик.— А у солдата, лапушка, только и есть что сердце, которое завтра, возможно, будет пробито.

Настя заметалась по комнате, собирая ужин,— можно было подумать, что для нее и впрямь с его, Кулика, приходом наступил праздник... Чистая скатерть, опавнув Кулика свежим ветерком, плавно опустилась на стол, а затем перед ним появились не стопки, а красивые, с золотым ободком рюмки и в дополнение к его консервам как по щучьему велению отличная закуска: студень соленые огурчики, квашеная капуста, яблоки — наливные, величиной с дыньку антоновки. С подоконника перекочевала на стол двухлитровая бутылка с чем-то черно-багровым, присыпанная сверху порозовевшим сахарным песком,— вероятно, вишневая наливка. И Кулика охватило чувство, близкое к умилению...

— Ты сам-то откуда? — все допытывалась Настя, кружась у стола.— Ты где жил до войны?

— В столице нашей родины Москве, так точно! — отрапортовал он.

— Один жил?.. Или как?

— Зачем один, родня у меня. Мы все вместе живем.

— Не была я в Москве... В кино только видела Красную площадь, Мавзолей,— сказала Настя,— а еще метро, ну, как в сказке. А родня-то у тебя большая?

— Старики у меня: батька, мать. Хотя и не очень еще старики, батька у меня еще казак,— сказал он.

Она прервала на минуту свое кружение, остановилась с тарелками в руках.

— А может, обманываешь меня? — спросила вдруг она.

— Да зачем мне обманывать? Могу дать полный адрес: Вторая Брестская, дом тридцать три, квартира двадцать два. Милости просим!

— Москва, ну да... — раздумчиво проговорила Настя; казалось, она была удовлетворена. — Там и митрополит у вас живет... Москва!.. Ну, ладно. А только адрес твой мне уже ни к чему.

И она опять унеслась в своем раздувавшемся платье, мелькая босыми маленькими ножками; вернувшись с хлебом в плетеной корзинке, она сказала:

— Везучий ты, Иванович!.. А я вот детдомовская, я и не дозналась, кто меня народил.

Метнувшись напоследок к комоду, она принесла оттуда и поставила у своего прибора небольшую, в фанерной рамочке фотографию — портрет. С ревнивым любопытством Кулик потянулся через стол, и с фотографии пристально, глаза в глаза, посмотрел на него мужчина с залысинами, со строго сведенными в одну линию густыми бровями; мужчина был в пиджаке и при галстуке.

— Это кто же такой?.. Кто тебе этот дядя? — нарочито громко спросил Кулик и запнулся.

На лице Насти, в ее подсвеченных снизу лампой сияющих глазах было словно бы хмельное, дурное выражение; на запавших щеках двумя пятнами-кружками пылал жар. Не ответив, она бесшумно боком опустилась на лавку напротив Кулика, выпрямилась и положила на край стола ладонями вниз свои смуглые загоревшие кисти рук; выше, до плеч, была открыта ее бледно золотившаяся нежная кожа.

— Разливай, Иванович! Тебе и первое слово! — сказала она вздрагивающим голосом и перевела взгляд на портрет.

— Есть! Природа не терпит пустоты! — поспешно проговорил он, как и говорил обычно перед пустой рюмкой, но ему сделалось не по себе: ощущение было такое, что за столом с ними сидит кто-то третий. И кавалерская уверенность Кулика — чувство инициативы, которое и вело к победам, — стала у него таять.

Со вниманием Настя следила, как он, торопясь, отвинчивал крышечку фляжки, как наливал сперва ей, потом себе, и ожидающе, с неразумной требовательностью уставилась на него, когда он поднял рюмку.

— Ну так... — с осторожностью начал он, — ну, счастливо!.. За счастье то есть!

Не помешкав, он опрокинул в себя рюмку; она взяла свою, но пить сразу не стала, а опять поглядела на портрет, на строгого лысоватого мужчину в пиджаке. Забывшись, она отчетливо сказала что-то вовсе несуразное:

— Алеша! Алешенька! За наше с тобой!

Кулик опустил голову: «Тронулась с горя — вот так номер!» — огорчился он, и, к его чести, в эту первую минуту огорчился не за себя.

Настя зажмурилась, и одним длинным глотком выпила свою рюмку; не закусив, она отерла ладонью уголки губ. А Кулик тут же, как нечто целительное, налил ей вторую.

— Бывает, что и возвращаются бойцы, как с того света, — сказал он. — Напутает в штабе писарь, нас у него много, тысячи, — и на тебе, жив-здоров Петр Петров, радуйся, мать, не плачь, жена!

Она ничего не ответила; они выпили молча по второй, и она рас-

слабилась, помягчала, даже тихо, как бы в растерянности заулыбалась.

— Это он и есть, сержант твой? — спросил Кулик.

Она покивала, глядя на портрет.

— Да-а.. — протянул он. — Быстры, как волны, все дни нашей жизни... А на войне, лапушка, особенно, быстрее не бывает.

Еще не оставив надежды на более приятное продолжение этой встречи, он сделал словно бы пробный шаг:

— Солидный товарищ, видать, на возрасте. А не староват маленько для тебя? Я извиняюсь, конечно! Но законы природы свое всегда возьмут.

— Алексей Васильевич точно меня старше, — проговорила Настя мягко, расслабленно. — Он мне душа родная, и отец и мамка. Он и сюда мне рекомендацию дал, а мне приказал: тут, при доме, ты и учиться можешь... Староват, говоришь, Иванович! Искушаешь меня... А против него ты, Иванович, вроде как несовершеннолетний — он и ростом на голову выше и в плечах... Алексей Васильевич на пилораме работал бригадиром. Староват!.. А знаешь, что мне командир полка про него написал?.. Ты послушай.

— Ну зачем же?.. Я это между прочим... — сказал Кулик.

— Нет, ты послушай! — Настя резким движением отодвинула свою тарелку и привалилась грудью к столу — она уже действительно захмелела. — Я каждое словечко того письма... Я как получила его, я ума лишилась, на крик кричала, ко мне доктора вызывали... Ты слушай: «Сержант Алексей Васильевич Головин (это он и есть Головин) подавал на поле боя пример мужества и отваги...» Ты слушай, слушай! «Сержант Головин был лучшим в части младшим командиром, пользовался уважением подчиненных... — продолжала без запинки Настя, затвердившая письмо наизусть. — Пал смертью храбрых в бою у озера Сайма...»

— Ну, ясно, — пробормотал Кулик.

— Сайма... — вслушиваясь в звук чужого названия, повторила она.

И Кулик подумал, что ему, видно, придется убираться несолоно хлебавши, — разговор принял характер, явно не способствовавший его плану. Эта горемычная, чокнутая невеста убитого на финской войне сержанта все еще чересчур сильно горевала о своем женихе. Да и у самого Кулика, глядя на нее, поубавилось пыла — несчастье в самом деле было заразительно, переходило от человека к человеку... Помрачнев, он принялся, хоть и без особенной охоты, за еду — не оставлять же было на столе богатую закуску.

— Сайма-озеро?.. Далеко это, Иванович? — спросила Настя. — Наша Ольга Александровна на карте смотрела, говорит, далеко.

— Да уж не близко, — невнятно, с полным ртом отозвался Кулик, — а сейчас и вовсе.

Она подперла обеими руками подбородок и задумалась — на ее чистом лбу пролегла вверх от переносицы морщинка. И Кулик, проглотив кусок, серьезно осведомился:

— Ты, никак, на могилку собралась, на то озеро? Ну и ну... Зачем это тебе?

— Как так зачем? — Она удивилась.

— Вот именно, зачем? К тому же и могилки той уже нету, учти это, — сказал он. — Фашисты наши могилки с землей ровняют танками.

Сияясь проникнуть в смысл его слов, она долго молчала и вдруг тихо вскрикнула:

— Ой, что же они делают?!

— То и делают, чтобы духа нашего не осталось в памяти, чтобы с корнем нас и на все будущие времена,— сказал Кулик.— Ну да это одна их фантазия. Подавятся, жабы!

Настя не проронила ни звука, не пошевелилась, глядя мимо него своими остро блестящими, в пол-лица, остановившимися глазами.

— Между прочим, снегу там — ни проедешь, ни пройдешь! — сказал он, вновь наполняя рюмки.— Финляндия — это тебе не Крым... Да ты что, Настя?

Она не откликнулась...

Он сожалительно вздохнул, так и не поняв, какой уничтожающий удар нанес он ей сейчас ненароком, отняв то, что сам же ненароком дал. Еще минуту назад она точно знала, казалось ей, что она встретится со своим женихом — пусть и за сотни верст, пусть на краю земли! Но как же найдет она своего сержанта, подумалось теперь, если не было больше ни холмика, ни креста, ни другого знака, под которым он тоже, конечно, ждал ее, — немецкие танки словно бы во второй раз его убили. И, как тысячам тысяч других женщин, овдовевших на войне, это безмогильное, бесследное исчезновение представилось Насте окончательной и непоправимой утратой. О свидании нечего было теперь и думать — ее сержант навсегда потерялся в той бескрайней пустыне, в той бесконечной тьме, где уже никто ни с кем не встречается.

— Ну, чтоб не последнюю,— сказал Кулик.— Выпей, лапушка, облегчи душу!

Она повела на него невидящим взглядом и не прикоснулась к рюмке... В безмолвии он допил свою водку, покончил со студнем, с консервами, съел антоновку, хмурясь и посматривая на Настю. В доме стояла тишина, время было позднее, все, наверно, спали, и Кулик решил, что пора уходить. Он вообще-то примирился уже со своей неудачей. Да и постигла ли его неудача, размышлял он: день завтра предстоял такой же хлопотный и надо было хорошенько выспаться; он и отяжелел к тому же после этого обильного ужина.

Очень неожиданно за спиной у него послышалось птичье лесное «ку-ку». Кулик обернулся — меж окон в простенке висели часы-ходики, смастеренные в виде домика с окошечком, и из домика высунулась кукушка. Она прокуковала еще один только разок, а затем что-то внутри часов звонко звякнуло и птичка спряталась в своем теремке, крохотные ставенки захлопнулись.

— Гляди-ка, гляди! — Кулик был простодушно заинтересован.— Кукушка вековая нам годы говорит... Мало она нам с тобой накуковала. Вредная у тебя кукушка.

И Настя очнулась, задвигалась, ладонями обеих рук провела по лицу, точно отирая его. А когда отняла руки, лицо ее открылось измученным, словно бы погасшим.

— Испорченная кукушка,— устало проговорила она.— То вовсе молчит, а то не вовремя...

Ей вдруг стало холодно, и она, сжавшись, обхватила себя скрещенными голыми руками.

— Озябла... — участливо сказал Кулик,— а это потому, что мало выпила.

Он тяжело поднялся и выбрался из-за стола.

— Ну, спасибо, угостила — лучше не надо. Знаешь песню: «Ночной привал, вино, подруга, труба — и снова на коня!» Мой командир ее обожает. Вся разница, что у меня конь с мотором.

— Уходишь... уже?! — прерывающимся голосом выговорила она.

— Прости, если что не так. Прощай, может, и не свидимся. Мы завтра раненько... — сказал он.

Настя тоже встала и неожиданно подалась к нему — ее объял страх, телесный непобедимый страх. Ничего уже у нее не оставалось — ни этого жилища, из которого она должна бежать, ни этого разворошенного сундука с ее погибшим приданым, ни даже могилы дорогого человека. Она была начисто обокрадена, так, как может обокрасть, оголить одна лишь война... Кругом стояла поздняя глухая — ни отзвука, ни дыхания — тишина. И Насте померещилось, что ее покидает единственный, последний в ее существовании живой человек. Стоило только ему уйти, этому прохожему солдату, и уже никогда не наступит утро, не кончится эта ночь...

— Куда же ты?! — жалобно вскрикнула она.

— Поспать минуток двести — триста, — сказал он.

— Не ходи!.. — Она схватила его руку своей небольшой, но сильной рукой с твердыми пальцами. — Зачем тебе уходить? Я... я, как ты хочешь... Я постелю. Я мигом... Не ходи! — беспорядочно заговорила она, с трудом двигая губами. — Боязно мне... Так-то боязно... Не ходи... Христом-богом молю!

Она прижалась к нему всем телом — грудью, животом, коленями, ее голова прилась ему под подбородок, и он услышал земляничный запах мыла, исходивший от ее не просохших еще волос. Нерешительно — Кулик был ошеломлен этими капризами женской природы — он погладил ее вздрагивающую спину. Сразу ослабев, Настя повисла на нем.

— Я мигом... мигом, — лепетала она, страшась, что он все же уйдет.

Оторвавшись от него, она побежала к кровати и там обернулась... Мгновение она стояла, опустив руки, в своем небесно-невестином облачении, в веночке, точно ждала послушно какого-то его знака. Кулик не трогался с места — она вызывала сейчас жалостное изумление, ничего другого. И она рывком сдернула с кровати покрывало, бросила на изножье, потом покидала с изголовья подушки. Торопясь, переступая маленькими ступнями, она стянула через голову платье и тоже кинула куда-то. Она оказалась по-девичночьей худой и угловатой, как и представлял себе Кулик, и в девчоночьем, по-деревенски лифчике — он приметил и это. Медленно, с саднящим чувством он двинулся к ней.

Потом, когда Кулик уже засыпал, лежа с нею рядом, он еще раз услышал ее тихий, как дыхание, голос.

— Алеша... родненький... любименький... Алеша, Лешенька... — звала она и все гладила своей твердой, жесткой ладонью его лоб, щеки, плечо...

Кулик хотел было ее поправить, сказать, что его зовут не Алешей, а Иваном, как и русских царей, но тут же каменно заснул.

2

Возвратившись из своего позднего похода к городским властям, Веретенников обнаружил, что в Доме учителя его никто, кроме Истомина, не поджидал. Правда, он очень задержался, ему понадобилось побывать еще и у районного военкома, и в местном отделении Центросоюза, и в поисках коньяка для командира дивизии заглянуть в городскую столовую. Был уже одиннадцатый час, когда он в предвкушении разнообразных удовольствий — свидания с хорошенькой девицей, ужина в приятной компании, а возможно, и партии в преферанс — постучался в двери Дома учителя. Впрочем, не все обитатели этого гостеприимного дома спали уже: проходя по коридору, Веретенников повстречался с молодой женой польского музыканта, она

несла перед собой, как флаг, выглаженную мужскую голубую рубашку. И, кивнув с достоинством в ответ на лихо отданную ей честь, она скрылась в комнатке, которую занимала с мужем. А в темном зальце Дома теплился огонек коптилки, и под огромными, как лопатки весел, листьями фикуса в неразберихе теней Веретенников разглядел профиль девушки, той самой, что обещала ему на вечер свое общество. Возле нее сидел уже кто-то другой, укрытый сплошной тенью. И когда он, Веретенников, сунулся было к ней со своим: «Добрый вечер, хозяйка! А вот и я...» — она отозвалась: «Кто это? Это вы?» — таким тоном, точно вовсе позабыла о его существовании.

За ужином ему пришлось поэтому довольствоваться компанией одного только унылого Истомина, у которого всегда как будто болели зубы. Преферанс также не состоялся из-за отсутствия третьего партнера — старый учитель куда-то ускользнул глядя на ночь. И, словом, у Веретенникова набралось достаточно оснований, чтобы обидеться, тем более что поход его к начальству закончился вполне успешно и в кармане у него лежали теперь все необходимые резолюции. Ему посчастливилось даже раздобыть тут, на месте, вторую машину — трехтонку с водителем, на которой он и вернулся и которая стояла сейчас рядом с машиной Кулика во дворе, а ее водитель ночевал в кабине. Это означало, что сверх всего запланированного ранее он привезет в дивизию еще и центросоюзовский сушеный картофель, и компот, и мед — целое сокровище! А вот в заслуженной награде за инициативу, за незаурядный успех ему было несправедливо отказано, как нередко случалось в мире. И его подчиненный, водитель Иван Кулик, завязавший знакомство с некоей Настей, «техничкой», проводил время, наверно, веселее, чем он. Вообще, в самом воздухе этого Дома веяло соблазнительным женским присутствием, влюбленностью, женской заботой. И только его, Веретенникова, наиболее, может быть, достойного, женское внимание не коснулось.

— Завтра подъем в шесть ноль-ноль, — приказал он Истомину. — Ни минутой позднее.

«Вот вам всем! — подумал Веретенников. — Люди воюют, а вы чем занимаетесь?..»

Но затем он смягчился. И, ложась, сунув под подушку сумку с документами и пистолет, он словно бы простил своим новым знакомым, а заодно и всему человечеству его слабости.

— Подъем в семь, готовность к восьми ноль-ноль, — перерешил он. — А кровати здесь хорошие, пружинные... Спокойной ночи, Виктор Константинович.

3

На рассвете недалеко от Дома учителя на шоссе ударила автоматная очередь, загремели выстрелы, и разбуженные галки полетели над садами. Стрельба тут же стала удаляться в сторону Красносельской дачи — так назывался старый сосновый бор, тянувшийся к востоку от города. И обитатели Дома учителя не дознались тогда, что это было, кто стрелял.. Мария Александровна рассказала, что, проснувшись раньше других, она слышала перед стрельбой громкие голоса на шоссе, крики, а потом кто-то пробежал совсем близко, за садовым забором, продираясь сквозь трещащие кусты. И действительно слежавшаяся там палая листва была разворочена чьими-то ногами, а в глухой черемуховой чаще свисали кое-где сломанные ветки... Но лишь позднее в райвоенкомате, куда Веретенников заехал, чтобы отметитья перед отбытием, он получил достоверную информацию об этой перестрелке.

Районный военком ввел проезжего техника-интенданта в обстановку: выяснилось, что в окрестностях города, пребывавшего до нынешнего утра в покое, появились немцы, диверсанты (вероятно, в одну из последних ночей здесь был сброшен парашютный десант), они были одеты в красноармейскую форму — прием не новый. На шоссе их вышло на рассвете четверо — возможно, то была лишь разведка, — наш патруль на въезде в город остановил их, спросил документы, и после недолгих препирательств (у немцев оказался кто-то, отлично говоривший по-русски) они открыли внезапно огонь. Один наш боец был убит наповал, другой ранен, и диверсантам удалось уйти и увести с собой своего раненого. Сейчас на поиски их и уничтожение отправился поднятый по тревоге местный истребительный отряд.

— Надеюсь, нет необходимости инструктировать вас, товарищ техник-интендант второго ранга! — сказал военком. — Будьте в дороге внимательны, особенно на лесистых участках. Не сажайте в машины неизвестных вам людей.

У этого очень уже немолодого командира были медленные тихие движения, шелестящий голос. И держался военком с той официальной сухостью, с той чопорностью, за которой скрывается иной раз боязнь обнаружить свою стариковскую немощь. Выбритый до красного раздражения на дряблых щеках, с жестким седоватым ежиком над бледным лбом, он выглядел на все полных шестьдесят лет, а то и на шестьдесят пять. Это был, несомненно, ветеран гражданской войны, дослужившийся в свое время до сравнительно высокого звания: на воротнике его опрятного, но заметно уже поношенного диагоналевого кителя алали ромбики комбрига... А вот аттестации на генерала он, видно, не прошел, подвели годы.

— Так точно, товарищ комбриг! — с лихостью выкрикнул Веретенников. — Будем держать оружие в готовности!

Маленький техник-интендант испытывал душевный подъем в присутствии любого начальства, даже непосредственно ему не опасного.

— Весьма обнадежен, — коротко сказал военком.

Пристукнув печать под своей подписью и датой на бумажке, поданной Веретенниковым, он, однако, не сразу его отпустил.

— Прощу садиться, — предложил он и указал на стул. — Вы недавно из дивизии? Как у вас обстановка? Прощу в общих чертах.

Выслушав ответ, из которого следовало, что там, откуда прибыл этот молодцеватый техник-интендант, никаких боевых действий не происходило — дивизия стояла в резерве и только готовилась к боям, — он погрузился в размышления. А Веретенников с интересом поглядывал вокруг — служебный кабинет старого ветерана выглядел не совсем обычно: весь был увешан по стенам картами, на одной стене — большая, от пола до потолка, карта Советского Союза, утыканная красными и черными флажками, изображавшими линию фронта, на других стенах — школьная карта полушарий и карта Европы. Замечательный письменный прибор украшал стол военкома: меж двух медных чернильниц, выточенных в виде артиллерийских снарядов, скакал на гривастом коньке кавалерист с обнаженным клинком, и Веретенников, не удержавшись, осторожно потрогал фигурку пальцем.

— Художественная вещица, — заметил он.

Военком поднял на него водянисто-голубые глаза.

— Я с утра не имею связи с управлением тыла, — проговорил он своим шелестящим голосом, — может быть, повреждена линия. По последним сведениям, полученным мною, противник бомбит штабы, тылы, коммуникации. Возможно, противник перешел на нашем участке

в новое наступление. Вам, я полагаю, надлежит знать об этом, товарищ техник-интендант второго ранга.

— Есть знать, товарищ комбриг! — отчеканил Веретенников.

Позвякивая шпорами, военком вышел из-за стола — сухопарый, неприступно-отчужденный, в накрахмаленном подворотничке, в белых манжетах, высывавшихся из рукавов кителя, в разношенных, но начищенных сапогах с задравшимися кверху носками.

— Замаскируйте машины ветками, — приказал он, — не пренебрегайте маскировкой... У меня все. Можете быть свободны.

Веретенников надел фуражку, откозырял и по-строевому — «налево, кругом» — повернулся; военком проводил его отрешенно-строгим взглядом. И, чувствуя на себе этот взгляд, маленький техник-интендант прошагал на прямых ногах до двери; визит к военкому доставил ему удовольствие. Вообще, он чувствовал себя превосходно: у него был хороший, победный, можно сказать, день.

Подобно большинству людей, Веретенников такой, каким он был «для себя», не совпадал с Веретенниковым «для других». В своей реальной жизни, в довоенную пору, он, работник торговой сети, поднялся пока всего лишь до должности заведующего отделом хлебобулочных изделий в большом гастрономическом магазине. Но параллельно с этой скуповатой действительностью Веретенников жил еще тайной жизнью в своем щедром воображении. И, как опять-таки случается у большинства людей, его любимые мечты мало менялись с годами, вернее, почти не менялась их тема, не старел главный образ, в котором и раскрывался весь тайный Веретенников. А это был образ волевого «капитана» — олицетворение той красоты, властной распорядительности, энергии, дисциплины и бесстрашия, что прельстили когда-то его душу. В свои двадцать восемь лет Веретенников по-прежнему был способен, как в мгновенном озарении, представить себя на капитанском мостике полярного ледокола, прокладывающего в арктических льдах путь каравану судов, или, к примеру, на большом пожаре, в блестящей каске брандмайора, отдающего в рупор команды бойцам с топорами и шлангами, — эта великолепная картина врезалась в его сознание в далеком детстве. Футбольный болельщик московского «Спартака», он однажды увидел себя во сне капитаном спартаковской команды, и он запомнил этот сон навсегда. Покупатели, теснившиеся в его хлебобулочном отделе, не догадывались, конечно, какие мысли волнуют низенького человека в припорощенном мучкой халате, когда он сосредоточенно наблюдал за движением батончиков и булочек, подававшихся с транспортеров на прилавки. А ему представлялось, что длинные пшеничные батончики похожи очертаниями на крейсера, «французские» булочки — на легкие эсминцы и сам он является как бы адмиралом этого невиданно огромного флота.

Впрочем, музыка воображения никогда не заглушала у Веретенникова деловой инициативы. Его отдел был лучшим в магазине по всем показателям — образ волевого капитана одухотворял его практическую деятельность. Так было и сейчас, в этой командировке. Две машины — не одна порожняя, с которой он отбыл из дивизии, а две, груженные до отказа, — ждали его команды ехать; он раздобыл и коньяк для комдива — две бутылки пятизвездного армянского! Все отлично клеилось сегодня у него, все удавалось! И предостережения старичка военкома не слишком его встревожили, некоторый элемент опасности даже украшал его командировку.

Со второй машиной ему просто неслыханно повезло: не заговори он вчера вечером в городской столовой с ее водителем, он не заполучил бы ее. Но, с другой стороны, он совсем не случайно обратил внимание на армейскую пустующую трехтонку, словно бы брошенную

у крыльца столовой,— он искал транспорт, он думал о нем. Шофер трехтонки — вконец растерявшийся парень в обтрепанном ватнике, обросший кустистой, словно бы выщипанной местами щетиной,— пу- тано рассказывал, как он не по своей вине отстал от автобата. И он прямо-таки схватился за предложение Веретенникова поступить — временно, разумеется, — в новое подчинение; казалось, он предпочел бы даже вовсе не возвращаться в свою часть. Так или иначе Веретенников пообещал уладить в штабе дивизии его личную незадачу. И было приятно смотреть, как этот завербованный им парень усерд- ствовал сегодня на складе Центросоюза, таская мешки с картофелем и ворочая тяжеленные белые кленовые кадки с гречишным медом.

Веретенников торопил, распоряжался, подбадривал, подставляя при случае и свое плечо, успевая в то же время говорить утешитель- ные слова заплаканной заведующей складом. Женщина получила нынче письмо из госпиталя от раненого мужа, и, что бы ни делала, ни говорила, слезы неостановимо выкатывались у нее из припухших глаз. «Ранен — не убит, радоваться надо, Лидия Трифоновна», — уча- стливо говорил Веретенников, справившись заблаговременно об ее имени-отчестве. Про себя, однако, он не мог удержаться от улыбки, мысленно рисуя свое возвращение в дивизию. Мед, привезенный им, сразу же с машины пойдет в медсанбат, а затем о меде и о сушеном картофеле — продукте бесценном в походных условиях — дивизион- ный интендант доложит, конечно, командиру дивизии. И было вполне возможно, что и в армейском штабе станет известно о выдающихся результатах этого интендантского «рейда по тылам». Все приятные последствия «рейда» трудно было предугадать. Из Центросоюза Ве- ретенников со своей командой на двух машинах покотил на масло- завод. И проведенные там два часа порадовали не его одного: даже этот горе-ополченец, кандидат наук Истомин, неплохо там себя по- казал.

Виктор Константинович проснулся сегодня в гостинице Дома учи- теля, охваченный совершенно безосновательным, казалось, предчув- ствием какой-то перемены к лучшему. Может быть, тут сыграло роль то, что впервые за долгое время он прекрасно, всласть выпался в свежей, «маминой» постели в тихой опрятной комнате. Могло быть и так, что чересчур долгое страдание утомило Виктора Константинови- ча, превысило его душевные силы и он безотчетно потянулся к осво- бождению от этого бремени. Поглядев на Веретенникова, приступив- шего уже к зарядке, ловко и часто приседавшего в узком проходе между кроватями, он и сам вскочил с кровати и немного потопал по полу тощими белыми ногами. Это напомнило ему о собственном, еще живом, не очень старом теле, способном легко двигаться, ощущать прохладу пола, тепло солнечных лучей, проникавших в щели ставен. Откуда-то из соседних комнат повеяло ни с чем не сравнимым запа- хом настоящего, умело сваренного кофе, и он глубоко втянул в себя забытый запах, донесшийся точно привет из дома в Большом Афа- насьевском в Москве.

«Что сегодня в сводке Совинформбюро? — подумал Виктор Кон- стантинович.— А может быть, а вдруг там... перелом на фронте, боль- шая победа?» Душа его в это утро раскрылась для добрых вестей и впечатлений.

На маслозавод они все приехали около полудня, и ему там опять же чрезвычайно понравилось. Само слово «завод», тяжеловесное, точ- но налитое чугуном, задымленное угольным дымом, не вязалось с этим милым полудеревенским уголком... Распахнулись ворота с узкой двускатной кровелькой, и открылся просторный зеленый двор с ря- биновыми кустами, лиловато-багряными в эту пору бабьего лета; под

кустами стояли зеленые садовые скамейки со спинками, врытые многоугольником вокруг дощатых столиков. А в глубине двора чистенько белели три-четыре одноэтажных строения — это и был завод. Длинный, с крытым крылечком дом, в котором могла бы скорее находиться сельская школа или другое детское заведение, был, как выяснилось, главным производственным корпусом. Но и в самом деле запахом детского сада, колыбели, яслей пахнуло на Виктора Константиновича, когда он следом за Веретенниковым переступил порог цеха.

Удивляться, впрочем, было нечему: здесь текли молочные реки, вернее, реки сливок, плескавшихся в дубовых бочонках маслосбивальных аппаратов. Готовая продукция — сливочные бело-желтые монолиты, сбрызнутые водой, — распространяла вокруг себя неяркое масляное свечение, и в этом жемчужном воздухе двигались гладколицые, розовые, все больше дородные женщины в белом, тоже похожие на нянечек из детсада.

— Кушайте, сыночки! — сказала румяная тучная старуха, бригадир, поставив перед гостями по кружке сливок.

И, подперев круглым кулачком голову и придерживая согнутый локоть кистью другой руки, сложенной ковшиком, она с сострадательным вниманием, совсем как нянечка, смотрела на военных, пока они пили.

Вскоре в машине Кулика кузов был тесно уставлен бочками с маслом, а на заводском складе образовалась заметная пустота. Прозвенел кусок рельса, подвешенного к ветке дерева, возвестив обеденный перерыв, и работницы, вышедшие во двор, обступили военных. Чувствуя на себе общее внимание, Веретенников, приподнимаясь на носки и вытягивая шею, поблагодарил за «подарок фронтовикам», как он выразился, и, увлекшись, сказал даже, что этот подарок придаст бойцам силы для разгрома врага... Слушали его, надо сказать, с каким-то неясным отношением, не то что с недоверием, но словно бы с сочувствием, кто-то вздохнул, кто-то покачал сожалеательно головой. Как стало позднее известно Истомину, на заводе ожидалось уже со дня на день прекращение работы.

— Моего Сорокина не встречали там на войне? — раздалось из группы женщин, как только Веретенников замолк. — Сорокин Илья Федорович, пожилой он, сорок четыре года.

Веретенников обернулся к своей маленькой команде: не встречался ли кому-либо из его людей этот Илья Федорович?.. Женщина переводила глаза с одного лица на другое, и под ее просящим взглядом мужчины молча хмурились.

— Как ушел в первый день, двадцать второго, так и голоса ни разу не подал, — пожаловалась она горько на мужа, — пропал человек, как и не был.

Молчание затягивалось, и румяная старуха, угощавшая в цехе сливками, сказала:

— Должно, твой не на ихнем участке. Война — она через всю Россию идет.

— Присядемте перед дорогой, — басом сказала женщина — директор завода, крупная, с непомерно большой, распиравшей жакет грудью.

Веретенников хмыкнул — мол, что за суеверие, — но сел; женщины — те, кому не досталось места на скамейках — подошли вплотную к сидящим. И на Истомина вновь наплыл пресный сладковатый молочный запах — запах детства. Работницы тихонько коротко переговаривались между собой, поглядывая по-доброму на гостей, обмениваясь какими-то впечатлениями. И Виктору Константиновичу растороганно подумалось: «Какие они все терпеливые!.. Какие снисходи-

тельные и терпеливые!» Оять по смутной связи со всем тем, что приняла в себя сегодня его душа, ему тут же пришло в голову: «А может быть, скоро уже победа, может быть, сегодня...» Эти женщины заслуживали ее больше, чем кто бы то ни было.

Девушка, почти что девочка, со сливочно-розовыми, словно надутыми щеками подалась вперед и выкрикнула:

— Дяденьки!.. Товарищ лейтенант, можно вас спросить?

— Говори, Астафьева,— разрешила женщина-директор.

— Я что подумала...— Глаза девушки расширились, как от испуга.— Есть на свете правда или нет?

— Интересуешься, значит? — со смешком отозвался чей-то женский голос.— Скажи пожалуйста.

— А я теперь не пойму: есть ли, нет? — выкрикнула девушка.— Не может так быть... Ну, не может, чтобы на фашистской стороне была правда! А почему тогда они нас побеждают?! Почему? Мы за то, чтобы всем было хорошо, всем народам по-человечески!.. И мы крепили нашу оборону. А почему тогда?.. Вот я думаю, думаю...

Она запнулась и посмотрела на директора.

— Лучше бы ты совсем не думала, Астафьева,— сказала та.— Ты же комсомолка, а не знаешь, где, на чьей стороне правда?

— В том-то и дело! — воскликнула девушка.— Правда на нашей стороне. А фрицы нас побеждают! Почему?

— Эко загвоздила! — проговорил тот же насмешливый голос.

Веретенников легонько подтолкнул локтем сидевшего рядом Истомина.

— С подковыркой пошел разговор. А вы что скажете, товарищ кандидат наук, есть правда или того... убежала в неизвестном направлении?— Сам он явно не нашелся сразу, что ответить. И он кивком показал всем на своего бойца.— Профессор из Москвы, автор книг, наш ополченец!.. Так что же, товарищ профессор, где она, правда, на чьей стороне? — с усмешкой, как бы снисходя к книжной учености своего солдата, сказал он.— Товарищи женщины интересуются.

И застигнутый врасплох Виктор Константинович беспомощно задвигался, поднял, обороняясь, руку. «Не мне отвечать... Я и сам...» — чуть не сорвалось у него с языка. Но его остерегло наступившее безмолвие — эти осиротевшие женщины затеснились к нему и опасливое выражение, какое бывает у людей на приеме у врача, сделало похожими их лица, молодые и немолодые. Виктор Константинович встал, сел, встал во весь рост... И в последнее мгновение, когда молчать было уже невозможно, кто-то другой, показалось ему, а не он, проговорил его голосом:

— Правда? Вы спрашиваете, милая девушка, где правда? Она на стороне молодости и жизни... То есть на вашей стороне, дорогой юный товарищ!

Раздалось громкое «ой!», и девушка, задавая вопрос, попятилась, чтобы укрыться за спинами товаров.

А Истомин почувствовал облегчение, и ему даже понравилось, как он начал,— видно, он не окончательно еще огрубел на войне, не оступел. Стремясь со всей искренностью утешить свою аудиторию, он продолжал торопливо, возбужденно:

— Но я понимаю ваше недоумение. Да, да, оно вполне законо! Вы исходите из правильной мысли, из мысли, что сильными делает людей сознание своей правоты, что наивысшую силу питает поэтому стремление к добру, к справедливости, к всеобщему счастью. Это, конечно, так и есть! Но если это так, то почему же, спрашиваете вы, побеждают немцы, фашисты? Ведь фашизм — величайшее преступле-

ние, фашизм — это неправда, это зло, чернее которого ничего нет. Почему же он сильнее?..

Истомин помедлил, его длинное исхудалое «блоковское» лицо выразило страдальческое ожидание своего же ответа.

— А он не сильнее...— опять кто-то будто проговорил за него, но его голосом.

«Неужели это я?..— крайне подивился он.— И неужели зло действительно не сильнее?» Он был прямо-таки потрясен и, не зная еще, верить или не верить этому своему открытию, проговорил с чувством освобождения:

— Вот тут вы ошибаетесь, милая девушка, зло не сильнее добра! И никогда не было сильнее в конечном счете!

Он отыскал среди множества женских лиц розовое, надутое, точно обиженное личико и обрадованно ему улыбнулся.

— Оглянитесь на историю! Это бывает очень полезно! — прокричал он.— И вы увидите: во все эпохи, в каждом человеческом обществе шла борьба — вечная борьба жизни со смертью, свободы с угнетением, света с тьмой! Бывали мрачные периоды, когда казалось, что все погубило, ночь, мрак опускались на землю. Но из века в век — оглянитесь на историю! — побеждали жизнь и правда! Озирис был убит, а потом воскрес...

Виктор Константинович почувствовал мгновенное колебание: может быть, не стоило об Озирисе? Но ничего более образно-доказательного не подсказала в эту секунду его память.

— Озирис — это бог воды в Древнем Египте,— снова зашептал он,— Озирис научил также людей земледелию, это был бог-благодетель. Так вот, младший его брат Сет позавидовал Озирису и лишил его жизни...

— Ближе к существу дела, товарищ профессор!— дошел к Виктору Константиновичу как издалика голос Веретенникова.

— А, да, да...— Он быстро закивал, развел руками.— Позвольте мне еще несколько минут... Я хотел рассказать товарищам женщинам, нашим гостеприимным хозяйкам, один старый миф, то есть легенду. Простите! Так вот, жена Озириса Изида, богиня материнства и плодородия, оплакивала своего мужа. И ее слезы и ее любовь оживили его. Это, конечно, не более чем поэтический вымысел. Но в нем есть огромный смысл!..

«Что со мной?... И стал оптимистом! Что случилось?..» — проносилось в его голове. И, дивясь и не до конца еще веря этой метаморфозе, он испытывал особенное удовольствие, опровергая сейчас самого себя.

— Жизнь, свет, любовь побеждают смерть, ночь, ненависть! — выкрикивал он, наслаждаясь.— Изида — женщина, носительница вечного животворного начала! Я только об этом хотел напомнить. Мы и свою родину видим женщиной, мы говорим: родина-мать! Поэтому в конечном счете... Ну, все, все!..

Он смешался, плюхнулся на скамейку и в растерянности поднял глаза на свою аудиторию. «Ну что, как?» — спрашивали его глаза... Надутая девушка, которую называли Астафьевой, отвернулась, точно застыдившись, иные слушательницы смотрели на него с любопытством. Женщина-директор сохранила серьезное выражение.

— Спасибо за красивую сказку, товарищ профессор! — сказала она.— Конечно, сейчас у нас период тяжелый.

— Бог правду видит, да не скоро скажет,— вступила в разговор румяная старуха бригадирша.

— Но ваш намек мы понимаем,— продолжала директорша.— Передайте там своим товарищам бойцам: мы, женщины, трудящиеся

в тылу, только об них и думаем и нет нам ни часа покоя от наших дум. А они пусть об нас не тревожатся. Мы и детей соблюдем и себя, и мы прокормимся, ничего...

Она глубоко вздохнула.

Веретенников хмыкнул, поднялся со скамейки, и все стали прощаться.

— На политрабату, Виктор Константинович, ставить вас еще рановато,— сказал он Истомину, когда они шли к машине.— С народом надо конкретно, ближе к практическим вопросам.

— Да, наверно, вы правы,— охотно согласился Истомин,— какой из меня политрабантик!

Он все еще находился в необыкновенном возбуждении: пусть даже речь его оказалась неудачной, чересчур книжной, он был потрясен тем, что смог ее сказать и, более того, сам ей поверить. И если даже ему не слишком удалось утешить своих слушательниц, она утешила его самого.

Чтобы возвратиться в Дом учителя, надо было с одной городской окраины проехать на другую. И состарившийся на покое, в окружении своих садов городок снова весь открылся Виктору Константиновичу. Он еще раз увидел эти деревянные улочки и эту бревенчатую церковку-вековушку с островерхим чешуйчатым куполом, а ближе к центру эти каменные толстенные дома с полуциркульными окнами, с ампирными портиками — школу, больницу, горсовет, проймаг, эту бульжную площадь с белой аркадой торгового ряда, с легкой, обитой кумачом трибункой, этот разросшийся бульвар и полосатую будку алебардчика, в которой сидел ныне милиционер. Вдалеке над разливом медно-зеленой листвы то показывались, то исчезали зубчатые венцы башен монастырского кремля и маячила бело-сахарная соборная звонница. Все еще держалась ясная погода, и в прозрачной голубизне осеннего дня городок пронесся мимо, подобный овеществленному воспоминанию, каменному эху давно умолкшего прошлого.

А впрочем, по улицам ходил народ, продавались билеты в кино-театр, где сегодня показывали «Девушку с характером», посередине бульвара маршировал отряд школьников — все с сумками противогазов; встрепанная девочка в тапочках на босу ногу вела на шнурке белую козу, перебиравшую по мостовой, как на цыпочках, своими остренькими копытцами.

И Виктор Константинович почувствовал благодарность за все, что он здесь пережил и увидел, благодарность даже к этой вот взломаченной Эсмеральде с ее козой. А его смутное предчувствие — надежда на счастливый перелом в войне, на победу, что так страстно ожидалась, — превратилось почти что в уверенность: уж очень хорошо он себя сейчас чувствовал!

Недолго задержавшись у райвоенкомата, пока Веретенников навевывался туда, дольше постояв возле столовой, где все пообедали жареной курятиной за счет командира, обе машины вкатили во двор Дома учителя. И здесь настроение у Виктора Константиновича понизилось: обитатели Дома собрались бежать из города, с минуты на минуту за ними должны были приехать... Желая попрощаться с хозяйкой Дома, Веретенников и Истомин нашли ее в зале; одетая по-дорожному, в какой-то допотопный, обшитый галуном черный костюм, в черной кружевной шали на седой голове, Ольга Александровна одиноко там прохаживалась. Выглядела она даже спокойнее, чем вчера, когда устраивала здесь гостей, но казалась рассеянной и словно бы все что-то обдумывала. Когда Веретенников — деловой человек — осведомился, будет ли кто-нибудь в ее отсутствие при-

смаковать за этим «оазисом», она растерянно улыбнулась. В нарядном, залитом солнцем зальце все, надо сказать, оставалось нетронутым, ни одной вещи не было убрано. И после того как Веретенников повторил вопрос, Ольга Александровна коротко ответила, что о Доме позаботится кто-то другой.

— Советую на основании опыта,— сказал Веретенников,— все материально ценное снесите в одно место — и под хороший замок.

— А зачем? — только и проговорила она.

— Дорогая Ольга Александровна, самое тяжелое, может быть, позади уже,— сказал Истомин.

— Может быть... Может быть... — рассеянно повторила она.

Затем она пожелала товарищам фронтовикам счастливого пути, милостивой — так она выразилась — судьбы. И опять стала неспешно прохаживаться по своему цветущему садику меж фикусов, роз и лимонных деревьев, упорно что-то про себя обдумывая.

Племянница Ольги Александровны Лена попалась Истомину во дворе; она куда-то стремительно неслась, но Виктор Константинович успел заметить, что кончик ее носа покраснел от слез; незастегнутое лямное пальто канареечного цвета приподнималось за ее спиной одним большим крылом. На бегу Лена жалобно улыбнулась Виктору Константиновичу, он невольно сравнил ее с вылетевшим из гнезда в свой первый, страшный полет птенцом с красным носиком.

Польских беженцев не было видно: затворившись в комнатке Барановских, они совещались, вероятно, о том, как им теперь быть — дожидаться ли еще указаний сверху или уходить вместе со всеми. Положение у них действительно было вдвойне трудное — о них могли просто не вспомнить в эти дни.

Ваня Кулик, выключив мотор, достал расческу и, повернув зеркальце над ветровым стеклом так, чтобы видеть себя, причесался. Заглянув затем в свой продуктовый запасник, устроенный под сиденьем в кабине, и переложив половину его содержимого в карманы, он пошел прощаться с Настей... Когда на рассвете он проснулся, ее уже не было рядом: она поднялась раньше, он и не слышал. А повидать ее перед отъездом Кулика очень тянуло по мотивам противоречивым: и по чувству признательности и по чувству своей, и не только своей, общей их вины, непривычно тяготившей его. Ничего плохого, в сущности, у них не произошло, он переспал с нею — только всего, велик ли проступок! И она так искренно, так щедро его любила, что, вспоминая ее любовь, он немного дурел, похохатывал, начинал петь, подарил ни с того ни с сего свой запасной домкрат этому растяпе, новому их шоферу... Но нет-нет да и покалывало Кулика неопределенное поначалу беспокойство. «Соскучилась баба без мужика, простое дело. А нам тоже зевать не положено», — говорил он себе, оправдывая их обоих. Однако неприятное чувство не только не проходило, но постепенно созрело во вполне ясную мысль: «А ведь она не меня любила, она того, другого, целовала, что там, в Финляндии, пропал». И отвязаться от этой мысли Кулику уже не удавалось. «Не свое взял, чужое», — дошел он и до такого соображения. И хотя, опять же, взял он только то, что никому не принадлежало — мертвые ничем не владеют, — ему почему-то вспоминалась фотография сумрачного сержанта, убитого на финской.

С Настей столкнулся в кухне, на пороге ее жилища. Она выходила из своей пристройки, и в руках у нее было по узлу. Увидев его, она подалась назад, явно желая избежать этой встречи.

— Здорово! Как дела? — брякнул он и тут же понял, что сморозил глупость: о делах можно было не спрашивать.

Она опустила на пол свои узлы, один ковровый, другой из мешковины, перевязанные веревками, выпрямилась и нехорошо, отчужденно взглянула на него. Сейчас, при свете дня, она показалась Кулику почти незнакомой, самой что ни на есть обыкновенной: куда только подевалась вчерашняя невеста в полувоздушном одеянии, с золотым пояском, в белом веночке? На Насте были ватная стеганка, подпоясанная ремненным кушаком, толстый серый платок, замотанный на шее, тяжелые яловичные сапоги. И если б только не диковинные, глубоко посаженные, огромные глаза, ее вообще было бы не узнать. Но и глаза ее изменились: ночью они казались совершенно черными, блестели золотисто-огненным блеском; сегодня они были серыми, матовыми, будто охолодавшими.

— Прекрасные дела,— сказала она тихо.— Ну, что ты?.. Чего тебе?..

— Ничего... Уезжаем мы... Нынче здесь — завтра там.

— Счастливо,— сказала она.— Езжайте.

— Лапушка! — Он сделал движение к ней.— Может, свидимся еще когда? И на войне не всех убивают.

— Нет, не свидимся! — Она словно бы даже испугалась.— А про то, что было, забудь... Ничего не было.

Кулик моргнул, натужно улыбнулся.

— Как так — не было?

— А вот так... Дай мне пройти!

— Как же не было, когда было,— сказал он сипло.— Да ты стой... стой, красавица моя!

— Ничего у нас не было.— Она не усилила голоса, но будто вдруг затосковала, будто сразу утомилась.— Чего стоишь?.. Прощай!

— Прощай! — обиженно проговорил Кулик.— Гонишь теперь. А я тебя не силой брал...

Настя прикрыла ресницами глаза, точно ей трудно было смотреть на него.

— Лучше бы уж силой. Пусти, уходи!

И, подхватив свои узлы, она двинулась прямо на него, как в пуготу; он невольно отклонился.

— Дай поднесу! — попросил он.

Она не ответила, ногой в сапоге толкнула дверь, протиснулась с узлами в коридор, и дверь за нею захлопнулась.

— Гадюка! — пробормотал Кулик.— Вот гадюка!

Бранясь, он пошел к выходу... Но из сеней вернулся и, продолжая сыпать ругательствами, вышвырнул из карманов на стол все, что принес из своего запасника. Он не мог заглушить в себе странного чувства к этой женщине, чувства близости к ней от соучастия в общем плохом, нечестном деле. Каким бы оно ни было, оно уже связало их: Кулик и негодовал на Настю и против воли испытывал уже какую-то ответственность за нее. Бросая на выскобленные доски кухонного стола консервы, печенье, кружок колбасы, он в сердцах приговаривал:

— Получай за свое б...во! Вот тебе, вот! Ты-то больше виновата!.. Получай!

Спустя полчаса обе машины Веретенникова выехали из ворот Дома учителя. В первой рядом с новым шофером Кобяковым сидел в кабине Истомин; вторую, с бочками масла, вел Кулик, с ним ехал Веретенников, выбравший его машину, чтобы не терять из виду головную с новичком. Перед отправлением техник-интендант распорядился всем проверить и привести в боевую готовность личное оружие, почистить и зарядить; сам он расстегнул кобуру ТТ, чтобы не замешкаться, если придется стрелять. Вообще-то он не был убежден

в необходимости этих предосторожностей, но предпринял он их даже не без удовольствия.

Проводить машины вышли за ворота слепая Мария Александровна и поляк Осенка... Машины скрылись уже за изгибом улочки, а Мария Александровна все махала им своей узкой бескостной ручкой — она долго еще их слышала.

Шестая глава

ТРЕТЬЯ РОТА ИДЕТ В БОЙ. ШКОЛЬНИКИ

1

Ночью в Спасское пришел раненный осколком лось, он спотыкался и сипло трубил о своей беде. На площади перед лавкой сельпо он упал на подогнувшиеся колени и склонился к земле длинной головой с тяжелыми рогами-лопатами. Судорога прошла по его горбтому хребту, и лось затих...

Спасское, стоявшее в стороне от железной дороги, от Московского шоссе, прикрытое с запада вековым лесом, оставалось покамест в стороне и от боев. Пушки гремели где-то недалеко, порой слышалась даже пулеметная стрельба, но каким-то островком неверного покоя было до времени это большое село с его без малого тремястами дворами — фронт обтекал их.

Лишь на третьи сутки нового немецкого наступления в Спасском стали то в одиночку, то маленькими группами появляться солдаты, отбившиеся от своих частей. Задымленные, грязные, иные в почерневших бинтах, они садились у колодцев прямо в пыль, жадно пили воду, перематывали задубевшие портянки, поспешно расспрашивали о дороге и уходили. Промчалось через село с запада на восток, не останавливаясь, несколько штабных машин, некоторые с пулевыми звездными отверстиями в стеклах; проскакала с громом и топотом гаубичная батарея, и артиллеристы тоже не остановились, чтобы дать отдых взмокшим коням.

Был безветренный ясный день, один из тех дней конца осени, которые так похожи на самое начало весны. Но невидимая, отдаленно ревевшая буря словно бы неслась по следу этих людей и гнала их все дальше. Под вечер в Спасское въехал большой санитарный обоз — длинная вереница повозок с их тихой, будто уже неживой человеческой кладью потянулась мимо школы на окраине села. И соскочивший с повозки врач нетерпеливо допытывался у Сергея Алексеевича Самосуда, не перехвачена ли немцами дорога в город.

— Никто не может мне сказать, где сейчас противник, — сердито пожаловался он. — А на руках у меня девяносто семь человек...

Врач был очень молод, может быть, еще до срока выпущен в армию с последнего курса. Присев на краешек стула, он стащил с головы новенькую, с зеленым медицинским околышем фуражку, оставившую на лбу мученический рубец, и, потирая лоб, проговорил:

— Еду как с завязанными глазами. А по правилам... Да что толковать!

Он в сердцах хлопнул по кобуре с наганом, оттягивавшей его командирский ремень.

— Вот все наше вооружение! И два карабина в обозе... Безумству храбрых поем мы песню!..

«Сердитый юноша не свыкся еще, видимо, с тем, что правила и война — «две вещи несовместные»...», — подумал Сергей Алексеевич.

— Хотите чаю? — спросил он. — У нас поспел самовар.

— Благодарю!.. Надо ехать... У меня много тяжелых...

Юноша вскочил, насунил на лоб фуражку — его розовое лицо болезненно покривилось — и откозырял.

— Пойдите-ка, товарищ Гиппократ! — Сергею Алексеевичу врач понравился. — Давайте напоим чаем ваших раненых. Это займет не больше получаса, а самовар у нас архиерейский, трехведерный.

Молодой медик насупился, повертел отрицательно головой, но вдруг согласился, и они вдвоем вынесли самовар на крыльцо. В довоенные времена этот медный богатырь украшал школьную столовую, тепло сияя в конце стола; теперь «техничка» тетя Лукерья ставила его для бойцов — случалось, забегали, бедаолаги, в школу за огоньком, за водой... И перед крыльцом тотчас же выстроилась очередь бородатых нестроевиков, ездовых молоденьких санитарок; на повозках люди зашевелились, приподнимались, кто-то с толсто забинтованной головой сполз с повозки и, шатаясь, загребая ногами, пошел к крыльцу. А там вокруг солнечно лучившегося великана, увенчанного конфоркой, как короной, вновь зашумела на короткие минуты жизнь, даже зазвучал женский смех. И странно и ужасно в этот добрый шум ворвалась громкая отрывочная речь, раздававшаяся на одной из повозок:

— ...Денек-то!.. Хорош денек!.. А ты что?.. Да не надо, теплынь ведь... Ната, Наташка!.. Море как стекло... Славный денек!.. Ну, пошли, помчались...

— Комбат Деревянко умирает... Не довезу, наверно, — сказал врач. — Тяжелое, черепное...

И школьный двор вскоре опять опустел, обоз потянулся дальше, в город, в госпиталь. Пыль, вставшая из-под копыт крестьянских сивок и гнедков, окрасилась в цвет вечерней зари, и последняя подвода потонула в этой светлой мгле.

— Советую и вам не мешкать, товарищ педагог, уезжайте! — на прощание посоветовал медик Самосуду и побежал догонять своих раненых.

Сергей Алексеевич постоял немного на крыльце, глядя вслед.

«Пора и мне с моими ребятами, — мысленно проговорил он, — вот и настал день...»

При мысли об этих своих ребятах Сергей Алексеевич по-стариковски длинно вздохнул — он страдал, как страдают от любви. Вероятно, он не имел уже права задумываться над вопросом, брать ребят с собой или распустить по домам, все было решено. Но каждый раз, говоря себе, что наступит день, когда он, никто другой, поведет их в смертное пекло, где и самая большая любовь не защищает от летящего навстречу свинца, он испытывал удар боли.

К жестокому этому дню Самосуд готовился уже давно, с одной сентябрьской ночи в райкоме партии, когда ему, участнику гражданской войны, комиссару тех лет, вновь было поручено боевое дело — создание партизанского отряда. Множество забот, очень далеких от мирных обязанностей, сразу же свалилось на него: вооружение отряда, продовольствие, запасные склады, связь, медикаменты, технические средства, взрывчатка и, конечно, люди, люди, с которыми он должен был остаться в немецком тылу! Кроме ненависти к врагам, от них требовалось еще многое другое: какая-то военная выучка и телесное здоровье, дисциплинированность и специальные познания в подрывном деле, в радиосвязи, а сверх того, и главным образом, духовная доблесть. И если о деловых качествах кандидата можно было судить по его довоенным занятиям, а в известной мере по ан-

кете в отделе кадров, то гораздо труднее было не обмануться в его способности к подвигу — тут не могла помочь и самая подробная анкета. Но как раз в этих заботах о кадрах, говоря официальным языком, Самосуда ждала необыкновенная удача, а вместе с тем и бурчайшая тревога.

...В долгой жизни Сергея Алексеевича Самосуда был и такой момент, когда он посчитал себя потерпевшим личное крушение. Мировая война помешала ему устроить свою частную жизнь: он так и не женился, не обзавелся семьей. Может быть даже, это попортило его характер: на людей, мало его знавших, Самосуд производил впечатление желчного, колючего человека. И только в своем каждодневном труде, там, где все было ему и близко и дорого, он словно бы становился снисходительнее — его школа и стала его личной жизнью. Приехав вновь в родные места в самом конце двадцатых годов — все же его не переставало сюда тянуть, — он получил назначение в Спасское. И здесь, в Спасском, с полной ясностью обнаружилось его истинное, лишь приглушенное на время призвание: не по случайности он и учился некогда для того именно, чтобы стать учителем.

Как и всякий педагог по призванию, Сергей Алексеевич был художником... И если живописцу материалом, в котором воплощается образ, служат цвет и объем, если поэту служит слово, то школьный учитель имеет дело с «материалом» самым драгоценным и хрупким — с детской душой. Ныне, по убеждению Сергея Алексеевича, а вернее, по самому его вкусу к жизни, не существовало ничего более приманивающего, чем это общение с живой душой, раскрытой и для добрых семян и для сорняков. Собственно, и в давние годы комиссар Самосуд испытывал то же учительское, художническое удовлетворение, когда бойцы его дивизии имени Третьего Интернационала побеждали белые офицерские полки. В походах и битвах происходило очеловечивание: паренек в лаптях, пришедший чуть ли не из восемнадцатого столетия, не умевший написать свое имя, превращался в агитатора и защитника самых высоких идеалов. И это он — комиссар — обучал его грамоте классовой борьбы.

В Спасском Самосуд не только выполнял директорские обязанности и не только давал уроки русского языка и литературы, он был еще классным руководителем; одна из его педагогических идей и заключалась в том, что классному руководителю надлежало стать центральной фигурой в школе. Много лет назад он, следуя своей идее, взял себе группу мальчиков и девочек, принятых в первый класс, взял с намерением провести их через все классы школы. И оно так и произошло: все годы он растил эти души, ухаживал за ними, укреплял их...

Нельзя было сказать, что Сергей Алексеевич дружил со своими ребятами, как нельзя сказать, что художник дружит со своей картиной, — он живет в ней. В младших классах Самосуд ходил с ребятами в лес по грибы, на реку, сочинял для них сказки, помогал готовить уроки, разбирал их конфликты; когда его подопечные подросли, он затеял с ними издание машинописного «литературно-общественного журнала», называвшегося без излишней скромности «Современник», в котором печатались их стихи, рассказы, статьи. И во всех этих совместных делах — а к ним надо прибавить и шефство над сельским клубом, и помощь совхозу на уборке, и многое другое — возникло у Самосуда как бы художническое чувство собственности на свое создание — на своих ребят. Очень внимательно следил он за их чтением. Александра Дюма с «Тремя мушкетерами» — «тремя

архаровцами», как он выражался,— он лишь терпел и требовал, чтобы все прочли не только «Как закалялась сталь», но и «Чапаева» Фурманова, и «Отверженных» Гюго. Во время испанских событий в его школе висела большая, нарисованная ребятами карта Испании; после Хасана его класс стал переписываться с участниками боев на той далекой границе. А в год перед войной Сергей Алексеевич, к удивлению района, устроил в Спасском состязание поэтов — их неожиданно много объявилось у него, это было удивительное поветрие. Стихотворение, в высшей степени патетическое, к Первомаю написал даже завхоз школы, незаметный многосемейный Петр Дмитриевич Овчинников.

С района у Самосуда сложились отношения не то чтобы плохие, но выжидательные. Ему не мешали, но ему указывали на гуманитарный крен и оторванность от требований практической жизни; Сергей Алексеевич отвечал, что ничто не имеет такого значения для практики, как душевные качества — социальная отзывчивость и благородство помыслов. А они воспитываются поэзией... «Если вы хотите,— говорил он,— чтобы директор завода не ловчил, не делал приписок и прочего, помогите ему в юности полюбить Гюго и Пушкина». Внутри самой школы тоже не обходилось без борьбы мнений. Были речи и о том, что Самосуд слишком много отдает внимания своему классу, что он воспитывает любимчиков; математик в старших классах жаловался, что ему не хватает часов на усвоение программы. Но, в общем, и учительский коллектив и комсомол поддерживали Сергея Алексеевича — в этой школе было интересно и учиться и учить.

Выпускной вечер в школе состоялся в июне, и Самосуд, прощаясь с выпускниками, не без труда скрывал свое как бы разочарование: вот растил, воспитывал — и все кончилось, его создание уходило от него, ребята готовились разлететься в разные стороны. Вскоре, однако, выяснилось, что ему можно было и не прощаться, потому что он не расстался со своим классом.

Война быстро приблизилась к Спасскому — уже в первой половине июля завязались бои под Смоленском, Спасское сделалось прифронтовым селом. И в одно июльское утро к Самосуду с просьбой пришли от его выпускников трое делегатов: ребята всем классом собрались в армию, на фронт. «Удачно у нас получилось, мы как раз успели кончить школу», — сказал глава делегации Сережа Богомолов. Единственное затруднение, по его словам, заключалось в том, что и самый старший из них не достиг еще призывного возраста. И делегаты попросили Сергея Алексеевича, их многолетнего наставника, хлопотать для своего класса об исключении из общего правила.

— У вас же авторитет в районе,— сказал Сережа.

— Всем классом надумали идти? — с непонятной угрюмостью переспросил Сергей Алексеевич.

— Так постановили,— сказал Сережа.

Самосуд привел ребят к себе на квартиру — жил он тут же в школе,— усадил, достал бутылку вишневой наливки и разлил по рюмочке.

— Аники-воины, Аники-воины,— приговаривал он время от времени.— Постановили, говорите, единогласно?

— После небольшой дискуссии,— серьезно ответил Сережа.

В облике этого парня была приметная особенность — необыкновенная, прямо-таки смущающая напряженность взгляда; в остальном он ничем не выделялся: грубовато очерченное лицо, прямые русые волосы, падающие на лоб. Но смотрел он на все и на всех с таким

сосредоточенным вниманием, что долго выдерживать его взгляд было трудно.

— Голубкин говорил, что надо сперва пройти военное обучение,— продолжал Сережа,— отчасти Голубкин был прав. Но потом согласился, что пройдем его на фронте.

— Ага, на фронте...— Сергей Алексеевич покивал, точно и он придерживался того же мнения.

Посматривая на другого члена делегации — Женю Серебрянникова, сына совхозного агронома, лучшего в школе поэта, белолицего, с россыпью розовых прыщиков на подбородке, тщательно на косой пробор причесанного (Женя весьма следил за своей внешностью),— Сергей Алексеевич будто с неудовольствием отворачивался. Вдруг он подсел к нему на диван и обнял молча за острые плечи. Женя вздрогнул, попытался высвободиться, но, подумав, должно быть, что он может обидеть Сергея Алексеевича, замер в неловкой позе. А Самосуд все не отпуская его, вспоминая старую историю, о которой не забыл, наверно, и Женя.

...Было это довольно давно. На школьную елку Женя, ему шел тогда одиннадцатый год, взял свою соседку, пятилетнюю Машу — уж очень грустно жилось этой крохотной некрасивой девочке с непропорционально большой лобастой головкой, покрытой жиденькими белесыми волосиками. Отец Маши находился в бегах, скрывался от алиментов, мать, уборщица в конторе совхоза, часто болела, подолгу не вставала с постели, и в ветхой их развалюшке, случалось, и не ели досыта, и не бывало керосина, сидели в темноте. Чтобы привести Машу на праздник, Женя выпросил у своей матери для нее валенки, а та завязала на ее макушке большой розовый бант, словом, ее принарядили. Праздник, который все в школе любили, начался весело, зажглась елка, играл школьный оркестр, ребята танцевали. И надо же было, чтобы перед раздачей подарков — конфет, орехов, пряников — произошло это несчастье.

Женя в шумной, тесной суете потерял на время Машу из виду. А когда хватился, было уже поздно: Машу выводили из зала, держа за руки, две старшие ученицы-распорядительницы. Одна громко говорила:

— Иди, иди, девочка, домой!.. Нехорошо так, нельзя... Кто тебя привел?

А у Маши был набитый едой рот, она торопливо дожевывала, давилась и каким-то пустым взглядом озиралась на горящую елку, на все это прекрасное веселье. На порожке она споткнулась в этих слишком просторных для нее взрослых валенках, и ее шикарный бант, точно прощаясь, закивал на белесой макушке.

Женя сорвался с места, но уже ничем не смог ей помочь. В раздевалке старшие девочко-распорядительницы не захотели его слушать. На их раскрасневшихся полудетских лицах было написано административное воодушевление, и начальственные нотки слышались в их звонких голосах. Оказалось, что Машу застали на месте преступления в классе, где были разложены подарки,— эта неожиданная гостья, к тому же еще не ученица, уплетала там в одиночестве медовые пряники и даже засунула два пряника в валенки про запас...

— Ты ее привел? Кто тебе разрешил? — набросились обе распорядительницы на Женю.— Теперь ты отведешь ее домой.

— Я вас очень прошу...— торопясь, выкрикивал Женя.— Машу надо понять. Они очень...— он утишил голос,— очень бедные... Маша никогда еще, наверно... я вас прошу... Может быть, она была голодная...

На беду, в раздевалке не случилось никого из педагогов. И, напав на Машу ее зипунчик, распорядительницы вывели ее на крыльцо. Лишь во дворе она разревелась, стала вырываться из руки Жени, и он, мучаясь за нее, стыдясь и ужасаясь, дал ей шлепка.

— И не надо, не надо нам вашей елки! Дуры! — закричал он, таща упирившуюся Машу по снежному, залитому светом из окон двору; с головы его слетела шапка, и он не заметил этого.

Только на следующий день свидетели происшествия рассказали все Самосуду; с подарками он отправился к Жене и к Маше. Женю он застал в постели — мальчик, видимо, простудился, лежал в жару, мать поила его чаем с малиной и встретила Самосуда враждебно. Это была женщина с тяжелой судьбой: все ее дети — а рожала она много — умирали в колыбели, выжил один Евгений. И она прикрыла его собой, не позволив даже близко подойти к его кровати. Впрочем, Сергей Алексеевич не настаивал, он при всей своей житейской бывалости не знал, как утешить этого мальчика. Женя молчал и отворачивался к стене — он не простудился, он был душевно ранен.

На следующий день Самосуд вызвал к себе обеих девиц-распорядительниц.

— В воскресенье мы собираем на елку, на утренник всех дошкольников, — сказал он. — Вы опять будете у нас хозяйками — добрыми, гостеприимными. И вы обе пойдете приглашать Машу, посмотрите обязательно, как она живет. Вы и угощать ее будете, да по лучше! Да в карманы ей, в карманы положите побольше!..

Женя Серебрянников выздоровел, но еще много времени и труда потребовалось, чтобы вытравить из его души страх перед жизнью — да, перед жизнью, в которой возможна такая обыденная жестокость. А сейчас вот он, порозовевший от рюмки наливки, сидел в комнате Сергея Алексеевича и напряженно улыбался.

Третьим членом делегации была Леля Восьмеркина — крупная девушка с большими мужскими руками, обутая в мужские полуботинки, и с нежным цветом доброго лица; Леля считалась способной математичкой и хорошо играла в шахматы. Смущаясь, она начинала немного косить; косила и сейчас, говоря, что она хочет пойти бойцом, как все, но она может и санитаркой, если ей нельзя в строй.

Сергей Алексеевич поднялся и прошел в соседнюю комнату — ему надо было побыть одному, чтобы привести в порядок свои чувства. Его волнение было сродни тому особому рода волнению, что охватывает человека, когда он может сказать себе: «Ты хорошо потрудились». Все его долгие усилия, его слово и его забота вернулись к нему в душах этих молодых людей, сделавшись их общей силой. А его «гуманитарный крен» оправдал себя: поэзия сотворила из мягкой глины железо. Сергей Алексеевич имел сегодня полное право быть довольным. Но, любуясь своей молодежью, он испытывал уже и страх за нее — эти ребята казались ему слишком драгоценными для войны. «Рано вам еще... Успеете навоюаться, сидите, пока вас не призвали...» — мысленно спорил он с ними, радуясь, гордясь и горю одновременно.

Отказать им он, однако, не смог — это было бы отказать самому себе. Вернувшись к трем делегатам, Сергей Алексеевич ворчливо проговорил:

— Все в одну часть хотите попасть, так, что ли?

— Шикарно было бы, — сказал Сережа Богомолов. — Но если это канителью...

— Попытка — не пытка, — сказал Серебрянников. — Конечно, если это трудно...

— А вот...— Сережа достал из армейской полевой сумки, которую где-то уже раздобыл, пачку бумажек,— тут двадцать девять — все, кроме четверых... Нинка Головкина уехала в Свердловск, Петушков и Семин еще раньше эвакуировались. Дубов — не знаю, может быть, испугался, не пришел на комсомольское собрание. А остальные все тут — двадцать девять.

Сергей Алексеевич — сутулый, домашний, в холщовой толстовке, в мягких разношенных туфлях — молча слушал, свесив лысую, голо блестящую голову, он выглядел даже виноватым...

А на другой день он лично отвез заявления в город, в райвоенкомат. Предварительно в качестве преподавателя русского языка он прочитал их: все были написаны без грамматических ошибок, если не считать неправильно поставленных кое у кого знаков препинания. Боря Бурков, вратарь школьной футбольной команды, приписал в конце заявления: «Ура!»; Валя Солодчий, еще один школьный стихотворец, закончил свое заявление четверостишием:

За Родину, за всех детей
Бери на мушку фрица,
И в сердце бей, и в землю вбей
Фашистского убийцу!

Решения военкомата ребята ожидали чуть ли не на следующий день. Но прошло больше недели, ответа на их заявления не последовало, и пока что их мобилизовали на строительство укреплений. Возвратились они дней через десять, и сразу повзрослевшими, без Бори Буркова, раненного осколком авиабомбы,— его отвезли в госпиталь в Москву. А в Спасском была уже слышна, когда ветер дул с запада, канонада... И к Сергею Алексеевичу опять пришла та же делегация от класса — «за советом». Их все еще не брали в армию, и ребята порешили: если только здесь появятся немцы, уходить всем классом в партизаны.

Самосуд в это время приступил уже к формированию своего отряда. По-видимому, и для ребят наилучшим вариантом было бы оказаться под его командованием: по крайней мере, они находились бы всегда у него на глазах. Не обмолвившись пока что о такой возможности, Сергей Алексеевич пообещал классу снова позаниматься с ним, но теперь уже не литературой. И они действительно несколько раз собирались за селом в лесу, на поляне, носившей милое название «Анюткина радость».

Эта неожиданно открывавшаяся в старом бору, вся поросшая высоким папоротником поляна была давно известна ребятам. Сергей Алексеевич приводил их сюда еще малышами, они играли тут, а он рассказывал им про лес, про жизнь деревьев, про птиц, про Мальчика с пальчик и про Аленький цветочек. Они бывали на «Анюткиной радости» и когда подросли: их классный руководитель не один раз собирал их там в хорошую погоду на литературные чтения и диспуты. И отсюда, с этой зеленой поляны, отправились с каждым из них в долгие странствия, чтобы никогда уже не расставаться, Маяковский, Багрицкий, Светлов... Окружив тесно Сергея Алексеевича, ребята возвращались поздно, при звездах, домой примолкшие, медленные, точно обремененные высокими чувствами. А Сергей Алексеевич становился неузнаваемым, веселился и сам громко хохотал над своими шутками.

Ныне на заповедной «Анюткиной радости» его ребята разбирали и собирали трехлинейную винтовку, стреляли по мишеням, метали деревянные чурочки, обтесанные в виде гранат. И тот же громкий,

резковатый голос Сергея Алексеевича раздавался под теми же широкошумными соснами:

— «Ручная граната образца тысяча девятьсот тридцать третьего года принадлежит к типу осколочных, наступательно-оборонительных»... — читал он вслух «Наставление». — Тип, как видите, симпатичный во всех отношениях, — бодро добавлял он от себя.

Ему было трудно, все в нем глухо протестовало против того, что он читает это детям, — его выпускники все еще оставались для него детьми.

— «Оборонительный чехол служит для усиления убойного действия гранаты, — читал он дальше. — При взрыве она дает осколки, разлетающиеся во все стороны до ста метров». Серьезная штука, — добавлял он, поглядывая на ребят.

Кто-то из них странно похохатывал. Женя Серебрянников покрывался бледностью и, не справляясь со своим возбуждением, вскакивал... Только в самый канун ухода из Спасского Самосуд сказал своему классу, что берет его к себе в отряд. Как и можно было ожидать, ребята ответили ему ликованием.

2

Уход Самосуд назначил на десять тридцать вечера с таким расчетом, чтобы до рассвета прийти со своей колонной на базу. Марш в ночные часы был, конечно, хлопотливее, чем днем, но не грозил чем-нибудь худшим: немецкая авиация по-прежнему почти безнаказанно разбойничала над дорогами.

В сумерках Сергей Алексеевич проводил в эвакуацию, в далекий тыл, машину с последними, задержавшимися в Спасском учительскими семьями, которая должна была забрать в городе Ольгу Александровну с ее семьей. Только сегодня удалось заполучить эту совхозную пятитонку, раздобыть для нее горючее на длинную дорогу и запасные скаты.

— Бывала я в ихнем доме и старушек этих знаю, — успокаивала Сергея Алексеевича пухлолицая, в ушанке женщина, сидевшая за баранкой. — Одна сестра у них убогая, слепенькая, вроде как монашка. Ну, прощайте, увидимся ли, нет?..

И по ее выпуклым щекам побежали слезы: ее муж, тоже шофер совхоза, оставался здесь бойцом в отряде Самосуда. Вдруг она проговорила что-то вовсе неожиданное:

— Уплывают годы, как вешние воды.

А в кузове машины всхлипывала еще одна женщина — учительница французского языка, ее жених воевал где-то на флоте. Все другие, и те, кто уезжал, и те, кто пришел в последний раз обнять родного человека, прощались вполголоса, напуганные огромностью этой разлуки, страшной неопределенностью ее сроков.

Самосуд махнул рукой, давая знак ехать. И когда машина застучала и тронулась, он почувствовал себя так, точно и он расстался, может быть, навсегда с чем-то очень личным и единственным... Ольга Александровна со своей семьей была наконец-то устроена: сегодня ночью они все тоже отправятся в тыл. Эта мысль и успокаивала его, и обдавала холодом. На новую встречу с Ольгой Александровной он уже мало надеялся.

До десяти было больше двух часов; мешок со сменой белья, с одеялом и портфель с картами и с несколькими книжками Сергей Алексеевич собрал утром, и сейчас у него появилось время, чтобы проститься со школой.

В помещении совсем уже стемнело, приходилось двигаться ощу-

пью, и завхоз Петр Дмитриевич время от времени включал электрический фонарик. Тетя Лукерья, звеня ключами, как связкой колокольчиков, отпирала двери, и Самосуд заглядывал поочередно в классы, где все еще пахло вымытыми полами и раскрошенным сухим мелом. Немного дальше он постоял в учительской, в опустевших комнатах библиотеки, физического кабинета, музея гражданской войны (книги, приборы, экспонаты были в начале осени снесены в подвал, а самые ценные зарыты в саду под яблонями); постоял он и в «живом уголке». Животных, которых можно было выпустить на волю, он здесь уже не нашел; только блеснули из угла красные глазки старой черепахи, не пожелавшей покинуть свое гнездо, да в электрическом свете вспыхнул стеклянный зеленоватый куб аквариума с разноцветными рыбками. Разбуженные светом, они все стеснились, толкаясь в туманном луче, подобные трепещущему букету.

— Гляньте-ка, тетка Лукерья! Рыбки-то, рыбки!.. А на уху не согдятся — навару не ждите, — невесть с чего проговорил Петр Дмитриевич.

Старуха брезгливо сжала морщинистые губы... Одинокая, лет под шестьдесят пять, капризная, вступавшая в пререкания с самим Сергеем Алексеевичем, она на сделанное ей в свое время предложение эвакуироваться заявила, что другие «как им совесть скажет», а она останется стеречь добро, и пусть «сам сатана приходит, она не тронется с места, раз уж мужики так ослабли». Говорили, что в молодости тетка Лукерья — ныне вся сохшаяся, как прошлогоднее яблоко на печи, — была хороша собой, кружила мужикам головы, наделала много грехов. И на всю жизнь, видно, она усвоила ту пренебрежительную манеру красивой женщины. Но среди доверенных людей Самосуда тетке Лукерье принадлежало одно из важных мест — она оставалась в Спасском его глазами и ушами.'

— Агрономша давеча приходила, — сказала она недовольным тоном. — Вас не застала, Сергей Алексеевич. За сына, за Женьку, просить вас хотела. Сказывала, нервные припадки у него, а до призыва ему еще год цельный... Хочет его за Москву к сестре откомандировать.

Самосуд промолчал, он и сам особенно боялся за этого хрупкого духом мальчика. Но нельзя же было отказывать одному Жене Серебрянникову в том, чего он так упорно вместе с товарищами добивался.

Петр Дмитриевич погасил фонарик, экономя батарейку, и сразу исчезли комната, стены, очертания аквариума. В полной темноте не пропали одни фосфоресцирующие рыбки: нежно светясь красноватым, зеленым, золотым светом, они словно бы повисли в воздухе, шевеля полупрозрачными плавниками.

— Сейчас агрономша опять пришла, — тем же тоном продолжала тетка Лукерья, — сидит у меня, слезы точит... А и правда, какой из ейного Женьки боец — бесполезная жертва, и только.

— Передайте, пожалуйста, я прошу ее зайти ко мне, — сказал Самосуд.

«Да я и сам всех их сию же минуту отправил бы в тыл...» — подумал он.

Кончив обход, они остановились перед дверью в его квартиру. Откуда-то с дороги донесся одинокий выстрел и засигналило несколько машин. Там, должно быть, образовалась пробка — к ночи движение на шоссе усилилось, отступали бесконечные армейские тылы. Самосуд усталым голосом попросил Петра Дмитриевича еще раз посмотреть, все ли готово к выступлению: в десять ребята должны были собраться в школе.

— Есть! — ответил Петр Дмитриевич по-военному и козырнул.

Сам он был уже вполне готов к походу и соответственно одет: на голове лисья шапка, на плечах сермяжный зипун, опоясанный солдатским ремнем, на ногах болотные высокие сапоги. Он уходил вместе со всеми (свою семью он заблаговременно услад в какой-то дальний хутор). И, странная вещь, этот тихий, весь ушедший в свои маленькие хлопоты человек — в прошлом заведующий складом в совхозе, потом многолетний школьный завхоз, начальник над метлами и печами, — просто преобразился, став в отряде Самосуда помощником командира по хозяйственной части, а говоря военным языком, по тылу. Однажды он уже удивил школу, приняв участие в состязании поэтов. И только теперь добрался, видимо, до настоящего своего дела. У безгласного Петра Дмитриевича прибавилось немало важных забот. И с ними у него появился голос, раздававшийся повсюду, — он везде попевал, научился требовать и настаивать.

— Ну, кажется, все... — сказал Сергей Алексеевич. — Когда там соберутся, пришлите за мной.

— Слушаю, товарищ командир! Разрешите идти? — по-военному проговорил Петр Дмитриевич.

К себе в квартиру Самосуд вошел совсем уже отуманенный усталостью. Он опустил на окнах шторы, засветил керосиновую лампу на столе и прикрутил фитиль, чтобы лампа не коптила. Прodelав все с механической отчетливостью, он сел к столу и бессознательно устался на венчик пламени за стеклом.

Прощание со школой вконец обессилило Сергея Алексеевича — он словно бы лишился последнего. И это сознание огромной личной и теперь уже действительной утраты было подавляющим. В голове у него безостановочно пульсировала одна мысль: что сейчас за ним придут и надо будет опять подниматься и идти. А воля — воля уже отказывала ему даже в том, чтобы отогнать эту мысль.

«Я слишком стар... — подумал Сергей Алексеевич, — стар, стар... — и не огорчился, потому что и огорчение требовало каких-то свежих сил. Только беспокойство, что его уже, наверно, ждут, мучило его. — Сейчас, сейчас... Я минутку... — мысленно отвечал он кому-то, кто, казалось, пришел сюда вместе с ним и стоял, дожидаясь... Это было, впрочем, привычное Сергею Алексеевичу ощущение своей всегдашней зависимости, своей добровольной несвободы. Кто-то больший, чем он, Самосуд, получивший над ним неограниченную власть, неотступно как будто сопровождал его, всю жизнь не давая отдыха. И Сергей Алексеевич давно смирился с этим неприменным беспокоящим присутствием; вероятно, если б он перестал вдруг ощущать на себе требовательный взгляд своего постоянного спутника, который назывался по-разному — иногда обязанностью, иногда долгом, — он почувствовал бы себя обойденным, забытым... — Минутку... Я сейчас... Пора мне, я знаю. Я сейчас...» — мысленно все повторял он.

Но усталость поборолa его, он расслабился, обмяк, голова его отяжелела, и незаметно для себя он уснул. А уснув, тотчас же увидел эти устремленные на него глаза — одни глаза, глядящие из сумрака. И он сразу догадался, что то были глаза его вечного спутника, они приближались, удалялись, темнели, светлели, но их взгляд не менялся.

В первое мгновение ему показалось, что это голубые, окаймленные длинными ресницами глаза его отца: вот так, пристально, требовательно, проникая в самую душу, смотрел на всех отец, когда вернулся из Сибири домой умирать. «Цареубийца», — шептались об отце перепуганные соседи.

Но такой же взгляд был и у солдата — белокурого костромского мужика, отравленного ипритом, кончавшегося на лазаретной койке

в ту, в первую мировую. «Что же вы все?.. Я помираю, скорее!» — безмолвно молил он одними глазами. И странно похожими на глаза отца и на глаза солдата были блестящие глаза нищего мальчика с золотушной коростой на лице, которого Сергей Алексеевич повстречал давным-давно на пыльном деревенском проселке. Он увидел те же отцовские молчаливо-пристальные глаза и у чахоточного тульского оружейника, плевавшего обрывками своих легких во дворе Орловского централа; тем же взглядом встретила и проводила его коротко остриженная женщина в сером халате, месившая в колонне каторжан черную таежную грязь. И порой Сергею Алексеевичу мерещилось, что все человечество смотрит на него этими глазами: «Что же ты? Я погибаю! Скорее!» — и ему нельзя было медлить ни дня, ни часа... В партию Самосуд вступил еще в девятьсот четвертом, девятнадцати лет.

...Он задвигался, ему сделалось невыносимо тревожно от близко-го, в упор, требовательного взгляда, и проснулся. В ту же минуту в дверь постучались, робко, коротко, и после паузы — еще раз, с тою же опаской.

— За мной? — хрипло спросил он. — Я сейчас...

Еще не стряхнув с себя сонного дурмана, он не сразу в женщине, что вошла, признал родительницу Жени Серебрянникова. Тучная, приземистая, одетая во все черное, в сползшем на плечи платке, она издали была немного похожа на Ольгу Александровну, но без единой сединки в черных, кое-как заколотых на макушке волосах.

— Анна Павловна?.. — неуверенно сказал Самосуд, встав со стула.

— Я самая... Здравсьте, Сергей Алексеевич, извините, что побеспокоила, — приближаясь скользящими шажками, заговорила она преданно, почти что влюбленно. — Мне и мой Степан, муж мой, когда по повестке уходил, велел: если что, какая будет надобность, обращайся, велел, к Сергею Алексеевичу непосредственно! Очень он высоко вас ставил. И мы все в нашем Спасском... Мы про вас так и говорим: «Наш учитель...» Да что там?! Сколько лет вместе прожили, а, кроме добра, ничего от вас не знали.

Ее заслезенное, в красных пятнах лицо выражало умилительную ласковость. А за всем этим, за ее неумелой лестью был страх — Самосуд так хорошо ее понимал, — страх перед ним, человеком, уведившим ее сына вслед за ушедшим мужем. Вероятно, он представлялся ей, этой женщине, воплощением ужасного могущества.

— Ну-ну, говорите, Анна Павловна! — сказал он, сам страшась ее просьбы.

— Я об Жене хотела... Болезненный он, вы же знаете, исключительно нервный. И простужается часто, температурит: чуть что — тридцать семь с десятыми. Только-только нынешним летом ему семнадцатый пошел — седьмого июля его день. Мы, конечно, отметили... — Она даже улыбнулась, изо всех сил стараясь быть особенно приятной. — Призываться ему не скоро еще... Я, конечно, сознаю про наше военное положение. Но главное дело — поздороветь Жене надо. На вас, Сергей Алексеевич, надежда!

Самосуд, невольно ища поддержки, оглянулся назад... Вообще-то Женья Серебрянников был «годен при чрезвычайных обстоятельствах», как почти обо всех выпускниках написал школьный врач. Но чтобы не видеть этой мученической улыбки, Сергей Алексеевич готов уже был, кажется, сказать: «Забирайте сына и бегите с ним».

— Освободили бы Женю... — задрожавшим голосом выговорила свою просьбу Анна Павловна.

И вдруг она тяжело опустилась на пол: сперва на одно колено, потом, помогая себе рукой, на другое. Платок свалился с ее плеч, и она, раскачиваясь, стала на коленях придвигаться к Сергею Алексеевичу.

— Что это?.. Что вы!.. Что вы!.. — испуганно забормотал он.

— Как на бога, молиться на вас буду! — сказала она с порывом. — Отдайте мне Женю!

— Прощу вас... Не надо!.. Встаньте! — Он кинулся к ней, чтобы поднять, и она с неожиданной силой оттолкнула его.

— Как на господу бога! — Она усилила голос, словно угрожая: — Здоровьем Женки клянусь!

— Хорошо, хорошо, пожалуйста! — Сергей Алексеевич соглашался на все. — Но я не бог, я сделаю, что могу.

Он подхватил ее под локоть, но она грубо вырвала руку.

— Сделаете? — допытывалась она. — Вы сказали, что сделаете... Правда делаете?!

— Да, конечно! Вставайте же, — упрашивал он.

— Не откажетесь от своего слова?..

Волосы ее рассыпались, упали на лицо, и она вскидывала головой, отбрасывая их.

— Да, да! — повторял Сергей Алексеевич.

Они не заметили, что были уже не одни в комнате — вбежавший Женя остановился в открытых дверях... И тут же инстинктивно подался назад, точно увидел что-то невыразимо стыдное, на что запрещается смотреть. Затем он сорвался и подбежал к матери.

...Когда товарищи сказали Жене, что они видели, как Анна Павловна пошла к Самосуду, он очень расстроился. В долгих разговорах дома он убедительно, казалось, растолковал ей, что не может же он прятаться в тылу, когда его товарищи будут воевать, — это во-первых, а во-вторых, что было бы просто глупо не воспользоваться прекрасной возможностью пойти на фронт всем классом без проволочек и формальностей. И сейчас он даже встревожился: могло ведь случиться, что просьба его матери возымеет действие и директор, чего доброго, уволит его из отряда.

Но того, что случилось в действительности, он не мог себе представить и в самую скверную минуту. Мать, не похожая на себя, тяжело ползала на коленях перед директором, простирала руки и что-то выкрикивала, мотая встрепанной головой. Ее черный, с бахромой платок валялся на полу, а из-под складок юбки, сбившейся на ногах, высовывались подошвы старых туфель с покривившимися каблуками. И нестерпимое чувство — не досада, не гнев на эту бесстыдно унижившуюся женщину, которая была его матерью, но обида за нее опалила Женю Серебрянникова.

Он поймал ее руку, стиснул и сам опустился, вернее, упал на колени.

— Зачем?.. Зачем?.. — Едва слышное торопливое «зачем» только и слетало с его губ.

И Самосуд потерял над собой всякий контроль.

— Черт!.. Черт!.. — заорал он. — Да вставайте же, черт возьми! С ума вы посходили!.. Анна Павловна!.. Вставайте немедленно!

Женя дернулся, как от удара, вскинул глаза. И Сергей Алексеевич, оторопев, умолк — так остро сверкнул их мгновенный, ненавидящий, иначе не скажешь, взгляд.

— Вы... вы не кричите... не смейте на... на маму! — выговорил Женя, будто вытолкнул слово за словом из схваченной спазмом глотки. — Это моя ма-мама... И вы не смеете... не смеете!

Стоя на коленях, он выставил вперед плечо, как бы готовясь от-

разить нападение. Вытянутой рукой он прикрыл мать, и — что показалось Сергею Алексеевичу жутковатым — его тонкие пальцы с обломанными ногтями быстро шевелились, точно нажимая поочередно в воздухе на что-то невидимое.

— Да ты, брат, чего? — сказал Самосуд.

— Ничего! — выкрикнул мальчик. — А только вы не смеете...

— Женька, молчи! — закричала Анна Павловна.

Появление Жени не удивило ее: в эти страшные дни она так неотрывно думала о сыне, что как бы и не расставалась с ним ни на минуту. И она всегда ждала его и невольно смягчала сердцем, когда видела... Но то, что сын поднял голос на Самосуда, испугало Анну Павловну, ведь тот мог рассердиться на Женю и ее отчаянные хлопоты пошли бы прахом.

— Ты-то как смеешь?! — закричала она. — Совесть есть у тебя? Проси прощения, Женька!

Схватившись за плечо сына, она медленно, неуклюже поднялась и одернула юбку. Женя взял с пола ее платок и тоже встал. Он отворачивался и кусал губы.

— Воспитываешь вас, воспитываешь!.. — сказала Анна Павловна, не сводя с сына взгляда. — Проси у Сергея Алексеевича прощения, сынок! Нам век благодарить его надо за его доброту.

Самосуд издал хриплый, отдаленно похожий на смешок звук.

— В драку с мной не полез, и то ладно, — сказал он.

Все сейчас казалось ему прекрасным в этом мальчике, даже его худоба и косой пробор на гладко. волосок к волоску причесанной голове, даже тощие, чуть кривые ноги, обутые в футбольные ботинки. «Сынок», — повторил мысленно Сергей Алексеевич, точно и вправду был отцом мальчика.

— Что же ты молчишь? — горестно проговорила Анна Павловна. — Погубитель мой!

— Я там... после, когда мы пойдем, — ответил с затруднением Женя.

Ему сделалось нехорошо, конфузно, хоть беги без оглядки. Не следовало, конечно — он уже понял это, — не следовало злиться на ни в чем не повинного Сергея Алексеевича. Но недоброе чувство к нему все не проходило: просто невозможно было забыть, как мать ползала у его ног.

— Сергей Алексеевич проявил к тебе гуманность, а ты нос задирал, — сказала Анна Павловна. — До чего вы все самолюбивые!

— Ну что ты, мама! — И Женя виновато взглянул на Самосуда, но тут же отвел глаза — нет, он был не в силах просить сейчас у Сергея Алексеевича прощения, и тот по неясной догадке улыбнулся ему. Женя быстро повернулся к матери.

— Я тебя очень люблю! — со всей искренностью проговорил он. — Тебя и всех вас, нашего деда люблю. Но пойми, поэтому я и не могу остаться. Понятно же! Иди домой, мамочка! Я тебя очень, очень люблю. Иди!..

Она потерянно, несчастно посмотрела на Сергея Алексеевича, потом опять на сына — она поняла только, что все ее мольбы и ухищрения оказались напрасными и что сын уходит.

— Я тебя немного провожу, мамочка! Разрешите, я недалеко? — попросил Женя.

Сергей Алексеевич кивнул.

— До свидания, Анна Павловна! Душевно радуюсь за вас, — сказал он.

Она недоуменно, не соглашаясь, покачала головой.

...В назначенное время Самосуд вывел из школы на большак свой

выпускной класс, называвшийся теперь третьей ротой. Строго говоря, в этом названии было большое преувеличение: из ребят одного его класса никак не могло получиться целой роты. А к тому же число их в последнюю неделю еще уменьшилось: близнецов Лиду и Лелю Свешниковых увезли из Спасского родители; Костя Попович, связист, заболел, схватил свинку и оставался покамест дома. Таким образом, у Самосуда не набралось бы здесь и полного взвода — всего лишь двадцать шесть человек уходили с ним сегодня на базу отряда. Но называя эту свою молодежь ротой, он рассчитывал придать ей больше уверенности в себе и силы. Весь свой пока еще не слишком многочисленный отряд он называл полком, хотя и первая и вторая, «взрослые», роты полка (формировавшиеся на самой базе) вкупе с третьей комсомольской не составили бы и одного полного батальона.

Маленькая безоружная колонна (оружие ребята должны были получить на базе) держалась поближе к обочине, замыкали ее две ехавшие шагком повозки с поклажей: несколько ящиков черных сухарей, боченок солонины, кадка квашеной капусты, «цинки» с патронами, еще кое-какое саперное имущество — лопаты, топоры — и свернутое школьное знамя. Впереди в пальто, в меховом «пирожке» шагал с раздутым портфелем в руке Сергей Алексеевич. Оглядываясь, он видел поспешавших вплотную за ним Сережу Богомолова и Лелю Восьмеркину — правофланговых. Сережа вначале отсчитывал: «Раз, два, левой!» — но потом перестал.

А вокруг — и там, куда они торопились, и сзади, и по правую руку, за черной стеной леса, где огромно пылало небо, — шел бой, бой, то есть нечто не охватимое рассудком, что еще требовалось постигнуть. Размытые отсветы исполинского костра реяли в ночном воздухе, тяжело ухало справа, и, обгоняя третью роту, проносились по большаку серые, как вырвавшиеся из ада тени машин с теньми сидящих в них людей. Сережа скомандовал: «Запевай!» — но после двух-трех попыток пение оборвалось. В молчании, тесно держась ряд к ряду, третья рота сомкнуто маршировала в это непомерное, полное огня и грома, называвшееся боем «нечто», распространившееся на небо и на землю.

Сергей Алексеевич словно перешагнул через свою усталость незаметно для себя самого. А главное, у него опять ясной была голова. Иногда, впрочем, ему мерещилось, что это продолжается какой-то старый поход — не то в Заволжье в голодную осень девятнадцатого года и на горизонте багровеют зарева подожженных белыми деревень, не то на Юге в двадцатом, когда он вел к Перекопу свою дивизию. И не двадцать шесть школьников идут за его спиной, а маршируют полки бородатых бойцов и тарахтят пулеметные тачанки. Но он тут же спохватывался, сегодняшние заботы вновь оглушительно заявляли о себе, он опять поглядывал на ребят. И все тот же отцовский страх отрезвлял его.

Километрах в десяти от Спасского после недолгого привала у перекрестка Самосуд свернул на проселок, чтобы в обход города, кружным, но более спокойным путем добраться до базы отряда. Остаток пути третья рота прошла уже в одиночестве, с проселка она углубилась в лес, растянулась цепочкой, и Самосуд время от времени останавливался, чтобы проверить, не потерялся ли кто в лесном мраке. К утру все благополучно прибыли на место, и в покинутой конторе лесхоза, в большом бревенчатом доме, в клубной комнате ребятам был дан четырехчасовой отдых.

Лишь спустя сутки, с опозданием, Самосуд узнал, что санитарный обоз, побывавший у него в Спасском, подвергся недалеко от

города нападению «юнкеров»; многие раненые были убиты, а машина, в которой эвакуировались учительские семьи, сгорела. Нагнав обоз, она как раз угодила в самую бомбежку. Среди пассажиров жертв не было, но женщина-шофер умерла от ожогов, а от машины остался один черный осто.

Седьмая глава

ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ТИШИНЫ. ХУДОЖНИКИ

1

Машина из Спасского не пришла ни в назначенный день, ни на следующий, а на третьи сутки стало известно, что в Спасском немцы! Весть принесла женщина, счетовод тамошнего совхоза. Босая, растрепанная, в резиновом плаще, надетом прямо на сорочку, она появилась рано утром во дворе Дома учителя, неся у груди завернутого в одеяло младенца. Приткнувшись на крылечке, она посидела неподвижно, оцепенев, положив на колени свой дорогой сверток, уронив вдоль тела онемевшие руки. Потом как в полусне распахнула плащ и вынула из сорочки большую, наполненную грудь с припухшим соском. Но младенец не взял соска, слишком, должно быть, ослабел, его лысоватая, как в птичьем пуху, головка валилась набок, и, ужаснувшись, мать тонко завывала... Весь путь из Спасского в город она проделала единым духом, и ее ровно покрытые пылью ступни казались изваянными из серого камня.

Ее окружили люди, вышла, торопясь, Ольга Александровна... С перерывами, обливаясь молоком, младенец стал сосать. И женщина, запинаясь, будто с трудом припоминая, как все было, рассказала, что на рассвете ее разбудил страшный треск. На улице в дыму скакали черные бесы с огромными головами — так она и сказала: бесы; мигал огонь, что-то взрывалось и свистело... И она, выхватив из кровати сына, без памяти бросилась на огороды, а там по оврагу, лесом выбралась на большак. Она сообразила уже, что это носились по улице, стреляя, немцы — немецкие мотоциклисты в своих рогатых, похожих на опрокинутые горшки касках. А она была женой командира Красной Армии, и она догадывалась, что ожидало бы ее с ребенком в немецком плену.

Ольга Александровна повела женщину в дом на свою половину, дала ей туфли, свитерок Лены, юбку, уложила ее младенца на кровать. А сама облачилась в гладкое черное платье, служившее ей для официальных выходов, поправила, спеша и задыхаясь, прическу и приколола к воротничку черный галстучек. Наказав Насте не отлучаться и держать всех в готовности к отъезду, Ольга Александровна отправилась в райисполком, в отдел народного образования. Куда же еще могла она пойти с вопросом, придет ли наконец за ними в Дом учителя машина и что вообще с ними со всеми будет.

За воротами Ольгу Александровну нагнал Войцех Осенка — он направлялся в райвоенкомат со своими вопросами и просьбами. Прошло уже больше недели, как он и его товарищи жили здесь в бездействии. И хотя их всех исправно довольствовали при местном госпитале, кормили и одели, это затянувшееся ожидание становилось все более тягостным. Осенка даже не знал, где находится теперь штаб армии, он мог обращаться только в районный военкомат, а военком при встречах говорил одно и то же: что надо подождать денек-другой указаний из штаба. Сегодня, однако, счет шел уже не на дни, а на часы, может быть, на минуты: если верить женщине, прибежавшей

из Спасского, немцы были утром всего лишь в двадцати километрах от города. Кто мог знать, какой оборот примут дела к вечеру?!

— Пшепрашам, пани, нам по дороге?! — осведомился Осенка.

Ольга Александровна посмотрела на него с благодарностью — ей было страшно идти одной по этим улицам, хотя она знала тут каждый дом, каждый двор, она никогда не видела их такими. Время давно перевалило уже за ранний час — открытия булочных, а затем и за более поздний — начала занятий в учреждениях, но город будто и не просыпался еще: были закрыты магазины, пусты дворы, а на иных домах так и не распахнулись затворенные ставни. И редкие встречи только усиливали ужасное впечатление от этого кладбищенского сна, поразившего целый город...

Проехало несколько нагруженных машин — все в одном направлении, на восток, к реке, — тесно облепленных женщинами и ребятами, мостившимися на ящиках, на мешках. Туда же, к реке, за которой в нескольких километрах проходило Московское шоссе, ковылял на скрипучем протезе, с баяном на спине городской гармонист, добрый знакомый Ольги Александровны, постоянный участник ее клубных мероприятий. Он что-то крикнул издали, замахал рукой, но у нее не достало сил вступить в разговор. Встретился ей и другой знакомый — начальник почтового отделения, помнивший еще ее отца и брата, старый вдовец с малолетним внуком; они в четыре руки толкали перед собой тачку с узлами, с чайником, бренчавшим поверх поклажи; позади хозяев, косо отвернув морду, трусил белый, с лысыми боками пудель; Ольга Александровна знала и этого пуделя — пес был тоже стар и от старости слеп на один глаз.

— А вы не ушли еще? Как же так?! — пугаясь за нее, выкрикнул почтовый начальник. — Ольга Александровна, голубка наша! Надо уходить... Мы до Можайска... Желаете, подождем вас...

— Дай вам бог благополучно... — выговорила она с усилием.

Он задержался подле нее, снял свою обвисшую фетровую шляпу, отер ладонью потный лоб, щеки, а когда отнял морщинистую руку, его испуганное лицо было уже другим — жалобным.

— Да неужто вы?.. Ай-ай, — очень опечалился он. — Ну да вам, может, и не надо?.. Может, вы и не собираетесь вовсе уходить? Коли так, прощайте, Ольга Александровна! А мы пойдем!

И она даже не попыталась разуверить его, сказать, что он обидно ошибается в своем подозрении.

Главная улица города была объята все тем же необъяснимым при дневном свете всеобщим сном. На дверях универсама, на гастрономе, на «Канцелярских принадлежностях» висели большие гиреподобные замки; глухо и черно было за окнами, оклеенными крест-накрест полосками бумаги. И только в «Скупке-продаже» какие-то тени шевелились в полумраке у прилавка. А на выходе на площадь, на углу баба в пушистом платке, в мужском пиджаке вынесла на продажу мешок тыквенных семечек и с покорным выражением толстого лица дожидалась покупателей.

На городской площади — Московской, как ее называли с незапамятных лет, — Ольгу Александровну встретили Лена и Федерико. Они вышли из дому чуть позже, но вскоре опередили ее и теперь дожидались у входа в райисполком; здесь же, но в другом крыле этого желтого, с белыми колоннами здания, построенного еще в прошлом веке, помещался также райвоенкомат. Осенка учтиво поклонился всем и ровным шагом пошел к другому крылу.

— Мы немножко походим вокруг с Федерико, — сказала Лена тетке, — не возражаешь?

— Только недалеко... Отсюда мы прямо домой. Я прошу вас,

месье Федерико, недалеко! — сказала Ольга Александровна по-французски.

И с досадой отметила про себя, что разговаривала не строго, как следовало бы, а искательным тоном; почему-то этот тон неизменно появлялся у нее, когда она обращалась к Федерико, словно она побаивалась его.

При всех своих заботах и тревогах, Ольга Александровна не могла не заметить этой чересчур уж быстро, на ее глазах, возникшей дружбы Лены с молодым итальянцем. И месье Федерико внушал ей все меньше симпатии, по мере того как росла к нему симпатия у ее племянницы, а вернее сказать, дочери. Их необычный, как из легенды, гость, отважный и бесприютный, мог, разумеется, рассчитывать в ее семье на доброе внимание. Но внимание, оказываемое ему Леной, было, пожалуй, чрезмерным. Федерико со своей всегдашней отчужденностью, с твердым, нетеплеющим взглядом синих красивых глаз внушал Ольге Александровне робость; рядом с дочерью она предпочла бы видеть другого юношу, более понятного, что ли, пусть даже без легендарной биографии.

— Может быть, мы сегодня наконец все уедем... Ты, во всяком случае, Лена, ты не останешься! И я прошу тебя, надо быть каждую минуту готовой... ты же понимаешь! *Excusez-moi*¹, — извинилась Ольга Александровна перед Федерико.

Она достала из сумочки платок, отерла уголки губ, потрогала машинально галстучек и, приготовившись молить и настаивать, вся сжавшись внутри, отворила дверь.

В первое мгновение она подумала, что опоздала: в вестибюле, где обычно с утра толпился народ и сидели по стенам ожидающие приема, не было ни души; на замусоренном полу громоздились сваленные зачем-то в кучу скамейки. Но вот из глубины, из какого-то кабинета, донеслось стрекотание пишущей машинки, и у Ольги Александровны родилась надежда. Покуда стучала где-то пишущая машинка, а следовательно, покуда работала канцелярия, в мире сохранялась еще известная устойчивость.

...Лена и Федерико двинулись по тротуару, огибая обширную, мощенную булыжником, ровную, хоть шаром покати, площадь. Вдали в тени белокаменного, с приземистой аркадой торгового ряда стояла черная «эмка», и возле нее одиноко прохаживался красноармеец-шофер. Кто-то невидимый, но живой находился еще, быть может, и на противоположной стороне площади в ателье «Светотень», как называлась эта фотомастерская; дверь в ателье под синей, с золотом вывеской была отворена и приперта снаружи табуреткой, чтобы не хлопала.

«Надо уже простаться, — подумала Лена. — Потом, при всех, я не смогу...»

И она заговорила, подбирая самые изящные выражения, какие только знала по-французски:

— Нам осталось совсем мало... Мы расстаемся, мой друг!.. Навсегда?.. Навсегда?.. Кто знает?

Она и сейчас словно бы исполняла некий драматический этюд на тему «прощание». Но это не мешало ей быть искренней — искренней до слез, непрощено поднимавшихся к глазам. И, слыша в своем голосе эти слезы, она в то же время невольно, будто со стороны, видела и себя и все вокруг. «Как все необыкновенно: эта пустынная площадь, осень, ветер, война и наше прощание! — подумала она. — Я и Федерико — и война!.. Как грустно и как необыкновенно!»

¹ Простите (франц.).

С немым вопросом она подняла глаза на своего спутника, ожидая услышать: «А надо ли нам разлучаться?» Или, на худой конец: «Условимся, как нам не потерять друг друга». Но Федерико молчал, озирая площадь, поглядывая время от времени на небо.

Ветер завивал быстрые пылевые вихри, кружил желтые листья, сор, бумагу. Бумаги было почему-то особенно много: носились разграфленные страницы, выданные из конторских книг, клочки чьих-то писем. Наискосок через всю площадь пролетел газетный лист и, прибывшись к уличной тумбе, облепил ее. Небо было беспокойное, бегущее, мчалось, меняясь в очертаниях, сизые рваные тучки. И тени от них, мелькавшие на мостовой, на стенах домов, наводили на мысль о тенях от самолетов.

— Моя тетушка сказала: ты уйдешь пешком, если не будет машины... Но я не могу оставить ее одну. Моя бедная тетушка!.. Федерико! — позвала Лена. — Ты не слушаешь меня.

Он повернулся к ней, увидел простенькое — девчонка как девчонка! — личико: каштановый загар на щечках, голубенькие просящие детские глаза — каждую мысль можно в них прочесть, увидел сносимые ветром на сторону, выгоревшие до бледной желтизны волосы, — и покачал головой с видом: беда мне с тобой. Теперь это было совсем не возбуждавшее грешных желаний, но единственно свое, близкое ему здесь существо, не женщина, нет, девочка, младшая сестра.

— Твоя тетушка умная синьора, — сказал он. — Вам всем надо было давно смотаться... Чего вы ждете? Я видел фашизм близко. И тебе его видеть необязательно.

— А ты знаешь, я его не боюсь. Я его... — она поискала французское слово — ...я его презираю.

Но она, конечно, боялась — боялась до того, что у нее перехватывало порой дыхание, как от холода. И вместе с тем она переживала томительно-любопытное, нетерпеливое чувство. Впереди ничего еще не было изведано: ни счастье, называвшееся по-другому любовью, ни несчастье, называвшееся разлукой, ни восторг подвига, манивший издалека, ни испытания лишениями, которых она тоже еще не знала. Впереди была вся ее, Лены Синельниковой, взрослая жизнь... И это странное, называющееся иначе талантом свойство души видеть, слышать, ощущать жизнь в ее необыкновенности, в ее силе и разнообразии словно бы обольщало Лену. Действительность открывалась перед нею как подмостки, на которых кипели человеческие страсти. Она видела себя там и Лауренсией и Джульеттой. И она вглядывалась в свое будущее, эта маленькая деревенская Ермолова, переживая и страх и соблазн, подобно страху и соблазну дебютантки.

Федерико вдруг засмеялся своим надрывным, как стариковский кашель, смехом.

— Я заметил, когда сдают горб, бросают массу бумаги, рвут письма, книги, — проговорил он сквозь смех.

Лена через силу улыбалась, стараясь во всем соответствовать своему бывалому другу.

— Люди любят много писать, когда им ничто не грозит. Они сочиняют тогда целые библиотеки, — странно веселился Федерико. — Но когда человеку дают пинка, ему помогают только ноги.

— Ты плохо говоришь о людях. Я удивляюсь! — сказала Лена. — И ты воюешь за людей...

Поглядывая снизу на него, она подумала, что ему идет даже обыкновенная солдатская гимнастерка, туго обтянувшая его широко развернутые плечи с выпуклыми мышцами. Вообще, он был хорош и сегодня, даже черно-небритый и лохматый — нестриженные волосы,

покрывавшие смоляными кольцами голову, делали его похожим на гомеровского героя. на Ахилла, так, по крайней мере, показалось Лене.

— Я убивал фашистов, потому что не люблю их еще сильнее,— сказал Федерико серьезно.

— Не могу поверить, что фашисты тоже люди,— сказала Лена.

— Поэтому люди мне и не особенно нравятся,— сказал он.

Она опять с трудом улыбнулась непослушными губами. Внутренний озноб, как перед выступлением на сцене, пробирал ее.

— Федерико, ты тоже не можешь остаться здесь,— как бы между прочим проговорила она.— Что вы решили с камарадом Осенкой?

Он не ответил, пожал плечами.

— Вам лучше уехать вместе с нами...— Эта идея давно уже возникла у Лены.— Я уверена, тетушка возьмет вас.

Он искоса посмотрел и неприятно, насмешливо осклабился.

Федерико и сам не знал еще твердо, что они с Осенкой предпримут, куда теперь, безоружные, пойдут. Эти обыватели Барановские — пани Ирена и пан Юзеф — побегут, конечно, с русскими женщинами, ну, а им двоим ничего. видно, не останется, как вернуться в лес. И там снова добыть себе автоматы у каких-нибудь неосторожных гансов. Они двое будут продолжать одинокую охоту, что бы ни случилось, до своего конца!.. Осенка, идеалист, на что-то надеялся: сегодня опять вот отправился к советскому начальнику просить о зачислении в военную часть; он, Федерико, рассчитывал, как всегда, только на себя и на чет и нечет, повезет — не повезет!

— Работа для меня найдется и здесь,— сказал он.

— Работа? Какая? — Лена не поняла.

— А какую еще я умею делать? — спросил он.

— О Федерико! — упавшим голосом влюбленно сказала она.

Конечно же, он опять уходил туда, откуда неожиданно, как и бывает на сцене в первом акте, появился,— в свою потаенную, полную отчаянного риска жизнь, жизнь мстителя и героя. И бесполезно и оскорбительно было бы предлагать ему другую роль, что-нибудь мелкое, бытовое.

— Я понимаю тебя, да, да, я понимаю!.. — Она отвернулась, чтобы он не видел ее слез.— Нет сейчас работы лучше твоей.

— Есть работа чище, но я уж выбрал себе эту,— сказал он.— Или она меня выбрала.

— Ой, что делается! — вскрикнула Лена по-русски.

И затопталась на месте, закружилась, стараясь обеими руками удержать на коленях юбку, вздувшуюся колоколом. Они уже обогнули площадь, и усилившийся ветер со всей яростью напал на них сзади, словно гнал отсюда.

— А еще есть у меня одно дело, меня Янек попросил,— сказал Федерико.— Мне ваш солдат, который лежал с ним, передал.

— Бедный камарад Янек! — борясь с ветром и то хватаясь за волосы, то нагибаясь, чтобы закрыть колени, выкрикнула она.— Он мог еще долго жить...

— Янек поживет еще, ничего...

Он откинулся назад и шел, словно бы опираясь на ветер, дувший в спину; смоляные кудри прямо-таки кипели на его голове.

— Но Янека уже похоронили! — придерживая волосы, крикнула Лена.

— Не совсем, не торопись.— Федерико, казалось, рассердился.— Янек будет еще убивать нацистов. Он не все свои патроны расстрелял,— сказал Федерико.

Под аркадой торгового ряда, куда они вошли, было несколько тише. Лена приостановилась, достала из сумочки косынку, накинула на волосы, подвязала под подбородком и повернулась к Федерико, спрашивая взглядом, идет ли ей косынка. Не поняв этого безмолвного вопроса, Федерико отвернулся... Красноармеец, дежуривший возле «эмки», влез в свою машину и дал гудок, вызывая кого-то, длинный, как сигнал воздушной тревоги. Федерико, высунувшись из-под арки, оглядел небо.

— Сегодня они будут вас бомбить,— сказал он.— Прежде чем войти в город, они обрабатывают его с воздуха. Даже если в городе нет войск.

— Но для чего? Для удовольствия? — сказала Лена.

— Чтобы их боялись все, кто останется живой.

В небе по-прежнему мчались стаями тучки, свет дня омрачился, солнце спряталось, и на камнях внизу побежала, быстро расширяясь, бесцветная тень. Лена замолчала, ее ошеломила мысль, раньше почему-то не задерживавшаяся, что и ее могла настигнуть немецкая бомба. И уже сегодня, не когда-нибудь, а сегодня все для нее в один миг могло кончиться — и она никогда не станет актрисой, не сыграет ни Чайку, ни Джульетту, не увидит больше своих добрых теток, не встретится снова с Федерико, не узнает любви... Бессознательно стремясь тут же, немедленно опровергнуть эту дикую нелепицу, она огляделась, поискала глазами. И взгляд ее остановился на входе в ателье «Светотень».

— Федерико, там открыто,— обрадовалась она.— Хочешь, мы снимемся? Вместе, ты и я. И останутся наши фото. Хочешь вместе?

Жизнь в реальной жизни и жизнь на фото было, конечно, не одно и то же. Но фото все же по-своему спорило, пусть и тихим голосом, спорило с полным, с бесследным исчезновением...

— Идем! — Лена сразу повеселела.— Все знают нашего фотографа... Его зовут наш Репин. А он вовсе Федор Саввич. Но он замечательно снимает. Идем же!

И Федерико не стал возражать, выдумка Лены даже понравилась ему, тем более что никаких фотографий у него сроду не водилось. Случалось, что девчонки дарили ему свои самые обворожительные изображения, но с чего бы он стал их хранить. А тут было нечто совсем другое, почти семейное.

Лена тронула его за руку и быстро пошла, побежала, торопясь к своему бессмертию. Фотография вообще сулила в известной мере бессмертие всем, кто пожелает, а ей с Федерико особенно повезло: местный фотограф был личностью знаменитой в городе, художником, работы которого выставлялись даже в столице. И именно он должен был соединить навечно их двоих.

2

Когда неделю назад Осенка в первый раз пришел к районному военкому, между ними состоялся такой разговор.

— Вы просите вернуть вам оружие и зачислить вас в Красную Армию. Что побуждает вас к этому? — спросил военком.

Он был вежлив, внимателен и сух.

— Я коммунист,— очень тихо, точно стесняясь, сказал Осенка.— Я польский коммунист.

Военком поджал губы так, что на его бескровном лице осталась лишь тонкая горизонтальная черточка,— ему не понравилась эта стеснительность. Но Осенка не мог иначе: он действительно испыты-

вал странную неловкость, когда говорил: «Я коммунист». Казалось, это было то же самое, что сказать о себе: «Я справедливый, я бесстрашный». Более высокого звания он не знал.

— Состоите в партийной организации? — спросил военком.

— Так... — Осенка тоже был в высшей степени сдержан. — Состоял в партийной организации.

— Ваш партийный билет с вами? Прошу, — сказал военком бесцветным шелестящим голосом.

Осенка помолчал, ему приходилось уже отвечать на вопросы о партбилете, и каждый раз он переживал чувство виноватости — у него не было партбилета. Ничем он не мог подтвердить и того, что ему — подпольщику, лишь не так давно вышедшему из подполья, — просто не успели еще его выдать.

— Пшепрашам! Я могу предъявить засвядченне...

Очень медленно, что было у Осенки признаком волнения, а вернее сказать, тех больших усилий, которые требовались, чтобы сохранить самообладание, он достал из кармана гимнастерки аккуратный пакетик, сложенный из чистого листа бумаги, развернул и вынул из него свое удостоверение секретаря газеты в Перемышле.

— То ест официальнэ засвядченне, — сказал он.

Военком внимательно и с лицевой стороны и с изнанки оглядел ветхую, в пятнах, распадавшуюся на сгибах бумажку с полустертым текстом.

— Она что, в воде побывала? — спросил он, возвращая бумажку.

— В воде, так само, — сказал Осенка.

И бережно, как хрупкую драгоценность, вновь упрятал в чистый лист свое удостоверение.

— У вас есть какие-либо жалобы на довольствие? — осведомился военком. — На квартирные условия?

— О, что вы?! — Осенка повертел головой. — Приношу мою и моих товажишей щэрую благодарность.

— Я сегодня же сделаю запрос в отношении вас... — сказал военком. — А пока отдыхайте.

— Нет, — сказал Осенка. — То не можно.

Он медленно встал, высокий, угловатый, худощавый; светлые прямые волосы, отросшие за месяцы странствий, упали ему на глаза, и он всей большой костистой пятерней отвел их за ухо.

— Я польский коммунист, — повторил он совсем тихо, — я не могу дожидать. Я интернационалист. Мой обовёнзэк... долг повелевает мне идти туда, где тэраз бой. Откладывать не можно.

Это было неплохо сказано... Но комбриг Евгений Борисович Аристархов слишком много лет просидел на различных административных должностях, чтобы доверять словам, не подкрепленным в установленном порядке документами. Он и сам в неофициальных случаях полушутя, полусерьезно называл себя бумажным червем, формалистом; порой подумывал даже, что чрезмерная приверженность к форме, именно она помешала ему сделать большую карьеру и в царской армии, и в Красной, в которой он верой и правдой прослужил с восемнадцатого года. Но это его непоколебимое служение установленному порядку, форме было также источником его профессионального удовлетворения, того душевного покоя, какой дает одно сознание точно исполненной службы. В данном случае у Евгения Борисовича не было особенной причины не доверять этому Войцеху Осенке из Польши, но и оснований для полного доверия у него тоже не было. А решающим обстоятельством являлось то, что и Осенка и его спутники находились на попечении вышестоящих

инстанций и только эти инстанции могли удовлетворить или не удовлетворить их просьбу.

— Затрудняюсь, товарищ Осенка, что еще я мог бы посоветовать вам,— сказал военком.— Вот так.

Но и после этого «вот так» его посетитель не удалился; держась прямо и только склонив слегка голову, он стоял в позе, выражавшей одновременно и подчиненность и протест.

— Ваша семья осталась в Перемышле? — подождав, спросил Евгений Борисович.— Кто ваши родители?

— Ойтец мой был... листонош... как это по-русски? — затруднился Осенка.— Носил листы...

— Почтальон,— подсказал военком.

— Так — почтальон. Моя matka швейка.

— Кто у вас остался на территории, оккупированной противником?

— Одна она — моя родная matka.— И Осенка посмотрел куда-то мимо своего собеседника.— Мой ойтец мертвый с двадцатого года. Военком тоже поднялся.

— Незамедлительно по получении ответа на мой запрос я извещу вас,— сказал он.— А пока отдыхайте. Ждите вызова.

Но, не подождав вызова, Осенка на другой же день опять пришел в военкомат и, терпеливо просидев в коридоре до сумерек, пока коридор не опустел, опять постучался в кабинет.

Он застал его хозяина за занятием, которому тот, покончив с текущими делами, неукоснительно каждый вечер отдавался,— этим занятием была стратегия. Военком наносил на свою большую, занимавшую половину стены карту Советского Союза военную обстановку — переставлял, взобравшись на табурет, черные и красные флажки; в руке у него была газета «Красная звезда» с последними сводками... Само собой разумеется, что это обозначение обстановки носило, к огорчению Евгения Борисовича, весьма общий и запаздывавший характер.

Подав руку, Осенка помог военкому сойти с табуретки на пол. Отступив на шаг-другой, чтобы охватить взглядом всю линию фронта от полуострова Рыбачьего до Черного моря, Евгений Борисович некоторое время размышлял, поджав тонкие губы, потом проговорил:

— Есть основания предполагать, что на юге немецкое командование нацеливает главный удар... Куда бы вы думали? Я полагаю, в направлении Таганрог — Ростов, Гитлера интересует Кавказ...

Чистенький, бумажно-бледный, в своем потертом диагональном кителе, он не отрывал глаз от карты, заложив за спину руку с газетой, и вдруг всем легким телом повернулся к Осенке.

— Вчера было сообщение: наши войска оставили Полтаву. После Киева — Полтава.— И строго, как бы делая выговор, продолжал: — Фронт против Германии со всеми ее сателлитами держим мы одни — мы, Советский Союз!

— То ест правда,— тихо сказал Осенка.— Потому мы, поляки, здесь, у вас.

Стоя перед картой, они поговорили в этот вечер еще о международной обстановке, о событиях, предшествовавших войне, о постыдно быстрой капитуляции перед фашизмом многих европейских правительств. А когда разговор вновь коснулся Польши, Осенка сказал, что вся вина за бедствия его родины также лежит на буржуазно-помещичьих довоенных правительствах:

— Они завше предавали свой люд за классовэ, эгоистичнэ интересы...

Он не повышал голоса, не горячился, а как бы даже забывал, что его слушают, устремляя в пространство свои светлые глаза.

— Поляки не сдались, и Польша не сгинела, альбо нас всех возмрут мертвыми.— Это прозвучало у него как обет.— Но то ест правда, Россия одна воюе тэраз и за нашу свободу.

Словом, у него с Евгением Борисовичем обнаружилось полное согласие во взглядах. Но когда он заговорил о самом важном сейчас для него, о том, что и заставляло его приходить сюда — «Просимо у вас оружия, товажиш военком!» — Евгений Борисович остался непреклонным:

— Я направил запрос, надо подождать, порядок есть порядок.— И под конец не удержался:— Отдыхайте пока, товарищ! — А повторив это, он и сам почувствовал неловкость.

На следующий день с тем же вопросом — получен ли ответ? — Осенка появился снова, и Евгений Борисович пригласил его к себе домой в гости.

Жил он теперь одиноко: старший его сын служил на флоте, жена с младшим сыном и с матерью, тещей, уехала в начале войны к родственникам за Урал. И в темной передней их встретила мяуканьем скучавшая в одиночестве кошка: в квартире, однако, было прибрано и проветрено, и Евгений Борисович первым делом стал закрывать форточки. Занимая гостя, он показал ему свою библиотеку, составленную из книг по военному искусству, затем, движимый симпатией, которую он уже испытывал к этому настойчивому поляку, снял со стены и дал подержать старую, в золоченых ножнах шпагу с наградной гравированной табличкой: «Начальнику штаба дивизии имени Желябова, военспецу товарищу Аристархову за преданную службу рабочему классу от командования Южфронта». Шпага была взята в какой-то помещицъей усадьбе в далеком двадцатом году.

Они проговорили тогда допоздна. Извинившись за холостяцкую простоту угощения, Евгений Борисович поставил перед гостем графинчик с водкой и зажарил ему яичницу; сам он удовольствовался чаем с сухариками и овсяной кашей — он был на диете. А после ужина, убрав все со стола, он принес географический атлас, и они опять погрузились в рассуждения о ходе военных действий... Евгений Борисович поинтересовался обстановкой в оккупированной Польше, стал расспрашивать о партизанском сопротивлении и задал вопрос: не омрачают ли исторические воспоминания, как он выразился, отношения поляков к своему нынешнему естественному союзнику, к России?

— Так,— ответил Осенка.— Так... Но мы, коммунисты, открываем люду глаза на правду.

И медленным голосом он сказал, что была Россия царская и была Россия революционно-демократическая, и есть Россия Ленина, что была Польша шляхетская и есть Польша пролетарская.

Разговор перешел на историю Польши, и тут с приятностью для Осенки выяснилось, что хозяин достаточно с нею знаком: он называл имена Костюшко, Домбровского, Сераковского, вспоминал Краковское восстание, Галицийское восстание, Силезское восстание... Осенка слушал с благодарностью, легкие тени волнения блуждали по его светлоглазому славянскому лицу. А отвечая, он к польским именам вождей освободительных восстаний — этой никогда не прекращавшейся, полной отчаяния и отваги войны — добавил имена Герцена, Огарева, Чернышевского, Потемни, служивших повстанцам и словом и оружием.

В тот вечер он произвел на Евгения Борисовича не просто хорошее впечатление — казалось, что за его столом, положив на скатерть крупные костистые кисти рук, сидел кто-то из этих повстанцев, один

из косиньеров Костюшко, такая подвижническая страсть угадывалась в молодом человеке из Перемышля.

Перед уходом в передней Осенка помедлил — он все ждал, не скажет ли хозяин что-либо утешительное по его личному безотложному делу. Но Евгений Борисович как бы и не догадывался даже о его нетерпении. Он искренне сочувствовал молодому человеку, но ничего не мог, разумеется, для него сделать, не получив указаний.

На исходе очередного, четвертого дня Осенка, придя в военкомат, не застал военкома. Писарь, пожилой лысый сержант, перебивавший какие-то папки на полках шкафа, сказал, что товарища комбрига вызвали на заседание в райком партии. И, прождав в коридоре до полной темноты, Осенка так в этот раз и не поговорил с комбригом.

В пятый день он на всякий случай явился пораньше, и военком вышел к нему в коридор. Принять его Евгений Борисович не смог — был занят со своими немногими помощниками спешной работой — и попросил наведаться завтра; может быть, завтра будет уже ответ из армии.

— Завтра, завтра, не сегодня — любимая поговорка чиновников, — сказал он, и слабая усмешка тронула его бритое дряблое лицо. — Я всего лишь чиновник, военный чиновник.

А когда наступило это завтра, нельзя уже было терять ни часа. В коридоре военкомата стояла тишина и пахло дымом, должно быть, здесь жгли недавно бумаги. Военком, к счастью, был у себя и, кажется, даже поджидал Осенку.

— Хорошо, что поспешили, — сказал он. — Я хотел уже послать за вами.

Его кабинет, по первому взгляду, стал словно бы просторнее — обнажились стены, с которых были сняты карты... Пришел, видимо, час говорить со всей решительностью, и Осенка медленно, прилагая трудные усилия, чтобы не утратить контроля над собой, начал свой доклад о событиях этого утра. Военком его прервал:

— Мне известно, противник занял Спасское, отсюда двадцать километров. Связи с армией нет, связи с областью также нет. Получайте оружие!

Он выговорил эти два последних слова, как бы не придавая им особого значения, просто и легко. И — что было совсем удивительно —, засмеялся тихим шелестящим смехом.

— Вот и дождались светлого праздничка! — непонятно сострил он. — Может быть, сегодня уже пойдем в бой.

Затем он отпер свой сейф — угрюмый, будто сургучом окрашенный шкаф, упрятанный в нише стены, — отвел обеими руками толстую плиту дверцы, оглянулся на Осенку и, тот глазам не поверил, подмигнул ему... Из этого стального хранилища военком вынул и перенес на письменный стол два нагана, патроны в пачках, в обоймах, в холщовом, туго набитом мешочке и несколько гранат РГД-33 в гранатных сумках; в промежутке между сейфом и стеной стояла винтовка-полуавтомат с примкнутым штыком, коротким и плоским, как кинжал; военком взял и винтовку.

— Это все вам и вашим товарищам, — сказал он, — поделите между собой. Гранаты проверены, запалы в сумках...

Его словно подменили. И, конечно, Осенка не мог проникнуть в тайное тайных того, что произошло с Евгением Борисовичем. Впервые за долгий ряд лет он, педантичный исполнитель всех приходивших сверху приказов, инструкций, предписаний, принимал самостоятельные, ни с кем не согласованные решения. Распорядившись напоследок в своем военкомате, кому из его помощников пробиваться с до-

несением в армию, кому оставаться с ним здесь, сам он собрался идти к партизанам. А далее, никого уже не спрашивая, он призвал в строй симпатичного товарища Осенку с его друзьями. Эта свобода в решениях, эта взятая на себя полная ответственность даже помолодили Евгения Борисовича. И он не уклонился от неожиданной свободы, как не уклонился от нее в другом, давнем году, когда также потребовалось — по совести и по разумению — решить другой жизненно перво-степенный вопрос: куда идти, с кем и против кого сражаться?

— Самозарядная винтовка лично вам, товарищ командир интернационального взвода, — сказал Евгений Борисович. — Ну что же вы?..

Не отдавая себе отчета, Осенка выпрямился и молча водил взглядом по разложенным на столе, темно и тускло блестящим прекрасным предметам. Он как будто не решался прикоснуться к ним.

— Или отвыкли уже от этих игрушек? — спросил военком.

Но его шутка не вызвала отзвука — душа Осенки была во власти волнения столь сильного, что оставалась глухой ко всему иному. Забывшись, Осенка заговорил на родном, польском языке, негромко и с длинными паузами:

— *To est prawdiwe braterstwo... prawdiwe braterstwo... towarzyszu komisar!*²

Через несколько минут они вышли из военкомата втроем — третьим был тот самый сержант, с которым Осенка уже познакомилась. На плече у сержанта на ремне болтался карабин, а под мышкой он нес свернутые в толстую трубу карты; труба была довольно длинной, и стоило только ему повернуться, как она обязательно задевала за стену дома, за ограду, за фонарный столб. Сержант вполголоса чертыхался и хмуро поглядывал на военкома.

Тот — тощенький и легкий, в сдвинутой набекрень фуражке с красным околышем, с маузером в деревянной кобуре на боку, сохраненным с гражданской войны, — быстро вышагивал сухими тонкими ногами в начищенных сапогах с задравшимися кверху носками. На углу он остановился возле бабы с мешком тыквенных семечек, и она зачерпнула граненым стаканом из мешка свой товар. А Евгений Борисович рассмеялся.

— Каленые? — спросил он. — Почем продаете?

На взгляд Осенки, военком повел себя совсем уж непоследовательно, несерьезно. Он достал из кармана рублевую бумажку, сунул ее бабе, а затем собственноручно высыпал по стакану семечек в карманы Осенки и сержанта. При этом он хитро улыбался, поджимая свои бесцветные губы.

На углу Осенка, весь увешанный оружием, расстался с этими попутчиками, чтобы вскоре снова с ними встретиться. Ему надлежало сейчас же собрать свой интернациональный взвод, вооружить его и явиться по адресу, который дал военком.

3

Переступив порог ателье «Светотень», Лена тут же будто споткнулась — под ее туфелькой хрустнуло раздавленное стекло. И ее «здрасьте» так и не слетело с полукрытых губ...

Федор Саввич, фотограф, был в ателье. Большая округлая фигура его в бархатной, гранатового цвета кофте возвышалась у стола в глубине этой тесной длинной комнаты, заставленной по стенам шкафами, но он даже не поднял на вошедших головы, поглощенный своим занятием. Лена в нерешительности помедлила... А он из груди

² Это настоящее братство... настоящее братство... товарищ комиссар!

черных конвертов с негативами, наваленных на столе, взял один и вслух басом очень громко, точно в ателье собралось много народа, прочитал надпись на конверте:

— «Праздник урожая в колхозе «Знамя Октября», тысяча девятьсот тридцать девятый год».

Вынув из конверта стеклянную пластинку, он посмотрел ее на свет, близко поднеся к глазам, кинул на стол и вдруг, к изумлению Лены, коротко взмахнув, ударил по пластинке пепельницей — марморной совой, держащей в когтях круглую чашу. Стекло длинно зазвенело, точно лопнула струна, и со стола посыпались, тоненько перезваниваясь, осколки.

— Не было праздника урожая, — своим трубным басом проговорил Федор Саввич.

Тут же он потянулся за другим конвертом.

Должно быть, он трудился так уже давно — пол в его ателье был погребен под кучами битого стекла, порванных снимков и черных конвертов.

— «Первое мая, демонстрация трудящихся, тысяча сороковой год», — оповестил он, читая на конверте надпись.

— Простите, — пролепетала Лена, — мы вам, кажется, помешали.

Но он не услышал ее... И опять раздался пронзительный струнный звук, и брызнули, и зазвенели осколки, падая на пол, на кучу других, упавших раньше.

— Не было Первого мая, — сказал как отрубил Федор Саввич.

Он называл каждый свой снимок: «Чествование героев труда на маслозаводе», «Открытие районного слета передовиков сельского хозяйства, президиум», «Вручение свидетельств об окончании курсов трактористов».

И каждый раз, как свое окончательное решение, он во всеуслышание оглашал:

— Не было чествования... Не было слета... Не было курсов трактористов...

Можно было подумать, он помешался... Старожил этих мест, их летописец, он уничтожал свою летопись, истреблял самую память о прошлом, все следы того, что было здесь жизнью, трудом, праздником. И, превращенная в мелкие осколки, эта миновавшая жизнь только похоронно звенела, осыпаясь с его стола.

— Федор Саввич! — Лене сделалось даже страшновато. — Вы все... все хотите разбить?!

Она ступила по захрустевшей осыпи и опять остановилась — это было то же самое, что ступить на что-то живое.

— У вас тут шагу сделать нельзя! — жалобно воскликнула она.

Только теперь до фотографа дошло, что в ателье кто-то есть еще. Он обратил к посетителям лицо — крупное, толстое, носатое, — откинул рукой космы слипшихся волос, и Лена, оробев, оглянулась на Федерико. Казалось, что сию секунду Федор Саввич обрушится на нее. В немой ярости он долго молчал, и его налитые глаза с лиловато-красными белками не менялись, точно глаза слепого. Наконец что-то засветилось в них...

— А-а, Елена!.. Здравствуй, Елена! Как твои тетушки?.. — Он и сам будто не слышал того, что срывалось у него с языка. — Уважаемая Ольга Александровна...

Они были очень старыми знакомыми, он и все Синельниковы — его многолетние, в трех поколениях клиенты. Эту юную барышню Елену Синельникову он фотографировал еще, когда она только пошла учиться, в форменном платье школьницы, и он снимал ее совсем недавно, этой весной, в белом, сшитом для выпускного бала платье. Где-

то в архиве у него хранились и фотографии ее родителя — незадачливого, безвестно сгинувшего Дмитрия Александровича Синельникова, сына мирового судьи, и фотографии ее матери; снимал он и самого покойного судью...

И Федор Саввич опаматовался, большая волосатая голова его закивала, затряслись щеки, и он выпустил из руки свое ужасное оружие уничтожения — каменную сову. Со звоном и хрустом, давя стекло слоновыми ногами в громадных башмаках, он пошел от стола к Лене.

— Ты погляди... вот погляди.— В толстой руке с коричнево-желтыми от проявителя пальцами он протягивал ей какой-то негатив.— Это, знаешь, что?.. Ты была там? Это закладка Дома культуры в Спаском, в запрошлом году закладывали. Ты погляди на негатив...

— И вы хотите его разбить?! — воскликнула Лена.

— А я могу его оставить?! Кому? Им?.. Оставить его им? Чтобы они потом издевались, а по моим фото брали людей... Э, нет!.. Не будет этого, нет!

Поискав машинально в кармане кофты, Федор Саввич вытащил трубку — пенковую, с крышечкой, но не закурил, тут же позабыв о ней. Вблизи он производил впечатление большого, а может быть, и вправду помутившегося в рассудке человека!.. В свои немалые уже годы Федор Саввич славился не одним искусством фотографии, но и галантным обращением, и особенным, «артистическим» франтовством. Перед клиентами в ателье он появлялся не иначе как в бархатных кофтах, приличествующих свободному художнику, с бантом вместо галстука; ходили слухи, что он даже красил и подвивал опущенные по плечи волосы. А сегодня только эта старая, вся в пятнах гранатовая кофта напоминала о прежнем Федоре Саввиче. Он затоптался перед Леной — огромный, грузный, нечесаный, какой-то весь помятый — и, сунув трубку в карман, снова загудел своим диаконским басом:

— Мой фотоархив... Ему скоро сорок лет, моему фотоархиву! Это же вся эпоха! Я снимал эпизоды революции пятого года... манифестации в семнадцатом! В моем архиве, любезная Елена, есть оригинальные портреты Толстого Льва Николаевича, есть фотоэтиюд с Верой Холодной. Это исторические негативы.

— И вы все бьете?! И снимки революции?! И снимки Льва Толстого?! — Лена возмутилась.

— Мои две открыточные серии «Весна» и «Осень» получили в Москве первую премию. Это было в девятьсот тридцатом году.

— И вы их тоже разобьете? Какой ужас, господи!

— Ужас, да! Последний день Помпеи! Но прежде чем появятся они, гунны двадцатого века... — И Федор Саввич вдруг непостижимо улыбнулся — неразумно, злобно, коварно.— ...Я прежде них, я сам... собственными руками... А не отдам! Им? Не отдам! Кукиш им!..

— Ох, разве можно!.. Успокойтесь, пожалуйста! — попросила Лена.

— А как... как можно?.. Разве мне одному?! Даже с Анной Максимовой, с моей... верной подругой, разве мне поднять мой архив?

— Вам надо попросить в горсовете машину,— сказала Лена.— Вам обязательно дадут.

Он обвел взглядом стоявшие по стенам шкафы со множеством ящичков и опять улыбнулся своей дурной улыбкой.

— Мне тут до вечера дела хватит,— с неизъяснимым выражением проговорил он.— Этс же за сорок лет, за всю жизнь...

Лишь после паузы он ответил Лене, вспомнив про ее совет:

— Обещали мне машину, я просил... Нельзя же немцам оставлять снимки людей... Да вот нету машины. Она, может быть, раненых с поля боя возит... А Гитлер — в Спасском, к ночи здесь будет!.. Да только шиш от меня ему достанется... комбинация из двух с половиной пальцев. Я хоть в бога не верую, а был крещен... — Он оборвал себя и, будто удивившись, сбавив голос, проговорил: — Выходит, не было моих сорока лет, комбинация из двух с половиной пальцев.

Федор Саввич сложил из своих коричневых пальцев дулю, поглядел на нее и, повернувшись, тяжело потопал к столу.

— Послушайте! — крикнула Лена в его ссутулившуюся спину. — Да послушайте же!

Она побежала, как по воде, разбрызгивая стеклянные брызги, и у стола догнала его.

— Отберите все самое важное и возьмите с собой. — Она чувствовала уже деловое превосходство над этим безумным стариком. — Вы поедете с нами. Тетя Оля как раз хлопочет сейчас насчет машины, она в горсовете.

Федор Саввич повел налитыми бычьими глазами.

— Беги из города, Елена, пока не поздно! — сказал он.

— Конечно, мы уедем, сегодня же! И вы с нами. А пока... — Лена самую малость замялась. — Пока снимите нас двоих. Пожалуйста!

— Что? — спросил он. — Кого снять?

— Нас двоих, вместе, пожалуйста! Мы очень просим... Простите, я не познакомил вас. — Спohватившись, Лена обернулась к Федерико. — Это наш гость, он живет у нас в Доме учителя.

Федерико, оставшись на пороге, так и стоял там в продолжение всего разговора, взирая с непроницаемым видом на происходившее; вряд ли, впрочем, он что-либо понимал.

— Это участник войны в Испании, антифашист. А зовут его просто — Федерико, он итальянец. Мы хотим вместе, вдвоем, на память. Пожалуйста!

И Лена улыбнулась своей самой любезной, самой обаятельной, казалось ей, улыбкой, какой улыбалась, выходя на вызовы, на сцене.

— Если, конечно, вас не затруднит. Но это ведь не займет много времени.

Федор Саввич все молчал — в первую минуту ему подумалось, что жестокая молодежь глумилась над ним. И в самом деле, только со зла можно было просить его сегодня кого-то фотографировать... Да и кому всерьез могло понадобиться фото «на память» в этот «Последний день Помпеи». Он сам только что на глазах у легкомысленной девчонки и ее кавалера уничтожал, добивал человеческую память...

— Вы, барышня, что же?.. — громовым голосом начал он.

— Федор Саввич! — Лена сложила, как для молитвы, ладони. — Если б вы только знали!.. Это очень, очень важно, чтобы вы сняли нас вместе.

Она покосилась на Федерико и, хотя тот не понимал по-русски, заговорила шепотом на всякий случай:

— Сделайте для меня!.. Сделайте маленький снимочек... Ну, не самый маленький, средний... Мне хочется, чтобы мы с Федерико были вместе. Вы понимаете?.. Мне надо, чтобы мы были вместе... — Ее лицо смеялось, а шепот был жарким. — И теперь все зависит от одного вас! Ну пожалуйста!

— От меня? — саркастически переспросил Федор Саввич. — Я могу теперь поднять только эту пепельницу... Что я еще могу?

— Все! — горячо прошептала Лена; ей сделалось необычайно интересно, и она почти совсем поверила сейчас — так захватила ее эта

полуигра! — в могущество старого фотографа. — Вы можете сделать, что мы с Федерико будем всегда вместе... Даже через сто лет!

Федор Саввич перевел невольно взгляд с нее на молодого человека в дверях и опять вернулся к ней. «Вам неизвестно даже, что с вами будет завтра, не то что через сто лет», — сложилась у него фраза... Но совершенно независимое от этих мыслей, неожиданное впечатление поразило его.

В прямоугольнике двери, открытой на площадь, бело сиял воздух, вновь наполненный солнцем, и фигура молодого атлета, прислонившегося к косяку, рисовалась четким силуэтом. Лучи, отраженные от застекленной верхней половинки двери, давали боковое освещение, и античный, так и подумал Федор Саввич, античный профиль этого юноши — линия прямого носа без изгиба переходила в линию лба, над которым нависали крупные крутые витки, — был очерчен высвеченным контуром. Спутанные волосы девушки, пронизанные солнцем на «контражуре» — косынка соскользнула у нее на затылок, — окутывали ее голову полупрозрачным облачком, а глаза на затененном лице светились словно бы изнутри. Девушка и парень, ее спутник, являли собой поистине редкостную «натуру», и Федор Саввич невольно восхитился и обрадовался.

Именно так — обрадовался! Он и в самом деле был художником помимо своих «художнических» причуд, своего тщеславия, а сегодня и помимо своего отчаяния. Он оставался художником даже при всех изъянах своего вкуса, бескорыстно радуясь каждой встрече с тем, что казалось ему прекрасным. Корысть, особая, художническая, появлялась, впрочем, чуть позднее — в желании удержать, сохранить навечно хотя бы частицу хрупкой бегущей земной красоты. И это повелительное желание еще раз, не спросясь, завладело Федором Саввичем в его «последний день»...

— Ну, что вам стоит? — спрашивала Лена. — Снять, проявить, напечатать — все это можно за полчаса, даже меньше.

Федор Саввич, не слушая, наклонял машинально голову то к одному плечу, то к другому, сосредоточенно всматриваясь в эту нечаянную «натуру».

— Подвинься-ка влево... на полшажка, — в задумчивости проговорил он. — Ты, ты, Елена! Левее на полшажка... И опусти руки... Разведи их слегка... Вот так! Теперь отступи на шагок... Ну так, пожалуй, так... Зафиксируем!

И на его тяжелом щетинистом стариковском лице выступило новое выражение — выражение лукавства.

— Не сходите, ради Христа, с мест!.. Так будет замечательно!.. Замрите! — гулким шепотом попросил он, словно вовлекал свою «натуру» в какой-то заговор. — А я аппарат сейчас!..

Он попятился, торопясь, и скрылся за дверью позади стола, что вела в его рабочий павильон.

Но фотозюда на тему «Солнечная юность» или «На пороге счастья», как подсказывало уже Федору Саввичу воображение, ему так и не удалось сделать. Когда он возвратился, неся аппарат с треногой, «натуры» на месте не оказалось — Лена и Федерико стояли за порогом ателье на тротуаре, подняв к небу головы. И был явственно слышен воющий волнообразный звук, который непрерывно усиливался.

— Немцы! Летят сюда! — крикнула со звонкой отчаянностью Лена. — Федор Саввич, скорее, немцы!

...Потом все трое бежали через пустынную площадь к исполкому, где во дворе была вырыта щель. Федор Саввич противился сперва, ревел во весь свой голос, что он «чихать хотел», что «пускай все пропадом, к чертям!», но Федерико подхватил его под локоть и повлек.

На крыльце исполкома стояла, озираясь по сторонам, Ольга Александровна, не зная, где искать Лену. Завидев бегущую племянницу, она сразу обессилела и опустила на ступеньку, села.

Двухмоторные «юнкерсы» — Федерико принялся считать их, насчитал до четырнадцати и сбился со счета — в сопровождении «мессершмиттов» шли против солнца, поблескивая металлическими плоскостями, и было видно, что они идут прямо на город... Лена помогла тетке спуститься в узкий окоп и крепко обняла ее; Ольга Александровна кривила губы, что должно было означать улыбку. Федерико спрыгнул в щель последним, когда самолеты стали снижаться.

— Mierdel! — сквозь зубы ругался он. — Mierdel!

И их случайный сосед в окопе — человек в очках, в клетчатой кепке, с противогазом через плечо — подозрительно его оглядел.

Вскоре в железном невыносимом реве, рушащемся с неба, пропали все другие звуки. Люди лишь беззвучно шевелили губами, когда пытались говорить. А весь окружающий мир точно утратил свою материальность, стал призрачным, невесомым. Единственно вещным и все более тяжелевшим, пригибавшим книзу, вдавливавшим, вбивавшим в землю был теперь один этот рев.

Лена сморщилась и уткнулась лицом в плечо Ольги Александровны, в ее слабо пахнувшее духами «Красная Москва» выходное платье. Федор Саввич не устоял на ногах, его шатало, он по стенке окопа сполз на корточки.

А бомбардировщики пронеслись над ними звено за звеном, не сбросив здесь ни одной бомбы. Их темные крестообразные тела промелькнули на светлой полосе неба, видимой из окопа, и только их укороченные тени — солнце стояло еще высоко — скользнули по согнутым спинам, по головам. «Юнкерсы» где-то уже отбомбились и возвращались пустые на свою базу...

Федерико выпрямился и заорал им вдогонку:

— Mierdel!

Он не мог простить, что ему пришлось залезть в эту узкую щель, испачкаться в земле, пережить ожидание бомбы. Ольга Александровна заплакала и кинулась целовать Лену.

В ту же минуту ударил ужасающий дробный гром, словно бы гигантские молоты с молниеносной скоростью стали всаживать гвозди в железо, — это заработали крупнокалиберные пулеметы «мессершмиттов». Истребители шли на бреющем, не встречая зенитного огня, и бешено клевали пустынные улицы, драночные и черепичные крыши, зеленые дворики, яблоневые сады, описывая все новые, раздирающие воздух круги. В стороне монастыря что-то загорелось, там вырос столб грифельного дыма. И возник еще один звук, пронзительно-однотонный, звук автомобильной сирены; пожарная машина помчалась к монастырю.

Лишь расстреляв, видимо, весь боезапас, «мессершмитты» полетели выше и исчезли за тучками.

— Ну вот, привет!.. — вздрагивающим голосом сказала Лена, когда все выбрались наверх. — Мои чулки! Боже, какая дыра!..

Федора Саввича им пришлось под руки отвести в его ателье «Светотень». Старик еле переставлял ноги, и ни о каком возобновлении съемки не могло быть и речи. А затем Ольга Александровна, Лена, и Федерико вернулись, торопясь, в Дом учителя... Машины Ольга Александровна не получила; заместитель заведующего районо, у которого она была, даже не нашел, что ей посоветовать, кроме: «Уходите пешком!» Но это явно для нее не годилось. Сам он безуспешно добивался кого-то по телефону, а обращаясь к ней, повторял отры-

висто и ненужно громко: «Я вас понимаю... Я вас понимаю...» Бедняга и сам потерял голову.

В Доме учителя их встретила еще одна тревожная неожиданность — во дворе у них опять стояли те же две груженные машины интендантов. Оказалось, что в свою дивизию интенданты не смогли уже проехать — шоссе было перерезано неприятелем. И им ничего не оставалось, как вернуться назад, чтобы попробовать глубокий объезд.

Веретенников, вышедший на крыльцо, откозырял Ольге Александровне и попросил извинить за самовольное вторжение.

— Мы к вам, как в родной дом, — сказал маленький техник-интендант. — Заглянули по пути посмотреть, как вы и что...

Он заметно похудел за эти двое суток, был весь в пыли, но, разговаривая, по-прежнему держался пряменько и высоко задира л голову.

— Мы ненадолго. Обстановка серьезная, но не будем падать духом.

Войцех Осенка увел Федерико в комнатку Барановских и там вручил ему самозарядную винтовку. Осенка был справедлив, а Федерико стрелял лучше, чем он: пана Юзефа он вооружил наганом, второй наган он оставил себе. Гранаты Осенка распределил также разумно: две Федерико, две себе, только одну — пианисту.

А в городе тем временем стали появляться и другие военные машины... Они все мчались через центр к монастырю, точнее, к мосту и переезжали там на восточный берег. Как и машины Веретенникова, они искали выхода из некоего обозначившегося кольца.

Восьмая глава

СМЕРТЬ ГОРОДКА. ОБОЗНИКИ

Виктор Константинович Истомин случайно запомнил время, когда две их машины — он в головной с Кобяковым и следом за ними Веретенников с Куликом — огибали стену монастырской крепости, чтобы выехать к реке, к съезду на мост. Он взглянул машинально на свои ручные часы: было ровно четверть второго... За поворотом их машины вынуждены были затормозить среди других машин и повозок, съехавшихся к переправе и затертых, как в тупике. Кое-кто пытался повернуть назад, дико завывали моторы, шоферы длинно сигналили, ездовые из санитарного обоза, держа коней в поводу, немисливо ругаясь, сводили повозки на обочину, а сзади подъезжали новые машины и тоже тормозили, сигналили и пятились. Переправы уже не было, так как не было больше старого деревянного моста, точнее, от него уцелели только два пролета ближе к левому, восточному берегу, середина его обрушилась в воду, а все его деревянное плетение, примыкавшее к берегу здесь, на правой стороне — балки, фермы, полотно настила, — сгорело. От почернелых свайных опор, от торчавших из воды наподобие растопыренных пальцев обугленных подкосных ферм еще тянуло угарной горечью, курился белесый дымок. Мост был уничтожен совсем недавно, и — как ни удивительно! — при свете дня и на глазах у множества людей, во время движения.

Истомин не уразумел толком, как это произошло, да и, по правде говоря, не любопытствовал. За последние сутки, пока они с Веретенниковым кружили по проселкам, пытаясь добраться до своей дивизии, его добрые предчувствия бесследно растаяли, надежда, поманившая было Виктора Константиновича, обманула его. Вести — одна злее другой — все множились вокруг: «Немцы прорвали фронт!», «Наши

опять отходят...», «Где штаб армии, только штаб и знает...», «Братцы, нас окружили!..», «Фрицы в Можайске!..» А вчера они со своими двумя машинами, груженными сливочным маслом и сушеным картофелем, едва не напоролась — дело было в поздних сумерках — на немецкие танки. В последнюю, может быть, минуту их предостерег вынырнувший из лесной черноты на дорогу, сам весь в пороховой черноте, неизвестный сержант с автоматом. Он с маху ловко вскочил на подножку к Виктору Константиновичу, ехавшему впереди.

— Куда разогнались? Назад! Назад уматывай!.. На шоссе Гудериан! — крикнул он, сверкнув ярко-белыми зубами.

Сесть в кузов и уматывать вместе с ними он почему-то отказался, крепко выругался, спрыгнул с подножки и тут же пропал за деревьями; возможно, он был в разведке.

А в стороне шоссе, на которое намеревался выехать Веретенников, они и в самом деле, когда заглушили моторы машин, услышали тяжелый, густой, чугунный гул...

Ночью они спали плохо, они не знали теперь, где еще держат оборону свои, а где уже катят немцы. Веретенников укрыл машины за деревьями лесной опушки и назначил караул на ночь; пистолет он перезарядил и строго, нарочито строго отдавал команды. А на Виктора Константиновича нашло странное состояние — ему сделалось даже не страшно, а физически, до отвращения тягостно, его мутило, поташнивало. Конец их был уже виден: они со своим картофелем и маслом угодили в бронированную западню, в которой напрасно, как затравленные, метались. Окружение суживалось, как петля. И, оцепенев душевно, Виктор Константинович сильнее всего ощущал сейчас это свое телесное неблагополучие — непрерывное поташнивание, вызывавшее обильную слюну.

Он и не сразу понял, о чем, собственно, заговорил с ним с глазу на глаз их новый шофер Кобяков, когда перед рассветом передавал свой пост. Хмурый, туповатый по виду, Кобяков не возбуждал у Виктора Константиновича ни симпатии, ни интереса. Сидя за баранкой, этот человек часами безмолвствовал, точно о чем-то одиноко размышлял. Но о чем, в самом деле, мог размышлять человек с таким щекастым, в кустистой щетине лицом — это было, казалось, само олицетворение безмыслия. А тяжелый запах, исходивший от его давно немытого тела, от замасленного, никогда не снимавшегося ватника, заставлял Виктора Константиновича отворачиваться, морщиться и держать в дороге опущенной фанерную дощечку, заменявшую в кабине выбитое стекло. Не замечая ничего этого, Кобяков с некоторых пор стал проявлять к нему почти что дружелюбие: помогал устраиваться на ночь, приносил солону под плащ-палатку. И началось это после того, как Виктор Константинович — не более чем из привычной вежливости — расспросил Кобякова, откуда он, есть ли у него семья, дети. Неудобно же было сидеть целыми днями бок о бок и не познакомиться. Оказалось, что у нового шофера есть и жена где-то в Рязанской области, и маленький сынок, и старуха мать, а сам он незадолго до войны вышел из лагеря, промаялся там два года за некий — тут Кобяков не вдавался в подробности — проступок, кажется, что-то украл в колхозе... И он словно почувствовал признательность к Виктору Константиновичу за участие. А в эту беспокойную и, может быть, последнюю их ночь, передавая ему свой пост на опушке, он завел доверительный разговор.

Было еще темно, туманно — рассвет только забрезжил. А смутный гул все наплывал из сумрачного воздуха — железное движение по дорогам, уходившим на восток, к Москве, не прерывалось и

ночью... Виктор Константинович стащил с плеча свою винтовку; ледяной металл затвора коснулся его щеки, и он поежился.

— Тоскует душа, а? — тихо проговорил Кобяков. — Понятная вещь.

Он сунул за пазуху руку, порылся там, в глубине ватника, и извлек коленкорový потрескавшийся бумажник, а оттуда сложенный вдвое листок.

— Погляди-ка вот... Может, и не врут... — Он протянул бумажку.

И, поднеся ее близко к глазам, Виктор Константинович рассмотрел фашистскую листовку, одну из тех, что уже случалось ему видеть; немцы в большом количестве разбрасывали их в эти дни с самолетов. Начиналась она обращением «Русский храбрый солдат!», а затем следовал совет сдаваться «ввиду бесполезности сопротивления», и расписывались всяческие блага немецкого плена: «хорошее питание и гуманное обращение»; внизу, под текстом, был напечатан обведенный рамкой «пропуск в плен».

— Я в Барсуках давеча подобрал на огороде. Там их в картошке много валялось, — пояснил Кобяков.

Виктор Константинович поднял на него непонимающий взгляд... В бессветном, лишь чуть посеревшем воздухе лицо Кобякова расплывалось бледным разжиженным пятном и так же неотчетливо, будто растворенный в полутьме, звучал его голос:

— Пишут — сопротивление бесполезно. И ведь правда... Много ты видел наших самолетов, наших танков?.. А фрицевские, слышь, гудят, гудят... Пропала Москва — это уж точно так.

Приняв, должно быть, молчание Истомина за приглашение к дальнейшему, он подался к нему ближе, вплотную. Виктор Константинович с невольной резкостью отстранился.

— А нам какая надобность пропадать? — просто, деловито сказал Кобяков. — Ты по-ихнему, по-немецки, умеешь?

— Говорю, да... немного. Зачем вам? — Виктор Константинович все еще не понимал, чего хочет этот человек, от которого до тошноты несло кислотной.

— Я так и думал, что ты шпрехаешь.

Кобяков огляделся: в лесу и на проселке было безлюдно, неподвижно. Он вынул из руки Истомина листовку, сложил и вновь упрятал ее в недрах ватника.

— Я прикинул, мы и по одному пропуску можем, — успокаивая Истомина, сказал он. — Пройдем и по одному... Тем более со знанием языка.

Виктор Константинович проглотил набежавшую слюну — тошнота причиняла ему какое-то недостойное, низменное страдание — и внутренне передернулся.

— Но почему?.. — спросил он. — Зачем вы мне это говорите?

Ему было все невыносимо отвратительно сейчас, и даже то, что Кобяков, немый, тупой Кобяков, выбрал именно его себе в компаньоны, вызывало в нем только омерзение.

— А я заметил, тебе тоже нет охоты задаром пропадать. Что, неправду я говорю?.. Я хотя и не шибко ученый, а каждого насквозь проглядываю. Вижу, и ты затосковал, хотя и профессор! — с необычным многословием продолжал Кобяков. — Жить-то каждому хочется... Я так прикидываю, что и при немце можно очень великолепно жить, если, конечно, без дурости. Тем более со знанием языка...

Невидимая ранняя пичужка, проснувшись, тонко пискнула над их головами. Воздух серел, светлел, и размытое пятно кобяковского лица постепенно уплотнилось — появились очертания толстого носа, широких щек; Виктор Константинович различал и редкую, точно поклеванную щетину на этих щеках.

«Какое все-таки уродливое лицо»,— прошло у него в мыслях.

— Я сперва подумал, что ты юде.— Голос Кобякова тоже приобрел материальность, густоту.— А после вижу, наш брат, русак.

И Виктору Константиновичу припомнилось: каждый раз, когда он по малой нужде выходил из кабины и бежал куда-нибудь за дерево, их новый шофер непременно следовал за ним и норовил встать поближе.

— Идите, Кобяков, уходите! — сказал Виктор Константинович, на большее у него не нашлось силы.

Кобяков быстро обернулся, он воспринял это «уходите!» как испуг... И действительно, в лесу, где стояли машины, раздался треск сломанной ветки — кто-то там проснулся и ходил.

— Должно, нашему не спится... Вот тоже хлопотун-дурачок на нашу голову,— проворчал Кобяков о Веретенникове.— А ты попомни, об чем толковали,— совсем тихо сказал он.— Я ведь это тебя жалею-чи, вижу, в расстройстве хороший человек. Я бы и один смог...

Кобяков говорил вполне искренне, он и вправду посочувствовал этому ученому чудаку, добряку, единственному здесь человеку, оказавшему ему какое-то внимание, посочувствовал настолько, что даже рискнул поделиться с ним своими планами... Замолчав, кивнув, Кобяков пошел своей развалистой походкой к машинам.

А Виктора Константиновича не хватило и на то, чтобы уяснить себе, что, собственно, было ему предложено. Он словно бы окостенел внутренне, утратил чувствительность, все впечатления лишь скользили поверх его сознания...

И он даже не слишком взволновался, когда перед сожженным мостом выяснилось, что еще одна их попытка вырваться из окружения также провалилась,— другого он как будто не ожидал. Его не вывело из этого тошнотного полусна, не потрясло и зрелище самой смерти: на спуске к реке на виду у всех лежали в неловких, неудобных позах трупы людей, погибших на переправе, троих мужчин и женщины. Один из мужчин с завернувшейся кверху бородой и отверстым, как в крике, ртом неестественно подвернул под спину руку; у другого, с обгорелым, черно-багровым, пузырчатым лицом, руки были раскинуты в стороны, как на распятии; женщина лежала, плоско вытянувшись, ничком, и на ней был только один сапог. Другой, вероятно, соскользнул с худой ноги в коричневом чулке, когда женщину вытаскивали из воды, намочшая гимнастерка облепляла ее длинную спину, а в ее слипшихся волосах застряли желтые листья.

«Откуда листья?» — только и подумал Виктор Константинович... И потом как бы с недоверием спросил себя: «Это и есть смерть?..» Впервые сейчас он увидел ее такую — на земле, на седой от пыли траве, у дорожной обочины,— смерть на войне, не ту, что мы воображаем для себя, не особенную, а заурядную, бездомную, под открытым небом, поражающую своей голой простотой. И ему померещилось, что тут что-то не так, что истинная смерть должна выглядеть иначе и что эти люди вот-вот пошевелиятся и лягут удобнее.

Вокруг была чрезвычайная суета, напоминавшая странным образом ярмарочную: шоферы, ездовые, кладовщики, писаря, ремонтники, почтари, военторговцы, все, кто угодил тут в западню, собирались кучками, шумели, советовались, перебежали с места на место. Но эта напрасная суета как бы не имела к Виктору Константиновичу никакого отношения, и он пустым взглядом смотрел на далекий, в двустах примерно метрах, противоположный берег, куда все так отчаянно стремились попасть... Этот низкий пойменный берег освещало время от времени из-за тучек солнце, и тогда он становился чудесно, по-майски зеленым. За сочно-зеленой ровной стенкой осоки, спускав-

шейся к самой воде, нежно, светло зеленел гладкий, как газон, лужок, дальше серебристо-зелеными клубами стояли на лужку ивы!.. Спасение, ожидавшее всех там, за рекой, было похоже на вновь наступившую, неурочную весну: она манила к себе так сильно, что кто-то, завязав узлом одежду и приторочив ее на спине, бросился вплавь в осеннюю воду. Но, на отрешенный взгляд Виктора Константиновича, и этот дальний берег был только обманным миражем, что неминуемо должен рассеяться при приближении.

...Веретенников, выскочив из машины, тут же побежал доискиваться, что же такое произошло на мосту. Не в его натуре было наблюдать происходившее в бездействии.

Полуодетый мальчик, побывавший, должно быть, в воде, откликнулся на его расспросы... Босой, в облепивших тонкие ноги заношенных подштанниках, мальчик сидел у дороги недалеко от мертвецов, весь заголубевший от холода, и, обхватив себя скрещенными руками, растирал голые плечи. На кусте сушилась его армейская гимнастерка, и, как горшки на плетне, торчали на ветках сапоги с протертыми насквозь подметками.

— Яны удвох ехали... А потым с возу враз и побегли,— вздрагивающим голосом рассказывал этот солдатик.— Яны як раненые бойцы ехали, як усе... у пилотках. Я их добре бачив, близенько...

— Не запомнил, какие они из себя, эти двое?..— допытывался Веретенников.

— Якие? А ниякие... Здоровы, як те кабаны, тряса их матери!.. И у пилотках... Я ж казав.

— Ты их приметы скажи,— просительно проговорил Веретенников.— Особых примет не заметил?

— Ни, не заметил...— Солдатик повел своими отрочески-тонкими плечами.— Чего бачив, то бачив, а чего не бачив, извиняйте.— Он немного подумал.— У одного усица здоровые...

— А потом что было? — поторопил Веретенников.

— А потым яны с моста прыг, прыг... а на ихнем возу зараз же и рвануло, и огонь снопом!..— Мальчик потянулся и потрогал край своей гимнастерки, распяленной на ракете.— Не сохне, тряса его матери... А коняка враз на дыбки, скачет, а на хвосте огонь...

— Эх, как же их в воде не шлепнули? — Техник-интендант возмущился.

— А я так само в реку скаканул, что было робить?..— сказал мальчик.— Другие так само поскакали, а кого скинуло... Яны, стервы, под воду ушли, а выплыли где, я не бачив. А мост гарыть, а коняка, як тая комета...

— Ты кушать хочешь? — неожиданно спросил Веретенников.

— Не, не хóчу,— сказал мальчик.

— А кушать все равно надо, хочешь не хочешь, для быстрого роста,— сказал Веретенников и тут же распорядился: — Истомин, Кулик, покормите хлопца! Дайте ему что-нибудь надеть на себя.

Завидев на дороге в беспокойном скоплении людей военного с комиссарской звездой на рукаве шинели, с тремя шпалами в петлицах, он стал энергично к нему пробираться. Комиссар, оборачиваясь из стороны в сторону, помахивая успокоительно рúкой, пыгался навести какой-то порядок. Впрочем, он больше увещевал, чем приказывал,— упрямился не скопляться на открытом месте, съезжать с дороги, становиться в укрытие, под деревья. И, по мнению Веретенникова, этому симпатичному старшему батальонному комиссару с мягко звучащей интеллигентной речью, с русой округлой бородкой, прямо-таки великану по росту и сложению, недоставало командирской власти, металла в голосе. Доложившись, как требовал устав, стар-

шему по званию товарищу, Веретенников отдал себя в его оперативное распоряжение. И комиссар откровенно обрадовался тому. «Вот спасибо, удружили, голубчик!» — простодушно воскликнул он...

Несколько позднее Веретенников узнал, что старший товарищ был комиссаром армейского госпиталя, размещенного тут, в старом монастыре, а в довоенной жизни — ученым, из Академии наук. И хотя их знакомство оказалось совсем коротким, как чаще всего и бывает на войне, Веретенников огорчался впоследствии, что оно, увы, не продолжилось. Чрезмерная и, что уж говорить, неуместная на войне деликатность хотя и заслуживала порицания, но, противно всякой логике, понравилась ему.

А сейчас, спустя лишь несколько минут, маленький техник-интендант 2-го ранга уже на всю дорогу командовал своим высоким тенором, тонковатым, но звонящим:

— Очистить проезжую часть! Рассредоточиться! Укрыться! Живо! Живо! Что вы там чешетесь? Повторяю — рассредоточиться и замаскироваться!.. Ввиду возможного воздушного нападения.

Быстрый, ладный, франтоватый, затянутый в желтые офицерские ремни, в новенькой фуражке с блистающим на солнце лаковым козырьком, он легко вышагивал вдоль обочины, а останавливаясь перед каким-нибудь замешкавшимся возницей, вперял в него снизу черненькие гипнотизирующие глаза.

— Ну-с, будем шевелиться или будем ждать фугаски на голову? — спрашивал он.

Свои две машины Веретенников отвел довольно далеко — метров за двести пятьдесят — и поставил на берегу под ветвистыми, клонившимися к воде вербами. Забрав затем с собой Кулика и Кобякова, он вернулся на дорогу.. Старший батальонный комиссар сколачивал теперь строительную команду для быстреего восстановления моста. Дело представлялось трудным, но при достаточной энергии сильным, так как мостовые опоры уцелели. А главное, раздумывать не приходилось — другого моста на десятки километров вверх и вниз по реке не было. И чтобы эвакуировать отсюда большой переполненный госпиталь и чтобы переправить все скопившиеся здесь армейские тылы, никакие трудности не могли служить препятствием.

С машинами остался Виктор Константинович, с ним доверенный его заботам Гриша Дубовик, четырнадцатилетний солдатик.

Как и следовало ожидать, вскоре в небе появились немецкие бомбардировщики. Летя с запада, они на этот раз не возвращались с бомбежки, а с волнообразным воем шли на бомбежку, обремененные многотонным грузом. Звеньями, по три самолета в звене, они исчезали порой в летящих навстречу тучках и, пронизав их, появлялись снова, увеличившись в размерах. На перепрае не было уже заметных целей, дорога опустела, люди, принявшиеся было за восстановление моста, рассыпались, залегли, и бомбардировщики стали пикировать на город и на монастырь.

Виктор Константинович стоял в своем ивовом укрытии около машин и смотрел, смотрел, застыв, как в столбняке! Береговой откос здесь несколько повышался, и сквозь завесу из ветвей с немногими еще трепетавшими на них листьями ему было видно, как умирал под бомбами этот городок... Там, на его тихих улицах, в его садах, словно бы извергались с каменным грохотом вулканы. Бомбы ложились сериями, можно было даже видеть, как их черные рои отделялись от самолетов, неслись вниз и внизу сериями вспухали бурные черно-желтые облака. Мгновенно разрастаясь, они сливались в одну низкую колыхавшуюся тучу — ее комкало взрывной волной. И тут же гро-

хотали новые разрывы и вспухали новые облачные клубы, воспаленно подсвеченные заревом,— в городе забушевали пожары.

Высокий заостренный, как огонь свечи, золотистый язык прорезал дымную тучу... Истомин подумал, что это загорелся Дом учителя, их недавний недолгий приют; так, светло запылав, он и отлетел к небу, этот Дом со своим голубеньким зальцем, с райскими лимонными деревцами, с портретом Льва Толстого, с книжными шкафами, с говорливыми половицами. И Виктор Константинович не оплакал его гибель, лишь мелькнула, тут же пропав, мысль о женщинах, что оставались там, в Доме. Хорошо, если успели добежать до какого-нибудь убежища, а если не успели?.. И наверно не успели... Дым вдруг повалил в другом месте гуще, приобрел чадный голубоватый оттенок — дошла, видно, очередь и до маслозавода, до тех чистеньких домиков, обсаженных рябинами. И может быть — с каким-то отстраненным ужасом подумалось Виктору Константиновичу, — может быть, не стало в эту минуту ни старой толстой бригадирши, угощавшей их сливками, ни молочно-глянцевитой девочки, которую так волновало: «Где правда?»...

Струйка совсем белого дыма вплелась в плотную беспокойную тучу, бесследно растворилась в ней. И Виктор Константинович, точно кто ему подсказал, подумал о древней церковке со слюдяными оконцами, что с незапамятных лет стояла в городке, а сейчас изошла белым легким дымком.

Он вздрогнул и обернулся, почувствовав, что кто-то коснулся его локтя,— Гриша Дубовик, его подопечный, подошел сзади.

— Чего робять, трясца их матери! — закричал мальчик. — Як у том цирке лётают.

И верно, бомбежка вызывала представление о гигантском цирковом аттракционе под куполом неба. Бомбардировщики описывали плавные кривые и, сваливаясь в пике, падали носом на цель, затем, так же плавно, округло выходя из пике, они почти вертикально взмывали к зениту и опять выписывали круги. А на земле занимались пожары и носились смерчи из вонючих газов и раскаленных кусков металла; стоял непрерывный вой и грохот...

Разрывы стали приближаться к реке. Несколько крупных фугасок взорвалось за монастырскими стенами, и, когда кирпичная пыль рассеялась, в стенах открылись обвалы, ярко-красные, как свежие раны. Еще одна серия бомб частью попала в реку, подняв там водяные столбы, частью искромсала береговой откос.

— Ложись, дяденька! Хутчей, хутчей! — проник в сознание Виктора Константиновича голос Гриши, кричавшего в самое ухо.

И он послушно повиновался — лег в траву лицом вниз. Напрягшись всем телом, стиснув туго заскрипевшие зубы, он ждал бомбы, которая должна была покончить также с ним. И все, что еще оставалось в его померкшем сознании, что было им, Виктором Константиновичем Истоминим, сосредоточилось в одной точке спины, меж лопаток, там, куда должна была ударить нацеленная в него неотразимая стрела.

Девятая глава

«ДАВАЙ НА ОБОРОНУ!». СОЛДАТЫ

Город еще горел, когда к нему подошел батальон одной из московских ополченских дивизий. И, не входя в город, а вернее, в дымную завесу, закрывшую то, что осталось от него, старший лейтенант,

командовавший этой полусотней бессонных, черных от пороха людей, называвшейся батальоном, приказал окапываться. Дорогу дальше преграждала река, и моста на ней, значившегося на карте, уже не было; по берегу вверх и вниз расползались сотни машин и подвод, застрявших здесь, — армейские тылы. Какая-то импровизированная саперная команда копошилась, впрочем, на берегу, пытаясь вновь навести переправу. И командир ополченцев принял единственно правильное решение: прикрыть саперов — немцы могли появиться в любой момент.

А вскоре к реке вышел еще один отряд — прорвались из окружения пограничники, три десятка бойцов с двумя станковыми пулеметами и с восьмьюдесятью двухмиллиметровым минометом; командовал ими раненый старшина заставы, которого несли на носилках. И пограничники присоединились к ополченцам. Те окопались справа от дороги — многоколейного разьеженного большака, — залегли в садах и на полевом выгоне в свежих воронках, установили пулеметы в проемах окон каменного амбара; пограничники заняли позицию слева, на выходе из березняка, перед лесистой балочкой.

Они только успели зацепиться за этот рубеж, как показались немцы. Мотоциклисты, осатанело треща и стреляя, атаковали с ходу по большаку и тут же круто повернули назад, встреченные перекрестным огнем. Несколько наездников в рогатых касках были выбиты из своих седел, распластались в пыли, и из простреленного бачка с горючим побежало по колее проворное желтое пламя. Но очень скоро в расположении ополченцев заверещали и стали лопаться мины — немцы били из-за дальнего леса. А когда минометный налет кончился, в атаку по большаку бросились перебежками автоматчики.

...Петр Горчаков лежал на кирпичах в проломе монастырской стены и смотрел вниз, на начавшийся бой. Во время недавней бомбежки Горчаков был контужен взрывной волной, упал, к счастью, на здоровую ногу, но оглох. Звуки боя, эти вспарывающие воздух, визжащие, трескучие, ухающие, гремящие звуки, едва, как слабый шепот, как вздох, как бормотание, доходили к нему. Но с его наблюдательного пункта в проломе стены, с пятиметровой высоты, ему было видно и то, чего, может быть, не знал еще командир части, занявшей здесь оборону.

Только что эта маленькая часть, закрепившаяся на городской окраине, отбросила немецких автоматчиков. И на широкой серой ленте большака, и на лиловатом от вереска выгоне перед черными бомбовыми воронками, и на побуревшей траве под белыми березками валялись неподвижные серо-зеленые, будто скомканые фигурки — эти никогда уже не поднимутся. Но другие, живые немцы — и Горчаков видел это — готовили более опасный удар. Слева от дороги, вдали, где открывалось за лесом светлое осеннее поле, уставленное, как шапками, несезенными снопами, появились танки. Горчаков насчитал семь темных ползущих коробок, должно быть, тяжелых «Т-III»; их удлинненные тела с тонкоствольными пушками были, не смотря на расстояние, хорошо видны на фоне жнивья. Туда же подошла и рассыпалась между снопами стрелковая часть; возможно, немцы хотели обойти наш несильный заслон... А сейчас они возобновили минометный обстрел — там и тут по всей окраине, на большаке и в березняке носились дымные космы минных разрывов и искрил красноватый огонь.

Горчаков почувствовал, что ему не хватает воздуха, глотку будто сдавило, не помня себя он закричал, выматерился и не услышал своего голоса... Что же такое происходило?! Из какой бездонной прорвы они все ползли, эти темные коробки с пушками? Откуда все

вновь и вновь выбегали эти серо-зеленые человечки с автоматами, поливавшие перед собой свинцом! Горчаков самолично выпустил уже в них не одну тысячу пуль — с первых чисел июля он находился как бы в одном затянувшемся бою, — пока самому ему пуля не перебила ногу. И он удостоверился уже, что их танки тоже могут гореть, как скирды соломы: под Смоленском, на берегу Днепра, он в летний, бессолнечный от порохового тумана день зажег их самоходку — не связкой гранат даже, а бутылками с термитом. И все ж таки они проходили вперед, эти серо-зеленые стреляющие человечки; свалился одного — бегут двое! Казалось, они так и рождались с трясущимися автоматами, множились в отравленном взрывчаткой, шибящем вонью паленой резины воздухе. А там, где они проходили, пылали города, огонь пожирал нескошенную ниву и под поблескивающими траками умирали, вдавленные в землю, бойцы противотанковых расчетов, расстрелявшие свой боезапас.

Сейчас вот догорал невдалеке еще один русский город, громадная, окрашенная понизу багровыми отсветами туча колыхалась в его стороне. А лежавшие здесь, в монастыре, полтысячи раненых солдат — безногих, безруких, с распоротыми животами, с пробитыми черепами — были бессильны помочь даже самим себе. Горчакову никак не удавалось глубоко вздохнуть, его глотка будто сузилась. И он бессознательно гримасничал от этой муки — физической муки гнева, не находившего выхода.

...Монашеские кельи и здание монастырской гостиницы, превращенные в госпитальные палаты, почти не пострадали от бомбежки. Фугаски упали на крепостную стену и на собор, белокаменный фасад которого весь обрушился крупными глыбами, открыв многоликий, почерневший в долгой полутьме иконостас и золоченые царские ворота, распахнутые от воздушной волны... На засыпанном обломками монастырском дворе толпились теперь все, кто только мог передвигаться без посторонней помощи, а санитарки выносили во двор носилки с тяжелоранеными. Вчера еще госпиталь стал готовиться к эвакуации — с утра сегодня ожидался транспорт из тыла и выздоравливающим было даже выдано заблаговременно обмундирование. Но транспорт так и не пришел; люди уже знали, что мост на реке сгорел и что переправа с восточного берега сюда и отсюда на восток невозможна, если только мост не будет восстановлен. Судьба всех решалась в недалеком бою на большаке перед стенами монастыря, и все здесь вслушивались в звуки этого боя, думая об одном и том же: отобьются там наши, устоят или уступят?

Среди полутысячи людей, запеленатых бинтами, уложенных в лубки, окованных гипсом, поставленных на костыли, были и оптимисты и скептики, храбрецы, томившиеся в бездействии, и трусы, робкие души. И они по-разному переживали свою участь. Одни говорили, прислушиваясь к железной трескотне за стенами: «Это наши!.. Точно, наши. Дают огонька фрицам!». Другие, ничего не желая знать, требовали эвакуации. А весь пунцовый от жара двадцатилетний лейтенант, изнемогший от страшной боли в ступне, которой у него уже не было, молил медсестру: «Один укол!.. Вы же сами слышите!.. Не хочу, чтобы гады меня, как собаку... Один только укол. Женщина вы или изверг?.. У вас ведь тоже есть дети!» И сестра, однообразно повторявшая: «Успокойтесь, миленький! Не надо, миленький!» — тоже прислушивалась, и на ее желтом лице со скорбными морщинами было отсутствующее выражение.

В келье игумена, служившей ныне кабинетом начальника госпиталя, собрались его помощники и врачи, и, как все, слушали, слушали, поглядывая на узкое оконце в толстой стене. Начальник время от вре-

мени брал телефонную трубку и, покричав в нее, опускал на рычажки; линии, связывавшие госпиталь с армейским штабом, с городом, с областью, безмолвствовали... И, тоже поглядывая на оконце и ловя ухом ослабленно проникавшее сюда татаканье пулеметов, начальник думал, как ему, коммунисту, надлежит поступать, если немцы все же ворвутся: застрелиться, чтобы не попасть в плен, или остаться с полутысячей раненых, доверенных ему, и разделить их участь? Начальник — многоопытный, за пятьдесят лет, полковник медицинской службы с грубоватым лицом того типа, который называют волевым, — сжужшался про себя, что не на все случаи жизни имеются твердые правила. Пожалел он и о том, что в этот час не было с ним комиссара, человека, правда, молодого и совсем неопытного, но с которым он мог бы, не роняя своего достоинства, посоветоваться.

...Перебегая от воронки к воронке, комиссар госпиталя возвращался с берега реки, где опять посвистывали пилы и бешено на разные голоса стучали топоры — одни врубались в свежую древесину, другие звенели обухом по шляпкам гвоздей. Там командовал забавный, в общем-то, паренек — маленький бойкий франтоватый техник-интендант 2-го ранга. Собственно, дело делал, то есть указывал, где и как рубить, класть, забивать, крепить, старик сержант из стройбата, оказавшийся по случайности с несколькими бойцами в обозе, они сопровождали свое батальонное имущество. А интендантский «паренек с ноготок» осуществлял, так сказать, высшее командование: он организовывал и воодушевлял, и это получалось у него с эдаким командирским шиком. Близкое хлопанье мин и пулеметные очереди были как бы выключены из круга его внимания. «Шевелись, шевелись! — разносился по берегу его тенорок. — Не отвлекайтесь, товарищ боец, на дороге без нас справятся... Раз-два, взяли! Еще раз, взяли! Люблю сивку за обычаем: кряхтит, а везет!»... Он напоминал молоденького петушка, что, взлетев на плетень и запрокинув головку с нарядным гребешком, отдает в упоении команды своему послушному племени. И петушку подчинялась вся бригада, собранная из шоферов, ездовых, писарей, поваров. Бойкий щеголь со своим шикарным бесстрашием и вправду поднимал настроение... Но, конечно, работы было там невпроворот, да и инструмента не хватало и необходимых материалов; хорошо еще, что на машинах стройбата нашлись ящики гвоздей! И, чтобы восстановить мост, бойцы заслона должны были держаться, ополченцы и пограничники должны были держаться, не уступая ни шагу!.. Пообещав Веретенникову подослать еще людей с инструментом, крикнув ему на прощание: «Выдюжим, вижу, что выдюжим!» — комиссар побежал к ополченцам на городскую окраину.

Он был жизнерадостным человеком, как и все телесно и духовно здоровые люди, а к тому же удачливым, этот старший батальонный комиссар. Его мирная, ученая биография складывалась великолепно: к тридцати пяти годам была написана докторская диссертация по истории медицины, не успел только ее защитить; его жена, врач, получила недавно назначение в ту же армию, где служил он, и они надеялись вскорости встретиться. А пробегая сейчас под минометным обстрелом, комиссар сам дивился тому, что и в бою — а это впервые в его тыловой службе он попал в такой переплет — он не праздновал труса, наоборот, испытывал небывалое побуждение к действию, даже азарт. Обрадовали его и люди на мосту — молодцы, смельчаки! Миниатюрный техник-интендант восхитил его. И, отдыхая после очередной перебежки в неглубокой воронке и выглядывая из-за посиневших от окалины комьев глины, он вслух для самого себя громко повторял:

— Выдюжим, товарищ комиссар, выдюжим!

Но когда он вставал из воронки, рядом шлепнулась мина и его

ослепило. Он зажмурился, закрылся обеими руками и, закрываясь так, упал навзничь от грубого горячего толчка в грудь, в лицо.

...Петр Горчаков видел, как упал в дыму комиссар; Горчаков приметил его на дороге еще раньше — нельзя было не заметить эту вычурную фигуру. А знали ее в госпитале все — комиссар каждый день ходил по палатам, присаживался то к одному, то к другому... И Горчаков, обдирая ладони об острые углы кирпичей, подался безрассудно вперед — надо было вынести комиссара из огня! Но почти пять метров отвесной стены отделяли здесь Горчакова от ее подножия, и он застонал от бессилья.

Минометный обстрел между тем прекратился, не стало видно разрывов; вот-вот должна была начаться новая атака... Со скошенного поля за лесом ушла немецкая пехота, скрылась в березняке; танки разделились на две группы: четыре машины остались на месте, темнея на жнивье как прямоугольные черепахи, три танка выползли гуськом на большак, пересекли его и двинулись к городу.

Горчаков по-прежнему почти ничего не слышал, но зрение его обострилось. Правда, видел он сейчас только это пространство боя: кусок дороги, березняк, в котором пробиралась пехота, городскую окраину, сады, уходящие в дымную завесу, длинное красное здание амбара, выгон, куда выползли танки. Все другое забылось, исчезло, перестало существовать. Но приблизилось, как в многократном бинокле, то, что осталось, то есть поле боя. И, как в линзах бинокля, придающих живому миру свой особенный, ненатуральный оттенок, оно тоже сделалось как бы по-особому окрашенным и укрупненным. Танки, не открывая огня, явно намеревались обойти нашу оборону и ударить во фланг, а березовый лес слева от большака был весь наполнен незримым движением автоматчиков. Горчаков будто проник в глубину этой белостальной осенней чащи. И с его губ вперемежку с матерными ругательствами однообразно срывалось:

— Врешь!.. Нет!.. Врешь!..

Это было больше, чем мысль, это вопило все его существо — его мышцы, напрягшиеся, как для прыжка, его колотящееся сердце!

Горчаков уже слишком много уступал, пятился, снимался с позиции и уходил, даже бежал. Случилось однажды и такое на разбитом бомбами Минском шоссе: все побежали, побежал и он, когда танковая стрельба поднялась вдруг в тылу. И он слишком часто хоронил этим летом своих однополчан, а то и покидал их непохороненными там, где они падали. Он был не более чем «хорошим парнем», «своим парнем», «душевным парнем», как рассудили о Горчакове товарищи, постоянным московским жителем, потомственным рабочим, членом цехкома, добрым семьянином, отцом двух дочек, не чурался в получку и мужской компании, умеренно любил рыбалку, любил воскресные поездки за город в хорошую погоду с семьями на заводских, уставленных скамейками грузовиках; он был рассудителен и основателен в разговорах, скорее даже флегматичен; газету он уже и в свои тридцать лет прочитывал полностью — все четыре полосы. И то, что этой осенью в какой-то момент произошло с ним, могло бы озадачить его самого, если бы он отдал себе в том отчет... Как бывает в перенасыщенном растворе, в его душе словно возникли неведомые ранее кристаллы — кристаллы ненависти. И любовь к жизни — он и сам до нынешнего лета не представлял себе, что он, как и все, живет именно этой любовью, — уничтожила в нем боязнь за жизнь. Горчаков не помнил теперь об ее невозвратимости, о том, что она дается только один раз и никогда не повторится. Со стороны это могло выглядеть и как отчаяние, и как безумие, и как вдохновение.

Автоматчики повели из березняка огонь; Горчаков не услышал

стрельбы, но увидел, как в подлеске меж стебельковых березок словно бы забегало электричество. И он, держа на весу забинтованную ногу, поспешно на животе стал сползать по кирпичной осыпи. Стена с внутренней стороны была сравнительно невысока, метра полтора, а удар бомбы почти свел на нет и эту высоту. И, вцепившись в свой костыль, приподнявшись, Горчаков рывком встал на здоровую ступню. Он не знал еще, что будет делать, но лежать и ждать конца — просто ждать — он не мог. Помогая себе всем туловищем, плечами, лопатками, широко отмахивая свободной рукой, он запрыгал по дорожке через кладбище в парке.

На монастырском дворе все так же толпились раненые. Горчаков, выскочив из парка, так круто затормозил, что едва не упал, качнувшись всем телом вперед. Кое-кто обернулся на него и задержался взглядом: у Горчакова, рослого, большеголового, в распахнувшейся шинели, испачканной кирпичной красной пылью, был такой вид, точно он и сам только что сражался; сорванная кожа на скуле — ткнулась в кирпичи — кровоточила. Мгновение-другое он озирался и соображал; люди, довольно много людей, стояли здесь на своих ногах, хотя бы и с повязанными головами; другие без особых затруднений перемещались с места на место, хотя бы и на костылях, как он... Чего же, спрашивается, какого черта-дьявола они тут дожидались?! И Горчакова словно озарило.

— Давай на оборону! — закричал он. — Все, кто может... На оборону! Братцы-ы!

Собственный голос показался ему чуть слышным, как далекое эхо, и он подумал, что его могут вообще не услышать. С искаженным лицом, хватая воздух сухими, растрескавшимися губами, он взревел:

— На оборону! Давай!

Перед ним, надвигаясь отовсюду, мелькали серые, багровые, синюшные лица, немые шевелящиеся губы, спрашивающие глаза — и повязки, повязки, повязки, ярко-белые, свежие и вчерашние, лохматые по краям. Он все еще плохо слышал, да и не старался услышать и понять, о чем его спрашивали, он только требовал.

— Давай на оборону! — вколачивал он, повторяя одно и то же. — Давай, давай!

Какой-то невесть с чего развеселившийся инвалид подскочил к нему на костыле и, смеясь, обнажая в смехе стальные протезы зубов, заорал так, что дошло и до него:

— Потопали, браток! Мы с тобой справные бойцы, на двоих две ноги.

— Зубы есть, кусаться будешь! — крикнул Горчаков.

Кто-то из врачей, в халате, запятым лилово-розовыми пятнами сулемы, все допытывался у него:

— Вы оттуда? Как там? Держатся наши? — У врача был исполощенный вид человека, которого только что разбудили.

— Давай на оборону! — не слушая, крикнул Горчаков.

И, откинув полу халата, врач послушно потянулся к револьверной кобуре — он готов был сию же минуту залечь в оборону.

— Все, кто ходячие, становись! — уже приказывал Горчаков, быстро из стороны в сторону поворачиваясь на здоровой ноге.

Он не задумывался, почему, собственно, ему подчинялись. Но, словно бы и вправду он был облечен здесь командирской властью, люди в повязках тут же принимались торопливо собираться. Одни с удрученным видом, другие с озабоченным («Как бы не сплоскаться»), третьи словно не совсем всерьез, посмеиваясь над своей убогостью. Кто-то просил помочь застегнуть крючки на шинели — одной

рукой это никак не удавалось; кто-то перематывал на единственной здоровой ноге ослабевшую обмотку. В сторонке, покачиваясь на костыле, изощрялся в насмешках инвалид со стальной челюстью, клацающая устрашающе зубами и сквернословя. Но и он объявил, что идет со всеми «поглядеть на этот театр». А лейтенант с ампутированной ступней, весь пунцово-раскаленный, вскочил вдруг с носилок, точно его подбросило; балансируя на одной ноге, поджав другую, с культей, он потребовал обламывающимся голосом:

— Отдайте мой пистолет! Как вы смели... забрать у меня пистолет?!

Теря равновесие, он зашатался, замахал руками и рухнул бы, если б его не обхватила сзади сестра со скорбным лицом. Она толкнула при этом нечаянно его культю, и он тонко взвизгнул.

Вокруг Горчакова в несколько минут собралось человек около сорока — целый взвод, и теперь необходимо было их вооружить. Горчаков, растерявшись, замолчал на мгновение — он не подумал об этом раньше... Правда, там, где шел бой, бесхозных винтовок, лишившихся своих павших владельцев, нашлось бы уже, наверно, немало. Но к ним надо было еще добраться, а чтобы добраться, лучше было идти не с пустыми руками. И тут в беспокойной толпе раненых он увидел полковника — начальника госпиталя, — тот пробирался к нему.

— Оружие! — грубо вырвалось у Горчакова. — Мы идем!.. Винтовки надо!.. Мы идем, кто может!

Полковник о чем-то спросил, он не расслышал.

— Они лезут опять... А чем отбиваться? — со злостью выкрикивал он. — Комиссара зацепило, я видел. Надо вынести!

— Убит? — спросил полковник.

Горчаков понял это по короткому движению губ под усами.

— Не шевелится... Винтовки дайте! — крикнул он. — Чтобы за комиссара!.. Да что же это такое!.. Винтовки надо!

Но в госпитале не было арсенала, а личное оружие врачей и санитаров в счет не шло... Все же десятка полтора винтовок и карабинов с патронами, около двух десятков пистолетов разных систем и, неожиданно для самого начальника, несколько ящиков с ручными гранатами обнаружилось на складе — скопилось там от случая к случаю. И Горчаков роздал винтовки тем бойцам, кто, хотя бы и лежа, мог владеть обеими руками; все, кому не досталось винтовки или пистолета, получили на две-три гранаты больше. Сунув в карман шинели наган, взяв себе две лимонки, Горчаков встал впереди своего необычного взвода... Он давно чувствовал сильную жажду, но все позабывал попросить воды. А когда его бойцы тронулись, просить было уже поздно.

Начальник госпиталя проводил раненых до ворот, а там постоял, пропуская их мимо себя. Растянувшаяся кучка их приняла сама собой некое подобие строя; ковыляя по двое, по трое в ряд, бойцы подравнивались, окликая друг друга. И вслед им с выражением восторженного испуга смотрели женщины — сестры, санитарки; инвалид со стальными зубами улыбался, посылая женщинам тусклое сияние своих протезов.

Когда двое бойцов, замыкавших колонну — у одного в бинтах была правая рука, у другого левая, — скрылись под аркой монастырских ворот, полковник спохватился и взял под козырек. Ссутулившись и пряча лицо, он торопливо шагал потом к себе, боясь, что не сможет удержать слез, стоявших в глазах...

На середине дубовой аллеи путь отрядику Горчакова преградил огромный курившийся кратер от бомбы. Вывороченное могучее кор-

невище торчало из раскрошенной осыпи наподобие клубка сцепившихся змей; тут же лежала убитая, опутанная постромками лошадь, задрав кверху подогнутые, как в скачке, ноги.

Обогнув воронку, спотыкаясь о разбросанные обломки, о камни, раненые выбрались на дорогу... Дальше, сотни через две метров, дорога разветвлялась: одна ее ветвь, войдя в большак, опускалась к реке, мимо монастырской стены, другая почти под прямым углом сворачивала к городской окраине. Там по обе стороны большака и дрались, истекая кровью, наш заслон.

Еще не добравшись до развилки, Горчаков разглядел впереди, в сторонке под деревьями, группу военных, человек тридцать — сорок; кто сидел на земле, кто стоял. И, что прежде всего бросилось Горчакову в глаза, эти военные были отлично вооружены, у иных даже висели автоматы. Он еще издали крикнул им свое:

— Давай на оборону! Давай ко мне!

Он вознегодовал: эти вооруженные до зубов, здоровые люди — правда, измазанные в земле, в копоти, а несколько человек в бинтах, видно, что из боя, но все с ногами, с руками — прохлаждались здесь, в то время как умирали на рубеже последние защитники. И никто не выказал даже намерения присоединиться к его взводу — они издали посматривали, переговаривались и не трогались с места...

Горчаков перемахнул через кювет и большими прыжками понесся к ним.

— Ждете?! Чего ждете? Чтобы вас тут, как курей!.. — рвущим глотку голосом кричал он. — На оборону... мать вашу! Давай... мать вашу!

Он выхватил из шинели наган и потрясал им над своей непокрытой головой. Люди задвигались, и навстречу ему кинулся лейтенант с обгорелым чубом, в кубанке, выдирая из кобуры пистолет. Каким-то неистовым шепотом дошел до ушей Горчакова крик:

— Ты что? Охренел! Это же генерал-лейтенант!

Но Горчаков заподозрил уже самое худшее.

— Драпать?! — взревел он. — Я покажу вам драпать!

Держа наган на уровне глаз, он стал водить им, точно выбирал, кого шлепнуть первым.

— Стой, стой! — иступленно зашептал лейтенант в кубанке и тоже вскинул пистолет. — Ты на кого? Это же командарм!..

— Врешь!.. — Горчаков расслышал, но не поверил. — Врешь!

— Командарм! Генерал-лейтенант!.. Ты что, оглох?

Горчаков опустил руку с наганом.

— Оглох, точно, — сказал он.

Теперь он увидел, что в группе этих военных были и старшие командиры: майоры, полковники. А перекинутая через ветку березы, свисала до земли большая карта, вокруг которой они и стеснились. Серdito и недоуменно, как на дурную диковинку, уставились все они на него. И приземистый, с оплывшими плечами командир в защитного цвета фуражке, в плащ-палатке, глухо завязанной на шее, отделился от группы.

— Откуда такой? — спросил он и, так как Горчаков не ответил, усилил голос: — Кто такой?

Горчаков помолчал, но не отвел взгляда.

— Не знал я, что вы тут, — проговорил он как бы с осуждением. — Не подумал, товарищ генерал!..

Он подобрался, приставил костыль к бедру, как ружье, и доложил:

— Горчаков, рядовой... — Подумал и добавил: — Нахожусь в госпитале на излечении.

Командарм спросил о чем-то еще, Горчаков не разобрал и на всякий случай повинился:

— Ошибка вышла, товарищ генерал. Обознался, прошу извинить.

Никакой вины за собой он, впрочем, не чувствовал и уже досадовал на задержку. Даже своими будто заткнутыми ушами он улавливал частые очереди пулеметов — бой шел совсем близко и немцы не ослабляли натиска. А тут начались эти начальнические распросы...

— Откуда родом? — усиливая голос, поинтересовался командарм.

— Из города Москвы.

И Горчаков обернулся через плечо на свой отряд: бойцы как шли, так и стояли теперь на дороге маленькой серой колонной, расцвеченной белыми бинтами. Он пристукнул в нетерпении костылем.

— Разрешите быть свободным, товарищ генерал, — попросил он.

Командарм тоже перевел взгляд на его людей и не ответил. А до Горчакова донесся словно бы звон далекого колокольчика — один, другой... Он не сразу догадался, что это такое, но потом сообразил: его тугой слух уловил выстрелы танковых пушек, только они и могли так звенеть.

— Разрешите, товарищ генерал! — повторил он громче.

— Так, так, Горчаков! — Командарм покивал, обвисшие щеки его опустились на сборчатый воротник плащ-палатки. — Приказываешь нам на оборону? Так, так...

Горчаков умолк, всеми остатками своего слуха ловил он перезвон колокольчиков — это, открыв огонь, танки пошли на прорыв нашей обороны; он мысленно видел, откуда и куда они двигались.

Командарм кивком показал на дорогу.

— А там, значит, твоя команда?.. — продолжал он. — Бравая команда, ничего не скажешь.

И, не настаивая на ответе, он медленно пошел к дороге, перед кюветом он остановился. Довольно долго, храня молчание, генерал присматривался к этому одинокому на открытой равнине, жиденькому строю людей, опиравшихся кто на палочки, кто на винтовки. Ветер трепал полы их шинелей; белый конец бинта, выбившийся из повязки, реял над чьей-то обмотанной головой. И так же молча эти люди рассматривали его самого, генерала, то ли в ожидании его приказа, хотя сами уже отдали себе боевой приказ, то ли в ожидании его напутственных слов, хотя в каких еще словах они нуждались?!

Десятая глава

БОЛЬШИЕ ОТКРЫТИЯ. СОЛДАТЫ

1

Силы сторон перед этой решающей подмосковной битвой были разительно неравны. И несмотря на то, что немецкое наступление предвиделось и на совещании в штабе армии с участием командующего фронтом были приняты многие правильные решения (все последнее время армия бессонно трудилась, зарываясь в землю, окутываясь проволокой, устраивая дзоты), древний закон войны продолжал действовать: два батальона были сильнее одного, и уж, конечно, сильнее одного были три, четыре, пять батальонов. А именно при таком соотношении, особенно в танках и в авиации, началась эта битва; сама

арифметика, простейшие ее правила обратились против защитников рубежа... Но и когда успех неприятеля стал совершившимся фактом, все, что командующий армией решал и приказывал, спорило с арифметикой — сражаясь, он перестал с нею считаться.

На третьи сутки боя генерал-лейтенант приехал в дивизию полковника Богданова, дравшуюся на особо важном участке. Приехал — сказано неточно, его машина была подожжена с воздуха, водитель убит, и он с адъютантом, у которого опалило лицо, где ползком, где броском добирался до НП комдива. Бомбежка все продолжалась, и приходилось пережидать в воронках, в канавах... Лежа на спине, глядя на пикирующие самолеты, командарм думал о том, что резервы армии на исходе, что прервалась связь со штабом фронта, но что не может же быть, чтобы фронт не предпринял каких-то действий для помощи армии, что дорог каждый час и что эта задержка под бомбежкой очень некстати. Лежать было неудобно и стыдновато, не соответствовало положению, но неразумно, конечно же, было подставлять себя под бомбу. Рядом негромко матерился адъютант, осторожно, кончиками пальцев потрагивал пунцовую кожу на лице и свой обгорелый чуб.

На НП командира дивизии Богданова словно бы раскалился самый воздух. Бой шел уже третьи сутки, и вместе с другими сообщениями командарму показали радиogramму, принятую утром сегодня, — донесение батальонного радиста:

«...Батарей замолчала. Танки идут на меня. Взрываю радиостанцию. Прощайте, дорогие товарищи!»

Подписи не было, радист не успел себя назвать. Командарм два раза прочитал радиogramму и спросил:

— Фамилия? Звание?

Но на НП не знали имени батальонного радиста. И командарм не стал доискиваться: новые донесения о новых потерях и опасностях поступали ежеминутно, а Богданов настойчиво требовал подкреплений.

Самый молодой в армии и, вероятно, во всем фронте командир соединения, он докладывал более резким тоном, чем, может быть, допускалось. Богданов был зол: его дивизия, несмотря на весь понесенный урон, еще удерживала свой участок, но ее фланг обнажился, и повинен в том был сосед, не устоявший на своем — на стыке. В открявшуюся брешь хлынули немецкие машины, целый бронированный поток, и теперь самому Богданову приходилось отводить свои части, загибая фланг... А в его батальонах не насчитывалось уже и половины людей, страшными были потери в командном составе — только что смертельно ранило комиссара дивизии, — а его артиллеристы вынуждены были экономить снаряды.

В окоп, где стояли командиры, взрывные волны швыряли колючий песок, пыль, камни. «Юнкеры» налетали строй за строем, водили свой адовый хоровод, клевали, и судороги били землю. Тлела сухая трава, и, бледно светясь, летали по ветру горящие соломинки.

— Дай карту, подумаем, что будем делать... Фронт готовит контрудар. Я убежден... — сказал Богданову командарм. — Наша задача: держаться, держаться... Долго ли еще — хочешь спросить?

Богданов промолчал...

А радиogramмой неизвестного радиста завладел тем временем майор — корреспондент одной из московских газет, находившийся в дивизии в командировке. И его большие, армянского типа глаза, да еще увеличенные стеклами очков, отразили и благодарность и страдание...

«Превосходный материал на первую полосу,— подумал он.— Может украсить номер... Боже мой, до какого ужаса доводит профессионализм! Кто он был, этот неизвестный герой?.. Сколько ему было лет? Кто его ждет в тылу?»

Майор-корреспондент воспользовался тем, что на него не обращали внимания, и сунул радиogramму в свою раздутую полевую сумку с блокнотами, с полотенцем, с ржаными галетами и с письмами от фронтовиков-москвичей. Он собирался уже возвращаться в редакцию, и ему надавали писем и поручений: зайти, передать, проведать. Но он, увы, опоздал и теперь совсем не был уверен, что ему повезет доставить в тыл и эти письма, и свою замечательную корреспонденцию. При каждом близком разрыве он прижимался к стенке окопа и обмирал... Сложное чувство терзало корреспондента: не задержись он здесь на эти два дня, он был бы уже на пути к Москве, но, с другой стороны, его корреспонденция была бы беднее... «Что такое безымянный героизм? — спрашивал он себя.— Самопожертвование?.. Сознание долга? Мне трудно ответить... О чем думал этот радист в самую последнюю минуту, о ком, о чем он пожалел?»

По сотрясавшемуся полю ползали ящерицами, карабкались на скосах воронок связисты; иногда слышалось далекое, как эхо: «Санитары! Носилки!» Мимо, низко согнувшись, поверху пробежала в кирзовых сапожищах девушка-санитарка с разметавшимися по плечам прекрасными белокурыми кольцами волос, посыпанных земляной крошкой. И майор-корреспондент проводил ее взглядом. Это тоже, конечно, был отличный материал на вторую полосу — само олицетворенное милосердие! Но как хотелось крикнуть: «Куда же вы по открытому полю? Бегите сюда, к нам!»

Потом все внимание корреспондента обратилось на командующего армией... Этот плотного сложения, грузноватый генерал в запыленной плащ-палатке, с малоподвижным лицом в толстых морщинах, сосредоточил на себе общее ожидание. И если имелась еще возможность изменить положение и повернуть ход боя к лучшему, к успеху, то лишь один он, казалось, знал ее.

Хмуро, но не перебивая и не торопя, он выслушал доклад комдива и с таким же пасмурным вниманием расспрашивал лейтенанта, командира разведчиков, только что приползшего в окоп. Присев на ящик из-под мин, командующий вместе с комдивом принялся что-то колдовать над картой. И лишь сейчас на его маловыразительном лице появилось выражение энергии, сдвинулись к переносице запыленные брови.

Майор-корреспондент не взялся бы судить, насколько хороши были приказы, отданные командующим, да он их почти не расслышал со своего места. Но он видел, Богданов откозырял и бросился к телефонному аппарату, кто-то еще из командиров побежал с поручением по окопу, и телефонную трубку потребовал сам командарм... Словом, на НП почувствовалось что-то новое, а на корреспондента даже повеяло надеждой.

Несколько позже он выяснил, что командарм приказал атаковать — это в создавшейся-то тяжелейшей обстановке!.. В армии сохранился еще небольшой резерв: пехотный полк, гаубичный полк, два противотанковых дивизиона — все неполного состава, но тем не менее — резерв, который командарм придал Богданову. Тому надлежало ударить во фланг прорвавшемуся противнику, смять его, отсечь и закрыть прорыв!.. Командир из оперативного управления, посвятивший корреспондента на ходу в немногих словах в этот замысел, добавил: «Между нами, резерва хватит нам часа на три-четыре». Но кор-

респондент привык уже среди штабных оперативников встречать высокообразованных скептиков.

Еще позднее недалеко от нового НП он опять получил возможность понаблюдать за командармом. Здесь, в старом ельнике, накапливалась для броски пехота — мелькали в зеленом сумраке загорелые затылки, потные спины, перекрещенные ремнями, скатанными плащ-палатками, падала с глухим стуком еловая шишка, задетая примкнутым штыком. И командарм шагал вместе со всеми, отирая потный лоб, поглядывая по сторонам своим маловыразительным взглядом. Можно было подумать, это идут работники, неся свой тяжелый инструмент: «станкачи», «ручники». минометные плиты, минометные стволы, саперные лопатки, ящики с боеприпасами, сумки, сумки, сумки — патронные, с противогАЗами, с гранатами, с зажигательными бутылками, — и вместе с рабочей сменой идет прораб... С этого момента доверие корреспондента к командующему еще более упрочилось — видимо, и на войне побеждали великие труженики, только они! И кто мог бы сказать, чего было больше в солдатской службе: отваги или работы?

Перед вечером Богданов контратаковал, бой шел и ночью и весь последующий день, противник потерял десятки танков, и несколько деревень вновь перешли в наши руки. Но то был успех непродолжительного действия: немцы располагали неистощимыми, казалось, резервами. В бой против Богданова они ввели свежий танковый корпус, и отбитые у них деревни, вернее, задымленные пепелища и посеченные осколками сады, во второй раз пришлось оставить.

Одновременно другое танковое соединение ударило на другом участке, и дело сразу же приняло там плохой оборот. Командарм, выехавший туда, встретил на дороге расстроенную, отступавшую часть — толпу, правда, пока еще вооруженную; он остановил ее и сам повел назад в бой...

И еще сутки шел этот бой в танковых клещах врага. Командарм и его штаб маневрировали теперь только тем, что имели на линии огня; в оборону пошли писаря, повара, ездовые, но это, конечно, дало не много. А связь с вышестоящими штабами так и не удалось восстановить: делегаты связи не возвращались, самолет, посланный с донесением в штаб фронта, возможно, не долетел — в воздухе господствовала немецкая авиация. И окружение прочно сомкнулось в тылу армии. Контрудар, предпринятый, возможно, штабом фронта, не имел, как видно, успеха, и можно было только предполагать, что происходило за пределами котла.

«Котел» было словом, получившим в эту войну новое, жестокое значение. Целые армии исчезали в таких кипящих котлах площадью в десятки километров, вместимостью в сотни тысяч жизней и в огромное количество техники.

...Ближе к полуночи на лесном кордоне в избе объездчика, где обретался ныне кочующий командный пункт армии, собрался ее Военный совет. Горели свечи в медных, с прозеленью подсвечниках, невесть как оказавшихся в этой черной, голой, с закопченными балками избе, покинутой хозяевами. В лесу разбросанно рвались снаряды; у немцев их было в изобилии, и они могли позволить себе беспокоящий огонь; после грохота разрыва наступала недолгая пауза, а затем то ближе, то дальше вновь свистело и грохало.

Начальник штаба, генерал-майор, подошел к карте на столе, чтобы доложить обстановку, взял карандаш... И тут случилось непредвиденное — он не смог начать. Его лицо с подсвеченными снизу надбровными дугами, с редкими игольчатыми усами сморщилось. сжа-

лось, верхняя губа выпятилась — казалось, у генерала вот-вот потекут слезы.

За столом все молча ждали. И могло показаться, что слезы старого начштабарма — вещь не столь уж удивительная в данный момент. Грохнул довольно близкий разрыв, на который тоже никто не обратил внимания. Член Военного совета, дивизионный комиссар, тихо сказал адъютанту командующего:

— Дай генералу воды.

Из сеней доносились шаги, бряканье, смутный говор — там скупились автоматчики, охрана и связные. В разбитое оконце, занавешенное плащ-палаткой, потянуло гарью — где-то в лесу начался пожар... Командарм, нарушив молчание, постучал по столу костяшками согнутых пальцев, призывая к делу. Он грузно, оплыв всем корпусом, сидел в красном углу, в полутени, из которой блестели, отражая огонь свечи, его воспаленные глаза...

— Никандр Артемьевич! — окликнул он начальника штаба. — Что вы там?..

С того часа, как для него, командарма, стало очевидно, что его армия не сумела остановить врага и враг устремился в открытые бреши на восток, к Москве, он пребывал в состоянии внешне не проявлявшегося, но полного, ясного отчаяния. Он не ложился пятые сутки, но и когда охватывало изнеможение и веки сами собой смыкались, его незасыпавшее отчаяние тут же его будило. Сон отлетал как от толчка, и с холодающей отчетливостью командарм вспоминал, что произошло непоправимое — его армия разбита и окружена.

Вспоминал он и последнее свидание с командующим фронтом накануне неприятельского наступления, и то обещание, которое он дал командующему: «Армия свой долг выполнит — не пустим немца к Москве, пока живые».

И как въяве в его ушах звучал тогдашний ответ командующего — давнего, с гражданской войны товарища: «А если пустим, то ни тебе, ни мне лучше бы вовсе не родиться».

Но вот он жив — жив! — а танки врага устремились на восток сквозь пролом в его армии... Впрочем, он, собственно, не ощущал уже себя живым, как другие вокруг него, он, казалось, только задержался среди живых, чтобы исполнить то, что еще мог исполнить. Сейчас важно было одно — остановить любой ценой врага там, куда он провалился; страшный удар был занесен над самой Москвой, и, возможно, бои шли уже в ее пригородах. А поэтому требовалось во что бы то ни стало сохранить самообладание! Каждый гитлеровец, убитый здесь, уже не дойдет до Москвы — вот о чем надо было помнить... Но внутренне генерал как будто застыл в сознании: он со своей армией не задержал, пропустил врага. И жить с этим сознанием так, как он жил раньше, то есть как живут живые — спать, есть, отдыхать, улыбаться при встрече с приятным человеком, не забывать и о себе самом, считаться с тем, как к тебе относятся подчиненные и как высшее начальство, заботиться о семье, о близких и прочее и прочее, — было уже невозможно. Лишь иногда и все реже при мысли о жене, о дочери командарм испытывал растерянное сожаление: вот не уберег их, потерял... Но в душе он уже простился с ними, словно не мог ни при каких обстоятельствах к ним вернуться, как никогда не возвращаются мертвые.

— Никандр Артемьевич! — требовательно повторил командарм.

Начальник штаба обернулся, и что-то поспешно-виноватое было в этом его движении.

— Прошу простить, Федор Никанорович! — выговорил он нако-

нец.— Я должен довести до сведения Военного совета... Это очень, очень... Прошу простить! Это тяжело... Армии больше не существует.

Он кое-как справился с собой, связно заговорил, и из его доклада действительно вытекало, что армии как войскового объединения, управляемого из единого центра, больше нет: бой принял очаговый характер, сопротивлялись — если еще сопротивлялись — отдельные изолированные части... Не лучше, по словам генерала, обстояло дело и в соседних армиях фронта. Достоверным было, что противник, взявший в кольцо группу армий, обрубивший все их связи, непрерывно усиливал нажим, добиваясь полного их уничтожения. И дело шло к неизбежному концу...

Генерал именно так и думал, он был честен и ничего не преувеличивал, не видя и просвета в обстановке. Безотчетно, как это бывает, он в своем докладе стремился и других убедить в том, в чем — до потрясения, до слезной судороги — был убежден сам. Замолчав, он сел, плечи его опустил, и теперь свеча сверху освещала его спутанный седоватый зачес от одного уха до другого поверх лысины.

Никто не решался сразу же взять слово... Член Военного совета достал папиросу и машинально постукивал ею по крышке коробки, забыв закурить.

Майор-корреспондент, сидевший в сторонке, у печи, вырвал листок из блокнота, включил электрический фонарик и при его слабеющем желтом свете — кончалась последняя батарейка, — положив листок на полевую сумку, торопливо крупно написал:

«Внимание! Нашедшего эту сумку прошу все бумаги и письма переправить в Москву по адресу...—Он написал адрес своей газеты.— Очень важно!»

И он вложил листок в сумку так, чтобы его просьба сразу же попала на глаза тому, кто откроет сумку. Но тут же он спросил себя: «К кому, собственно, я обращаюсь, если мы все?.. А мы все...— У него не хватило духу даже про себя закончить фразу.— Надо сейчас же уничтожить блокноты и письма. А то еще достанутся немцам...»

Его руки дрожали, когда он снова отбросил ремешок, открывая сумку, чтобы взять свою записку...

Затрещала, оплывая и коптя, свеча, нагар на фитильке надломился, упал в растопленное озерцо, и язычок пламени взметнулся, озарив карту с цветными пометками и лица людей, невольно обращенные к огню, заострившиеся, с резкими впадинами и тенями, точно обглоданные за эти дни.

— У вас все, Никандр Артемьевич? — спросил командарм.

— Так точно. Прошу простить.

Начальник штаба потянулся к железному ковшику с водой, который поставил перед ним адъютант, и стал жадно пить.

Командарм кивнул, ему не в чем было упрекнуть своего первого помощника, тот, как всегда, был точен в информации. Но командарм иначе относился к фактам, о которых сообщил начальник штаба, он сильнее жаждал их опровержения, это сделало его даже несправедливым...

— Растерялись?.. Голову потеряли?.. — грубо прозвучало за столом.— Неправду говорите, товарищ генерал-майор!.. Как это армии не существует?.. Подите выпитесь!

Станным образом он испытал почти что облегчение от своей несправедливости.

Член Военного совета, мягкий по природе человек, сказал почему-то виноватым тоном:

— Вам бы и правда передохнуть, Никандр Артемьевич, измотались вы совсем.

— Части армии сражаются,— продолжал командарм своим недобрым, твердым голосом,— и пока они сражаются, армия есть, она представляет опасность для противника, она существует. Это предлагаю запомнить всем и каждому. Наша задача — не давать противнику покоя, отвлечь на себя возможно больше его сил, связать их здесь, сковать...

— Чем вязать будем, товарищ командующий? — таким же недобрым голосом спросил полковник, начальник артиллерии.

Командарм как будто не слышал вопроса.

— Мы будем атаковать, атаковать и прорываться... — сказал он. — Необходимо объединять отдельные очаги сопротивления... Товарищ полковник, сколько у вас еще осталось выстрелов? — обратился он к артиллеристу. — Доложите свои соображения. Расчеты, оставшиеся без орудий, пойдут в пехоту. Итак, прошу высказываться!

Начальник штаба слушал, не поднимая головы, не шевелясь. И даже совсем близкий разрыв снаряда, от которого задрезали стекла в оконцах и колыхнулся язычок свечи, не вывел его из этой неподвижности... Во дворе тонко заржала лошадь, заскакала на привязи, забила копытами, ей отозвалась ржаньем другая, а в сенях затопали сапоги, и под оконцем раздалась ругань.

Майор-корреспондент, включив фонарик, написал в блокноте:

«НВ. Что такое сильный характер? Спасительное отсутствие воображения? Или умение идти к цели даже перед лицом смерти? Подумать над этим. А пока что нам здорово повезло с командующим — Багратион!»

Настроение у корреспондента вновь несколько поднялось. И он подумал, что, может быть, ему все же повезет уцелеть, вернуться и написать обо всем, что он здесь слышал и видел,— такая удача приходит не к каждому литератору.

Прорываться решено было одновременно в двух пунктах двумя сводными отрядами. Не успав и этой ночью, командарм с рассвета отправился в части, с которыми еще сохранилась связь,— организовывать, торопить, требовать! Надо было на ходу решить много вопросов, которые в иных условиях показались бы вообще неразрешимыми, и даже особые трудности лесистой местности, бездорожья, длинных осенних ночей, туманов превратить в преимущества. Командарм отдал общий приказ по остаткам своей армии: атаковать! Атаковать, даже когда в патронных сумках брякали последние патроны, биться штыком, прикладом, ножом!.. «Каждый убитый гитлеровец точно уже не дойдет до Москвы! — твердил он и командиру и рядовому.— Здесь мы обороняем Москву!» Согласно с ним это повторяли политруки, лекторы поарма, секретари партийных бюро, комсомольские секретари. Части, не вошедшие в две ударные группы, получили свои задачи на прорыв. И, чтобы забрать с собой раненых, были сформированы специальные отряды носильщиков из санитаров и оставшихся без лошадей ездовых. Все материальное, что нельзя было взять с собой — орудия, для которых не осталось снарядов, машины без горючего,— было приказано привести в негодность.

К вечеру главные приготовления закончились, что само по себе могло представиться невероятным. Одной из сводных групп командовал Богданов, с ним шел член Военного совета... Богданову удалось даже немного поспать перед боем, он почистился, побрился, и молодость взяла свое — он опять выглядел не больше, чем на свои двадцать восемь лет, и опять на его щеках заиграл сквозь загар румянец. Глядя на Богданова, командарм с неясным чувством подумал: «Неужто ему все нипочем? А ведь драться будет лучше других».

Они вышли из леса... Только что солнце село за тучу — закаты

становились все более осенними, небо заволакивало, днем прошел небольшой дождь, к ночи он мог повториться,— и сразу же холодно запахло недалекой трясиной.

— Ну, пора...— сказал командарм.— Очень надеюсь на тебя, Николай! Держи со мной связь... Если же что со мной... пояснять не требуется, ты примешь общее командование.

— Есть,— сказал Богданов.

— Я уже распорядился об этом, дивизионный комиссар в курсе,— сказал командарм.

— Есть,— повторил Богданов.— Разрешите идти?

Командарм помедлил с разрешением, хотя обо всем они уже переговорили и условились. Но ему нравился Богданов, все в этом командире было ему по вкусу. А главное, при всей своей твердости, он бессознательно искал вокруг себя, у кого еще он мог ее — твердость — почерпнуть дополнительно, сверх той, что была у него самого. Как ни говори, им предстояло проделать нечто почти невозможное.

— Что ты так обвешался, полковник? — спросил командарм.— Тебе ж это одно неудобство.

И в самом деле, на Богданове, помимо его автомата, полевой сумки, планшета, сумки с гранатами, кобуры с пистолетом, висела на другом боку еще одна полевая сумка.

— Это не моя, это корреспондента, москвича,— ответил Богданов.— Симпатичный был майор.

— А-а,— протянул командарм.— Когда его?..

— Утром сегодня... Он у меня ночевал... Собрался в полк, тут его и накрыла мина. Только пять минут и прожил... Просил сумку в Москву доставить, там вся его письменность. Только о сумке и попросил... Герой, если посмотреть. Я пообещал, само собой, да вот не знаю, не уверен...

Богданов усмехнулся. Но по всему его облику было видно, что он невесть почему убежден в своей неуязвимости.

— Иди, полковник! — сказал командарм.— Счастливо тебе!

Сам он с командирами штаба решил идти со второй сводной группой. И в поздних сумерках обе группы одновременно скрытно двинулись... Но, вероятно, подготовку к прорыву не удалось проделать в секрете от немецкой воздушной разведки, и противник сосредоточил на пути отрядов крупное соединение пехоты и танки... Лес осветился нежданно множеством ракет, точно весь разом запылал, и взрели сотни автоматов. Командарм с несколькими командирами штаба и кучка автоматчиков вырвались из огня, но связь с частями группы, оставшимися в котле, была утрачена. Какое-то время там шел тяжелейший бой — гранаты и пули против брони и пушек,— и командарм, понимавший это, не мог уже прийти на помощь хотя бы своим присутствием.

С командирами и несколькими бойцами, державшимися около него, он к полудню дошел до города — здесь была намечена встреча с группой Богданова. Но только горсть ополченцев и пограничников билась здесь, прикрывая переправу, которую требовалось еще наладить... Это опять была типичная картина — разрозненные очаги сопротивления и незнание общей обстановки. Никто — ни командир ополченцев, ни начальник армейского госпиталя, застрявшего, к своему несчастью, в городе, — понятия не имел, что делается за рекой, на восточном берегу, как связаться со штабом фронта, где его искать. Может быть даже, противник стремился сейчас создать второе, внешнее кольцо окружения, в которое попадали и город, и части, прорвавшиеся из внутреннего кольца? И командарм собрал у дороги своих коман-

диров, чтобы посоветоваться, как же быть дальше и что еще можно сделать.

Командиры угрюмо отмалчивались — позади было слишком много неудач... А неудачи, как это бывает, сильнее заставляли чувствовать телесную разбитость — людей валило с ног. Командарм вдруг поймал себя на том, что он улыбается, точнее сказать, он заметил на себе удивленный взгляд адъютанта и только тогда спохватился. А улыбнулся он впервые за эти дни от мысли, пролившей отраду в его душу. Это была мысль, что, кроме автомата, у него имеется еще пистолет с полной обоймой. И что у него, потерявшего целую армию, не потерялась возможность — ее-то у него нельзя было отнять, — возможность пустить себе пулю в лоб.

Им овладела бесконечная усталость, которая была даже сильнее отчаяния, — поражение слишком долго шло с ним рядом. И если бы сейчас он был один, он извлек бы из кобуры свой пистолет.

Но вот подошли эти инвалиды, этот Горчаков с костылем, эти калекуны...

Командарм обернулся к командирам и с привычной властной интонацией позвал:

— Герасимов!

Смуглолицый, как цыган, майор, торопясь и спотыкаясь, подбежал сзади.

— Что там с Богдановым? Не допускаю, чтобы он не прошел, — сказал командарм. — Там, где он проходит, там густой лес, там танкам не ходить. Бери одного бойца и ступай навстречу. Ты должен связаться... Мы остаемся здесь. Богданов пусть тоже идет сюда.

Майор откозырял, взглянул на Горчакова и почему-то подмигнул ему. Горчаков запрыгал на костыле к генералу.

— Разрешите... — вновь начал было он, но генерал недослушал.

— А мы с тобой, Горчаков, подождем. Нам, кровь из носа, надо здесь продержаться! Ты это правильно учел.

Большое посеревшее красноглазое лицо его оставалось мало подвижно-сумрачным. Но то, что этот Горчаков, призывавший на оборону, и эта команда калек, тащившаяся в бой, являли собой скрытый укор ему — обвинение! — отозвалось в нем саднящей благодарностью. Пока эти инвалиды готовы были сражаться, они не были побеждены — нет, они не были побеждены! — подумал сейчас командарм. Пока они сами не посчитались со своим поражением, его и не было! Вот так — поражения не было!

— Всем на оборону! — скомандовал он. — Приготовиться к бою!.. Пошли, Горчаков!

Горчаков не расслышал, но догадался.

— Вы тоже с нами, товарищ генерал? — неуверенно проговорил он; тыльной стороной руки, в которой был зажат наган, он отер рот и щеки, сорвав ненароком запекшуюся корочку со скулы, там опять заструилась кровь.

К командарму подошел человек с четырьмя полковничьими шпалами, но генерал не дал ему и рта раскрыть, отмахнулся... Он вышел на дорогу, и командиры и бойцы окружили его. Немного поодаль ожидал команды взвод Горчакова — неровный, рябоватый от белых бинтов строй.

— Добре! — крикнул командарм. — Добре, хлопци-молодци!

Неожиданно для себя он крикнул это по-украински. Генерал родился на Украине, и бог весть почему в эту минуту со дна его памяти, откуда-то из песен, слышанных в самом детстве, из деревенской комсомольской юности выплыло это «хлопци-молодци». Честно говоря, ему давно не вспоминалось родное село.

2

В окопчиках на окраине и в развалинах каменного амбара погасли уже все огневые точки, когда там появились со своими людьми командарм и Горчаков. Еще кисло воняло сгоревшей взрывчаткой, еще не рассеялся полностью пороховой туман, но в нем никто уже не шевелился! Два танка из трех, дошедших сюда, тоже были приведены к безмолвию: один плотно и жирно дымил метрах в полтора от разрушенного амбара, и дым низкой графитовой полосой относился к большаку; другой завалился лбом в воронку от фугаски, тонкий ствол его пушки уткнулся в песчаную осыпь, и так, с задравшейся кверху кормой, он замер, весь от пыли серый, как исполинская мышь, с черно-белым крестом на борту. Но и защитников рубежа, никого, кто мог бы стрелять, здесь уже не осталось в живых, даже не кричали раненые. Женщина-санитарка лежала на спине, прижав к груди свою брезентовую сумку, глядя в небо из-под полуопущенных век с заслезенными, еще не высохшими ресницами.

А немецкие автоматчики, продвинувшиеся по большаку, залегшие там за придорожными кустами, в подлеске, вели частую перестрелку с пограничниками — те еще держались в березняке. Вдалеке справа вставало над большаком облако пыли, вероятно, это готовилась новая атака и выходили на рубеж другие танки. Словом, генерал и Горчаков появились вовремя — относительное затишье не могло быть долгим.

В широком проломе амбарной стены покинуто стоял исправный на вид «максим». Горчаков, осторожно подтаскивая по обломкам свою забинтованную ногу, приполз к нему. Розоватая кирпичная пыль покрывала и пулемет, и спину убитого пулеметчика во взмокшей гимнастерке, его спутанные волосы, потный затылок. Отодвинув плечом в сторону отяжелевшее тело, Горчаков чуть не повинулся вслух: «Прости, браток, что я так тебя...» Лежа за щитком, он быстро и умело обследовал пулемет. Прицел, приемное устройство... — все, кажется, сохранилось в целости; лента с патронами была заправлена. И, морщась и матюгаясь, он принялся устраиваться для боя — очень мешала пудовая нога в гипсе.

Приполз сюда и генерал и лег рядом на большой плоский обломок; адъютант взгромоздился на кучу кирпичей у пустого оконного проема. Тут же устраивались, спеша, командиры и бойцы вперемежку с инвалидами Горчакова, скрывались поблизости в окопчиках, в воронках.

Горчаков, отдышавшись, проговорил своим сорванным, обеззвученным голосом:

— Ну, успели... А то ведь...

Но в его голосе была уже и какая-то успокоенность; он держал в своих руках пулемет.

— Успели, хлопцы! А как же! — прокричал генерал. — Как же не успеть, если надо!

Новое, буйное чувство овладело им... Самое страшное, что могло теперь с ним случиться, — это смерть здесь, в стрелковой цепи... Но какую малостью она выглядела по сравнению с тем, что ему только что стало так понятно: поражения нет, поражения не было! И сознание, что ничего ужасного не существует, пока ты не согласился с ужасным, словно опьянило его...

— Сейчас мы им дадим жару!.. Пусть только сунутся! — прокричал он. — А, хлопцы-молодцы?! Дадим, а?!

Его адъютант хмуро покосился — он не узнавал своего командарма.

— Может, вам не надо здесь, товарищ генерал? — проговорил он. — Мы одни отобьемся...

— Что? Отставить! — крикнул генерал.

В этот же момент немцы в подлеске за большаком поднялись для броска, и их оказалось неожиданно много, должно быть, сумели подобраться. Беспорядочно паля из автоматов, они хлынули к березняку, и их спины сделались открытыми; Горчаков хотел уже крикнуть: «Слушай мою команду!» — но удержался.

— Товарищ генерал, командуйте! — крикнул он так громко, точно это генерал оглох, а не он.

И тот даже чуть отклонился.

— Огонь! По противнику огонь! — далеко разнесся твердый голос командарма.

— Бей сволочей! — освобожденно завопил Горчаков.

Пулемет в его напрягшихся руках затрясся, выплеснул пламя, и его, нагнувшегося к прицелу, словно бы обдало живым, теплым дыханием... Но он тут же вынужден был прекратить стрельбу...

— Товарищ генерал, вы вторым номером можете? — криком спросил он.

— Вторым? Отчего же, — прокричал генерал, — могу вторым!

Он придвинулся ближе, взял ленту... И Горчаков с мгновенно искаженным, испуганным-счастливым, ужасным лицом выстрелил веером длинную очередь по согнутым спинам, по головам в касках, по прыгающим задницам. А из березняка навстречу немцам ударили пограничники!

...И спустя совсем недолгое время вновь наступила тишина — теперь уже всеобщая. Живые голоса стрелков справа и слева, стоны, доносившиеся из подлеска, редкие одиночные выстрелы — все это как бы и не нарушало огромной тишины, тишины отбитой атаки. Горчаков разжал пальцы, окостенело державшие пулемет, и долго вздохнул, выпустил воздух из переполненной груди.

— Успели к обедне... А то ведь... — повторил он для себя одного.

Генерал благодарно посмотрел на Горчакова.

— А вы лихо... — перешел он незаметно на «вы».

— Отслужили фрицам панихиду, — подал от окна голос адъютанта. — Точно что... «со святыми упокой».

Горчаков ничего этого не разобрал — он по-прежнему плохо слышал.

— Вы что до войны делали? Где работали? — закричал генерал.

Горчаков ошарашено взглянул, и генерал подтянулся к его уху, повторяя вопрос.

— Извиняюсь... — Горчаков заторопился. — С «Серпа и молота» я...

— Так и есть, — сказал генерал. — Так оно и есть... Семейный? Семейный, спрашиваю?

— Семейный... — Горчаков принялся отирать ладонью взмокшее лицо и опять сорвал со скулы корочку... — Так точно, товарищ генерал! Семейный!

— Как вас зовут? Ваше имя-отчество? — спросил генерал.

Он, казалось ему, уступал теперь в чем-то главном этому солдату с костылем, солдат был как бы старше его.

— Мое? — Горчаков отнял от лица окровавленную ладонь и недоуменно рассматривал ее. — Мое — Петр Трофимович, — сказал он.

— А я Федор Никанорович.

И в мыслях генерала неволью возникло: «Перед кем же я в первую голову виноват — я, командующий армией? Выходит, перед ним, перед Петром Трофимовичем... солдат кровью своей за наши ошибки, за мое малое умение...»

Он поманил Горчакова пальцем и, когда тот нагнулся к нему, спросил:

— Крепко вы нас материте, нас, командование? Достается нам?.. А, Петр Трофимович? Давайте начистоту!

Горчаков помолчал, прежде чем ответить. Он добросовестно задумался... В этой наступившей после боя тишине он как бы вновь учился связно, ясно думать.

— Бывает, что и так — достается...— ответил он серьезно.— Бывает, что и крепко, то есть по заслугам... А если разобраться, то, может, и понапрасну. На каждого командира есть другой командир -- повыше... Как тут рядовому составу разобраться? Солдат что видит? Он мушку на стволе своей трехлинейки видит... Ее он, точно, видит хорошо...

Вдруг Горчаков засмеялся — удивительным, лающим смехом.

— А больше всех старшине достается — вот уж точно так! — отсмеявшись, сказал он.— Старшина, он всегда на виду: то с кухней припоздаст, то махорки недодаст, то да се...

Из укрытий, из окопчиков показывались бойцы, перебежали между обломками; к командарму подошел полковник в припорошенной известковой пылью шинели, они заговорили, и Горчаков в своей глухоте остался как бы наедине с собой.

Тишина все длилась... Немцы активности больше не проявляли, и командарм собрался уходить — к нему вернулись все его заботы. Прощаясь с Горчаковым, он прокричал:

— Нечем мне вас наградить, Петр Трофимович! Обещать вам тоже ничего не могу.

Он обнял Горчакова, вставшего на здоровую ногу, рывком привлек, прижал к себе и осторожно выпустил, боясь, что тот сейчас же упадет. Горчаков действительно пошатнулся.

— Одно лишь могу: спасибо, Петр Трофимович! Вы и не догадываетесь, какой я ваш должник! Будем живы — сочтемся. А нет, свалит нас чертова пуля, так ведь солдату не в диковинку... Ведь так?

Еще некоторое время командарм ждал вестей от Богданова, затем решил вернуться к своим окруженным войскам. Посланный во вторую группу прорыва майор Герасимов доложил по возвращении, что Богданову тоже не посчастливилось пробиться и что свидеться с ним по этой причине он, Герасимов, не смог. Майор прискакал на коне, которого где-то раздобыл; он был ранен в грудь, потерял много крови, и его пришлось тут же отправить в госпиталь. А когда стемнело, командарм с немногими командирами пустился в обратный путь на усилившийся на западе гул боя; остатки его заблокированных дивизий продолжали сражаться, и его место было с ними.

3

К вечеру бой под городом утих, не раздавалось и одиноких выстрелов, и слышнее стали звуки работы, что шла на переправе. Там не умолкали топоры, глухо бил в сваи обух и с шелестящим шумом рушились березы.

Гриша Дубовик, уходивший, чтобы разведать обстановку, припелся обратно под вербы к Виктору Константиновичу и тут же без сил опустился на землю. Утреннее купание в осенней воде не прошло для него бесследно: он кашлял и лицо его сухо горело. Без воодушевления — очень уж плохо он себя чувствовал — он рассказал, что «фрицу дали прикурить», что у нас в контратаку ходили даже раненые и что повел их генерал, командующий армией. Со взрослой усмешкой Гриша добавил, что лично он «того не бачив», а потому, «изви-

няйте, за что куплял, за то продал». Два танка подбитых он «точно бачив: стоять, черные, у поля, а як ветер з них подуе, смердятъ». Дальше он рассказал, что лейтенант товарищ Веретенников, которого он опять же «бачив», приказал им, дяденьке старшему и ему, безотлучно находиться при машинах.

— У меня усе, старшой,— заключил Гриша и зашелся в долгом черством кашле.

— Вы простудились, вам не надо на земле,— сказал Виктор Константинович.— Идите в машину.

— Трясца его матери! — утомившись, выдохнул Гриша.— И надо же...

Виктор Константинович порылся в кузове машины, достал новенькую стеганку, полученную в интендантстве перед командировкой, и накинул мальчику на плечи. Тот как бы попытался оправдаться:

— А я, дяденька старшой, и у батьки был квелый, догадливый на усяжую хворобу.

Гриша обладал, кажется, чувством юмора, правда, невеселого. Закутавшись в чересчур просторную для него стеганку, втянув голову в воротник так, что наружу щеточкой торчала одна лишь стриженная макушка, он привалился спиной к колесу машины и замолчал — ему и разговаривать было неохота.

А Виктор Константинович вернулся к прерванному занятию — принялся собирать свою винтовку. Только что, сидя в одиночестве под деревом, он разобрал ее и очень тщательно протер и смазал все ее части — светленькие, масляно блестящие, они лежали перед ним, каждая отдельно, на разостланной чистой тряпице... В этом занятии, в чистке винтовки, Виктор Константинович приобрел уже большую сноровку, предаваясь ему часто и с усердием. И объяснялось его усердие не тем, что он питал к своему оружию какие-то особо приязненные чувства, нет, любви к винтовке Виктор Константинович не испытывал. На марше, когда приходилось эту громоздкую, длинную, твердую, тяжелую штуку таскать на себе, он ее просто ненавидел. Он и боялся постоянно за нее, боялся, что может ее где-нибудь на ночлеге потерять, что ее могут украсть, обменять на испорченную, — о своей ответственности за доверенное оружие он был достаточно наслышан. Словом, винтовка доставляла ему массу забот и неудобств. А вот ее чистка — эта нехитрая, но требовавшая известного внимания, не совсем механическая, но и не нуждавшаяся в умственных усилиях, аккуратная работа пришлась ему по душе. Она оказалась хорошим средством для отвлечения от тяжелых мыслей, чем-то родственным вышиванию или плетению корзин, занимая и руки и немного голову; вместе с тем она поощрялась начальством. И Виктор Константинович разбирал, чистил, смазывал и собирал свою винтовку даже чаще, чем то было необходимо, но не для успешного боя, не для войны, а стремясь хоть на короткое время позабыть о боях и о войне. Он и сейчас обратился к своей винтовке, чтобы не думать, не кричать от тоски, чтобы занять себя еще на несколько подаренных ему часов.

Солнце уже садилось, и воздух по-осеннему резко к вечеру похолодел, от воды загустел туман. Ветер на закате поутих, и эти бледные, возникавшие как бы из ничего, полурастворенные облака повисали и ширились над рекой. Кое-где они перебрались за кромку берегового откоса и поползли по траве меж деревьев, окутывая выступавшие из земли корни.

Свет уходил из засиневшего воздуха. Виктор Константинович, закончив со сборкой винтовки, зарядил ее, как приказывал Веретенников, а затем собрал и завернул заботливо в тряпицу всю так называемую

мую принадлежность — протирку, отвертку, щетинный ершик, масленку... Вечерняя тень разливалась понизу, и только верхушки разросшихся старых верб были освещены закатом.

Некоторое время Виктор Константинович посидел еще под вербой, приковавшись взглядом к этой тихой картине, держа винтовку между коленями. Но все вдруг грубо оборвалось — война вновь напомнила о себе.

Внизу, под обрывом, гулко ударил выстрел, и Истомин, как от озноба, передернулся. Высунул из своей стеганки голову и Гриша Дубовик. Стрельба поднялась в стороне, противоположной переправе, и выстрелы раз за разом гремели все ближе. Припадая на затекшую ногу, Гриша кинулся к краю обрыва; Истомин, подхватив винтовку («Не дай бог потерять ее в суматохе», — мелькнуло у него в голове), побежал вслед за мальчиком.

— Что у вас с ногой? — крикнул он.

И позабыл о своем вопросе, глянув вниз.

В белой мгле, застлавшей узкую, огибающую обрывистый берег полосу отмели, он различил сперва три бегущие тени. В следующее мгновение три человека выскочили на не закрытое туманом место — двое бойцов в пилотках, в шинелях, но почему-то босые, и третий, в фуражке, командир, должно быть. Обернувшись на бегу, командир выстрелил из пистолета в туманное облако, из которого появился. А из тумана ударили кучно в ответ ружейные выстрелы — за этими тремя шла погоня.

— Ой, дяденька!.. — легкое, как вздох, раздалось восклицание Гриши.

Мальчик взмахнул рукой, мазнув Виктора Константиновича рукавом стеганки по лицу.

— Яны! — зашептал Гриша в его ухо. — Дяденька старшой, яны!

Истомин машинально провел ладонью по лицу.

— Что? Кто они? — недовольно пробормотал он.

— Яны! Я ж кажу... — жарко зашептал мальчик. — Те злодеи! Дяденька старшой...

Трое беглецов, миновав открытое место, опять окунулись в облачный пар, и Виктор Константинович чуть было не крикнул: «Вы кто? Стойте!» Он поднял и обеими руками прижал к груди винтовку, словно страшась, что ее отнимут. Беглецы закарбкались по откосу прямехонько к нему, Истомину, как будто заранее вышедшему им навстречу. И было слышно, как шуршит, осыпаясь под их ногами, песок и пощелкивают камешки.

На отмели тем временем показались еще человек восемь — десять с винтовками и затоптались на месте — это и была погоня, потерявшая беглецов из виду. Те подобрались уже в тумане к самой кромке обрыва и завозились там, слышалось их тяжелое дыхание; в последнюю минуту они изменили направление, взяли чуть в сторону. И над краем обрыва, шагах в пяти от Виктора Константиновича, выросло что-то круглое, темное, лишь отдаленно напоминавшее человеческую голову, со светлыми пучками усов. Их обладатель не рассмотрел никого здесь, наверху, он рывком перевалился через травяную бровку, прополз немного вперед... И тишину пронзил вопль Гриши:

— Он! Стреляйте, дяденька!

А на мгновение раньше вынырнула как из-под земли и завертелась — вправо, влево — голова второго беглеца.

— Was?.. Was? ³ — раздавалось там.

³ Что? Что? (Нем.)

Первый беглец, вскинувшись всем туловищем на колени, стал стаскивать со спины автомат.

— Стреляйте, дяденька! — со слезами закричал Гриша. — Уйдет он!

Не отдавая себе отчета, уступая лишь этому детскому рыданию, Виктор Константинович припал щекой к прикладу и, не целясь — чего тут было целиться?! — нажал на спуск. Его больно, как кулаком, толкнуло в плечо, его ослепила вспышка пламени, и он не увидел результатов своего выстрела. Но у самого уха он услышал плачущее и счастливое:

— А-а-а!.. Накрылся, гад! Трясца твоей матери!

Машинально перебросив затвор винтовки, Виктор Константинович рванулся вперед к краю обрыва. Он успел еще увидеть исчезающее внизу, в облачной массе, черное пятно и послал в него вторую пулю... Неразборчивый, точно птичий вскрик донесся к нему снизу — пятно исчезло. И уже в пустоту, в ничто он выпустил третью пулю, четвертую, пятую, просто потому, что не мог остановиться. Нажав на спуск в шестой раз, он удивился, что выстрела не последовало.

С крайним удивлением и растерянностью смотрел он потом и на два положенных рядом под деревьями трупа — второй сняли с откоса и втащили наверх преследователи. И ему упорно мерещилось, что не он превратил этих двух людей в трупы, что все сделалось само собой, помимо него.

Убитые — опять же к его изумлению — оказались теми двумя «ранеными в пилотках», что подожгли сегодня мост, полный народа... С утра их повсюду окрест искали бойцы местного истребительного отряда, они и обнаружили их тайное убежище недалеко от реки — пещерку, вымытую весенними ручьями в лесном овраге; там был с ними кто-то третий, может быть, командир. А этих двоих застрелил он, выходило так, он, Истомина, и никто другой, что было поистине невероятно, неправдоподобно!

Веретенников, примчавшийся на выстрелы с переправы, включил электрический фонарик — под вербами уже стемнело. И укрытые сумраком мертвецы словно бы всплыли в голубоватом призрачном потоке, подобные утопленникам. Один, с распушенными усами, был поражен в шею, рубаха его черно намокла; у второго волосы на голове слиплись под черно-фиолетовыми сгустками. И у Виктора Константиновича холодело внутри и ослабевали ноги, хотелось сесть при мысли, что это он так отделал этих людей. Сейчас он не находил в них ничего особенно злодейского; парни были как парни, крупные, рослые, с человеческим цветом лиц — еще не успели побелеть. Почему-то особенно лезли в глаза их белые большие грязные ступни; на руке у одного, усатого, на толстом пальце блеснул дешевенький серебряный перстень-печатка. И Виктору Константиновичу понадобилось и раз и другой мысленно сказать себе, что убитые им люди, именно они, повинны в смерти и в мучениях многих, очень многих других людей и что они получили только то, что давно заслужили. Но странно и жутковато было от сознания, что получили они это из его рук...

Командир истребителей в синей милицейской шинели, обливавшийся потом, встрепанный, как после бани, растроганно поблагодарил Истомина:

— За чемпионскую стрельбу! — И до боли сжал его руку.

А Веретенников погордился своим бойцом.

— Наш ополченец, москвич, научная величина, профессор... — подал он командиру истребителей.

Самого Истомина он от души поздравил:

— С боевым крещением! Однако я не ожидал... Обживаетесь во фронтовой обстановке.

С новым, откровенным любопытством оглядывал он этого отличившегося интеллигента. Гриша Дубовик серьезно сказал Истомину:

— Ну и стреляете вы, дяденька! А может, вы охотник? У меня батька был добры охотник... Вам в снайперы треба, чего вы тут, в обозе?

Виктор Константинович пытался улыбаться. И на его вытянутом книзу бледном блоковском лице эта натужная улыбка выглядела виноватой.

— Я только нажал на крючок. Это Гриша их узнал... Гриша видел их на мосту,— словно бы оправдывался он.— Если бы не Гриша...

Лишь спустя некоторое время Виктор Константинович приободрился и даже почувствовал какой-то подъем. Вопреки всему известному ему о себе он, как оказалось, способен был самолично выстрелить во врага, не ожидая, что это сделает за него кто-то другой. Оказалось, что и он такой, какой он есть — книжник, гуманитарий, поэт,— может не только быть жертвой убийцы, но может и сам превратить убийцу в жертву. И такой вывод из случившегося ошеломил его... Но уже в самом этом открытии он ощутил некую перспективу, ему стало как бы интереснее с самим собой — и тревожнее, и опаснее, и интереснее!

К ночи полил дождь, частый, обильный,— осень наконец полностью вступила в свои права. И в крошечной тьме этого ненастья поиски третьего диверсанта пришлось приостановить.

Одиннадцатая глава

ПЕРВАЯ ЛИСТОВКА. КОММУНИСТЫ

Дождь потушил пожар в городке. Но еще долго в наполненном шумящими потоками ночном воздухе белесо дымились остывавшие развалины, будто призраки бродили в пустых, выгоревших коробках домов и никли и пропадали под холодным прямым водопадом.

Весь центр городка с его каменными домами, с торговыми рядами, с фотоателье «Светотень» и почти вся западная окраина с маслозаводом были уничтожены: огонь сделал то, что недоделали авиабомбы. Меньше пострадал ближайший к реке деревянный район — 2-я Трудовая улица и соседние с нею. Случай пощадил Дом учителя и позднее, после бомбежки, во время боя, когда снаряды танковых пушек рвались рядом. Вылетали стекла из окон, и в комнатах хлопала с размаху двери, точно там шатались буйные гости. Но, засыпанный листьями с оголившихся, как в бурю, деревьев сада, старый дом устоял. К ночи там собралось довольно много народу.

В зальце, превращенном в перевязочный пункт, шла еще своя трудная работа. Сандружинница из ополченского батальона — девочка со светленькими свалывшимися кудерьками — обматывала хозяйскими полотенцами (бинты она все уже израсходовала) голову бордатою солдата. Тот курил, длинно затягиваясь, и его большая, в ссадинах рука крупно вздрагивала, так что из толстой сигарки сыпалась на колени тлеющая махорка... Из окна, занавешенного одеялом, несло сырым холодом — половина стекол была выбита,— и подслеповато мигал огонь в нарядной лампе с розовым шелковым абажуром, которую над головой солдата держала пани Ирена, сосредоточенная и строгая. В другом углу под темно-зеленым кустом китайской розы,

осыпанным красными цветами, устроилась на стульях семья погорельцев с соседней улицы — две женщины и старик: у них бомба сожгла дом. В комнате рядом, в библиотеке-читальне, женщина из Спасского задремала в кресле, не выпуская из рук спящего младенца. Дальше, в спальном комнате, еще двое бойцов покоились на койках в тихом, так похожем на смерть шоковым забытии, что приходит, когда страдание становится слишком большим.

И еще разные люди: связные, командиры, шоферы, санитары, бойцы истребительного отряда — появлялись в доме иззябшие, с запытыми дождем лицами, злые, спешащие, изнуренные, яростные и, погревшись и докурив свои самокрутки до того, что обжигало пальцы, опять исчезали в непроглядной темени, ровно шумевшей бесчисленными потоками.

А в белой комнатке Ольги Александровны за ее рабочим столиком с фарфоровым чернильным прибором все еще заседал под председательством Самосуда райком партии, точнее сказать, заседали только четыре человека из райкома, те, что нашли сегодня друг друга.

Первый секретарь и другие товарищи, собравшиеся утром в его кабинете в райкоме, погибли в бомбежку, Самосуд знал уже об этом... Вызванный еще накануне на сверхважное заседание к первому секретарю, сам он лишь с опозданием кружным путем добрался из лагеря своего отряда до городка — шоссе было перерезано немцами. И это опоздание спасло его... Оставив повозку с возницей в каком-то уцелевшем дворе, Сергей Алексеевич попытался пешком проникнуть в центр, на площадь, где находились все главные учреждения. Но там бушевал зажженный бомбами пожар... И пробираясь среди обломков, в горячем, потемневшем, словно бы вечернем воздухе, Сергей Алексеевич вынужден был каждый раз отступать. В задымленных, черных остовах зданий, в пустых проемах окон буйно плескалось пламя. Оно и ревело, как шторм. Глаза у Самосуда слезились, в глотке царапало, горящая головешка пролетела низко через улицу, вся оперенная огнем, как жар-птица, и Самосуд едва успел отскочить. Он рискнул было подобраться к развалинам здания райкома сзади, с переулка, — возможно, в бомбоубежище под горой обломков кто-нибудь еще нуждался в помощи? Но и оттуда его прогнали эти золотистые протуберанцы, кипящие в угарном дыму.

В какую-то минуту Сергею Алексеевичу подумалось, что только он один живой и мечется здесь на площади. Но вот недалеко в сизой мгле вырисовалась чья-то фигура: человек в очках, поблескивавших багровыми отсветами, медленно приблизился и прошел мимо, склонив слегка к плечу голову, — казалось, он глубоко задумался. Сергей Алексеевич окликнул его, это был молодой товарищ из райкома, инструктор. Обернувшись на полушаге, тот взгляделся в Самосуда, покашлял и, не узнав его, повертел отрицательно головой.

— Нет, никак нельзя, — проговорил он сожалительным голосом. — Павел Васильевич занят. Простите, не могу, нельзя.

— Где он? — нетерпеливо спросил Самосуд. (Павлом Васильевичем звали первого секретаря.) — С ним благополучно? Где все?..

— Занят, очень занят, — повторил молодой человек, и его очки опять осветились багровым бликом. — Извиняется, просит подождать.

— Да о чем вы? — начал Самосуд и осекся.

Человек кашлянул, повел плечами с видом: что поделаешь? — и пошел дальше, клоня в задумчивости голову.

Самосуд не сразу понял, что с этим человеком стряслось. А поняв, он, как от внезапной боли, застонал сквозь стиснутые зубы... Но тут окликнули его самого. Из сизого тумана, прикрывая платком

лицо, вышел другой его знакомый — районный военный комиссар Аристархов, тоже явившийся на заседание в райком.

— Что же это, Евгений Борисович! — жестко выговорил Самосуд, точно райвоенком был за все в ответе.

— Это называется превосходством в авиации, — глухо из-под платка отозвался Аристархов. — Что, собственно, вас удивляет?

— То есть как что?.. — Самосуд недоуменно посмотрел: он был слишком подавлен, слишком несчастен, чтобы так вот невозмутимо рассуждать.

— В современной войне тот, кто господствует в воздухе, господствует и на земле, — сказал Аристархов.

— Как это вы так?.. — Самосуд не окончил.

— Пойдемте отсюда... Здесь мы с вами ничем уже не поможем.

Но Сергей Алексеевич помедлил: невозможно было согласиться с этим «ничем не поможем».

Пожар под ветром набирал силу: пламя перекинулось на ближайšie улицы, где стояли все больше деревянные дома. И как будто самый ветер, налетавший порывами, принял это обличье пламени — таким оно было рваным, яростным. Смердный зной обжигал лица, заставлял пятиться; грязновато-дымная туча застилала небо. И в дыму замелькали черные силуэты; погорельцы бежали через площадь, сгибаясь под какой-то своей ношей...

Еще один знакомый товарищ — городской судья и тоже член бюро райкома — незаметно возник подле Самосуда. Смятая фетровая шляпа косо сидела на его голове, лицо, руки, пальто были измазаны сажей.

— Разгребали завал, живым не нашли никого... — проговорил судья. — Тут недалеко — по Преображенской, дом семь. Мать и трое детей... — И он зашелся в рвущем глотку кашле — наглотался дыму.

Давясь кашлем, он отрывисто, выбрасывая слово за словом, рассказал, что все, кто собрался утром в помещении райкома, погибли в начале бомбежки; фугаски пробиты перекрытия, разорвались в убежище. Сам он уцелел лишь потому, что за несколько минут до налета вышел на площадь — надумал заглянуть к себе в суд — и уже не вернулся в райком, укрылся в земляной щели.

— Такие дела, отцы! — проговорил он и опять закашлялся.

— Наш дом тоже... — подал голос Аристархов. — Я вроде преподающего Иова теперь: что на мне, то и осталось... Жалко библиотеки, хороша была библиотека.

— Да, да, пошли... — только теперь Сергей Алексеевич ответил военному.

Они и в самом деле были бессильны здесь сейчас, но надо было немедленно что-то предпринимать — надо было действовать, действовать! А прежде всего сообщать подумав. И Самосуд повел обоих райкомовцев — комиссара и судью — в Дом учителя.

Четвертый участник заседания, председатель райпрофсовета Солнышкин, присоединился к ним по дороге... Этот в расцвете возраста тридцатилетний человек успел уже, как знали в городке, обзавестись большим семейством: четверо сыновей-погодков росли у него; был он всегда весел, жизнерадостен, и то, что происходило с ним сейчас, поразило Сергея Алексеевича. Солнышкин одиноко на выходе с площади стоял лицом к стене и странно подергивался, голова его тряслась. Когда к нему подошли и он обернулся, стало видно, что он рыдал: мокрое, в потеках слез лицо его морщилось.

— А-а... — хватая губами воздух, выговорил он. — Ни-ни-чего... Теперь все... все прошло. А вы... то-тоже на заседание... Я немного опоздал... Живу далеко.

Он глотал невылившиеся слезы и отворачивался

— Все мои еще в городе... Пневмония у младшего... в тяжелой форме,— вздрагивающим голосом ответил он на вопрос Самосуда о семье.— И везти нельзя и оставить нельзя... Так и сидит жена на узлах... ждет, когда спадет у Вовки температура.

Чтобы убедить товарищей, что он, Солнышкин, в полном порядке, он даже попытался улыбнуться: вот, мол, какой казус получился неприятный, конечно, но не столь уж важный по нынешним временам.

— Сама не спит все ночи --- мать, вы же понимаете,— выдавил из себя Солнышкин с этой своей улыбкой на кривящихся губах.

...Заседание — последнее — по всей вероятности, перед уходом в подполье — затянулось, да и не могло быть иначе.

— Маловато нас здесь... — так начал Самосуд, когда они остались одни и в коридоре затихли шаги Ольги Александровны, приведшей их сюда.— Но сколько бы нас ни было... сколько бы ни было...

Что-то помешало ему продолжать, и он мысленно прикрикнул на себя: «Возьми себя в руки, черт тебя подери!»

— Мы коммунисты — и на нас ответственность... За все, что мы видели сегодня, тоже мы отвечаем... Кто же еще?! — проговорил он.— Но об этом потом, потом... когда сломаем хребет зверю, когда... — Сергей Алексеевич встал со стула, кровь хлынула ему в лицо, гладкий череп порозовел.— А пока надо уходить в подполье. Надо работать! — Он опять сел и сложил на столе руки кисть на кисть.— Что же это такое: подполье, нелегальное положение... на своей советской земле, в родных местах — и нелегальное... — Он странно, недобро усмехнулся... — Я кое-что помню еще о времени, когда мы конспирировали, а жандармы охотились за нами. Но вот наш судья товарищ Виноградов — человек молодой... Или вы, товарищ Солнышкин... Да, семья Павла Васильевича эвакуировалась, не знаете? — перебил он себя.

— Уехали, — судья утвердительно кивнул, — вместе со всеми... А к Хорошевой Клавдии Савельевне (это была жена, а ныне уже вдова второго секретаря) я зайду обязательно. Она в городе.

Самосуд покачал головой, насупился. Он многие годы работал с этими погибшими сегодня людьми, и они вставали сейчас в его памяти — тогда он замолкал.

— Так вот,— заговорил он вновь с усилием, хмуро.— Товарищи Солнышкин и Виноградов, я подозреваю, что обоим вам не совсем ясно, чего потребует от вас нелегальное положение. Возможно, и под чужим именем, и по чужому паспорту, и в разрыве со своими близкими...

Самосуд взглянул на Солнышкина; тот сутулился, прикрыв рукой свои вспухшие глаза.

— Это, дорогие товарищи, нелегко... Это, во-первых, самодисциплина, постоянная собранность, во-вторых, внимание к мелочам. И это — великое терпение... — Сергею Алексеевичу удалось наконец переступить через некое внутреннее препятствие, и его потрескивающий голос звучал теперь по-учительски ровно, как на уроке.— Может найтись предатель, провокатор... и тогда... тогда, товарищ Солнышкин, только одно сознание, что вы умираете за правое дело, может помочь вам. Но бывает, что и этого сознания недостаточно.

— Почему вы обращаетесь ко мне? — быстро, нервно спросил Солнышкин.— Я не понимаю... Я, кажется, не давал повода думать, что я... ну, словом, что я трушу.

Сергей Алексеевич сделал вид, что не обратил внимания на его протест.

— Хорошо ли каждый из вас знает самого себя?.. — спросил он.— Быть коммунистом в стране, в которой победили коммунисты,— это не самое трудное. Потруднее остаться коммунистом там, где по одно-

му лишь подозрению в принадлежности к партии коммунистов человека обрекают на смерть. Может статься и так, что никто, ни ваши родные, ни жена, ни дети, никогда и не узнают о вашем подвиге. Одна лишь совесть будет вашим утешителем или прокурором, если проявите малодушие.

Сергею Алексеевичу было жалко Солнышкина: они довольно часто встречались в райкоме и ему сделался симпатичен этот в недавнем прошлом рабочий парень в потертом костюме — большая семья и не такой уж большой достаток, — неглупый, начитанный, толково выступавший в местной газете. И эта непрощенная жалость так и проявлялась у Самосуда — в сухости тона, в жесткости формулировок, она была слишком несвоевременной. Если б Солнышкин честно признался, что он боится той безымянной безжалостной борьбы, о которой шла речь, если б он взмолился: увольте! — Сергей Алексеевич почувствовал бы облегчение: пусть бы уходил к своим детишкам. Да и для дела это, наверно, было бы полезнее.

А сам Солнышкин перестал уже слушать Самосуда, мысленно он вернулся сейчас к своему прощанию с семьей, с женой и сыновьями, которых покинул в бомбоубежище на их улице. Там в подвале, под зданием городской аптеки был полный мрак, пахнувший йодоформом, — люди передвигались ощупью, натыкались друг на друга. И он не видел лица жены, когда сказал ей, что, возможно, не вернется домой ни сегодня, ни в ближайшие дни, что, может быть, они расстаются надолго. Но на его губах осталась память о ее поцелуе — ослабленном, прерывистом, похожем на детский. И на своем лице он все еще чувствовал влажный жар, опавший на него, когда он прикоснулся щекой к шелковисто-гладкой щеке младшего сына... «Потеет, а температура не падает», — подумал он.

— Словом, товарищи, еще не поздно... — проговорил Самосуд, — Тот, кто не уверен в себе, может еще уйти, мы не станем его удерживать... Не каждый способен вынести то, что его ожидает в случае провала.

— Что? — спросил Солнышкин, оторвавшись от своего воспоминания, и обвел всех взглядом.

— Тот, кто не уверен в себе, может еще уйти, — повторил Самосуд, глядя на него. — И это надо сделать немедленно.

— Но... А-а... я все понимаю, это снова ко мне... Но я...

Солнышкин, сидевший несколько в стороне, на диванчике Ольги Александровны, выпрямился, и старые пружины зазвякали от его движения, точно пожаловались вместо него.

— Я, конечно, только человек! — выкрикнул он. — И я... просто как человек заплакал. Но это не может меня унизить как коммуниста. И умереть, если... я, во всяком случае, смогу. Ведь за детей, за всех детей, за их будущее... Простите... — Солнышкину показалось, что он выразился чересчур выпендренно. — К тому же я у вас человек сравнительно новый, меня на селе мало кто знает... Поэтому я, может быть, больше, чем кто другой... Да, лучше, чем кто из местных, подхожу для подпольной работы на селе... — неожиданно закончил он как оборвал...

— Ну что же... — сказал, подумав, Самосуд. — В известной мере вы правы.

И разговор пошел уже о вещах практических. Надо было хотя бы на ближайшее время распределить обязанности, наметить важнейшие задачи, в частности задачи партизанского полка имени Красной гвардии, как назван был теперь же полк, сформированный Самосудом, далее — подумать о связи с обкомом партии, с военным командованием и обсудить еще много других вопросов. Самосуд раскрыл

синюю сафьяновую папочку Ольги Александровны, взял несколько листов почтовой бумаги и повернулся к Солнышкину.

— Прошу вас набросать текст листовки к трудящимся нашего района, — сказал он. — Чем писать у вас есть?

И он протянул Солнышкину хрустальный, с золотом стаканчик хозяйки, в котором она держала карандаши. Сергей Алексеевич был опытным педагогом и знал, что хорошим средством для укрепления духа является дело, занятость, ощущение своей полезности.

...Когда вблизи на большаке разгорелся бой и старый дом зашатался, как в землетрясение, а из окон посыпались стекла вместе с посохшей замазкой, Самосуд вывел всех в сад. Женщин он проводил к погребу с земляной кровлей, устроенному для хранения яблок; мужчины залегли под деревьями; у Самосуда и у судьи имелись наганы, у военкома кольт, и они переложили их поближе, в наружные карманы. Отсюда было не так далеко и до леса. Осенка и Федерико пошли в разведку на улицу. А Солнышкин пристроился у какого-то чурбачка и писал.

— Друг наш, бесценный наш друг, — сказала Ольга Александровна Самосуду, она слабо, словно бы рассеянно улыбалась, — вы, я вижу, собираетесь нас защищать. Я вспомнила «Илиаду», осаду Трои — этот вечный бой за родной очаг... Ради бога, поберегите себя!

На свежем ветреном воздухе ее белое лицо приняло голубой оттенок; шла она тяжело, зарываясь носками туфель в опавшую листву, и выглядела как бы отрешенной от происходившего. Лена вела под руку Марию Александровну, та бодрилась, но при каждом близком разрыве вся сжималась и порывалась бежать.

Время от времени Лена показывалась из погреба, выносила мужчинам яблоки и принималась разговаривать высоким, возбужденным голосом. Снизу ее просительно звала Ольга Александровна, и Самосуд, сердясь, вновь отправлял ее в погреб к теткам и к Насте.

Некоторое успокоение наступило лишь к вечеру — немцы были отогнаны, и все вернулось в дом; заседание в комнате Ольги Александровны возобновилось при свечах, а в зальце возник перевязочный пункт.

Солнышкин подал Самосуду написанную листовку и, пока Самосуд вслух ее читал, напряженно ловил каждое слово. Сергей Алексеевич иногда запинался, не сразу разбирая его почерк, и тогда на лице Солнышкина выступало мученическое выражение.

— «Товарищи, дорогие соотечественники, не падайте духом! — начиналась листовка. — Пусть никто не сомневается в том, что ненавистный враг будет разбит, что мы одержим победу и прогоним его с нашей земли! Мы здесь, мы с вами, товарищи! Мы не ушли и не сложили оружия. Мы боремся, и мы будем мстить фашистам за все мучения, за разрушенные города, за сожженные села, за пролитую невинную кровь, за отнятую у нас мирную жизнь. — Самосуд прервал чтение, взглянул на Солнышкина и кивнул. — Мы призываем вас, наши родные и близкие, наши отцы, матери, братья и сестры, к выдержке, стойкости и отваге, — прочел он. — Помогайте Красной Армии, помогайте партизанам чем только можете! Выслеживайте фашистских убийц, собирайте сведения о движении вражеских войск, об их складах. Передавайте эти сведения партизанам. Поддерживайте красных партизан продуктами и теплой одеждой, укрывайте их! Будем бороться вместе! Товарищи трудящиеся нашего района, позор и неволя страшнее смерти. Пусть узнает враг, что в нашем районе, как и везде в нашей великой стране, он встретит только лютую ненависть к себе и презрение. Он покушается на нашу свободу, на нашу советскую власть, он задумал превратить всех нас в безгласных рабов. Ответим

же ему пулями! Никакой пощады фашистским захватчикам и насильникам! Верьте, товарищи земляки, Красная Армия вернется, и над нами снова засияет ленинский свет Свободы! А мы и сегодня с вами, мы совсем близко от вас! *Районный комитет Всесоюзной Коммунистической партии большевиков*». Хорошо,— сказал Самосуд.— Принимаем, товарищи?..

— Райкома нет — райком есть,— сказал судья.

Солнышкин благодарно посмотрел, он не был утешен, но у него появилось такое чувство, будто он сейчас уже вступил в борьбу и за своих четырех мальчиков.

Листовку одобрили, и Самосуд, в свою очередь, довел до сведения, что в его отряде имеется ротатор и какое-то количество бумаги, заблаговременно припасенной.

Было около десяти часов, когда Самосуд, временно принявший на себя обязанности секретаря подпольного райкома, закрыл заседание. Солнышкин и Виноградов тотчас поднялись — завтра на рассвете они должны были отправиться в район по селам, чтобы установить связь с верными людьми. Но затем наступила пауза — все медлили расходиться, словно какое-то еще дело осталось нерешенным и какие-то слова не сказались... Вдруг одновременно они подались друг к другу и стали обниматься молча и неловко. А те слова, что были в мыслях у каждого — слова о родственной и, может быть, большей, чем родственная, близости, которую испытывали сейчас друг к другу эти люди,— так и остались несказанными.

Сергей Алексеевич проводил уходивших на крыльцо и постоял там, вглядываясь в шумящую дождем темноту, в которой, едва сойдя с крыльца, пропали Солнышкин и Виноградов. Сам Самосуд хотел еще повидаться с командиром части, оборонявшейся на окраине города, и обсудить возможность совместных действий. Аристархов, военком, остался с Самосудом — только что на заседании он стал начальником штаба партизанского имени Красной гвардии полка.

Двенадцатая глава

ПРИСУТВИЕ НЕОБЫЧАЙНОГО. ЖЕНЩИНЫ

1

Вечером в наступившей тишине Ольга Александровна сказала своей племяннице Лене:

— Знаешь, со мной происходит что-то непонятное. Я хотела тебя попросить... но я забыла.

— О чем попросить? — высоким голосом спросила Лена.

— О чем-то важном... Ну, не помню... О чем-то совсем простом... — Ольга Александровна сжала руку девушки своей маленькой мягкой рукой. — Господи, я, кажется, схожу с ума!

— Не надо, не надо! — умоляюще сказала Лена. — Все уже кончилось.

Они стояли в полутемной кухне, куда Ольга Александровна только что привела с собой племянницу.

— Я зажгу лампу... А ты посиди, успокойся. Все кончилось... Все кончилось,— повторила Лена.

Ощупью она поискала спички на полке у плиты, где всегда возле деревянной солонки лежал коробок,— там его не оказалось.

И из дальнего угла послышался певучий, как струна, голос Марии Александровны:

— Спички на столе. Настя приходила, брала... Надо бы затемнить окно.

Лена опустила штору, зажгла лампу, и когда за пузатеньким, сразу запотевшим стеклом блеснул лепесток огня, Мария Александровна, слепая, встала из угла, будто и ей нужен был свет, и, тихо ступая, подошла к старшей сестре.

— Ну вот, слава богу, все кончилось. Что ты хотела, Оленька? — спросила она.

— Забыла, вылетело из головы.— Ольга Александровна тяжело опустилась на табурет.— Хочу вспомнить и не могу... А минуту назад об этом думала... Такая нелепость.

И она заплакала не мигая, с открытыми глазами, в первый раз за весь ужасный длинный день. Начавшийся, казалось, давным-давно, с появлением рано утром этой бедной женщины с младенцем на руках, прибежавшей из Спасского, он все не кончался, все длился, пока одни умирали под бомбами и пулями, а другие сидели под землей, ожидая своего конца.

— Ничего, ничего, голубка...— Мария Александровна нашарила плечо сестры, вздрогнувшее под ее прикосновением, и погладила.— Ну, поплачь немного, поплачь, ничего.

Звук ее голоса был удивительно чист и нежен, но белое узкое лицо со стеклянно отразившими огонек лампы глазами оставалось кукольно неподвижным.

— У меня мысли разбегаются,— искренне пожаловалась Ольга Александровна.— Полный ералаш в голове.

Она достала из кармана вязаной кофты скомканный платочек и быстрыми мелкими движениями, точно пудрясь, стала осушать мокрые щеки.

— А где Настя? — спросила она.

— Настя окна забивает фанерой, где стекло нет,— сказала Лена.

— Ах да, я же сама ее попросила... Лена, Леночка! — воскликнула вдруг Ольга Александровна.— Ну подойди ближе! Господи! Подойди же!

Лена слегка наклонилась к ней, и она обеими ладонями сжала ее лицо так, что выпятились губы.

— Тетя!.. Больно же...— пробормотала невнятно Лена и попыталась высвободиться.

— Живая, живая!.. Я так о тебе!.. А ты бравировала... Все выбегала в сад посмотреть!..

Ольга Александровна сама легонько оттолкнула от себя девушку.

— Все-таки их не пустили сюда,— метнулась ее мысль.— Такая вдруг тишина!.. Где они теперь, немцы?

— Они были совсем близко,— сказала слепая.— Я слышала, как они кричали...

— Ну что ты?! Они были все-таки далеко.— возразила Лена.

— Я слышала, как они вопили. А потом загремели их танки... Танки были уже в городе.— сказала слепая.— От их грохота, от звона у меня лопалась голова... Вот уж не думала никогда, что услышу, как стреляют их пушки.

— Мы все сидели в погребе, пока наши там воевали... А, вспомнила наконец! — воскликнула Ольга Александровна.— Надо же всех покормить. Леночка, прошу тебя... Ведь все, наверно, голодные! Ах, какая же я!.. Никто не ел целый день. Я сейчас приведу Настю. А ты помоги ей, пожалуйста! У нас еще много картошки...

Она раз и другой дернулась всем грузным телом, прежде чем смогла подняться, и машинально поправила свои пышные голубоватые волосы.

— Ты сиди, сиди!..— сказала Лена.

— Какая же я! И надо поставить самовар... Пожалуйста, Леночка!

Царственно откинув голову, задыхаясь, Ольга Александровна пошла из кухни, у выхода она остановилась.

— Да, а где мы положим Сергея Алексеевича? Он целый день на ногах. И прошлой ночью, наверно, не спал... Везде все занято.

— Я перейду к тебе, а он ляжет в моей комнате,— сказала слезая.

— Да, хорошо, он ляжет в твоей комнате,— решила Ольга Александровна.

Она вновь почувствовала себя хозяйкой, в которой все вокруг нуждались, и это помогло ей собраться с духом.

Кормить всех Ольга Александровна решила в библиотеке-читальне, где стоял самый большой стол. С помощью Лены она покрыла его самой большой, пиршественной скатертью, какая нашлась в доме. Это была прекрасная скатерть чистейшего льняного полотна, лишь слегка пожелтевшая за годы, что пролежала без надобности в родительском буфете. А свечи, зажженные в железных, петровского времени шандалах — керосина осталось в доме уже совсем немного, только для кухни,— создавали впечатление особой, таинственной торжественности. Вместе с Леной Ольга Александровна принялась считать, сколько же потребуется к ужину приборов, и по-хозяйски забеспокоилась.

Раненых не было уже в доме, за ними приехали из госпиталя и всех увезли, но девушка-сандружинница осталась — присела в зальце и тут же заснула, завалившись головой на спинку стула, свесив измазанные кровью руки с набухшими венами,— ее надо было обязательно накормить, напоить горячим чаем. Затем надо было дать поесть женщинам из Спасского и соседям-погорельцам: переселенные на освобожденные койки в спальную комнату, они уже наведывались в кухню к Насте, нет ли у нее хлеба. С утра не ели ничего, кроме яблок, и зарубежные товарищи. Бомбежка задержала их здесь всех четверых, а потом в Дом учителя пришел с городским военкомом командир партизанского отряда, куда они были направлены. (К их чрезвычайному удивлению, командиром оказался старый учитель — «профессоре», как называл его Федерико; без возражений, скорее с охотой «профессоре» взял к себе в отряд Осенку, Федерико и чету Барановских — пани Ирена слышать не хотела о разлуке с мужем.) И теперь все они дожидались, когда командир отправится с ними в отряд. Нельзя было забыть и знакомых интендантов: часа полтора тому назад они вновь постучались в дом — Веретенников со своей командой,— промокшие, продрогшие, и их стало даже больше, чем было, прибавился больной мальчик. Далее, попросились переночевать двое бойцов с ручным пулеметом, разыскивавшие свою часть. А во главе стола, что разумелось само собой, должны были занять места Сергей Алексеевич и Евгений Борисович, военком. Своих, домашних, насчитывалось четверо: Маша, Настя и их двое — она и Лена; впрочем, сама Ольга Александровна ужаснулась, подумав, что и ей следовало бы поесть. Ну, и нелишне было бы поставить несколько запасных приборов на случай, если в дом постучится кто-нибудь еще. Словом, к ужину в библиотеке могло стать тесновато...

— Не знаю, не знаю...— все повторяла Ольга Александровна.— Посуды может не хватить. И хорошо бы, Леночка, перемыть ее.

За этими хлопотами как-то позабывалось минутами и то, что было пережито за день, и то, что бой еще не кончился, а только прервался, и что неизвестно, как все будет завтра... А Лена — та просто

удивляла Ольгу Александровну: с девочкой творилось что-то вовсе непонятное.

И правда, Лена была необыкновенно возбуждена. Впуская сейчас в дом интендантов, она выглянула за дверь — там, вдалеке, что-то туманно, разноцветно светлело в толще дождя, будто расплывались капли краски — розовой, зеленой, желтой. И Веретенников тоном бывалого воина объяснил ей, что это немцы освещают ракетами свое предполье. Но Лена лишь подивилась тому, что фашисты все ж таки слишком близко, — ей представлялось, что их отогнали гораздо дальше. А сейчас и эти мысли не занимали ее — она была полна другим...

— Стаканов, наверно, всем не хватит, — озабоченно сказала Ольга Александровна. — Вот беда-то...

— Не хватит и не хватит, будем пить по очереди. — Лена засмеялась.

— Тебе весело? — не с осуждением, а как бы с интересом спросила Ольга Александровна.

Она тяжело села на подвернувшийся стул; ее всегда теперь тянуло посидеть, и странно: сколько бы она ни сидела, она никак не могла набраться сил.

— Совсем не весело, — звонко ответила Лена. — Разве может быть кому-нибудь весело?..

— Мне бы так хотелось, чтобы ты была теперь далеко, далеко... — сказала Ольга Александровна.

— А мне, знаешь, — Лена повертела головой, — совсем бы не хотелось.

— Бог знает что ты говоришь!.. Половины нашего города уже нет. Страшно об этом думать. Ах, Леночка, это ужасно, что ты не уехала!

— Мне надо сказать тебе одну вещь, — начала Лена. — Ты только не волнуйся.

Ольга Александровна жалобно на нее посмотрела:

— Мы все собирались в Ташкент. И вот как получилось... Я, конечно, виновата, что не отправила тебя раньше.

— Ничего ты не виновата, — сказала Лена. — И знаешь, ты только не пугайся! Я рада, что не уехала. Правда рада.

— Рада?.. Ты говоришь ужасные вещи.

Лена обогнула стол и подошла к тетке с таким видом, точно собралась открыть ей приятный секрет... На столе колыхнулось пламя свечей, и легчайшие тени заматались по скатерти, по стеклу книжных шкафов, по гипсовым бюстам античных философов, что смутно белели на шкафах под потолком.

— Самое ужасное я еще не сказала... — Лена опять засмеялась. — Мне нужен твой совет.

И ей действительно очень надо было поговорить с теткой, но не затем, чтобы получить совет — это, по правде говоря, имело второстепенное значение, — а чтобы исповедаться и, таким образом, сделать ее как бы своим сообщником. Лене не требовалось уже ни «да», ни «нет» — все самое важное в ее жизни определилось, казалось ей, окончательно, с полной ясностью. Но носить в себе одной это сознание окончательности — может быть, даже роковое — было невыносимо трудно. Да и кто еще, кроме старой тетки, имел право первой узнать обо всем, что с нею произошло! Кто еще был так понятлив и уступчив?!

Тетке предстояло услышать и о том, что она, Лена, никуда не поедет, ни в какой Ташкент, а пойдет туда же, куда уходят Федерико и его друзья, и будет делать все то же, что будут делать они, пани

Ирена и девушка-сандружинница. Уж если эта ополченка, по виду совсем школьница, не побоялась войны, то ей, Лене, стыдно бояться, и она, конечно же, поборет в себе самый большой страх — страх перед чужим страданием. А еще — и не «во-вторых», а «во-первых» — тетка должна была быть посвящена в то поразительное, чрезвычайной важности событие, которое переживала Лена.

Утром, когда она и Федерико прощались на городской площади, она лишь догадывалась об этом приближении необычайного. Но позднее, во время бомбежки, когда ушедший было куда-то Федерико вернулся невредимым и тоже спустился в подвал, где все сидели, облегчение, которое она почувствовала, точно открыло ей глаза: необычайное совершилось. Еще позднее, когда все, спасаясь от танковых пушек, перешли из дома в сад и Федерико то исчезал со своей полуавтоматической винтовкой, то появлялся и что-то докладывал Сергею Алексеевичу, а встречаясь с нею глазами, улыбался и кивал ей, она призналась себе в том же самом, в чем признавались, как она помнила, и Наташа Ростова, и Вера из «Обрыва», и Елена из «Накануне»... Эти пришедшие ей на память образы не говорили о книжности ее переживания — Лена была вполне искренней. Но все, что случалось с нею когда-либо, проходило как бы проверку сравнением с образами поэзии. А сейчас ее жизнь и поэзия, казалось ей, переплелись. И Лена, истинная, по душе и по таланту, актриса, испытывала нечто подобное творческому удовлетворению. «Я люблю, люблю Федерико!» — подмывало ее разгласить на весь мир.

— Ну, что с тобой?.. Что замолчала? — спросила Ольга Александровна.

И неожиданно для самой Лены у нее вместо того, чтобы сказать о Федерико, вырвалось:

— Я очень, очень люблю тебя, тетя Оля!

Она легко опустила на корточки и положила руки тетке на колени.

— Ты все-таки у-ди-ви-тель-ная,— проговорила она по слогам.— Ты невозможно добрая! Я тебя ужасно люблю.

— Вот так неожиданное признание!

Ольгу Александровну и в самом деле удивил этот взрыв нежности, она считала племянницу натурой скорее эгоистической, слишком занятой собой, чтобы хватало еще внимания на других. Такое, вероятно, было свойственно всем артистическим натурам, оправдывала она Лену, и не только оправдывала, но и любовалась своей одаренной племянницей, принимавшей как что-то естественное всю нежность и все заботы, к которым она привыкла.

— Почему? Почему неожиданное?! — запротестовала Лена.— Я тебя всегда ужасно любила. Я просто не представляла себе, как я могу без тебя!

— А, ну да... ну, это другое дело,— мягко сказала Ольга Александровна.

— И почему я называю тебя тетей? Тетя Оля, тетя Оля!.. Ты всегда была моей мамой... Ты мама Оля!

Ольга Александровна промолчала — не очень понятная грусть овладела ею при этих словах. Лена щекой легла на ее колени и закрыла глаза. От платья тетки все еще исходил земляной, картофельный запах подвала — все пропитались этим запахом, пока сидели там,— и в безотчетном порыве Лена прижалась теснее и обняла колени тетки.

— Ты невозможно добрая, моя мама! — сказала она.— Мне тебя ужасно жалко!

— Это все, что ты хотела мне сказать? — Ольга Александровна качнула неопределенно головой.

— Не все, конечно... И ты прости меня, заранее прости,— с силой сказала Лена.— Мне так жалко тебя и всех — тетю Машу, Настю, дядю Сережу!...

— Ну, ну, полно... ничего...— Тетка провела рукой по ее разбросавшимся спутанным волосам.

— А раненые! Господи, господа! А этот больной Гриша — кашляет так ужасно! Хрипит! Мне даже этих интендантов стало жалко. Появились вечером, такие мокрые, грязные... Их малютка командир совсем озяб, посинел, как синичка.

Лена была очень счастливой сейчас, словно бы очень богатой, и она совестилась этого своего богатства.

— Я тебе скажу одну вещь,— заговорила неуверенно Ольга Александровна.— Я должна была, вероятно, раньше сказать, но все откладывала. А теперь нельзя уже... Мало ли что может случиться...

— О чем, что? — Лена подняла голову.

— Я боялась, ты слишком огорчишься, если выяснится, что все ошибка или что нас обманули... Ну, а больше откладывать, пожалуй, нельзя.

— Безумно интересно...— сказала Лена.

Ольга Александровна положила руки ей на плечи и нажала сверху, удерживая ее на месте.

— Возможно, Леночка, что наш Митя...— она растягивала фразу,— возможно, что твой отец жив... Но тихо, тихо, не волнуйся.

— Безумно интересно...— повторила Лена.

— И хочется верить и боишься: вдруг это ошибка или что-нибудь еще... Я тебе сейчас расскажу. Однажды перед самой войной к нам пришел какой-то незнакомый товарищ...— Ольга Александровна все сильнее нажимала на плечи Лены.— Позвонил, я открыла, и он сразу — ни здравствуйте, ничего... Тише, Леночка, слушай! Сразу говорит: «Вы Ольга Александровна Синельникова? Привет вам от Дмитрия Александровича...»

— Но ведь отец...— проговорила Лена и осеклась.

— Да, да! Шестнадцать лет от твоего отца не было ни звука, мы уже давно потеряли всякую надежду, и вдруг!.. Человек этот ничего больше на все наши расспросы не сказал, только спросил о тебе, тебя не было дома. Через пять минут он ушел.. Только сказал, когда уходил: «Ждите всего самого хорошего».

— Ой, тетя!..— воскликнула Лена.— А какой он был, этот человек?

— Самый обыкновенный, средних лет, в клетчатой кепке. Малоинтеллигентный, знаешь... если судить по его речи. Он был с дороги, весь в пыли... Я пригласила его остаться, отдохнуть — он не остался... Мы с Машей были потрясены.

Ольга Александровна сняла руки с плеч Лены, и Лена тут же поднялась.

— У меня есть отец,— проговорила она медленно.— Но это чудо!

— Чудо, да.— Ольга Александровна задохнулась и помолчала.— Если только...

— Но что может быть? — горячо сказала Лена.— Зачем этому человеку было выдумывать? И откуда он знал про нас, про меня?

— Мы тоже так думали,— сказала Ольга Александровна.— Мы терялись в догадках.

— Нет, это ясно! — воскликнула с уверенностью Лена.— У меня появился отец!

— Еще не появился.. Ах, Леночка, все так неясно...

— Но если он жив — значит, появится. Это самое настоящее чудо! — сказала Лена.

Она побледнела, глаза ее раскрылись шире... В эту минуту, как веяние горячего ветра, она опять почувствовала присутствие необычайного, вмешавшегося в ее судьбу. Только что оно одарило ее любовью — первой и такой большой, сейчас оно вернуло ей отца и одарило тайной. Поэзия ее жизни становилась поистине драматической... Ощущая воздушную, тревожно-сладкую легкость в теле, как перед выходом на сцену, Лена выпрямилась, откинула голову, полно вздохнула. И вошедшая в эту минуту пани Ирена, взглянув на нее, восхитилась и сказала:

— Мой ангелок!..

Пани Ирена пришла помочь собрать ужин. А следом за нею в библиотеку, энергично топая, вошел маленький техник-интендант с двумя бутылками коньяка: ввиду исключительных обстоятельств Вретенников посягнул на добытый им для комдива напиток. И важный разговор Лены с теткой прервался...

2

Библиотека стала наполняться людьми; пришли все, кого сосчитала Ольга Александровна: погорельцы, интенданты, поляки, женщины из Спасского, Сергей Алексеевич и с ним военком, двое бойцов-пулеметчиков. Были приглашены к столу и не попавшие в предварительный подсчет двое пограничников, тянувшие линию связи, затем какой-то случайно позвонивший на крыльце сержант-артиллерист из ополчения, еще какой-то красноармеец, тоже искавший свою часть... За занавешенными окнами стояла осенняя, непогожая военная ночь, и невдалеке плавали размытые огни неприятельских ракет — неизвестность, ненастье, мрак и смерть обступили этот старый дом. А в доме были не заперты двери, можно было войти, не позвонив, было упоительно тепло, сухо, и можно было скинуть намокшую как губка шинель. Здесь исходил на столе паром самовар, а еда подавалась не в консервных, иззубренных ножами банках, а на тарелках, честь честью, и хозяйка даже улыбалась поздним гостям. А те, присмиревшие в этом блаженном тепле, стеснительно усаживались перед угощением, пряча под стульями ноги в чавкающих сапогах... Живое пламя свечей, горевших на столе, многократно отражалось в дверцах застекленных шкафов, отчего стены будто отодвинулись куда-то в пространство. И уходящие в зеркальную глубину эти умноженные повторением огоньки показались Лене цепочками созвездий. Голодные люди ели много, сосредоточенно, брали хлеб руками, черными от пороховой гари, — и небесные звезды светили им.

Попозднее пришел командир ополченского батальона, старший лейтенант, со своим ординарцем. И Лена по первому впечатлению подумала, что старший лейтенант пьян, — так бессмысленно странно он улыбался, глядя на стол, застланный белой скатертью, заставленный фарфором и хрусталем; к еде он, не в пример другим, почти не притронулся, но выпил подряд несколько стаканов чая — пил и грел о стакан свои багрово-сизые, охолодевшие пальцы.

Пришел наконец и Федерико, сел напротив Лены, оглядел стол, благодарно ей кивнул и с решительным видом принялся за еду... С этого момента она, что бы ни делала, ни говорила, угощая гостей, все делала и говорила как бы для многочисленного зрителя. В ее голосе появилась особенная звучность, и, передавая соседу плетеную корзиночку с хлебом, она старалась делать это так, точно за нею неотрывно следили тысячи глаз.

— Леночка, пожалуйста, налей мне чаю,— попросила Мария Александровна.

Поставив перед нею чашку с чаем, Лена и ей улыбнулась своей лучшей улыбкой, приподняв брови, чуть приоткрыв губы, точно и слепая тетка могла эту улыбку оценить.

Мария Александровна сидела с безмятежным выражением своего кукольного личика и с крайним, чрезвычайным напряжением вслушивалась в разговоры: она силилась лучше понять, что же это такое — бой? Бой, который ведут зрячие люди? В ее ушах весь этот длинный день мучительно гремело, лязгало, визжало, лопалось, ревели то, что грозило гибелью всем, кого она любила, и никогда еще она не сознавала себя такой бессильной и ненужной, как в этот день! Порой до ее слуха из мира зрячих доходили страшные, воющие звуки, отдаленно похожие на человеческие голоса,— вероятно, это выло само безумие. И Мария Александровна, сидя в погребе, протягивала руки и шарила вокруг себя, чтобы удостовериться, что они еще живы — сестра Оля, Лена, Настя...

От детских лет у Марии Александровны сохранились лишь полустертые воспоминания о видимом мире, о солнце, о небе, о деревьях, и то, что сохранилось, приняло с годами фантастический характер: деревья и дома стали намного выше в ее представлении, двор расширился, улица, по которой приходилось ступать с осторожностью, ужасно удлинилась. И Мария Александровна позабыла уже, как зеленый цвет отличается от голубого. Теперь ее мир был миром звуков, запахов и той особой памяти о предметах, которая жила в кончиках ее пальцев, а изошренным слухом она улавливала теперь и то, чего никогда не слышали зрячие. Сергей Алексеевич Самосуд говорил, что ей, как пушкинскому Пророку, внятен «и горний ангелов полет... и дольней лозы прозябанье». — он не так уж сильно преувеличивал. Ее звучащий многоголосый мир, подобный некоему гигантскому оркестру, был необыкновенно сложен, но она различала в нем каждый голос и каждый инструмент. Постепенно Мария Александровна стала все видеть в звуках: природу, вещи, животных, людей и даже то, что для зрячих вообще не звучало.

Так, Федерико с его громкой речью, с твердой походкой, от которой стонали половицы в доме, представлялся Марии Александровне чем-то вроде резкого автомобильного сигнала в ночной тишине. А поляк Осенка, другой их нынешний постоялец, учтивый, сдержанный, с ровным голосом, был похож на приятный звук духового инструмента, скорее всего кларнета. Интендантский командир, вновь появившийся у них в доме, бойко пощелкивал и прыгал, как бильярдный шарик. А один из солдат его команды, с которым Марии Александровне случилось однажды вечером беседовать, напомнил ей бамбуковую тросточку, оставшуюся от покойного отца, — тросточка была с трещиной и тонко, по-комариному звенела, когда ею помахивали. Словом, звуки были симпатичные и несимпатичные, ласковые и сердитые, спокойные и тревожные. Сергей Алексеевич Самосуд звучал подобно контрабасу — низко, гулко и мелодично, хотя голос его и потрескивал. Дело в том, что один лишь голос не характеризовал еще его обладателя, — голос человека не всегда совпадал с его «звуком». Мария Александровна и сейчас с удовольствием услышала контрабас своего давнего друга: Сергей Алексеевич, как всегда, старался поддерживать хорошее настроение. И когда с мягким шорохом войлочных туфель вошла Настя и в библиотеке распространился теплый запах вареного картофеля, Сергей Алексеевич проговорил: «Ах, картошка, объеденье, пионеров идеал!..» — и постучал по столу ладонью, призывая всех оказать картошке внимание... Это было просто поразитель-

тельно: Сергей Алексеевич в любых обстоятельствах оставался самим собой — уверенным в себе насмешником. И его насмешка была, по-видимому, нужна людям: интендантский шофер с птичьей фамилией Кулик сипло расхохотался, и звонко, будто посыпались стеклянны бусы, засмеялась Лена.

— Тот не знает наслажденья, кто картошки не едал, — ответила она через стол Сергею Алексеевичу.

На некоторое время разговоры утихли — гости занялись картошкой: позванивали по тарелкам вилки, стукнула солонка, кто-то с присвистом дул на горячую картофелину. Мария Александровна напряженно вникала и в эти звуки. Как бы там ни было, а за одним столом с нею угощались люди, вышедшие из того оглушительного ада, который назывался боем. И, полная изумления и благодарности, она тщилась лучше рассмотреть этих людей, рассмотреть так, как только и было ей доступно, — слухом.

И еще один звук дошел до ее ушей, совсем посторонний, не принадлежавший ни к тому, что происходило за столом, ни к шуму непогоды за стенами — хлюпанью, журчанию, плеску, постукиванию веток в окно. Новый звук возник в самом доме и сразу выделился из всех других домашних звуков: это были осторожные, глухие шаги над потолком, они удалялись и возвращались — человек что-то искал на чердаке или что-то устраивал. И Мария Александровна удивилась: все, кто мог бы ходить там — сестра, племянница, Настя, — сидели сейчас здесь, в библиотеке... Но ее недоумение тотчас же и забылось: несравненно более тревожное незнание мучило Марию Александровну.

У гостей, после того как был утолен первый голод, разговор пошел живее. Однако ответа на свои главные вопросы: что будет со всеми завтра, отступится ли это ужасное чудовище — бой от их города? есть ли еще надежда на спасение? — Мария Александровна все не слышала. Люди из боя как бы уклонялись в своих разговорах от определенного ответа... Застуженными голосами они нахваливали угощение, благодарили хозяев, а между собой разговаривали так, словно их и не очень интересовало это завтра. Порой Марию Александровну даже ставила в тупик обыденность их слов, раздававшихся в ее вечной плотной — ни щелки, ни лучика — тьме; слова были такие:

— Интересно мне знать, что моя старуха сейчас? Спит уже, наверно...

— Отсыпь, браток, на заvertку. Соскучился я по куреву — страсть!

— Ох, славяне, до чего ж я о бане мечтаю!

— Ну, поел я, отогрелся... Картошка сахарная, точно.

— Сказано тебе: пионеров идеал.

— А книг тут у них много. За всю жизнь не перечитаешь...

И сердце у Марии Александровны испуганно заколотилось, когда на противоположном конце стола раздался чей-то крикливый голос:

— Ничего... Поляжем и не прочитамши.

Боец, вспоминая о жене, рассмеялся глухим смехом.

— Для пули образование ничего не значит, это ты угадал, — отозвался он.

Но вот кто-то рядом, молчавший до сих пор, вдруг, точно очнувшись, выкрикнул:

— До чего ж они в огне смердят! Я про танки. Меня дымом от одного накрыло...

— Три их сожгли ополченцы, — сказал боец, мечтавший о бане. — Орлы все-таки.

— Два..— поправил боец с крикливым голосом.

— Я лично свою трехлинеечку лучше уважаю,— сказал кто-то еще.— А эта самозарядная образца сорокового года чересчур ухода требует.

Будто искры от невидимого костра, проносились в черной, слепой ночи Марии Александровны эти случайные фразы и гасли, исчезая раньше, чем она успевала что-либо понять в их летучем свете. Более добрым показалось ей то, что интендантский командир, этот бойкий молодой человек-шарик, рассказывал Сергею Алексеевичу. Работа на реке сильно подвинулась, по его словам, и завтра примерно к полудню сожженный мост должен быть восстановлен.

— Завтра будем всех переправлять,— своим легким тенорком пообещал этот командир.— Эвакуируем госпиталь, а также местное непризывное население — женщин, ребятишек. Немецкой авиации при данной погоде можно не опасаться.

— Приложите все усилия, чтобы начать переправу утром,— сказал Сергей Алексеевич и добавил: — Я, кажется, недооценил вас, товарищи фуражиры.

Вскоре он поднялся, сказал: «Спасибо, дорогие дамы!» — и куда-то пошел вместе с командиром, который пил много чаю.

Заскребли по полу отодвигаемые стулья — гости начали расходиться. Встала Лена, за нею Федерико, и внимание Марии Александровны перенеслось на этих молодых людей. Разговаривали они на французском языке, которого она не знала, но тем не менее их разговор ей не понравился. Лена в ее звуковом мире была хрупкой пикколо — наименьшим по величине и самым высоким по звучанию музыкальным инструментом. И диалог Лены и Федерико показался Марии Александровне диалогом пикколо — крохотной флейты — с автомобильным сигналом. Флейта чисто и звонко, невыносимо звонко о чем-то просила, а автомобильный гудок хрипло рявкал и похохатывал, как только и может, вероятно, похохатывать гудок.

Лена и Федерико перешли из библиотеки в зальце, и кто-то из оставшихся еще за столом проговорил с тоской в голосе:

— Колосок пшеничный!

Конечно, это относилось к Лене — к кому же еще? не к Федерико же. Потом, обращаясь к Ольге Александровне, тот же печальный голос словно бы попросил:

— Уходить вам надо, хозяйюшка! Вы же на самой передовой...

И тут Мария Александровна услышала то, чего так боялась: боец, мечтавший о бане, объявил с непонятной дерзкой веселостью:

— Завтра фриц обязательно опять ползет — это как дважды два. Будь готов, Иван Петров!

— Наш Коляскин уже готов,— отозвался крикливый голос на противоположном конце стола.— На моих глазах его — весь живот разверотило. Бояджан тоже готов, Скворцов готов, младший сержант.

Кто-то переспросил:

— Скворцов? Мы же с одного района.

Наступила короткая тишина... И Мария Александровна опять уловила шаги на чердаке: медленные, мягкие. Можно было подумать, что там бродит кошка, если бы в этих шагах не чувствовалось тяжести. Но кто он был, этот человек, и как он туда попал?

Сестра Оля пошла провожать гостей, а Настя принялась убирать со стола; с дребезжащим звоном падали в миску ножи и вилки. И под этот аккомпанемент раздался голос интендантского шофера с птичьей фамилией.

— Настя,— позвал Кулик,— не узнаешь, что ли?

После долгого молчания та отозвалась:

— Тоже воевали сегодня? Что у вас с рукой? В крови вся..
— Бревном садануло... Мы на мосту были, на переправе,— ответил Кулик.— Да чего там!.. Ты-то как?
— А так... Веселилась до упаду.
— Настя!..— с виноватой интонацией вновь позвал он.
— Скоро двадцать два года как Настя,— сказала она.
— А я об тебе весь день думал.— Он утишил голос до шепота.— Не веришь?

И опять наступило молчание, только звякали тарелки в руках Насти.

— Обмыть надо руку и завязать,— сказала она.— Пойдемте, я вам завяжу.

Она пошла с тарелками, и Кулик потопал за нею.

Мария Александровна тоже вышла в зальце, а затем в коридор. По дому, где все вещи годами не меняли своих мест, она передвигалась совершенно свободно. Лены и Федерико ни в зальце, ни в коридоре уже не было, и она подумала, что следовало бы поискать племянницу. Но тут над ее головой, на чердаке, что-то упало и рассыпалось, словно разбилось. Кто-нибудь другой, может быть, и не расслышал бы этих слабых стуков — ее они не столько встревожили, сколько раззадорили. И Мария Александровна захотела выяснить наконец, кто же это так неловко хозяйничает наверху. А то, что взбираться наверх ей пришлось бы сейчас в полной темноте, не имело для нее, естественно, никакого значения. В сенях она услышала музыку, доносившуюся с чердака,— милую, старинную, хорошо знакомую ей мелодию, которую вызванивали колокольчики. И это привело ее в полное изумление.

(Окончание следует)



Н. ЗЛОТНИКОВ

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Вот снова по ночам светло,
Как и тогда на батарее,
И Леня Зюкин, не старея,
Все служит там годам назло.

Он трет бархоткою баян
И начинает так не сразу,
Ведет задумчивую фразу,
Тоской непрочной обуян.

Старинный вальс, заморский блюз...
Ночное солнце вполнакала
И черная вода канала,
Последний беломорский шлюз,

Дыханье затаив, со мной
В преддверье близкой непогоды,
Как будто голосу природы,
Внимают музыке ночной.

Чернеет во поле ботва.
А Зюкин голову склоняет
К мехам и ничего не знает,
Что будет через год и два.

Пока еще за окном
Не скрылся свет, играй, товарищ!
И мы с тобой — ты так играешь! —
Тебя слушаем вдвоем.

Играй, пусть входит в душу свет,
Пусть дышится легко баяну!
А слушать я не перестану —
И день пройдет и десять лет.

Играй, пока такие дни.
И — черные на белом — гуси
Летят так низко, и на шлюзе
Под утро гасят все огни.

* * *

Я слышал улетающей птицы пенье,
И легкий голос вился надо мной,
И легкое сверкало оперенье,
А взгляд таил и высоту и зной.

Прощальный круг да песню глуше стона
Все помню, хоть я многое забыл,
Двух серых молний блеск в канун сезона —
И женственных и трепетных двух крыл.

Летала птица, плакала и пела
Перед началом дальнего броска
В края чужие. Маленькое тело
Сжимала необъятная тоска!

Лети, лети и свой полет убыстри,
Хоть в жарких странах сердцу нет тепла.
Лети же поскорей, пока твой выстрел
Хранится слепо в глубине ствола!

Пускай в холодном небе целюдимо
И даже птицы нету ни одной,
Лети, живи! Душе необходимо
Тебя увидеть и узнать весной.

* * *

Душа железного моста
Полна и грохота и звона,
И перед ней мигает сонно
Во тьме зеленая звезда.
Монеткой, брошенной на дно
Балтийской ночи неглубокой,
Не утешеньем, но подмогой
Служить привычно ей давно.
Не потому ль и я иду,
По гулкому мосту ступая,
На зов ее, пока слепая
Ночь покачнется на лету,
И резкий сумрачный рассвет
Передо мной откроет устье,
Такое близкое, что грусти
Не избежать. Но грусти нет.
Пусть мчит железная река,
Владеет пусть моей судьбою,
Возносит прямо над собою
Флажок короткого гудка,—
В другую сторону гляжу,
Не грохотом, а тишиною
Разбужен... Время предо мною
Рекою с темною волною
К морскому катит рубежу.



МАРИЭТТА ШАГИНЯН

★

ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ*

Воспоминания

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ДОМ ФЕРРАРИ

8

Письмо Новоселова, принесшее ужас и конфуз в первую минуту, имело и хорошую сторону — ушата холодной воды на голову. Оно — не сразу, правда, а через несколько часов — принесло мне суровое отрезвление. Оставшись совсем одна в нашей каютке, где мы уже начали укладываться, чтоб ехать на каникулы к матери, я уселась на кровати и решила разложить себя самое по кусочкам — что я такое, с чем сейчас могу прийти, скажем, к смерти или к экзамену, к суду над собой; что движет моими поступками — и, главное, почему, при всей способности обдумывать, исследовать книги, людей, прошлое, я сама веду себя совершенно импульсивно, вне разума, и поступки мои — необдуманны? Это был очень сложный и безжалостный экзамен, шедший сперва от легкого, внешнего, фактического все глубже, в самую серединку разрезаемого «нутра»

Внешне, фактически, — в конце 1908 и первую половину 1909 года, — сплелось у меня множество отношений и перипетий, и чтоб их все вынести, нужна была та удивительная протяженность времени в юности (его хватало на множество дел!) и та невероятная, бьющая из меня просто гидравлически, не подавляемая никакой усталостью энергия, которой с избытком не только на все хватало, но даже как-то перехватывало, перехлестывало, совершенно не впуская усталость в душу. Если собрать воедино все нити, то за это время, хоть и с пропусками, шла моя учеба на Высших курсах; образовался там свой круг тем, нашелся умный многолетний руководитель, профессор Николай Дмитриевич Виноградов. Он был последователем философа Давида Юма, но куда шире, толерантней, объемней обычных юмистов. Я слушала на курсах логику и психологию Челпанова, посещала семинары Густава Густавовича Шпета, Николая Ивановича Радцига. Вообще вела довольно нормальную студенческую жизнь. Такой была первая ниточка. В то рую тянула необходимость за-работка. Мы давали с сестрой уроки, я брала переписку (переписывала от руки), а кроме того, писала множество статей в ростовскую газету «Приазовский край», одним из директоров которой был мой дядя. Третьей ниточкой сделалось очень много времени берущее

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир», 1971, № 4; 1972, №№ 1, 2; №№ 4, 5, с. г.

взаимоотношение с Новоселовым и его кружком. Четвертой — участвовавшая переписка с Зинаидой Гиппиус, звавшей меня переехать в Петербург. Пятая была — посещение «вторников» Литературно-художественного кружка, знакомство и дружба с Ходасевичем; и вытянувшаяся из этой пятой, очень важная, очень много сил и сердца отнявшая, много творческой энергии потребовавшая шестая нить: кратковременный — павший на конец декабря — роман в письмах с Борисом Николаевичем Бугаевым (Андреем Белым), перешедший впоследствии в дружбу.

На каждое из этих внешних событий можно было отдать годы жизни и всю свою энергию, а я ухитрялась изживать их все вместе за короткое время, в возрасте двадцати и только-только исполнившегося двадцать первого года жизни. И каждому отдавала чуть ли не всю свою душу. В последней подглавке я расскажу подробно об отношении с Андреем Белым. Оно, как и все предыдущее, не осталось изолированным, его связала с остальными и общность людей, участвовавших в ходе моей жизни, и религиозная тема, и тот простой факт, что все они знали друг о друге и о том, что происходит во мне, потому что я этим делилась в письмах, беседах, сомнениях и планах, изживавшихся нами сообща. Стоило, например, моей переписке с Гиппиус дойти до поворотной точки, когда нужно было или ехать, или не ехать в Петербург, как группа Новоселова тотчас же прислала мне советчика, Павла Флоренского. Пришел в гости сухощавый, невысокий, неприятный человек с армянским носом (наполовину армянин, родом из закавказского городка Евлаха), с жестко-обтянутыми скулами аскета, но с полными губами, складывающимися в кривую усмешку, смотревший не прямо в глаза, а как бы из вежливости или невежливости в сторону от вас. Начал разговор прямо: известно ли вам?.. знаю ли, куда, к кому собралась ехать?.. «не секрет для читающей публики, что Зинаида Гиппиус — особа извращенной морали, опасная для молодых девушек». Тут он как-то заерзал на стуле, достал блокнотик, карандаш в серебряной оправе, написал что-то на листочке, оторвал его и, глядя совсем в сторону, с кривой усмешкой протянул мне. На листочке стояло только одно слово, греческое. Этого слова и его смысла я вовсе не знала. И совсем не знала, что ему ответить. А он загробным голосом изрек «подумайте!» и удалился с той же кривой поспешностью, с какой пришел... Вопрос моего личного, моего духовного выбора — ехать или не ехать в Петербург — стал в группе Новоселова как будто уже не моим, а общим.

Таков был фактический фон сложных нитей и переплетений, в которых я очутилась. Но за фактическим фоном нужно было понять для себя более глубокую вещь. Случайны ли ниточки, запутавшие меня, как стреноженную лошадь? Не сложились ли все они просто потому, что я ничему не противилась и хваталась от молодой жадности за каждую встречу, нужную и ненужную, вроде той самой безрассудной птицы, которая в детской прибаутке «скачет весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего никаких последствий»? Я оскорбила бы себя и свой духовный мир, если б это было так. Нет, во всей сложности, выпавшей мне на долю, ничего случайного не было. Сейчас я вижу это с ясностью историка, объективно. А в те дни я переживала всю совокупность своих «ниточек» как судьбу, как нечто, данное мне, подобно сказочному витязю на перепутье трех дорог, на выбор для всей последующей жизни: налево, направо, прямо. И может быть — испробовать каждый путь для акта познания и проверки, чтоб выбор не стал слепым, а зрячим.

Время, о котором я сейчас вспоминаю, было от меня и от тех, с кем приходилось общаться, сокрыто искусственными кулисами того

небольшого круга или части общества, где мы находились. Если взять кружок Новоселова, то там были интересные люди. Тот же Флоренский — вне своей миссии «вразумить меня» — был талантливейшим математиком и в первые годы революции даже притянут в числе других крупных специалистов к работе над планом ГОЭЛРО. Мешковатый и молчаливый Кожевников подарил мне два тома «Философии общего дела» Федорова, где были удивительные статьи, близкие к тому, что мы сейчас знаем о Циолковском, статьи, далеко глядящие вперед: о засорении природы, о необходимости спасти леса, воду и воздух, о губительном влиянии войн не только на психику, но и на климат, на метеорологию, на флору и фауну; и еще много такого (среди шелухи наивностей), сверкавшего чистой мыслью на человеческую пользу. По ночам и между лекциями я увлекалась этим чтением. И еще был в окружении Новоселова, среди философов Волжского и далекого (не то под арестом, не то в ссылке, но необыкновенно почитаемого) Николая Бердяева, еще один, удивительно милый и мягкий человек, Сергей Николаевич Булгаков. К Булгакову, к его мимозовой какой-то недотрагиваемости, травмируемости, когда возникал спор о религии, я питала слабость. Он казался мне умнее и тоньше всех остальных в этой группе, которую наш старый друг, студент Амиров, постепенно становившийся крепколобым меньшевиком, постоянно звал «клубом ренегатов».

Еще до того, как затеять свой самоанализ, я кинулась за советом и помощью именно к Булгакову. Бог весть что было в моем взбудораженном письме к нему — скачок в необдуманность, и как быть, и — самое главное: чем больше погружаюсь в догмы, в изучение восточной церкви, тем больше теряю самое главное, что привлекло меня к религии, к мысли о церкви, — теряю любовное чувство самоотдачи народу, желанье борьбы за лучшее будущее для него, ту расширяющую теплоту, то громадное, устойчивое счастье, которое дается в любви к ближнему своему, в любви к массе народной. Я писала искренно, покаянно, отчаянно, с мольбой о помощи. И пришел, правда не сразу, длинный ответ. Я помещаю его здесь (правда, с небольшими купюрами), как и вообще часто прибегаю к письмам из моего огромного архива тех лет, потому что дело идет об исторических людях, и ценна для понимания той очень важной эпохи в жизни русской интеллигенции, о которой идет сейчас речь, каждая черточка, любой штришок, добавляющий что-то к портрету живого лица. Бывший марксист, Сергей Николаевич Булгаков как-то сказал мне в беседе: «А вы никогда не увлекались «Капиталом» Маркса? Я прошел через это, там многое способно увлечь». О «Капитале» Маркса я ровно ничего не знала, кроме высокомерной фразы студента Амирова, что «все вы, жалкие интеллигентшишки, живете на прибавочную ценность». Так вот этот самый Булгаков, ренегат, перешедший из марксизма в православие, Булгаков, с которым в числе прочих уничтожающе полемизировал Ленин, писал мне в своем длинном письме:

«Кореиз, 28 июня, 09.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Ваше — такое милое, хотя и такое грустное письмо я получил в такое время, когда по обстоятельству чисто личным, но, как чаще всего бывает, наиболее могучим (и очень простым — серьезная и тяжелая болезнь ребенка), я не мог найти духовного сосуга, чтобы сосредоточиться и написать Вам. Но много и нежно думал о Вас, хотя... и ничего не придумал. Если бы я был около Вас, может быть, сумел бы пожалеть Вас и приласкать так, чтобы Вы почувствовали это, а на письме не умею. Я не умею вообще писать писем и не люблю класть на бумагу самых тонких и интимных чувств.

Над Вашей душой пронесся ураган, по-видимому первый, который смял ее нетро-

нутость. Откуда он и в чем, Вы и сами не можете разобрать, и я разбирать сейчас не стану. Я никогда (кроме, м. б., самого раннего детства) не имел такой чистой и нетронутой души, открытой Богу, как Вы, рано отравился атеизмом, и все мои кризисы носили существенно иной характер. Выражу Вам только свое полное и даже какое-то покойное неверие в то, что Вам этот кризис окажется непереносным, Вам трудно и тяжело, но Вы справитесь и найдете себя... Вы с гружеским полуупреком напоминаете мне мои слова, что «надо развиваться за свой счет». Ведь это же значило не то, что надо замыкаться от людей или не любить их, или подозревать, но что нельзя свою душу всецело вверять в человеческие руки,— в данном случае все равно, З. Н-ны или М. А-ча¹, а я тогда опасался, что Вы ее вверяете или вверили. Ведь у нас могут быть и неизбежно есть — очень крепкие личные привязанности, эти корни нашей жизни,— я только что испытал, как много моей души и жизни в улыбке и здоровье ребенка, можно иметь жену, друга, брата, мать, но это все не то, что мне, м. б., и неверно, почудилось и заставило беспокоиться за Вас. Из Вашего письма я все-таки не вполне улавливаю себе все, что с Вами за это время после моего отъезда произошло, но вижу, что в Вашей душе что-то сломлено и болит. Вы ищете причину и завиняете, б. м., и неверно, Вас окружающих (мне бы хотелось зоступить за М. А., но лучше воздержусь), и не только лиц, но и идеи, и «православие»... Но разве справедливо это, что Церковь так обесценивает жизнь, как это пишете Вы? Что все вопросы, все жизненные функции усложняются, теряют свою языческую непосредственность, что требовательность к себе повышается, это правда, но это принадлежность всякого более углубленного сознания, свет кладет и тени и, как я постоянно повторяю и себе, и другим, нельзя насильственно упрощать задачи... И, затем, надо, конечно, различать простоту и опрощение, высоко ценя первую, можно невысоко ценить вторую, и не принимаете ли Вы за простоту опрощение, которым может иногда, скорее в шутку или в парадоксии, пугнуть и Волжский, и М. Ал. Но Вы правы в том, что при особом лично-напряженном чувстве Бога, составляющем угол избранных и делающем их, если можно с такой грубостью выразиться, специалистами святости, внешний «мир» (т. е. и наука, и милая суета, и исполнительность житейская) обесценивается, но ведь это и радостно, и легко тогда... Ведь это путь Серафима, Франциска...

Впрочем, все Вы это и сами знаете, и я чувствую, что начинаю говорить прописями и апологией. Между тем важно в религиозной жизни не рассуждать, а найти в себе и носить этот родник гармонии, легкости, светлости... Если бы мне это дано было с такой простотой, как Вам, или по-своему и иному М. А-чу, то, вероятно, и раньше я мог бы оказать Вам и более реальную поддержку, но и во мне этого нет или бывает только моментами. Поэтому противоречия в душе Вашей я чувствую и понимаю, мне кажется, правильно, но потому, что некоторые из них не личного, а общего характера, ношу в себе, вынашиваю и не знаю, как выношу. Но знаю одно, не верхним, поверхностным слоем души (тем, где интеллект, научность, «новое религиозное сознание» и проч.), но самым глубоким, незыблемым и недоступным для зыбей, тем, где лежит уже изначальная детскость души моей, как она вышла от Бога, что Церковь в ней это абсолютная и неподвижная точка и в не ее и помимо нея нет пути ко Христу. Так это со мною. Это не догматика и не миссионерство, а опыт. И, кажется мне, эту точку я буду ощущать и на нея опираться в страшный час смерти-рождения... Когда я начал писать, и не думал, что заговорю об этом, но раз вылилось, пусть останется, иначе у меня будет чувство, что я не сказал Вам чего-то важного и нужного, что должен был сказать. А во втором и вышних этажах и наука, и милая суета жизни, и ее пестрый водоворот.

Прощайте пока, дорогая Маризтта Сергеевна! Пронеси Бог эту душевную бурю и возврати Вам прежний свет, ясность и радость, даже хотя бы не скоро! Я же очень крепко на это надеюсь.

Я вообще плохо, лениво и коротко пишу письма, но Вы все-таки не считайтесь и время от времени оповещайте о себе.

Сердечно Ваш С. Булгаков».

¹ С. Н. Булгаков имеет в виду Зинаиду Николаевну Гиппиус и Михаила Александровича Новоселова.

Уж не помню, это ли письмо эмоционально наиболее близкого мне человека из группы Новоселова укрепило мое неожиданное отрезвление. Оно, во всяком случае, заставило задуматься. Понимание «церкви» как единственного пути, которым можно прийти к Христу! Фраза, надолго осветившая для меня почти два тысячелетия, в течение которых складывалась и каменела церковь, начавшаяся — ведь этого топором не вырубешь — с ренегатства. Апостол Петр, ставший тем «камнем», на котором она заложена, не трижды ли перед этим отрекся от Христа? И вот ренегатство, предательство взяло себе монополию на того, от кого оно трижды отреклось. Монополию, догмат собственности, незыблемое право: прийти ко Христу — понять и принять его — можно только через церковь. А секты рвались к самостоятельному пониманию Евангелия, рвались из церкви...

— А ты ни с того ни с сего рвешься туда, где окончательно убьют лучшие твои качества, самостоятельность мысли и чувства, — закончила Лина разговор, начатый нами вечером...

На некоторое время мои мысли заняло понятие «ренегатства». В нем был политический и моральный смысл, оно затрагивало сразу две главные силы в человеке — убеждение и веру. С ним соседствовало «предательство», тоже очень страшное слово. Все эти люди, группа Новоселова, с которыми я против воли сдружилась, — все они были отреченцами, Бердяев от марксизма перешел в православие, Булгаков от марксизма перешел в идеализм, а оттуда в православную церковь, Флоренский — блестящий математик — из «чистой науки» в церковную догматику. Почему? Что их влекло? Чем они стали заниматься, бросив свою прежнюю деятельность? Если перечитать все цитаты из восточных «Отцов церкви», присланные мне Новоселовым (а сводились все они, в сущности, к Исааку Сириянину с его «смердным морем» жизни и «гребцами страха», самого гнусного состоянья души человеческой, страха, принявшего не подобающий ему эпитет, — страха божьего), то занимались новоселовцы спасением своей души.

Я стала серьезно исследовать эту странную форму человеческой деятельности. Родился человек на свет и выбрал себе занятие: всю данную ему на короткий срок жизнь потратить на спасение своей души. Душа — что это такое? Заключена ли она в теле, как, скажем, глист или бактерии в кишках, или она выражает собой тело, оживает, олицетворяет его потребности в еде, питье, сне, движении, работе, отдыхе, любви, привязанности, заботе о дорогих ему близких и себе подобных? Душа — не связана ли она чувством с волей, с характером, с мыслями, с опытом, с пониманием о добре и зле, о полезном и вредном, о правдивом и лживом, с тем живым комочком внутри человека, так прочно связанным с биением его сердца, — с совестью? Совесть как суд над собой, как стимул вечной деятельности, вечного стремленья к истине. И тут я опять реально почувствовала, что «душа» отцов церкви Макария Египетского и Исаака Сириянина — это совсем не то. Их душа, спасая себя, должна глушить, доводить до минимума, опорочивать, превращать в грех все свои потребности, хотя бы на йоту превышающие копеечный минимум... да нет, что там минимум! Каждое движение воли или чувства может вести к греху, а грех — это гибель в смердном море. Значит, спасение души — бездействовать, убивать чувства и мысли за исключением «божественных». И опять же можно довести свою душу до автоматизма, до отказа от всяких мыслей. Новоселов советовал мне: «Лучшая гигиена души — ни о чем не думайте, ходите по дорожке и повторяйте про себя «Господи помилуй, Господи помилуй»... Вы увидите, как легко станет, какое бремя с плеч снимете!» Но стоит ли спасать пустое

место? Кому нужна такая пустопорожняя душа и для кого и чего она годится? Это как чайник, поставленный на огонь без воды,— развалится от жары, уронит свой носик в огонь, покоробится, искорежится — выбросить его в мусорное ведро.

Так я «аналитически» терзала себя, и читатель, должно быть, думает: какими странными пустяками занята была образованная студентка в 1908 году, может ли это быть? Я отвечу читателю.

Пусть он представит себе май в Лондоне в том же году — лучший месяц в этом городе дыма и тумана. Человек с родными чертами лица, любимый всеми трудящимися нашей планеты, самый лучший, самый великий сын человечества, сидит в круглом зале лондонского Ридинг-Рума, читает, читает, делает выписки. Он работает над книгой «Материализм и эмпириокритицизм». Сентябрь того же года: он пишет предисловие к той же книге. Октябрь того же года: он общается своей сестре, Анне Ильиничне, что закончил книгу, и просит дать ему конспиративный адрес для отправки ее в Россию. Ноябрь того же года: он посылает рукопись «Материализма и эмпириокритицизма» в Россию для ее легального издания... Так неужели же можно представить себе создание этого глубокого, важнейшего труда лишь потому только, что Богданов и Луначарский увлеклись «богостроительством» и «богоискательством»? Лишь для того только, чтоб остеречь двух-трех членов партии? Писателя Горького?

Был другой человек. Он жил в России, сидел в Ясной Поляне. К нему приезжал в гости пианист А. Б. Гольденвейзер, сохранивший в своем дневнике драгоценные мысли яснополянца. За шесть лет до вышеописанного, под датой 16 ноября 1902 года, Гольденвейзер записал:

«Лев Николаевич сказал:

— За шестьдесят лет моей сознательной жизни у нас в России, я говорю о так называемом образованном обществе, произошла удивительная перемена в отношении религиозных вопросов; религиозные убеждения как бы дифференцировались, это нехорошее слово, но я не знаю, как выразить иначе. В моей молодости были три или, вернее, четыре категории, на которые можно было разделить в этом отношении общество: первая — очень небольшая группа — люди очень религиозные, бывшие еще раньше масонами, иногда шедшие в монахи; вторая — процентов семьдесят — люди, исполнявшие по привычке церковные обряды, но в душе совершенно равнодушные к религиозным вопросам. Третья группа — люди неверующие, официально исполнявшие обряды в случае необходимости, и, наконец, четвертая — вольтерьянцы, люди неверующие и открыто, смело высказывающие свое неверие. Таких было мало, процента два-три. Теперь же не знаешь, где что встретишь. Рядом можно натолкнуться на самые разнообразные убеждения. За последнее время появились еще новые — декаденты православные, вроде Мережковского, Розанова. Очень многих привлекало к православию хомяковское определение православной церкви как собрания людей, соединенных любовью. Чего же, подумаешь, лучше? Но дело в том, что это произвольная подстановка одного понятия под другое. Почему именно православная церковь является таким соединенным любовью собранием людей? Скорее наоборот»².

Толстой заметил (и предчувствовал) не только подъем религиозности в «так называемом образованном обществе» — он увидел направленность этого чувства к православию. Но православие, новая одержимость «декадентов», еще до революции 1905 года, определи-

² А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М. Гослитиздат. 1959, стр. 122—123.

лось для него в какой-то связи с Хомяковым, то есть с открытой реакцией русской интеллигенции в сторону славянофильства, древней Руси, царя-батюшки — знаменитой троицы Самодержавия, Православия и Народности. А после революции религиозное движение расширилось, оно захватило верхушку рабочего класса, писателей, известных под именем декадентов, но захватило по-разному. Одних — с примесью допетровского национализма, лампадного православия, церкви как спасительницы душ, собирания, увода их в бездействие, в спасающую от греха пассивность при помощи «страха божия». Других — вневременно и внеисторично, с мистическим ощущением церкви как чего-то нематериального, «града господня», связующего души невидимой связью. Третьих — реально строящих у себя свою, домашнюю церковь с молитвами и причастием, церковь, желающую быть близкой с революцией, со «святым террором», новым походом крестоносцев на самодержавие, чему Гиппиус обучала в Париже своего ученика (названного так ею в письме ко мне), Бориса Савинкова. И еще всякое другое, и сексуальная, старческая болтовня В. Розанова, которую даже очень большие его поклонники не всегда могли вытерпеть не только на бумаге (он печатал просто невыносимые вещи), а и в личном с ним общении³. Вот какая мутная волна захлестывала часть интеллигенции в годы 1908—1910—1914,— и навстречу этой губительной волне, приучавшей к пассивности, к тому, что названо «опиумом для народа», что уводит человека от его простого общественного долга на земле, вставала резкая трезвость очередного труда Ленина, издавека, из-за границы, ясным взором пронизывавшего родную ему Россию. Не только Богдановы, Луначарские — почти вся интеллигенция, с зараженными пятнами на лице, с растущей заразой в различных кругах, в проявлениях общественной жизни, была видна и понятна ему, и он ковал орудие, замешивал лекарство не против двух-трех заболевших, но против большой заразной эпидемии.

А что он видел эту эпидемию — знали его соратники, знаем сейчас и мы, если внимательно читаем даты его трудов и выступлений. В Париже на редакционном совещании газеты «Пролетарий» 1 февраля 1909 года он требует от редакции открытого высказывания против «богостроительства» Луначарского, а 13 мая того же года помещает в ней статью «Об отношении рабочей партии к религии». Вторая фраза в этой статье, фраза-остережение, показывает, как глубоко и ясно представлял себе Ленин религиозную «эпидемию» в России:

«Интерес ко всему, что связано с религией, несомненно, охватил ныне широкие круги «общества» и проник в ряды интеллигенции, близкой к рабочему движению, а также в известные рабочие круги»...⁴.

Видел Ленин из своего далека не только растущую эпидемию религиозности, он видел и трагическую фигуру одинокого яснополянского старца, по-своему противостоявшего ей, и видел глубоко, не так, как мы, тогдашняя молодежь, а словно предчувствуя могучий конец Толстого, свершившийся через два года. Замечательно, что именно в 1908-м, за два года до Астапова, 11 сентября старого стиля, появилась и статья Ленина «Лев Толстой, как зеркало русской революции», в № 35 того же «Пролетария».

Почему я пишу: «не так, как мы, тогдашняя молодежь»? Каюсь,— я знала эту молодежь, и сама была живой ее частью,— мы не

³ В советской философской энциклопедии Розанов назван... философом.

⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 415. (Подчеркнуто мною.— М. Ш.)

видели, никак не могли видеть в упрямом и раздвоенном яснополянском старике «зеркало русской революции». Те, кто пишет историю литературы, почти сплошь передают ее со своего, сидячего, за столом, места. Они, например, мало или совсем не чувствуют атмосферу симпатий и антипатий, ска́лу критических оценок, скрытые за этими оценками общественные силы и, наконец, постоянно действующий в социальной жизни, но почти не принимаемый во внимание историками периодический закон общественной утомляемости. Страшно подводит этот закон не только добросовестных историков, но и художников, писателей, кинематографистов, драматургов. Один великий Шекспир, кажется, сумел отразить его в своем «Короле Лире».

Умирают великий поэт, огромный писатель, популярный актер, а для современников, потрясенных, конечно, этой смертью на минутку другую, живет в памяти их затянувшаяся перед смертью старость, их одряхлевшее за десятки лет тело, их помраченный ум, — или та обычная пауза, как было при жизни Пушкина, когда явление стало привычным, а гений... надоед публике затянувшимся бытием, которое кажется неподвижным, повторяющим себя.

Страшно это писать, но надо написать. Толстой своим «непротивлением злу», своим толстовством, всей ни во что не разрешающейся, затянувшейся яснополянской двойственностью убеждения и быта для части студенчества был уже до того привычным явлением, что начал «надоедать»; и мы, молодежь, за вычетом активных толстовцев почти уже социально не воспринимали его, а иногда и попросту не читывали в общей тогдашней панораме «современной русской литературы». И даже последний разрешающий — как ко́да и заключительное трезвучие в классической симфонии — акт этой великой жизни, уход немощного, истрадававшегося старца из Ясной Поляны в предрассветную ночь, в придвинувшуюся даль, вплоть до смертного часа на безвестной доколе железнодорожной станции, не оставил биение наших сердец настолько, чтоб почувствовать глубокий укол сознания.

Мы тогда ничего не знали, кроме газетных телеграмм и случайных разговоров через вторые и третьи руки. Все же одно мы должны были бы знать и понять, хотя бы только одно, напечатанное в газете: «Весь мир сейчас прикован к тому, что совершается в Астапове». Мы должны были понять через эту фразу, как тесно связано личное бытие человека с бытием миллионов других людей, населяющих землю. Миллионы жили, могли жить той же двойственностью сознания и быта, той же пропастью между велением своей совести и привычкой, цепями держащей тело в обратном этой совести направлении; миллионы жили или могли жить вот так — а он, один за всех, искупляя, разрешая, сводя к духовной гармонии разногласие и фальшивость жизни, за них за всех встал, взял посох и ушел от фальши в Астапово, разорвав стреножившие его пути двойственности. Мы, молодежь, должны бы именно тогда, в часы бодрствования на станции Астапово, пережить и понять это, но мы — я так хорошо помню свое окружение и себя в этот день — ничего этого не поняли, а пережили только горькую дату смерти — 7 ноября, по старому стилю, 1910 года — великого писателя Льва Толстого.

Я пережила Астапово по-настоящему только сейчас, перечтя для своей третьей книги «Воспоминаний» знакомую статью Ильича и передавав ее вместе с теми фактами шестидесятилетней давности, какие еще держатся в памяти. Перечла — и вдруг потянуло меня на Толстого, не того, кто создал «Войну и мир», «Анну Каренину», а старого Толстого, создателя «толстовства». Столько сейчас интереснейших книг его секретарей, врачей, друзей появилось в помощь ис-

следователю! Вышла великолепная работа Б. Мейлаха «Уход и смерть Льва Толстого» (Гослитгиздат. М.—Л. 1960). Опубликованы дневники Толстого, можно заглянуть в интимную духовную жизнь того, кто стал нашей «привычкой» шестьдесят лет назад, а сейчас как бы вновь открывается для познания. Уже взялись за перья и сами писатели, по-разному его увидевшие,— Виктор Шкловский, интересный молдавский писатель Друцэ... Жадно—еще потому жадно, что на больничной койке, болея несколько месяцев,—проглотила я сперва повесть Друцэ, в высоком музыкальном ключе написанную, потом Мейлаха; секретаря Толстого Булгакова; Гольденвейзера; и — наконец — «Дневники» самого Толстого, сухие дневники, лишённые литературного «мяса», но, как сказали бы современные технократы, сугубо информационные. И тут вдруг...

9

Сколько раз в жизни наскакивало у меня прошлое, казалось бы, давно пережитое, на сегодняшний и даже на завтрашний день! И есть ли у Времени эти вчера, сегодня, завтра? Не похоже ли само Время на человека: младенца, ребенка, юношу, взрослого, старца, совсем разных и во внешнем облике и во внутреннем содержанье, а ведь все одного и того же, всегда единственного, равного себе, единосущного, сколько ни считай по пальцам, все одного и того же человека!

Шестьдесят четыре года назад, как петух в меловом кругу замкнутая от мира влиянием Новоселова и новоселовскими цитатами из восточных «Отцов церкви», я совершенно ничего не знала и так и не успела узнать, кто же такой был сам Михаил Александрович Новоселов, откуда вышел, где пребывал, что испытал,—годами он был более чем вдвое старше меня. Спросить об этом у окружавших его людей — С. Н. Булгакова или Волжского, Кожевникова, Флоренского, о которых я сразу же узнала, чем они раньше были,—не то что не догадывалась — считала неловким. Так и прошло это наваждение Новоселовым — а он остался для меня «круглым лицом без черт», как страшный «безлицый» в «Земляничной поляне». И вдруг — спустя шестьдесят четыре года, когда началось мое чтение о Толстом,—Новоселов вышел из небытия, оказался лицом вполне историческим, с реальной биографией.

Внимательно читая Мейлаха, с карандашом в руке, я натолкнулась на две цитаты. Дважды — весомо и важно — упоминает Мейлах имя и фамилию Новоселова в связи с Толстым. Еще до моего появления на свет божий Новоселов студентом-филологом (1886) побывал в Ясной Поляне как самый рьяный толстовец. Неизвестно, с разрешения ли Толстого или без него — рассказ оставляет это под сомнением (в старых журналах: «Минувшие годы», 1908, № 9 и «Былое», 1918, № 9), Новоселов взял у Льва Николаевича рукопись «Николай Палкин», размножил ее на гектографе и стал распространять, за что и был арестован.

Итак, он начал с того, что сделался толстовцем, будучи еще студентом, позднее — уже учителем, и вдобавок толстовцем, отважившимся гектографировать антиправительственное сочинение. Дальше, правда, биография Новоселова несколько теряет в своем качестве. На сцене появляется его мать. Потрясенная арестом «Мишеньки», она кидается сперва к «властям предержажим», потом к Толстому с увереньями, что рукопись была гектографирована по указанию самого Льва Николаевича и с мольбой к последнему «поддержать ее слова». Толстой сперва обещал «поддержать», но потом сказал, что ничего не знает и размножать антиправительственные вещи не в его

принципах (отсюда и «сомнение», сопровождающее в печати всю эту историю...).

Значит, Новоселов был толстовцем, даже «пострадавшим» толстовцем, но, видимо, сильно испугавшимся ареста. А как сам Толстой относился к нему? В «Дневниках» Льва Николаевича имя Новоселова упоминается восемь раз: в томе 19-м, охватывающем годы 1847—1894, причем восьмой раз — в примечаниях; а в томе 20-м, завершающем, — лишь в списке имен⁵. Краткие упоминания говорят об изменяющемся отношении Толстого, сперва положительном, потом резко отрицательном. 7 декабря 1888 года Толстой настроен самокритично и сумрачно: заболел его сын Миша и ему совестно приглашать десятирублевых врачей, в то время как крестьянские дети мрут вокруг без всякой помощи. В этот день у Толстых много народу. Толстой записывает: «...Всё не уживаются люди: Джунковский с Хилковым, Чертков с Озмидовым и Залябовским, Спенглеры муж с женой, Марья Александровна с Чертковым, Новоселов с Первовым». Новоселов попадает в число неуживчивых. Через два года Лев Николаевич, чувствуя себя слабым, пишет (14 октября 1890 года): «Доброе письмо от Новоселова. Много надо ответить писем». Еще через год он опять болен, и опять, слабый от болезни, — «здоровье чуть держится», — он рад приезду Новоселова: «...Потом был Новоселов с Гастевым, тоже оба оставили очень приятное впечатление» (запись от 13 сентября 1891 года).

Наступает в России голод. Лев Николаевич с друзьями-толстовцами открывает в Бегичевке столовую, с ним работают и Новоселов с Гастевым. Толстой счастлив — спокойно в семье, он в мирных отношениях с Софьей Андреевной. Четвертая запись от 18—19 декабря 1891 года: «Здесь работа идет большая. Загорается и в других местах России. Хороших людей много... С нами Новоселов, Гастев...» Помощники Толстого работали на голоде в соседних деревнях и собирались в Бегичевку отчитываться по воскресеньям. Толстой так и называет их «воскресными». Восторженное состояние первых месяцев начинает у него проходить. 24 февраля 1892 года он записывает в дневник: «Здесь работы много и тяжести. Чем дальше жить, то мне труднее... Уехали сбравшиеся воскресные: Гастев, Алехин, Новоселов, Страхов...» В семье Толстого приверженных ему толстовцев звали «темными». Не все в Бегичевке протекало гладко, и не всегда «темные» были в полном согласии между собой. Уже через пять дней, 29 февраля, когда опять приехали «темные», Толстой записывает коротко: «Мне тяжело от них».

С Толстым на голоде работала В. М. Величкина, издавшая об этом книжку. Она рассказывает: «Среди сторонников учения Льва Николаевича и его близких учеников начинался тогда серьезный раскол. Одни продолжали оставаться на его точке зрения; другие, как Аркадий Алехин и Михаил Новоселов, уходили в мистицизм и возвращались в православие... Лев Николаевич волновался иногда и долго после повторял: «Ах, какой ужас... Так ведь один шаг только до настоящего поповства»⁶. Но они всё еще видятся. Новоселов продолжает приезжать в Ясную Поляну. Толстой записывает 26 мая 1892 года: «Тяже-

⁵ Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в 20-ти томах. М. «Художественная литература». 1965. Т. 19, стр. 346, 438, 465, 469, 471, 472, 511, 611 (примечание); т. 20, стр. 619, список имен.

⁶ Вера Величкина. В голодный год с Львом Толстым. М.—Л. 1928, стр. 93.

лое больше, чем когда-нибудь, отношение с теми и, с Алексиным, Новоселовым, Скороходовым. Ребячество и тщеславие христианства и мало искренности». Тщеславие христианства! Это относится у Толстого явным образом к церкви, к привкусу православия. А между тем Софья Андреевна радуется, что толстовцы возвращаются назад, к православию. Едва ли не самая характерная для отношений ее с мужем запись Толстого спустя два года, от 8 октября 1894: «...целый день и вечером она постаралась опять сделать мне радостным гонение. Целый день: то яблони украденные и острог бабе, то осуждения того, что мне дорого, то радость, что Новоселов перешел в православие...»

Эта запись так по-толстовски замаскированно-трагична, что ее надо расшифровать. День за днем Софья Андреевна колет его своими замечаниями. Для Толстого ее «гонение» — это испытание его нравственных сил, проба непротивленья злу, радость подставленья второй щеки: гони, мучай, коли иглами, — тем радостней переносить, перестрадывать, терпеть мученичество. Но как и чем она изводит мужа, в чем это гонение? В сознательном говорении невыносимых для Толстого вещей: баба украла (посадочные) яблони — я ее в острог засажу! — похвала тому, кто наносит сердечную боль Толстому, похвала и радованье на неприятность для мужа, утрату им преданного, казалось бы, ученика: слава богу, Новоселов вернулся на путь истинный, в православие!..

Знаю, что этот последовательный перечень утомителен для читателя, как страничка литературоведа. Но я должна его привести, потому что он, этот перечень, подводит к возможному факту уже из биографии не только Новоселова, но и Льва Толстого, факту, до сих пор как будто не замеченному. Б. Мейлах подробно рассказывает, как ушел перед смертью Толстой из Ясной Поляны, — ушел в жизнь, свободную от семейных пут. До ухода начал писать статью о социализме. После ухода, заехав к монахини-сестре, чтоб навестить ее, нашел у сестры статью В. Кожевникова, с которым я за год до этого общалась, живого и угрюмого члена кружка Новоселова. Толстой, думавший очень напряженно над темой взаимоотношения революции и религии и относившийся к социализму хотя и без особой симпатии и понимания, но с явным интересом, прочитал статью Кожевникова. Он думал, быть может, найти что-то новое в этой литературе, разрешение вопроса о справедливости, о создании лучшей жизни для народа, без того, чтоб прибегнуть к насилию, мало ли? И за неделю до своей смерти попросил доктора Маковицкого (сопровождавшего Толстого в этой последней поездке) написать «письмо Новоселову с просьбой прислать все издания его «Религиозно-философской библиотеки»⁷. Не знаю, успел ли Новоселов прислать умирающему Толстому все эти брошюры о Макарии Египетском, Исааке Сириянине, Филарете, Льве Тихомирове и иже с ними. Вряд ли, если только между Шамордином и Москвой не была к тому времени подготовлена курьерская связь. Какой тщеславной могла быть идея у Новоселова, если Маковицкий действительно написал ему, вернуть великого писателя Льва Толстого в «лоно матери-церкви!» По тогдашнему настроению Новоселова, это вознесло бы его среди православной паствы, в глазах митрополита, в глазах царя и самодержавия! Страшно читать у Мейлаха сведенья о том, как готовилась церковь помпезно инсценировать «раскаяние и примирение

⁷ Б. Мейлах. Уход и смерть Льва Толстого, стр. 286.

Толстого с православием»,— Новоселов мог играть в этой сорвавшейся инсценировке свою ползучую роль...

Сохранилась фотография⁸: Софья Андреевна, спиной к зрителю, припала к окошку железнодорожного домика в Астапове, вглядываясь через стекло в уже обеспамятовавшего, уходящего от всех «посягательств» и «гонений» старца. Эта уцелевшая фотография во всем ее трагическом смысле понятна и открыта простому глазу. За окном тот, кто ушел от несправедливой, несправедливой барской жизни, отказался от частной собственности, не допустил до себя в смертный час ни церкви, освящающей эту собственность, ни жены. А к окну припала та, что отстаивала для семьи частную собственность, барскую жизнь, власть над душой и совестью мужа — и не может войти к нему, разбить окно. Наверное, в этот час, если б «сверхскоростной звук» существовал для человеческого слуха и облегченный вздох всего лучшего и передового на земле мог бы в этот сверхскоростной звук влиться, — мы услышали бы, как облегченно вздохнуло человечество: устоял, выдержал, не допустил!

Шестнадцать лет прошло с тех пор, как Софья Андреевна высказала Толстому свою торжествующую радость (радостное гонение!) по поводу перехода Новоселова из толстовства в православие. Быть может, у смертного часа Толстого она — не без помощи Новоселова — еще надеялась вернуть мужа — себе и церкви. Быть может, и сам Новоселов тут со своими брошюрками в портфеле, среди публики, понаехавшей в Астапово.

Все это ново для исследователя, как оживший образ Новоселова. Всего этого я не знала ни в год смерти Толстого, ни за год до нее, когда сама — трусливо, по-детски, на восторженное послание Новоселова «Молитесь за меня», как страус, спрятав голову под крыло, а попросту порвав всякую связь и с Новоселовым и с новоселовщиной, не написав ему, не простившись с ним, — уехала из Москвы в Нахичевань к матери. Фальшивая полуреальность — какую сама же пасивно и с неохотой, но допустила в свою жизнь, — закончилась, в сущности, так же фальшиво и нереально, как и вхождение в нее.

Нельзя стереть этот многомесячный опыт из собственной жизни, сделать, как если б его не было, или хотя бы облагородить в своих воспоминаньях. Он не принес мне чести, и оправдать его трудно. Могу только сказать одно: как и ото всего, что приключалось со мной в жизни вольно или неволью, я не переставала учиться у своих ошибок, а поэтому получала урок.

Большим и нужным уроком для будущего стали прежде всего мои бесконечные чтения по теологии. Для того чтоб лучше понять действительность, и притом не вообще, а именно русскую нашу действительность, огромную пользу принесло мне хорошее знание истории церкви, истории православия, знакомство с практикой православного «старчества», с восточными отцами церкви. И даже старый «церковнославянский» язык с неожиданными попытками его модернизации в XX веке у некоторых писателей тоже принес мне кусочек пользы, как в свое время и средневековая латынь.

Мне остается досказать читателю про шестую «ниточку» сложного клубка, пришедшегося на конец 1908 — середину 1909 года.

Как-то вечером в Литературно-художественном кружке я впервые увидела модного поэта, о котором нам много и хорошо рассказы-

⁸ Приведена в кн.: Б. Мейлах. Уход и смерть Льва Толстого, стр. 288.

вал Владислав Ходасевич. Он не был похож на рассказы о нем. Терзавшаяся собственной фальшью начатых отношений с Новоселовым, я была остро чувствительна к переживаниям других людей, особенно проступавшим в людях не спрятанно и не замаскированно. Худой, с напряженными плечами, непрерывно менявший место — сидевший, вскакивавший, садившийся на другой стул, он, казалось, весь был на каком-то ветру, обвевавшем его одного, даже волосы поднимал этот ветер, даже голос надламывал и взвивал, когда, став у кафедры, он начал свое выступление.

Марина Цветаева великолепно описала его вихревые движения, но в тот вечер в Андрее Белом не было ни грации, ни эстетизма, ни того, что придала ему Марина в своем описании, — неповторимого, своего стиля. Я видела на кафедре истерзанного человека с вымученной речью, — говоря, он вдруг стал быстро оглядываться, даже себе за спину, словно испугался, что кто-то вражеский его подслушивает. Нервно вели себя его пальцы, сжимаясь, стискивая углы кафедры, прячась в карманы, откидываясь за спину. Мне было просто физически тяжело смотреть на него, а ведь это был автор «симфоний», удивительной прозы, легкой, нежной, успокаивающей, как сон. Он казался совершенно беспомощным, голой душой, выброшенной из защиты тела. Я почувствовала его в тот вечер, как себя, как больной человек в палате воспринимает другого больного, соседа по койке, — и в состоянии какой-то полной бесцеремонности — от души к душе — написала ему, придя домой, письмо.

Ответ на него был формальный — две безразличные фразы. Но уже я потеряла чувство реальности в обращении к нему. Мне было плохо и тяжело с самой собой, а ему, я чувствовала, нужна, как и мне, помощь, и не было ничего ни стыдного, ни «неприятного» в переписке с ним. Я опять раздобыла букетик цветов и с посылным отправила ему второе письмо, где говорила с ним так, как мне хотелось бы, чтоб говорили со мной.

В этом обращении к незнакомому человеку был акт самооблегчения, была какая-то «нездешность», словно отношение устанавливалось над реальным бытием, в обнаженном мире, где душа, без места в пространстве, без имени, без течения самой жизни на земле, хочет встречи с такой же, как она, — без всех условностей, какими сопровождается «знакомство». Еще не зная самой себя, я в этом акте обращения душой к душе, стала, в сущности, реализовать одну из глубочайших своих потребностей — потребность быть счастливой, о т д а в а я.

Есть разные виды любви. Нигде не возникают у людей такие разнообразнейшие формы самопроявлений, как в человеческой манере любить. Мне с самых первых минут ощущения чужого бытия, вдруг становившегося дорогим и близким, всегда была знакома только одна ее форма: счастье д а в а т ь. В детстве — цветы, сладости, книги, игрушки; позднее — всю жизнь — время, внимание, силы, нежность. В ранней молодости я еще не понимала, что удержать любовь другого человека одной самоотдачей нельзя; у меня не было того, что сопровождает обычно любовь человеческую — влюбленности, физического влечения. И мы с сестрой в молодости совершенно не знали земной эротике даже в легкой, юношеской ее форме.

На «романе в письмах» с Андреем Белым я прошла в первый раз всю трагедию взаимоотношений с полюбившимся человеком, в которых одна сторона хочет общения — глубокой встречи души с душой, духа с духом, а другая сторона, чтобы поддержать потребность такого общения, хочет большего — сильного, захватывающего всего человека плотского чувства. Беда, если появляется требовательность од-

ной стороны, томящейся по общению, к другой стороне, для которой это общение потеряло интерес без наличия «чувства». Первый урок, полученный мной, научил меня — на всю долгую жизнь — никогда не быть требовательной, если любишь.

На второе письмо пришел ответ. Я печатаю здесь десять писем Андрея Белого, сохранившихся у меня из нашей переписки. Они публикуются впервые и для историков десятых годов нашего века представляют, несомненно, очень большой интерес. Решаю я поместить их в мои воспоминания не только из-за этого; и даже не потому, что в своей последовательности они характерны для «романа в письмах», исчезающего при переходе из переписки в реальное знакомство. Но главным образом потому, что из всех портретов Андрея Белого, а сделано было их немало, и художественных, и литературных, и даже литературно-художественных (Ольга Форш, например, отличный рисовальщик, набросала пять различных «Андреев Белых», в профиль и анфас,— в разных его душевных состояниях),— из всех этих портретов никто не передал всего Андрея Белого лучше, чем он сам — в десяти очень откровенных, очень искренних, сохранивших как будто живую его интонацию, приводимых здесь письмах. Мне кажется, именно поэтому я просто не имею права беречь их для себя.

11

ДЕСЯТЬ ПИСЕМ АНДРЕЯ БЕЛОГО
(от 1908 до 1928 года)

ПИСЬМО ПЕРВОЕ. 17—12—08 (Штамп 18—12—08)

Москва. Заказное.

Ея Высочество Маризтте Сергеевне ШАГИНЯН.

Малая Дмитровка, Успенский пер.,

д. Феррари, кв. 5.

Адрес отправителя: Москва, Арбат.

Никольский пер., д. Новикова, кв. 7.

Моя судьба — путать. И потом извиняться. Извиняюсь и снова путаю: путаю в книгах, путаю в отношениях с людьми; все, что бы я ни делал, кончается инцидентом. В результате — «м и л л и о н и з в и н е н и й». И вот, ради бога, Маризтта Сергеевна, извините и Вы меня, что не понял, не ответил — не так ответил: потому что, конечно, с Вашим письмом произошла путаница.

А между тем оно — милое, милое, Ваше письмо. И мне было хорошо его читать.

Ко мне иногда приходят записки, в которых неизвестные люди уведомляют меня, что я иду к вершинам, а они за мной «шествуют тою же стезею», а однажды мне пригрозили, что меня столкнут с высот; почти в каждой записке есть напоминание о том, что лазурь — лазурна, а свет — белый; и вот иногда злишься на то, что в былое время принимал всерьез эту истерику высот и лазури в анонимных письмах. Прежде я отвечал и даже (в юношеские годы) звал к высотам; в ответ на эти призывы получал уже просто... челуху.

Недавно кто-то писал мне об «ужасно несказанном», и я имел слабость ответить (даже сослаться на «вершины»). Пришел ответ из восклицательных знаков; приходилось или «с о в о с к л и к н у т ь» или не ответить вовсе. Воскликать в странство как-то глупо: и я замолчал.

Получив первое Ваше письмо (с посылным), я, конечно, спутал почерки; подумал: «Вот опять пришли восклицательные знаки!» И откровенно злился: хотел уже гнать посылного... Но цветы (милые): они мне понравились: «Восклицательные знаки добры: они шлют мне цветы», — подумал я.

И нацарапал что-то (кажется, извинился? Нет?), не дочитав письма (простите: ведь

Вас я не знал, а содержание писем всегда одно: «меня зовут вершины в ла- зурь, где несказанное» и т. г.).

Сегодня уже в неподдельном ужасе я возвращал и письмо, и цветы, но посыль- ный откровенно отказывался и от письма, и от цветов: простите: я думал, что «вос- клицательные знаки» вырывают насильно «воскликновение» из моей груди (которая вдобавок еще простужена). И радуюсь, что ошибся. Да, Мариэтта Сер- геевна, ошибся, потому что Вы — милая, милая, милая. Вы поняли, что тепло и чело- веческая ласка нужны мне, и я доверчиво, просто Вам отвечаю, потому что ищущего доверия, человека ищущего, а не восклицательного знака. От Вашего письма мне стало ясно; вот улыбаюсь (я редко теперь улыбаюсь один); все, что Вы пишете мне, согрето теплом; и тепло это мне так сейчас нужно (вокруг меня мало тепла); мне весело; в Ваших словах столько нежного «ухода»: Вы говорите: «Если слов не бояться — я и в правду за Вами ухаживаю». Зачем бояться слов — и кто знает последний смысл их: и так же просто, как пишете Вы, я принимаю Ваши слова, Ваше... (ну пусть будет по-Вашему!) «ухаживанье», потому что нужны мне сейчас те слова, какие произносите Вы: от них я делаюсь сам для себя милым и маленьким, как Ваши милые, маленькие ландыши.

Но вот Вы пишете: «Вы заметили это?» Разве я знаю Вас? Почему-то ве- рится, что знаю, хотя незнаком.

Внешность соответствует слову — так ли? У кого из незнакомых, но знако- мых, могут отыскаться такие слова? Думаю — и вспоминаю; не знаю — Вы или не Вы? Ответьте, знаю я Вас или нет: Вы это можете сказать. Мне даже кажется, что я Вас видел давно: на лекциях, в симфоническом, например, на лекции Булгакова в религ.-фил. обществе?

Вы это или не Вы? Ну да все равно: разве это важно?

Важно то, что я уже не хочу Вас потерять, не молчите: будем знакомы непре- менно; и будемте друзьями. А то я буду злиться: подумаю, что вот поверил, и напрасно поверил. Я никому не верю, кроме двух-трех грузей (между прочим, З. Н. Г.)⁹.

Поверив, я не изменяю грузьям. Если принимаете мою дружбу (т. е. хотите, чтобы мы приблизились друг к другу), Вы пойдете ко мне навстречу.

Хочется тихой ясности, безмятежной зари и, Боже мой, только не истерики: хоро- шо, если Вы не «декадентка». Впрочем, грустно-шутливый тон Ваших слов убе- ждает меня в противном. Если бы Вы были декаденткой, Вы не читали бы Тьера, но... «Историю Ассирии»...

Мы будем писать друг другу друг о друге. Хотите? Как хорошо, что Вы написали о Вашей маме, о сестре, о себе без «вершин» и пр.: только потому я и могу Вам писать, хочу Вам писать. Я Вам тоже буду писать о себе, если Вы хотите; только спрашивайте обо мне меня Вы: я буду откровенно и прямо отвечать (поскольку можно быть прямым заочно, в письме). Но бумага выносит лишь сотую долю слова. И если между нами будет живая связь, мы должны будем увидеть друг друга, чтобы не очу- титься друг для друга в пространстве. Предупреждаю: я писать не умею: часто дичусь, отвергиваюсь, «заговариваю зубы», но не от хитрости, а от стыливости. Людей боюсь: с ними или формален, или «тактичен», или... открыт до конца, но... давно уже «в маске».

Ну прощайте: милая, милая Вы и ландыши Ваши тоже милые. Жду письма. И мне уже грустно: Вы уезжаете — куда? Надолго? А если уедете, пришлите свой адрес: во всяком случае было бы нехорошо вызвать меня на переписку без твердого желания, чтобы мы стали друзьями.

Борис Бугаев.

Р. С. Кто же вы? Знаю ли я Вас? Где мы встречались?

ПИСЬМО ВТОРОЕ. 18 декабря 08 года

Высокородию
Мариэтте Сергеевне Шагинян

⁹ Зинаида Николаевна Гиппиус.

Малая Дмитровка, Успенский переулок,
дом Феррари, кв. 5.

Адрес отправителя. Москва. Арбат. Никольский
пер., д. Новикова, кв. 7.

Милая,

простите, что пишу Вам на листе: бумага вся вышла, а ночь, а все же хочется Вам что-то сказать, а что — не знаю. Просто инстинктивно меня тянет к Вашим словам: в них нет истерики; в них только милая, детская грусть Бог весть о чем. Да, вспомнил: мне теперь действительно Вы нужны; в этом я правдив; тут я «принципально» не путаю. Мне нужны всегда люди, понявшие Главное, если это Главное в них не искажено истерикой, если Оно без маски глядит на меня.

Милое, грустно задумчивое, тихое — в этом сейчас должны люди увидеть друг друга: тут, на этом должен быть разговор, закланание.

Всю жизнь я чутко прислушиваюсь, говорю себе: «То, нет не то». Ищу в человеке его Главное, чтоб в Нем узнать себя — себя ли?

Тут я бесконечно доверчив, детски радостно иду на «веяние», чутко прислушиваюсь, — пусть я романтик: мой романтизм есть практическое, реальное дело; зарю бронирую я нормами долга; искание Главного — императив; пусть не знаю я, что из этого всего вытекает, я знаю, что мое «незнание», но уже Слушание начало чего-то, что больше всех нас, что будет.

И вот я всегда в маске: перехожу с грани на грань, баррикадируюсь методами, чтобы не улыбнуться зарей в пустоту. Но если почувдится близкое, я безоружно, прямо отвечаю, доверчиво иду на встречу: тут всегда риск: или новая рана, новая боль, или новое подтверждение, что будет.

Я знаю твердо в себе: надо твердо «держатъ, что имеешь»: имеешь предвещие о гальнем в близких; и невольно ищешь близких, чтоб отразилось в них дальнее, а в дальнем по новому узнаешь себя и свое. Истинная близость немногих во мне дальнего — уже обетованье, уже путь, уже окрыление. Но воистину: приближаются только многие, «немногие» таятся: их ищешь.

В Ваших словах мне приснилось кроткое веянье милого, и я готов идти к Вам навстречу. Но хочется не сразу приблизиться к Вам, а сначала перекликаться; еще я многого опасуюсь; могу замести следы; могу морочить, таиться, прикидываться.

Кто Вы? Из каких стран? Куда? И о чем?

Все это мне еще не ясно: я только инстинктивно предугадываю, что страны Ваши — родные страны; кое-что в них я видел.

Когда получу Ваше письмо, то отвечу Вам, а пока хотелось Вам написать это гружеское «ни о чем» — ну просто улыбнуться.

Я Ходасевича о Вас почти не спрашивал — зачем? Каждый человек о себе говорит вернее и ближе.

Ну вот и все.

Борис Бугаев.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ. 19 декабря 08 года

Милая,

получил Ваше письмо, помеченное 19-ым. На многое хотелось бы мне ответить: «Ну да... да...» Многие я мог бы Вам написать сам; читая, улыбался; если б не написали Вы, написал бы я (это о черновой работе и т. д.). И очень о том Ваше «неудивление»: «ни место, ни даже слова не важны, а что-то иное, общее, даже не общее, а всеобщее» — да: на этом гавно я стою, гавно ищу путей индивидуальных, но общих и даже всеобщих изнутри. Жизнь должна быть как всеобщее; и всеобщее поет в глубине индивидуального: оно — индивидуальное индивидуального и о нем уже нет даже слов: слова оскудевают, как расцветают слова в индивидуальном: есть слова индивидуальные (эстетика); но индивидуальное индивидуального еще или уже не выразимо в слове, а в факте, в действии, в совпадении путей, во всеобщем; и это совпадение хочу я называть ценностью; а когда хочешь сигнализировать тишиной всеобщего (т. е. того, что индивидуальнее индивидуального)

в хаос бесценного бытия, сигналы превращаются в идеи-нормы, и эстетика становится этикой: но это только кажется, потому что норма не норма, а образ Единоый, Любимый: но реализуется он в милых и близких, пришедших издалека. Вот и начинает казаться, что «мы с Вами не в жизни, а во сне», но сон никогда не бывает сном: в сны я не верю. Милая, издалека — Вы мне: вот что почувдилось в Вашем письме; оттого-то ответил Вам. Милые издалека идут друг к другу через третье: в Третьем встречаются и Третье одно: путь и стремление к гальнему: это и есть индивидуальное индивидуальное; если сумеют они понять, что они не они, а знаки знаменования, как же не встретятся они, как же не соприкоснутся, как же не преодолеть им работу «ознакомления». «А потом иногда снится кто-нибудь», пишете Вы, «ну совсем чужой, иной раз не существующий в жизни, а утром проснешься и странное такое к нему чувство, нежное, близкое, томительно нежное»... Поймите, что снов нет: и снится только то, что дано, что есть (ведь несуществующему и неоткуда входить в сон); а что такое несуществующее? Только норма, потому что бытие есть форма суждения, которого норма — долженствование. Но долженствование есть путь к... к чему, к кому? А норма, не норма, а... Лик... кого? И странное через всю жизнь проходит томление, нежное. Вот у Вас, как и у меня: значит, мы можем быть заговорщиками, грузьями: есть нам о чем молчать.

Если угадал я молчание Ваше, то мы будем близки. Но если бы я не почувствовал в Вас того, что Вы не выразили в письме, не сумели выразить (и я не умею), ни за что не поверил бы Вам. Но я, как и Вы, в молчанье своем о всеобщем: и Вы мне уже становитесь близкой.

Вы скажете: «Как бы не вкралась отвлеченность в эти слова!» Но в словах моих неизбежная отвлеченность, программа: иначе сейчас я не могу говорить с Вами: Вы меня больше знаете, чем я Вас. Вы менее можете оступиться в нашем Третьем, чем я: на Вас, пока я Вас не узнал конкретно, почин к индивидуализации слов. Я намеренно отвлечен.

Пусть мы узнаем друг друга с середины: самые близкие знакомства пришли ко мне издалека; самое ценное, на что опирался в жизни, пришло, как сон: но сон окзывался не сном.

Знаете ли Вы, как опасно пройти путь гружбы, не зная друг друга? У меня была когда-то одна переписка: два года, не будучи лично знакомы, переписывались мы с Блоком. Приблизились невероятно в письмах; но встретились (не знаю отчего) с самого начала; и начало навалилось ложью на уже пройденное: новое, ложное начало смешалось с верной серединой: пошли химеры — полуистины: и наши отношения провалились в кошмар.

Да не будет так между нами: нам надо встретиться; сейчас ли, немного ли погоды — не знаю. Если буду здоров, приду к Вам на елку — хотите?

Вам кажется, что я растерялся. Трудно так сразу сказать: со мной что-то ужасно сложное, что в минуты подъема осознается как огромное испытание, едва выносимое: и отсюда восторг страдания, уютность в Распятии, готовность всю жизнь прожить в восторге последней покинутости, когда последние отблески зари угасают впереди, и знаешь, что это — марево, но подтверждений нет: чувство, будто петля, затягивается крепче, все крепче — сейчас уже смерть, а где-то внутри утаенная улыбка: «Нет, это не так: это — искус»... И восторг, восторг, восторг.

В минуты же утомления (это чувство со мной вот уже два года), когда смиряется гордость, руки протянуты в дали с призывом: ищешь знамений, подтверждений, не потому, что не веришь, не знаешь, а потому что болен от испытания и, как больной, тихо капризничаешь с самим собой.

Этот восторг и это утомление последнее время сплетены в одно, и вот не умею даже ответить, растерялся ли: гуша ведь — пространство; в одном пункте пространства растерянность (бессильно протягиваешь руки к заре), в другом пункте — гордое счастье от того, что идешь уже Бог знает где: там, где уже нет богоборства, уже демонизм — забава, но смирение отвергнуто: бархатная, томительно сладостная, ослепительная заря, но по ней ужасающие клоки мертвенных туч; а когда тучи закроют все и тянутся месяцами, в одно воздыхание, в одну мольбу, в одну муку-счастье сливаются два возгласа:

«Нет, силой не поднять тяжелого покрыва свинцовых (кажется так) туч».. «Пронизала вершины дерев желто-бархатным светом заря.. И звучит этот вечный напев: «Объявись — зацелую тебя»...¹⁰

Вы понимаете, что Ваше письмо мне тоже знак, какая-то жажда увидеть гальнюю, но близкую (милую), утверждающую.. И я с надеждой поворачиваюсь к Вам: нужна ли Вам моя помощь? — я могу иногда помочь; а втайне надежда: но и Вы можете мне помочь, если и Вы, как я, о Главном (всеобщем)...

Видите, милая, как я неумело Вам отвечаю, теоретизирую; это потому, что еще не умею Вас видеть лицом к лицу. Все это мимо, мимо нужного, но, поверьте, и в том, что я Вам пишу, есть бессознательный налет «заговариванья»; срываются слова, обсыпается песком общих мест; и тогда уже я сознательно опрокидываю на все сухой песок фраз.

Я обнищал словами. У меня нет слов для того, что «одно — навек одно» для меня. И вот часто прячу я мою Тайну, переходя к методологии. Методически закрываюсь то теорией знания, то эстетикой, то шуткой, то «завиваюсь» в пустоту.

Я такой маленький в выявлении, беззащитный, смешной; и такое большое там во мне: но оно — не мое; оно — всеобщее. Я всегда обременен «моим»; мне всегда немного стыдно; и я закрываюсь. Я слушаю тишину, но заговаривая зубы, неизменно раздражаюсь потоком слов, хожу вокруг да около; я боюсь молчать и оттого говорю «не о том», как бы прося, чтобы поняли скрытую причину моих бестактностей; но ее не понимают: посмеиваются, иногда зло острят. Я разбиваюсь на много граней; «одно — навек одно» выявляется только в совокупности многих, но еще не сведенных друг к другу, плоскостей; от этого кажется, что я изменчив; я бываю то эстетом, то нищанцем, то кантианцем, то индивидуалистом, то народником, т. е. кажусь разным: но это от неумения сказать: мое имя во мне соприкасается с Именем Иным, во мне поющим (индивидуальное с общим), и я рисую ряды параллелей и потом начинаю суетливо бегать по всем параллелям, но это кажется извне сумбуром.

Но верьте: я все помню, ничего не забываю, я не меняюсь в главном.

Если Вы хотите ко мне подойти, полюбите меня смешного, немого, «заговаривающего зубы», почти... затравленного, почти... страдающего манией преследования; верьте: все свои параллели продолжаю, или хотел бы продолжить, к одному, к забываемому.

Милая, я уже к Вам привязан, мне уже было бы больно не обращаться к Вам, не переключаться.

Я теперь, кажется, знаю Вас в лицо. Вы сидите в Кружке на эстраде впереди и справа — там, где читают, и у Вас вид внимательно-изумленный, отдаленный и чуть-чуть строгий.

Ну прощайте: пишите мне скорей — да? Можно ли мне к Вам прийти, когда буду здоров и на елку тоже. Надо условиться, чтобы не было начала нашего знакомства, а середина, а то я разобьюсь на плоскости, начну рисовать «вензеля» и потом только через месяцы перестану быть суетливым, смешным.

Борис Бугаев.

P. S. Если Вы теперь останетесь в Москве и я буду косвенной причиной тому, я будучи в десять раз более смешным и неискренним.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ. 20—12—08

Москва.

Е. В.

Маризте Сергеевне ШАГИНЯН.

Малая Дмитровка. Успенский переулок.

Дом Феррари, кв. 5.

¹⁰ Цитаты из его стихотворений.

Вы, Мариэтта,— милая. милая, милая. Мне хорошо от Вас получать письма. Я не пишу Вам много. Сейчас ужасающая слабость. Доктор запретил не только читать, но и думать. Мне грозят осложнения на почве переутомленности: я Вам улыбаюсь. Христос с Вами: нежно люблю Вас, ясно. Мне тихо и грустно. Сижу и опутываю елку золотой паутиной: золотая паутина — и больше ничего: мне странно. Мыслей нет — золотая паутина: плыть в золотой паутине вволю Вечности — вечно. Пусть день за днем идет: день за днем, слеза за слезой, жемчужина за жемчужиной: слеза к слезе, жемчужина к жемчужине: ожерелье из жемчужин: кольцо жемчуга. Броситься в голубое море Вечно-го — утонуть, чтоб жемчужное кольцо колыхалось над захлебнувшимся.

Милая, милая, милая Мариэтта: я гдумаю о Вас, и мягкий ток жемчугов — моя мысль: не покидайте меня: милая Мариэтта — будьте вечной Мариэттой. Простите мое безмыслие и краткость письма, моя милая. Мне трудно писать — слабость.

Позовите меня к себе, но не раньше, как через три дня.

Б. Бугаев.

ПИСЬМО ПЯТОЕ. 21—12—08

Милая, если Вы мне не верите, прекратимте переписку.

Я Вашего письма не показывал никому. В самом деле: мне противно и гнузно. Моя участь такова. У меня читают в мыслях. Недостойно оправдываться: если не верите мне, лучше прекратимте наше знакомство.

Я не знаю, приходить ли мне завтра? Если наше знакомство с первых шагов безвозвратно испорчено. Пожалуй, приду: но это уже будет «не т о».

Б. Бугаев.

P. S. Нет, я не приду. Все уже испорчено.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ. 22—12—08

Милая, спасибо... Приду..

Б. Бугаев.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ. 2—1—09

Москва. Заказное.

Е. В.

Мариэтте Сергеевне ШАГИНЯН.

Малая Дмитровка. Успенский пер., д. Феррари,
кв. 5.

Адрес отправителя.

Москва. Арбат. Никольский пер., д. Новикова,
кв. 7.

Милая, милая Мариэтта, начинаю стереотипно: простите. Вы видите, что у меня всегда есть повод просить прощение. Относительно очень многих этот повод невольный: очень многие хотят от меня, чтобы все свое время я отгал им; этих очень многих очень много; и я всегда манкирую, не поспеваю. Далее: у меня есть мои близкие, милые грузья; с ними я связан путем: у меня должно хватить время гать себя им, как они гают себя мне. Далее: постоянно я под напором людей интересных, с которыми есть связующее начало: так, например, летом я занимался ритмикой в поэзии, напал на целую область, подошел почти к порогу новой науки о поэзии (и науки точной), и вот в Москве уже гавно хочет со мной говорить С. И. Танеев, который занимался 10 лет вопросами, смежными с вопросом о ритме в поэзии: мне надо поговорить основательно с Георгием Конюсом, с Фед. Евг. Коршем и пр. А времени на это нет. Далее: у меня есть незаконченная теоретическая книга по теории символизма: теоретически я вывожу символизм из критики критики познания; я разбираю Когэна, Риккерта, Ласка (не Лааса); у меня много спорных пунктов. Мне, например, надо гавно видеться с Б. Алекс Кистяковским (личным другом Риккерта и риккертянцем); словом: у меня есть связь с молодыми философами,

с философским кружком (собирает у Морозовой). Далее: мой ближайший друг Метнер¹¹, с которым мы соединены навеки в дорогом и близком, — от сумятицы, в которой я живу, не получал от меня ни одного письма (он уже давно в Берлине). Далее: по моей профессии я должен следить не только за философской литературой (последние 2 года я тут неисправен), но и за литературой вообще. Далее: у меня ряд больших планов литературных; я должен написать большие произведения (все, что писал доселе, есть лишь проба пера): а вы знаете, что значит уйти в то, что пишешь. нужно молчание, пост, отгача всего себя для того, что видишь там: ведь когда я пишу. я хочу с и г н а л и з и р о в а т ь; образы мои имеют эзотерическую подкладку. Далее: в моей личной интимной жизни (выражаясь теософическим языком) я стою на таких «п л а н а х» (в астральном и ментальном), где нельзя безнаказанно видеть, что видишь: требуется уже тут оккультная гигиена (начиная с того, что нельзя разжимать лапони, есть бобы и т. д. более важное); а то «г ж и в а» уйдет через кончики пальцев и я умру; ввиду того, что я уже прошел без руководителя многие области оккультного, я потерял в битвах слишком многое.

Видите: 1) я должен проделывать оккультную гимнастику, 2) следить за десятками книг, 3) писать и м и с т е р и ю, и гносеологический трактат, и стихи, и статьи и т. д., 4) общаться а) с людьми, у которых могу учиться, б) с друзьями, в) вести переписки, 5) я опутан срочными обязательствами, б) должен помимо всего еще и зарабатывать деньги.

Видите?

А Вы, милая Мариэтта, требуете, чтобы я Вам писал каждый день. бывал у Вас каждый день... Да ведь при моей теперешней усталости (я грузьям, с которыми связан годами уже, не могу писать, Мережковским, например, и вовсе не пишу — и они понимают), когда доктора требуют безмятежного покоя, грозят чахоткой, указывают на очень серьезное хроническое (годами) переутомление, при всем этом, милая, чтобы писать Вам через день или бывать через день, я должен очень многое забросить.

Милая, если я Вам ответил, не зная Вас, значит я знал, что делал, значит Вы мне нужны: но это не значит, чтобы я постоянно это повторял. Господи, разве не обидно мне было читать, что Вы, милая, мне не понравились, что я больше к Вам не приду. За кого же Вы считаете Андрея Белого? Ведь в Вашем письме звучит истерика. Не подходите тогда ко мне: неужели Андрей Белый есть приятная игрушка для его друзей и он должен удовлетворять их желанию играть в игрушку: у Андрея Белого возникает план целой книги: ему нужно молчание и уединение, доктора и так запретили ему напряжение: но напряженные мысли не прогоняешь: нужно создать условия наименьшей затраты энергии. И Андрей Белый сидит дома: а он обещал Мариэтте 1) написать глиняное письмо, 2) прийти 29-го.

Вы мне нужны, не будем же строить нашу гружбу на неволе, а на свободе. Будем верить друг другу; а если каждое внешнее манкирование мое Вы будете рассматривать как демонстрацию, ставить мне ультиматумы или огорчаться внутренне, я буду чувствовать, что что-то у нас не выходит.

Все, что я писал Вам, верно: о новой книге; к тому же легкое повышение температуры: а доктор запретил мне очень строго в теперешнем моем состоянии выходить при повышении температуры: я на волоске от катара легких, а случись со мной катар, он неминуемо осложнится в чахотку. Вы говорите, что от любезности я могу умереть. Это неправда: а если каждому из знакомых объяснять пространно (так же пространно, как Вам) невозможность физически свести концы с концами, я должен был бы полгода изо дня в день объяснять: и вот я машу рукой и со стоном проделываю, что могу; а где не могу, манкирую. Верите ли: пошел на «С о ю з» 26-го. И вместо того, чтобы увидеть хотя бы одну картину, я подвергся нападению десятков личностей; было там много обиженных (тем, что не общаюсь с ними): хотел здесь, там кое-что заглядеть: в результате оказалось, что уже на неделю расприглашен (от такого-то часа Судейкин, от такого-то Грабарь): теперь придется начать серию обманов и не быть нигде... и т. д. и т. д...

Заметьте, милая, что в эти дни придется 1) быть на редакционном совещании «Весов», 2) в теософском кружке (мне там надо кое-что узнать), 3) заниматься рели-

¹¹ Речь идет о брате композитора Николая Метнера — Эмилии Карловиче Метнере.

гиозно-филос. обществом (я там член совета), 4) быть на заседании комитета «Св. э с т е т и к и». Тут я не могу манкировать: это — моя обуза.

А «Дом Песни» и «Философский кружок» придется бросить. Далее: в эти дни я должен был писать глинное, глинное письмо А. М. Ремизову, которого очень люблю (он тоже обижен), после двухлетнего молчания на его письма, должен был писать В. И. Иванову о всех тех недоразумениях, которые между нами возникли. Далее: Эрн заболел, и я проводил у него много времени (кстати, он меня ознакомил в деталях со всеми перипетиями у Свентицком, а мне как члену совета нужно быть в курсе). Наконец: я же подготавливаю 3-ью книгу стихов: надо было работать над ней: ведь должен же я и себе немного оставить времени...

Нельзя же требовать, чтобы Андрей Белый был в 10 местах одновременно и вместе с тем Святым Духом писались его книги... в то время, когда доктор велит никого не видеть, нигде не бывать.

Видите?

Будете ли Вы, милая, теперь меня бранить, говорить что я не угу, оттого что... и т. г. и т. г.

Милая, простите еще раз за убожество письма: я таки устал эти дни. А пишу я Вам вовсе не по обязанности, а потому что люблю Вас. Вы и Ваша сестра мне теперь близки.

Знаете, милая Мариэтта, мне удобнее прийти к Вам до 2 января днем: только с 3 января у меня вечера свободны. Выйду же я завтра, 31-го.

Вы пишете, что идеализм и теология могли бы соединиться. Я понимаю, что Вы мыслите: но для этого нужно, чтобы идеализм (не гносеологический) по-новому воскрес; такое воскресение идеализма требует преодоления идеализма гносеологического. В настоящую минуту идеалистическая метафизика по сю сторону теории знания. Что же получается: Наторг когэнизирует Платона. Требуется обратное: платонизация Когэна. Шаг в эту сторону сделан Риккертом и Ласком.

Нужно выискывать метафизические предпосылки теории знания. Нужна новая, гносеологическая метафизика; теория знания постулирует нормами практического разума. Возникает вопрос: могу ли я рассматривать теоретический постулат как практическую реальность? Возникает новая область философии: теория ценностей. Что есть ценное? Истинное и ценное в «sollel»¹². истинное есть ценное: вот суждение, где предикатом может быть и истина, и ценность. Суждение: «Истинное есть ценное» может быть суждением и аналитическим, и синтетическим (в кантовском смысле). Если суждение это — суждение аналитическое, то 1) или понятие об истинном выводится из понятия о ценном, 2) или обратно. Если же данное суждение есть суждение синтетическое, то содержание понятий «истина», «ценность» соотносятся через третье: «есть». Ставится новый вопрос, что есть «связь» в суждениях конститутивных? До того, как мы построили суждение наше, мы определили истинное как должное: итак: суждение наше таково: должное есть ценное. Обратите внимание теперь. Ведь должное есть трансцендентная норма суждений (у Риккерта, отрицающего метафизическую реальность, полемизирующего с Фолькельтом). Всякое суждение предопределено императивом: «да будет оно». Суждение же о том, что «должное есть истинное», тоже предопределено должным: да будет так, чтобы должное было истинным. Тут открывается, что есть должное самого должного. т. е. должное само предопределено. Но должное есть норма познания: оно связь — наукоучений. Следовательно, должное должного уже не есть норма познания, не есть формальная связь. Какая же это связь? Я возвращаюсь к оставленному суждению: истинное (должное) есть ценное. Ведь ценное здесь постулат; но чтобы постулат превратился в нечто данное моему познанию, он должен иметь содержание; но от содержания мы перешли к форме в теории знания. Предопределение ее чем-то еще возвращает нам понятию содержание. «Есть» становится не только логической связью, но и связью

¹² Надо быть, должное, должное, должное (нем.).

психологической: вот кажущийся возврат к психологизму. Я говорю «кажущийся» потому, что требуемое по-иному выведение формы из содержания (Ваше сначала «я» (все для меня, все через меня), а потом «все»), из «всего» есть вовсе не психология в ее современном терминологическом смысле: то, как требования и иного содержания конструируют мне теорию знания, которая уже потом выводит категории, методы наук с их научным содержанием и т. д.— вот область этого «как выводят» и есть гносеологическая метафизика, которая одновременно со стороны религии (догматы религии суть законы этого выведения) есть теогнозия. Я рискую быть скучным, если стану объяснять, что действительно идеал теологии и идеал метафизики приближаются невероятно: в теогнозии и гносеологической метафизике. Обе еще не существующие дисциплины (как методологии) вне компетенции теории знания, ибо они условия ее возможности; следовательно, вне компетенции гурной метафизики, науки, психологии и т. д. Это то «есть» суждения, «истинное есть ценное» определяется пониманием этого «есть» как переживаемой индивидуально-всеобщей связи. Область же раскрытия всеобщего есть — символизм; т. е. описание 1) типов творчества форм (тут символизм, как эстетика), 2) типов творчества жизни (тут символизм, как теургия, т. е. практика жизни).

Для того, чтобы описать типы жизненного творчества, я должен иметь переживаемую константу. Переживаемая константа — моя собственная жизнь, как всеобщего.

Итак: я предлагаю предопределить теорию знания теорией творчества оккультной биографией. Тут начинается мой Как о в¹³, все более и более опзраччивающийся в... ?..

Милая, милая моя Мариэтта, простите мне это отступление. Страшно хочу Вас видеть: пишите.

Вы — милая, милая.

Скоро увидимся. Христос с Вами.

Борис Бугаев.

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ. Апрель 1909

Е. В.

Мариэтте Сергеевне

ШАГИНЯН.

Воистину воскрес!

Желаю радости и хорошего праздника; простите, что не был у Вас и не ответил; совершенно больной я уехал на масленице до 5-й недели из Москвы, а там был в Киеве; так что почти не жил в Москве, а в промежуток рвали гела и люди.

Христос с Вами, милая моя Мариэтта; я всегда помню о Вас, всегда: спасибо за цветы: мне было радостно их получить.

Передайте улыбку мою Лине.

Борис Бугаев.

Постараюсь на днях быть у Вас.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ. 18—8—09

Нахичевань-на-Дону. Федоровская улица, г. 10—14.

Ея Высокородию Мариэтте Сергеевне Шагинян.

ПРОШУ ПИСЬМО ДОСТАВИТЬ

Милая, рогная Мариэтта, простите, письмо получил только недавно; были огорчения и свои искусы.

Пишу Вам твердо — от меры моего знания — ни больше, ни меньше.

Ваша трагедия — была моей трагедией лет пять тому назад.

¹³ Как о в — это утопический волшебный остров, сфантазированный Андреем Белым в детстве. Он рассказал о нем у нас на елке в ответ на наш рассказ о «волшебной стране Мерце», тоже сфантазированной нами в нашем детстве.

Флоренский говорит гнусности. Зину знаю, как себя. Идите к ней, если Вас тянет, но у Мережковских, думаю, Вы еще не найдете последней правды, последняя правда ближе к церкви: но там она запрятана слишком глубоко, а поверх плавает гниль (у Мережковских нет гнили). Думаю, у Мережковских Вам место, но как этап.

Идите и убедитесь. Они лучшие и благороднейшие из людей, но времена близятся,— и такие, что любовь без змеиной мудрости может еще губить. Наго всей Россией занесен меч врага. Нужны бойцы и рать; в ратном поле ни Мережковскому, ни Зине не устоять против врагов.

Новоселовщина и Флоренщина — спасение себя, а где же у них найдется место в душе для погубления души «за други своя». Правда их загнывает гнусностью невольной: Булгаков всех чище, но как «дитя малое» и «беспомощное».

Нужна змеиная мудрость; и, быть может, как школу опыта я Вам должен советовать так: в Вашей трагедии я с Мережковскими, а не с Новоселовым.

Долга не забывайте; мистических «сластей» бойтесь. Теперь (на год, на два) Вас успокоит Зина. Через два года — поговорим. Не уезжайте в Петербург, не повидавшись со мной. Христос с Вами, милая: братски целую Вас.



ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Заказное.

Армения. Эривань.

Зактаг

Якову Самсоновичу Хачатряню
для М. С. ШАГИНЯН.

Тифлис. Сололакская улица. Гостиница

«Националь», комната 15. Б. Н. Бугаев. Грузия.

НАШ АДРЕС: (до июля) Грузия. Шаропанский уезд. Сачхери. Котэ Абдушели. Для Б. Н. Бугаева.

Милая Мариэтта,

спасибо Вам за встречу; и все-таки: ощущение, что мы виделись меньше, чем могли бы; очень нас с К. Н. потянуло к Вам; хотелось бы еще говорить о многом; и — долго: не внешними словами, а всем существом; радостно было увидеть, что мы так долго не видались, и что в этом невѣдении и неслабшанье внешнем мы созвучны в ритмах исканий и устремлений; и — даже: не только не разошлись, а как будто сошлись; это чувство «разошлись» было у меня к Вам в эпоху скорей 15—21 годов; а сейчас, после нашей встречи, было радостно отметить: точно жизнь убрала между нами ненужные преткновения; мы ли более вырели, отделяясь от субъективного, слишком субъективного, жизнь ли историческая стрясла с нас сор субъекций и ненужных импрессий. Словом: нам с Вами было легко и хорошо; и спасибо за это хорошее; будем же перекладывать и слова ми, а не только мыслями и устремлениями.

Признаюсь Вам: в прошлом году мне не хотелось с Вами встретиться в Тифлисе,— не с Вами лично, а с теми случайными претыками меж нами, корень которых не расхождение индивидуумов, а словесные Qui pro quo и толстовские «я думаю, что она думает, что я думаю, а это не так» и т. д.: т. е. психологизм, мне столь ненавистный; я всегда Вас внутренне знал и любил, как Вас; но наши внешние встречи бывали какие-то подорожные, спешные (то — в Мюнхене, то — в Ленинграде); Вы — на север; я — на юг; и всегда сквозь призму людей, и Вам, и мне близких, но с которыми были мучительные и невыясненные отношения (Мер.¹⁵ Метнеры и т. д.). Создавалось впечатление, что и Вы, и я,— в колючей проволоке «и х» слов и мнений о нас, а не «мы», взятые по прямо-

¹⁴ Вместо подписи — масонский знак.

¹⁵ Мережковские.

му проводу: от «я» к «я»; и это было не виной нас, а случайностью обстановки встреч, всегда поспешных и из поспешности «н е р в н ы х»; зная и любя Вас, я не хотел прибавлять к нервным, поспешным встречам (как в Мюнхене, как в Ленинграде) еще новой встречи в этой же тональности: в Тифлисе.

И лишь в Эривани я ощутил, что по-хорошему и доброму мы встретились — так, как когда-то (помните, когда я пришел к Вам на елку).

В этом смысле я и досадовал в Эривани, что мы по-хорошему встретились; но — мало виделись.

Вместе с тем: мы были перегружены эриванскими впечатлениями (и люди, и природа, и производства, и гревности, и чтение книг и т. д.). Понятно, что мало виделись.

И вот, у меня возникла мысль — фантастическая, и вместе для нас с К. Н. уютная: в связи с Севаном.

Но прежде всего скажу о Севане.

Попав на Севан, мы тотчас в него влюбились: и у меня, и у К. Н. вырвалось: «Вот бы где помолчать с природой, с неделку, с две». А милый капитан Каспарьян, которого Вы, конечно, знаете, стал уверять нас, что это вполне осуществимо, что Вы жили на Севане, что он сам будет жить в одной из комнат бывшего убежища, что с провиантом можно устроиться и т. д. Мы до такой степени влюблены в Севан, что готовы на все, чтобы там прожить недели 2, даже 3,— покупаться, намолчаться, отдохнуть от людей, Москвы и даже себя; Севан создан для того, чтобы мы могли собраться с силами; здесь именно понимаешь Антея, сильного прикосновением к земле, ибо — земля-то как а я здесь?

Но... мы были на острове всего полчаса и не успели всего узнать, о всем договориться с Каспарьяном. И вот теперь, когда мы в Тифлисе,— у меня встают сомнения. Севан еще более говорит, но вот вопрос: безопасно ли жить на нем; есть ли кто-нибудь там? Я не о себе, а о К. Н. Мы, подмосковные жители, привыкли ко всякого рода нападениям; в 18 верстах от Москвы, у нас в Кучине, небезопасно углубиться далеко в лесную глушь (бывали всякие случаи хулиганства — ограбления, убийства и т. д.). Каспарьян, даже если бы он там жил, вероятно, будет в разъездах. Представьте себе: на острове — ни души; ночью причаливает лодка с гурными людьми; и — так далее... Я — не о себе беспокоюсь, а о К. Н.; может быть, Вам, в Армении смешны мои опасения? Но для окрестностей Москвы, где борьба с хулиганством ведется в государств. масштабе, они не смешны; монах, живший на Севане, умер; думаю, что Каспарьян не звал бы нас туда жить, если бы было абсолютно неудобно и опасно. Но все же: обращаюсь к Вам с просьбой: нельзя ли из Эривани узнать о Севане что-либо нас ориентирующее. Во-вторых: с продуктами устроиться можно; керосинку — привезем; вопрос лишь о том, чтобы не спать там на голых досках; можно ли там спать на хоть мешках с сеном или травой; прочее у нас — есть; белье, одеяла, подушки. И — третье: было бы очаровательно встретиться с Вами там; Каспарьян говорил, будто Вы хотели приехать. Вот где можно было бы, не мешая друг другу, и поговорить, и помолчать, и, что главное, просто побыть: и вместе, и врозь, ибо «вместе» включает в себя и — врозь.

Ответьте на мои вопросы, поскольку можете, но не удручайте себя заботами о справках; просто если знаете, как теперь там можно жить,— ответьте. И — еще раз: хорошо бы было там встретиться. Мы это с К. Н. совершенно от души, а не от «ветскости».

Я думаю о Севане вполне серьезно; едем завтра в Сачхери, где пробудем, максимум, до июля (до 1-го или 10-го); далее — свободны, готовы жить, где угодно; и более всего хотели бы прожить там — хоть с неделю! Поэтому: было бы желательно к 20, примерно, июню знать точно: утопия или прекрасная действительность приглашение нас пожить на Севане. Из Сачхери напишу Каспарьяну, но — пишу и Вам. Авось из 2-х писем что-либо да сложится определенное для нас. Нам потому важно знать уже в 20-х числах июня, поедем ли или нет на Севан, чтобы вовремя сообщить, куда далее двигаться: в Сачхери по моим представлениям не ловко жить дольше июля, а возвращаться в Москву не хочется до середины августа; морские курорты будут, вероятно, переполнены; и volens- nolens¹⁶ придется убираться в Москву, чего не хочу.

¹⁶ Волей-неволей (лат.).

Милая Мариэтта: не отрываясь, единым духом прочел Вашу книгу¹⁷; очень у м н о, и н т е р е с н о; кое с чем не согласен; при личном свидании многое мог бы сказать, скажу одно: книга поднимает огромную тему, но дает ей, по-моему, несколько случайное хуг. оформление; это скорей художественно-философский диалог, под которым — целая диссертация. Слабее всех — героиня (дочь профессора); великолепен профессор и Ястребцов. Обрываю, ибо нет места. Ну всего, всего хорошего. Еще раз спасибо: жду ответа.

Борис Бугаев.

К этому письму приложена фотографическая карточка Андрея Белого и его второй жены Клавдии Николаевны Васильевой от 20 мая 1928 года с надписями:

«Милой Мариэтте Сергеевне на память о встрече, которую трудно назвать «первой», таким знакомым и близким повеяла она мне.

Кл. Васильева.

Эривань. 20/V—28».

«Дорогой Мариэтте, с чувством неизменной связи (вопреки редкости встреч) — привет с подножий Казбека, где пережили столько и откуда притянулись к камням Армении.

Борис Бугаев.

Эривань, 28 года 20 мая».

Читатель сам оценит эти письма как яркий автопортрет Андрея Белого на протяжении двадцатилетнего нашего общенья. Сперва — нарастая в страстной потребности общенья, — письма идут к ее кульминации. Уже не почта — взад и вперед носит наши письма «красная шапка», посыльный, стоявший в те годы на каждом углу больших улиц Москвы.

Потом — со стороны Белого — общенье переходит в потребность уже личной встречи. Вмешиваются, как в хорошей драме, «on dit'ы», он говорит, они говорят, — новый тормозящий элемент, «сплетня», — Ходасевич, бывавший то у него, то у нас, — «передает» от него ко мне, от меня к нему. Все кажется испорченным и погибшим, но свидание все-таки назначается. В сочельник, на рождественскую елку.

Что представлял себе, идя ко мне, Андрей Белый, так близко соприкоснувшийся с чужой душой? Он хочет начать наше знакомство «с середины», с большой достигнутой духовной близости, чтоб не получилось так, как у него с Блоком: в письмах они стали предельно близкими, а встретились как чужие. Он идет на елку — в атмосфере той нереальной, надземной любви, которая рисуется ему в образе... Каком образе?

А его ждут две очень перепуганные бедные девочки, смертельно боявшиеся этого свиданья. Во-первых, негде. Не в каютке же, где и сесть и елку поставить места нет. По счастью, мадам Феррари вошла в положение, и даже с удовольствием: она отвела сестрам угол в своей гостиной, где были старинные часы, диван и кресла в пыльных чехлах, окна с немывтыми, мутными стеклами в сад и — угол для елки. Елочку и кой-какие украшения мы купили. Запаслись восковыми свечками. Но уже на угощенье денег не хватило. Осталось всего сорок копеек, и на эти сорок копеек мы купили коробку мармелада. Одеться нам было не во что: те же синие шерстяные платица — единственные на весь год; те же башмаки, побывавшие у сапожника для починки.

Стоя в волнении у зажженной елочки — руки в холодном поту, — мы ждали, а Борис Николаевич пришел такой же перепуганный, как

¹⁷ Речь идет о моем романе «Своя судьба».

и мы. Вместо необыкновенной женщины в сказочной обстановке, которая, быть может, мерещилась ему, он увидел двух молоденьких, смертельно бледных девочек двадцати и восемнадцати лет, державшихся за руки. Белый не ел, должно быть, весь день от волнения в ожидании этой елки. Он был голоден. И вот он стоит перед нами в позе рассказчика, говорит, говорит,— «завиваясь в пустоту»,— и поглощает одну за другой мармеладины, не замечая, что время уже за полночь, время идет ко второму часу, коробка пуста... Возможно, от такого же отчаянья, что «все пропало», какое было и у меня в душе.

Как это видит читатель из писем, мы все-таки мало-помалу поружились, и в трудную минуту путаницы с новоселовщиной и самоугрызений я обратилась к нему за советом. Он дал этот товарищеский совет, и я ему последовала, хотя уже тогда видно было, что пути наши резко расходятся: его путь вел к Рудольфу Штейнеру в антропософию. Мой был скрыт от меня, хотя инстинктивно я чувствовала, что и этот новый этап, по примеру гётевского Вильгельма Мейстера и его «ученических годов», тоже переходный, тоже только «испытание» и урок.

Договорилась с моим профессором Н. Д. Виноградовым, что буду приезжать на семинары и на сдачу отчетов. Всплакнула, прощаясь с Линой: она оставалась в нашей каютке дома Феррари. И на «максимке», самом дешевом поезде в России, двинулась по зову Мережковских в Петербург.

Сентябрь—декабрь 1972 г.— февраль 1973 г.

Дубулы — Москва — Переделкино.



ГЕНРИХ БЭЛЬ

★

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ С ДАМОЙ*

Роман

IX

Авт. с удовольствием пропустил бы в биографии Лени один эпизод, на который уже намекали некоторые свидетели, а именно: кратковременный эпизод, связанный с ее участием в политической жизни после 1945 года. Здесь авт. не столько изменяет его аналитический ум, сколько вера в подлинность событий. Но разве он имеет право усомниться в том, о чем с несомненностью говорят факты? И так, на этих страницах перед авт. со всей остротой встает, так сказать, альтернатива — словечко это очень любят все сочинители, профессионалы и непрофессионалы, — пропустить эпизод или нет. Впрочем, уже Хельцены, которые проводили с Лени много часов перед экраном телевизора, свидетельствуют, что Лени интересуется политикой, свидетельствуют в такой форме, что их слова не решился бы опровергнуть ни один юрист, ни один репортер. Вот какое высказывание Лени приводят супруги Хельцены (а они почти два с половиной года просматривали вместе с Лени все телевизионные программы на ее нецветном телевизоре): «Я больше всего люблю смотреть на лица людей, которые говорят о политике» (одна из редких прямых цитат из высказываний самой Лени). Суждения Лени о Барцелле, Кизингере и Штрауссе здесь нельзя воспроизвести, для авт. это было бы слишком опасно. Он не в силах себе этого позволить; его положение в отношении трех выше перечисленных господ можно сравнить только с его положением по отношению к высокопоставленному лицу (см. выше); конечно, он, авт., мог бы, основываясь на своем праве составителя, процитировать Лени и, говоря юридическим языком, взвалить бремя доказывания на нее, даже привлечь ее к ответственности; он уверен, что Лени не стала бы подводить ни его, ни Хельценов. И все же он предпочитает ограничиться намеками, не приводя доподлинных слов Лени. По весьма простой причине — авт. не хотел бы видеть Лени на скамье подсудимых. Он считает, что у Лени и без того достаточно неприятностей: ее единственный горячо любимый сын сидит в тюрьме, с недавних пор роюлю Лени грозит конфискация. Наконец, Лени волнуется и боится — она боится, что «понесла» от турка (Лени в разговоре с Гансом и Гретой Х.), из чего явствует одна физиологическая подробность — у Лени до сих пор бывает «то самое, что у всех женщин». И еще: над Лени нависла угроза газовой камеры, хотя никто не знает, может ли эта угроза быть приведена в исполнение; высказал ее один из живущих по соседству пенсионеров, бывший чиновник, который предпринял несколько тщетных попыток завоевать Лени (грубые приставания в темном парадном, заигрывания в булочной, эксгибиционистский акт, опять же в темном парадном). Далее — Лени попала прямо-таки в джунгли, где ее на каждом шагу подстерегают судебные исполнители разных степеней грозности; «даже с помощью маче-

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» №№ 2, 3, 4, 5 с. г.

те она не сумела бы выбраться из этих джунглей» (Лотта Х.). Так неужели же авт. заставит Лени повторить на суде ее уничтожающие, поразительно меткие (с литературной точки зрения) характеристики Барцеля, Кизингера и Штраусса? На этот вопрос можно ответить лишь однозначно: нет, нет и нет!

* * *

Ну, а теперь пора покончить с недомолвками: да, Лени участвовала в коммунистическом движении (подтверждено слово в слово Лоттой Х., Маргарет, Хойзером-старшим, Марией ван Доорн и одним бывшим активистом этого движения). Всем известно, что на афишах часто пишется: «...с участием...»; в большинстве случаев подразумевается участие знаменитостей, которые, однако, так и не появляются на сцене, их согласия даже не спрашивают, просто считается, что громкие имена послужат приманкой. Считалось ли, что и Лени послужит приманкой? Очевидно, считалось, хотя ошибочно. Бывший активист, который в настоящее время арендует газетный киоск на очень бойком месте в деловом квартале, оказался человеком лет пятидесяти пяти, весьма симпатичным — во всяком случае, по мнению авт.— и разочарованным, если не сказать ожесточенным. Он пожелал остаться неизвестным так же, как и высокопоставленное лицо; рассказ активиста авт. приводит в виде отдельных отрывков, так как их беседа все время прерывалась покупателями. Благодаря этому авт. стал нечаянным свидетелем в высшей степени своеобразной торговой политики, которую проводит бывший активист. За какие-нибудь полчаса он по меньшей мере раз четырнадцать — пятнадцать резко и возмущенно буркнул: «Порнографию не держим». Даже сравнительно безобидные органы печати, например бульварные листки, серьезные и несерьезные ежедневные газеты, а также иллюстрированные еженедельники почти или средне безобидные, активист продавал, как показалось авт., чрезвычайно неохотно. Осторожное замечание авт. насчет того, что в связи с торговой политикой бывшего активиста рентабельность киоска стоит под угрозой, означенный активист парировал словами: «Как только выйду на пенсию по старости, закрою эту душегубку. До сих пор я получаю сущие гроши как антифашист, узник концлагерей. Назначая эту пенсию, власти дали мне понять, что они предпочли бы, чтобы я не пережил фашизм. Моя смерть обошлась бы им дешевле. Но эту, с позволения сказать, прессу, это буржуазное дерьмо, эту порнографию в стиле империализма я все равно продавать не стану. Не стану, хотя меня собираются принудить под тем соусом, что киоск, который находится на столь бойком месте, будто бы «обязан предоставить своим реальным и потенциальным покупателям все, чем в данное время располагает рынок», цитирую заявление депутата городского совета от ХДС. Нет, от меня они этого не дождутся. Пусть продают бульварщину там, где ей самое место: на церковной паперти, рядом с желтыми клерикальными газетенками и ханжескими листками, проповедующими чистоту нравов. Повторяю. От меня они этого не дождутся! Никто: ни Наннен, ни Киндлер, ни Паннен, ни Шиндлер! Пусть бойкотируют — мне не впервой. Все равно я не откажусь от собственной цензуры и ихнее буржуазное рабье дерьмо продавать не стану. Лучше сдохнуть».

Для дальнейшей характеристики активиста стоит, пожалуй, отметить, что он не выпускал изо рта сигарету, что цвет лица и глаза у него были такие, какие бывают при больной печени, что его густые волосы почти совсем поседел и что он носил очки с высокой диоптрией. Руки у него дрожали, а на лице было написано такое яростное презрение ко всему, что авт., несмотря на все старания, не мог отделаться от мысли, что это презрение распространяется и на него тоже... «А теперь расскажу вам историю с Пфейфер, или, скорее, с дочкой Груйтена. Уже тогда эта история мне не нравилась, хотя в ту пору я по части догматизма мог заткнуть за пояс двадцать кардиналов... Дело вот в чем: мы узнали, что Лени полюбила солдата Красной Армии, рискуя жизнью, снабжала его продуктами, географическими картами, газетами, информацией о положении на фронтах. Узнали, что она родила от него ребенка, которому дала русское имя. И решили сделать из нее идейного борца. Но угадайте, чему Лени научилась, по ее сло-

вам, от солдата Красной Армии? Молиться! Полная чепуха! И все же мы хотели использовать эту дуреху. Не забывайте, что Лени была интересная женщина, просто красавица... Да, мне следовало послушаться Ильзы Кремер, которая говорила: «Имей мужество признаться наконец, что Гинденбург победил фактически и в сорок пятом. И оставь в покое эту милую женщину. Из-за вас она попадет в опасное положение, а пользы, в общем-то, не принесет». Однако соблазн был велик — она была рабочей, настоящей рабочей, хотя происходила из разорившейся буржуазной семьи. И мы добились своего: несколько раз она прошла с нами по городу с красным флагом в руках, хотя для этого ее пришлось чуть ли не подпортить — она оказалась болезненно застенчивым человеком. Несколько раз она очень эффектно восседала в президиуме, когда я произносил речь. Впрочем, мне неприятно вспоминать те времена». (И без того темная кожа Фрица потемнела еще сильнее. Являлось ли это свидетельством того, что он покраснел? Об этом надо спросить его. Кстати, имя Фриц — выдуманное, хотя авт. известно и настоящее имя Ф.) «По натуре Лени была истинным пролетарием. Это привлекало в ней. Она была просто неспособна воспринять буржуазный образ мышления, а уж тем паче блюсти свою выгоду... И все же Ильза Кремер оказалась права: мы только повредили ей, а для себя не извлекли никакой пользы. Буржуазные газетчики изловчились взять у нее интервью, они спрашивали ее об этом Борисе и о том, чему она научилась в «подполье». И каждый раз Лени отвечала: «Молиться». Это было единственное слово, которое из нее удалось вытянуть. Сами понимаете, что для реакционной печати Лени была просто находкой. Конечно, они не удержались и дали такую подтекстовку: «Научилась молиться в КПГ. Блондинка в стиле Делакура — троянский конь». Непонятно, зачем Лени и вправду вступила в КПГ, потом она так и не удосужилась выйти из нее. Поэтому когда партию запретили, к ней тут же пришли с обыском. Тогда Лени заупрямилась и, как она говорила, уже «по-настоящему» не захотела выходить. Однажды кто-то спросил Лени, почему она помогала нам, и она ответила: «Потому что в Советском Союзе есть такие люди, как Борис». Да, черт возьми, как это ни парадоксально звучит, но она и впрямь пришла к нам, хотя очень сложными путями. Я собираюсь уезжать в Италию, и мне жаль, что Лени так плохо живет. Обо мне она, наверное, вспоминает с неохотой. А то я попросил бы передать ей привет. Надо было послушаться Ильзы и старого Груйтена — отца Лени. Когда Лени разгуливала по городу с красным флагом, он только смеялся. Смеялся и качал головой».

Пожалуй, здесь следует добавить, что на всем протяжении разговора Фриц и авт. попеременно угощали друг друга сигаретами и что Фриц продавал столь презируемые им буржуазные газеты, наслаждаясь презрением к ним. Мало-мальски чувствительный покупатель мог бы воспринять его мимику и жестикуляцию как личное оскорбление. Сам Фриц прокомментировал свою деятельность в газетном киоске так: «Ну вот, теперь они пойдут домой поглощать это вранье, эту феодальную стряпню. Если вы читаете их газеты, то без труда поймете, что даже сами авторы статей разговаривают свысока с этими всеядными животными. А те жрут все подряд — и секс и гашиш — так же, как жрали раньше поповские рассказы. И носят то мини, то макси так же, как носили раньше эти свои скромные монашеские одеяния. Даю вам добрый совет: голосуйте за Барцеля или за Кепплера, при них, по крайней мере, вы будете получать либеральное дерьмо из первых рук. Лично я изучаю итальянский, единственный настоящий язык. И распространяю лозунг: «Гашиш—опиум для народа».

* * *

После долгих поисков авт. удалось обнаружить в архиве газету, которую упоминал Фриц, рассказывая о Лени. То была газета для верующих, год издания 1946; при сличении оказалось, что Фриц «дословно запомнил газетные строчки» (авт.).

Интересными и потому достойными более подробного разъяснения авт. считает два обстоятельства: во-первых, текст самой статьи; во-вторых, иллюстрацию

к ней — фотографию президиума, украшенного флагами и эмблемами КПГ. На переднем плане мы видим трибуну, у которой стоит Фриц в позе пламенного оратора, поразительно молодой Фриц — ему лет 25—30, и он еще не носит очков. На заднем плане видна Лени; она держит флажок с эмблемой СССР так, что он как бы осеняет голову Фрица; присмотревшись к позе Лени, авт. невольно вспомнил церковные штандарты и ту роль, которую они играют в некоторых церемониях, вспомнил наконец торжественные секунды, когда эти штандарты склоняются. А теперь перейдем к самой Лени; авт. она показалась, во-первых, симпатичной, во-вторых, не на месте. Он бы с удовольствием собрал воедино всю свою нерастрченную гипнотическую силу, дабы с помощью какой-нибудь еще не изобретенной линзы выжечь лицо Лени на снимке. К счастью, фото настолько плохо отпечатано, что только посвященные узнают на нем Лени. Надо надеяться, что в архивах не хранится негатива этой фотографии. Саму статью следует, вероятно, привести здесь полностью. Вслед за уже процитированной подписью чуть ниже фотографии идет текст: «Молодая женщина, принадлежащая к нашей церкви, научилась молиться у красных орд. Трудно поверить, но это так! По сведениям, полученным из достоверных источников, эта молодая женщина, которую не знаешь, как правильно назвать, то ли фрейлейн Г., то ли фрау П., уверяет, что она вновь стала молиться после встречи с офицером Красной Армии. Женщина эта — мать внебрачного ребенка, которого она прижила, вступив в противозаконную, если не сказать противоестественную, связь с советским военнослужащим через два года после того, как ее законный супруг П. сложил голову на родине отца ее внебрачного ребенка. И эта женщина без стеснения агитирует за Советский Союз! Читатели не нуждаются в комментариях — они знают цену такой слепоте. Но, быть может, здесь уместно задать вопрос: не следует ли считать некоторые формы так называемой политической наивности формами политической преступности? Всем известно, где учатся молитвам люди порядочные — на уроках закона божьего и в церкви; всем известно, за что мы молимся — мы молимся за христианский абендланд. Не исключено также, что некоторые наши читатели, поразмыслив немного, вознесут тихую молитву за фрейлейн Г., она же госпожа П. Видит бог, сия особа очень нуждается в этой молитве. Но, во всяком случае, для нас, верующих, экс-обер-бургмистр доктор Аденауэр куда более убедительная фигура, чем обманутая, возможно даже, психически ненормальная фрау (фрейлейн?) П., которая происходит хоть и из порядочной, но совершенно опустившейся семьи».

* * *

Далее авт. удалось проверить одну важную деталь: палочки, которые ставила Мария ван Доорн на двери в день, когда Пфейферы просили у Груйтенов руки Лени для своего Алоиса, существуют по сию пору. Грета Хельцен обнаружила их на дверном косяке. Да, в тот знаменательный день слово «честь» и впрямь было произнесено шестьдесят раз. Этим доказано два обстоятельства: во-первых, ван Доорн — надежная свидетельница; во-вторых, двери в квартире Лени не красились на протяжении тридцати лет.

* * *

Авт. удалось установить также значение странного слова «кристелье», затратив, впрочем, немало усилий, которые оказались совершенно бесполезными. Сперва авт. предпринял несколько попыток (как раз бесполезных!) узнать у молодых клириков значение этого термина, напоминающего по созвучию клистир. Термин этот был сообщен ему чрезвычайно надежной свидетельницей старушкой Коммер в разговоре о церкви. Итак, результат первой попытки был негативным. Неоднократные звонки в различные церковные благотворительные организации также ни к чему не привели — эти организации сочли (абсолютно обосновательно), что их разыгрывают; нерешительно, с тысячей предосторожностей они просили пояснить им слово «кристелье» в контексте, но выслушивали лингвистические упражнения авт. без всякого интереса и тут же бросали трубку,

то есть клали ее на рычаг; все это рассердило авт. и отняло у него много драгоценного времени. Наконец ему пришла в голову мысль, которая могла прийти раньше, а именно: спросить о значении непонятого слова Марию ван Доорн, поскольку слово это явно родилось где-то в пределах треугольника Верпен—Толцем—Лисселих. Не задумываясь ни на секунду, Мария заявила, что речь идет о местном термине для обозначения «христианского обучения», иначе говоря, «обучения молитвам». «Собственно, так у нас называли уроки закона божьего, которые священник проводил вне школы; на эти уроки заглядывали иногда и взрослые, чтобы освежить в памяти некоторые молитвы. Одно плохо, уроки обычно проходили в такое время, когда мы заваливались спать после сытного обеда,— часа в три дня по воскресеньям» (Мария ван Доорн).

Видимо, мы имеем здесь дело с католическим вариантом лютеранской «воскресной школы».

* * *

Авт. (который и без того прекратил на время свои розыски из-за боксерского матча Клей — Фрейзер) впал в тяжкие сомнения — он не знал, вправе ли он тратить крупные суммы и тем самым наносить ущерб финансовому ведомству, иными словами, не знал, вправе ли он предпринять поездку в Рим, чтобы попытаться собрать материалы о судьбе Гаруспики в центральном архиве ее ордена. Весьма солидные затраты авт. на встречи с двумя иезуитами во Фрейбурге и в Риме, включая сюда стоимость телефонных разговоров, телеграмм, почтовых отправлений и ж. д. билетов, себя не окупили; встречи оказались чрезвычайно интересными, но очень мало дали следствию; ничем существенным авт. не обогатился, если не считать подаренного ему лично изображения святого. Совсем иное дело Маргарет с ее расшатанными экзокринной и эндокринной системами. Посещая Маргарет, авт. почти ничего не тратил, если не считать таких пустяков, как покупка нескольких букетиков, фляжки с джином (весьма скромных размеров) и пачки сигарет; даже такси авт. обычно не брал, справедливо считая, что ему куда полезней пройтись пешком. Но именно в разговорах с Маргарет удалось выяснить несколько весьма существенных и совершенно неожиданных подробностей о Генрихе Груйтене... К тому же, кроме налогово-политических соображений, авт. останавливали еще чисто личные соображения — он боялся причинить неприятности милой сестре Цецилии, боялся поставить в неловкое положение сестру Саппенцию, наконец, боялся, что Альфреда Шейкенса — правда, не вызывавшего особой симпатии — еще раз подвергнут наказанию и перебросят на новое место.

Чтобы решить все эти проблемы в спокойной обстановке, авт. отправился к низовьям Рейна в вагоне второго класса, в поезде без вагона-ресторана и даже без буфета с напитками; он проехал город паломников Кевелар, проехал родину Зигфрида, а вслед за тем город, где Лоэнгрин пережил стресс, потом сел в такси и, миновав родину художника Бойса, остановился в деревне в двух километрах от железной дороги; деревня эта сильно смахивала на голландскую. Утомленный почти трехчасовой ездой в неудобном поезде и в такси и немного раздраженный, авт. решил сперва подкрепиться в закускойной, где весьма приятная блондинка любезно накормила его булочками, салатом с майонезом и котлетами (горячими); кофе она посоветовала пить напротив, в деревенской гостинице. Улица тонула в тумане, казалось, будто ты в прачечной. Авт. сразу смекнул, что Зигфрид, который, по преданию, во времена оны проскакал через Нифельхейм, направляясь в Вормс, на самом деле был родом из этого самого Нифельхейма. В гостинице было тепло и тихо; сонный хозяин наливал хлебную водку двум не менее сонным посетителям, авт. он также пододвинул большую рюмку водки, заметив: «При такой погоде это самое подходящее питье, по крайней мере, не привяжется простуда. Да и салат лучше всего запивать водкой». После этого он снова, как ни в чем не бывало вернулся к прерванной беседе с полусонными гостями, к беседе, которая шла на диалекте, явно напоминавшем сильно наперечное голландское кушанье, и велась гортанными голосами, какими говорят

аборигены Батавии. Несмотря на то, что авт. удалился от своих родных пенатов всего на сто километров, он казался самому себе уроженцем совсем иных, южных широт. Полусонные посетители гостиницы и полусонный трактирщик, который уже во второй раз налил авт. водки, не проявили к его особе никакого интереса, что пришлось авт. по душе. Главной темой беседы, видимо, служила церковь, или, как ее называли в тех местах, «кирка» как в конкретном архитектурном и организационном плане, так и в абстрактном, чисто метафизическом; усердное качивание головами, бормотанье, невнятные слова о каких-то «паапенах»... Впрочем, это отнюдь не означало, что собеседники имели в виду злополучного рейхс-канцлера; наверное, уважающие себя посетители заезжего двора вообще сочли бы фон Папена недостойным упоминания. Интересно, знал ли хоть один из трех собеседников — как ни странно, но, будучи немцами, они совсем не поминали войну! — знал ли хоть один из них Альфреда Буллхорста? Надо думать, его знали все трое, возможно даже... Да, почти наверняка они сидели с Альфредом за одной партией; по субботам после ванны, с непросохшими прилизанными волосами шли вместе на исповедь, в воскресенье утром бежали на мессу, а в воскресенье днем — на урок закона божьего, который чуть южнее называют «крестелье». Наверное, вместе с Буллхорстом они съезжали в деревянных башмаках с ледяных горок, время от времени ходили молиться в Кевелар и контрабандой переправляли из Голландии сигареты. Судя по возрасту, они должны были его знать, ну конечно же, знали его. Знали человека, который умер в госпитале у Маргарет после того, как ему ампутировали обе ноги, человека, чья солдатская книжка должна была узаконить — пусть на очень короткое время — существование советского военнопленного. От третьей рюмки водки авт. отказался, он попросил чашку кофе, боясь, что приятно усыпляющая атмосфера трактира усыпит его окончательно. Неужели Лоэнгрин пережил стресс именно в такой туманный день в Нифельхейме? И все из-за того, что Эльза задала ему свой вопрос? Неужели здесь он начал свой полет на лебедь, чьим именем потомки не постеснялись назвать сорт маргарина?

Кофе был очень вкусный, его наливала невидимая авт. женщина, перед глазами авт. мелькнули только ее бело-розовые полные руки; хозяин любезно насыпал на блюдце целую гору сахара и подал традиционный молочник, но не с молоком, а со сливками. Кирка, папы... В голосах трех собеседников, все еще приглушенных, слышались сердитые нотки. Почему, почему Альфред Буллхорст не родился на три километра западнее? Ну, а если бы он родился западнее, какую солдатскую книжку украла бы в тот день Маргарет для Бориса?

Подкрепившись немного, авт. первым делом отправился в церковь, он решил использовать мемориальную доску с именами павших как адресную книгу. На доске фигурировали четыре Буллхорста, но среди них только один звался Альфредом. Смерть этого Альфреда — он умер двадцати двух лет от роду — была помечена не 1944 годом, а 1945-м. Странная история! Может быть, Буллхорст был похоронен дважды, как и Кейпер, вместо которого во второй раз умер Шлёммер? Дьячок, пришедший в церковь для каких-то своих церковных надобностей — авт. уже не помнит, какого цвета были покровы, разложенные вокруг, зеленые, лиловые или красные? — дьячок, без тени смущения появившийся на пороге ризницы с трубкой в зубах, наверное, все знал. Как жаль, что авт. совершенно не умеет лгать, или, если угодно, сочинять (читатель уже успел заметить, видимо, что приверженность авт. к фактам иногда даже раздражает). Еле живой от смущения, он невнятно пробормотал несколько слов насчет того, что он, дескать, встречал некоего Альфреда Буллхорста во время войны. Дьячок отнесся к его заявлению скептически, хотя и не проявил особой подозрительности. Во всяком случае, он охотно разъяснил, что «их» Альфред попал в катастрофу на шахте и погиб во французском плену и что похоронен он в Лотарингии, за его могилой постоянно следит садоводство в Сен-Аволде, соответствующие расходы несут родственники. Далее он сообщил, что невеста Буллхорста — «нежная, красивая девушка, блондинка, очень милая и умная», ушла в монастырь, а его родители до сих пор безутешны, особенно они убиваются из-за того, что их

сына настигла смерть уже после окончания войны. Да, Альфред был рабочим на маргариновой фабрике, хорошим парнем, очень смирным, солдатскую форму надел без энтузиазма. Где, собственно, с ним встречался авт.? Лысый дьячок и сейчас не проявил особой подозрительности, но его уже начало разбирать любопытство; он взглянул на авт. так внимательно, что тот, быстренько преклонив колени и наспех попрощавшись, улизнул из церкви. Авт. не хотелось называть правильную дату смерти Альфреда, не хотелось рассказывать родителям Альфреда, что они ухаживают за могилой, в которой погребены бранные останки, пепел и прах русского. Не хотелось рассказывать вовсе не потому, что он, авт., считает пепел и прах лже-Альфреда недостойным забот... Отнюдь нет! Просто он понимает, что людям было бы неприятно узнать, что в могиле лежит другой, а не тот, о ком они пекутся. Однако авт. больше всего беспокоило одно обстоятельство: неужели немецкая похоронно-бюрократическая машина не сработала? Странная история! Да и дьячок, наверное, тоже почувствовал кое-какие странности в поведении авт.

* * *

Здесь нет смысла останавливаться на трудностях, связанных с добыванием такси, а также описывать сравнительно долгое ожидание в Клеве, равно как и почти трехчасовое возвращение в крайне некомфортабельном поезде, опять же проходившем через Ксантен и Кевелар.

Маргарет, которую авт. в тот же вечер подверг допросу, поклялась «всеми святыми», что Альфред Буллхорст — белокурый печальный юноша с ампутированными ногами, жаждавший прихода священника, — умер у нее на руках. Все так и было, но только, прежде чем сообщить о его смерти, она немедленно побежала в канцелярию, где уже кончился рабочий день, открыла шкаф заранее подобранным ключом, вынула из шкафа солдатскую книжку умершего, сунула ее в сумочку и лишь потом сообщила о его кончине. Да, конечно, Буллхорст рассказывал ей о своей невесте, красивой, спокойной, белокурой девушке, упомянул также о родном селении, о том самом селении, которое авт. во имя полной достоверности посетил, преодолев немало трудностей. Маргарет, впрочем, не исключала, что в спешке перед очередной перебазировкой госпиталя не были соблюдены все формальности, при этом она имела в виду не захоронение покойного, а всего лишь отправку родным похоронной.

Здесь, однако, следует поставить вопрос ребром — действительно ли немецкая бюрократия на сей раз не сработала? Быть может, авт. следовало проникнуть к старым Буллхорстам и поведать им всю правду насчет останков и насчет могилы, на которой по их распоряжению ежегодно высаживают на праздник всех святых вереск или анютины глазки? Заодно авт. должен был бы спросить этих почтенных людей, неужели они ни разу не заметили большого букета алых роз от Лени и ее сына Льва, которые время от времени навещают могилу. Наверное, авт. нашел бы в доме у старых Буллхорстов ту красную, напечатанную типографским способом открытку, которую заполнял Борис, сообщая, что он жив-здоров и находится в американском плену.

Все эти вопросы должны остаться открытыми. Авт. откровенно признает, что, не будучи ни Эльзой из Брабанта, ни Лоэнгрином, он тем не менее испытал нечто вроде нервного срыва под недоумевающе-недоверчивым взглядом ниже-рейнского, почти нидерландского дьячка в селении недалеко от Нымвегена.

* * *

Так и не выяснив обстоятельств смерти Гаруспики, авт., к его величайшему удивлению, удалось узнать многие подробности, связанные с прошлым этой монахини, а также некоторые планы на будущее; правда, это были планы не самой Гаруспики, а людей, которые распорядились ее будущим. Поездка в Рим, которую авт. все же решил предпринять, неожиданно-негаданно оказалась удачной.

Что касается самого города Рима, то здесь авт. отсылает читателя к соответствующим рекламным проспектам и путеводителям, к французским, англий-

ским, итальянским, американским и немецким кинофильмам, равно как и к обширной литературе об Италии на немецком языке; ко всему этому ему нечего добавить. Зато авт. хотел бы сразу отметить, что, гуляя по Риму, он понял желание киоскера Фрица; что ему пришлось специально изучить разницу между иезуитским монастырем и другими монастырями и, наконец, что его приняла совершенно очаровательная монахиня не старше сорока одного года, которая в ответ на его лестные слова о сестрах Колумбанус, Пруденции, Цецилии и Сапиенции улыбалась неподдельно доброй и умной улыбкой без тени пренебрежения.

В разговоре с этой сестрой была упомянута и Лени, и выяснилось, что имя ее известно в главной канцелярии ордена, живописно расположенной на холме в северо-западной части Рима. Шутка ли сказать, в Риме было известно имя Лени! В этой обители среди пиний и пальм, среди мрамора и бронзы, в прохладных, чрезвычайно элегантных покоях с черными кожаными креслами у столика, на котором дымились чашки с вполне приличным чаем, было известно имя Лени! Оно было известно монахине, которая сумела не заметить зажженную сигарету авт. на краю блюдечка, не заметить не демонстративно, даже не по невниманию, а легко и непринужденно. Да, это была поистине очаровательная монахиня, которая писала свой диплом о Фонтане и собиралась защищать диссертацию по Готфриду Бенну (!), правда не в университете, а в высшем учебном заведении ордена. Исключительно образованная монахиня в простом одеянии (оно очень шло ей), германистка, для которой даже имя Хейссенбюттеля отнюдь не является загадкой. И эта женщина знала о существовании Лени!

Попытайтесь представить себе всю картину. Рим! Тени от пиний, цикады, вентиляторы, чай, миндальные пирожные, сигареты, примерно шесть часов полудни... И среди всего этого великолепия — женщина, обольстительная во всех смыслах, как физически, так и интеллектуально, женщина, которая при упоминании «Маркизы фон О...» не проявила ни тени смущения, которая, когда авт. закурил вторую сигарету, только-только загасив первую о чайное блюдечко (подделка под мейсенский фарфор, но хорошая подделка!), вдруг прошептала даже несколько охрипшим голосом: «Дайте мне, черт возьми, тоже сигаретку, перед запахом виргинского табака я не могу устоять», а потом затаилась этой сигаретой, просто-таки «греховно» затаилась — другого выражения авт. не подберет, — затаилась и прошептала явно заговорщическим тоном: «Если в комнату войдет сестра Софья — сигарета ваша». И вот эта особа здесь, в центре мира и в самом сердце католицизма, знала Лени, знала ее даже под фамилией Пфейфер, а не только как Лени Груйтен...

Когда я перешел к цели своего визита, сия божественная особа, которая с добросовестностью подлинного ученого рылась в зеленом картонном ящике размером в А₄ по ДИН¹ — высота 10 см, — начала рассказывать мне о сестре Рахели, время от времени заглядывая в бумаги, в связки бумаг, чтобы освежить в памяти отдельные эпизоды из жизни Гаруспики... «Рахель Мария Гинцбург родилась недалеко от Риги в 1891 году, в 1908 году окончила гимназию в Кенигсберге, училась в Берлинском, Геттингенском и Гейдельбергском университетах, закончила биологический факультет в 1914 году в Гейдельберге. Во время мировой войны много раз арестовывалась как пацифистка и социалистка, к тому же еврейского происхождения. В 1918 году написала диссертацию об основах эндокринологии у Клода Бернара, впрочем, работу эту было трудно защитить, поскольку она затрагивала слишком много сфер: медицину, теологию, философию, этику и мораль. В конце концов один терапевт все же согласился признать ее медицинским трудом. Далее, Гинцбург была практикующим врачом в рабочих поселках Рурской области. В 1922 году перешла в христианство... Чтение лекций среди молодежи, состоявшей в различных юношеских организациях. Вступление в монастырь, сопряженное с большими трудностями, которые следует отнести не столько за счет материалистического мировоззрения означенной особы, сколько за счет ее возраста. Как-никак в 1932 году упомянутой даме исполнился сорок

¹ Deutsche Industrie Norm — германский промышленный стандарт.

один год, и в ее жизни были, мягко выражаясь, отнюдь не только платонические увлечения. Ходатайство кардинала. Пострижение в монахини. Через полгода запрещение заниматься преподавательской деятельностью. Ну, а... — При этих словах прекрасная сестра Клементина без всякого стеснения протянула руку к сигаретам авт. и сунула себе в рот очередной «гвоздик» (авт.) — ...Ну, а дальнейшее вы и сами в общих чертах знаете. Мне хотелось бы только рассеять ваши подозрения насчет того, что сестру Рахель притесняли в монастыре в Герзеле-не. Как раз наоборот, там ее прятали. Монастырь заявил, что она «пропала без вести». Таким образом, филантропические, возможно, даже слегка лесбо-эротические порывы фрейлейн Груйтен — она же госпожа Пфейфер, — порывы и заботы фрейлейн Груйтен были на самом деле смертельно опасны для сестры Гинцбург, для монастыря и для самой фрейлейн Груйтен. Садовник Шейкенс, впускавший госпожу Пфейфер в обитель, также поступал в высшей степени легкомысленно... Ну да ладно. все это уже в прошлом, все это уже пережито, хотя пережито не без взаимных обид и горечи. Полагаю, что вы в той или иной мере знакомы с диалектикой и с учением о причинности, поэтому не стану подробно объяснять вам, почему человека, которого хотят спасти от концлагеря, приходится прятать в условиях, напоминающих концлагерь. Да, все это выглядит ужасно, но еще ужаснее было бы выдать сестру Рахель. Не правда ли? В монастыре она не пользовалась любовью, часто происходили неприятные стычки, обмен колкостями, однако виноваты были обе стороны, ибо сестра Рахель отличалась упрямством. Одним словом, самое кошмарное ещепереди!.. Поверите ли вы, если я скажу со всей ответственностью, что орден никак не заинтересован в появлении новой святой или мученицы? Но что ввиду... ввиду известных загадок природы, которые орден с удовольствием устранил бы, что ввиду этих загадок он вынужден вступить на путь, явно не пользующийся в наши дни популярностью. Будете ли вы мне верить?»

Эта грамматически сомнительная фраза, этот вопрос, поставленный в будущем времени, показался авт. очень странным в устах монахини, греховно затягивающей сигаретой «Виргиния», в устах женщины, которая не может не любоваться в зеркале классической линией своих красиво вычерченных темных бровей, своим изящным монашеским убором, своим на редкость соблазнительным ртом, сильным и чувственным, и которая достаточно умна, чтобы понимать всю притягательную силу своих прелестных рук, в устах женщины, чрезвычайно скромная одежда которой все же дает понять, что под этой одеждой скрывается безукоризненная грудь... Да, из уст такой женщины авт. никак не ожидал услышать будущее время в соединении с глаголом «верить» и вообще этот ни с чем не сообразный вопрос. Разумеется, никто не может возразить против обычных вопросов, поставленных в будущем времени. Например: «Будете ли вы со мной видаться?» Или: «Будете ли вы просить моей руки?» Однако вопрос «будете ли вы мне верить?» неуместен, если человек, которому его задают, еще не знает, чему он, собственно, должен верить! Авт. проявил слабость и кивнул в знак согласия, более того, понуждаемый настойчивым взглядом, еще и к словесному высказыванию он одними губами прошептал слово «да», прошептал его с таким трепетом, с каким это слово произносят разве что перед брачным алтарем. Впрочем, иначе он (авт.) и не мог поступить. Ведь ему уже в ту минуту было ясно как дважды два, что поездка в Рим удалась. Однако слово «да», произнесенное одними губами, дало авт. возможность приобщиться к небывало изысканной целибато-платонической эротике, к монастырской эротике, так сказать, класса люкс, к той эротике, которую уже преподала ему сестра Цецилия, но только в куда более примитивном варианте. Однако и сама сестра Клементина поняла, видимо, что зашла чересчур далеко, она решительно пригласила блеск своих прекрасных глаз, ее алые губы сложились в кислую гримасу — увы, и вправду кислую! — и сестра Клементина разразилась тирадой, которую авт. не мог воспринять иначе, чем сознательно уготованный ему холодный психологический душ. Нельзя сказать, что эту тираду она произнесла не моргнув глазом. Как раз наоборот. Сестра Клементина очень даже интенсивно моргала, но ее рес-

ницы производили, как ни странно, отрезвляющее действие — они были короткие, жесткие и вызвали ассоциацию со щеткой. Вот что сказала сестра Клементина: «Между прочим, если сегодня мы примемся обсуждать проблематику новеллы «Маркиза фон О...», наши ученицы с присущим им цинизмом заявят: «Хоть она и была вдовой, ей следовало пользоваться пилюлей². Мало ли что случается»... Теперь даже такие высокопоэтичные произведения, как произведения великого Клейста, низводятся до уровня бульварных журнальчиков. Тем не менее я не собираюсь отступить и скажу вам все. Самое скверное в случае с Гинцбург вовсе не то, что мы, как вам могло показаться, устраиваем разные махинации с чудесами. Нас пугает обратное — мы не можем избавиться от чудес! Не можем избавиться от роз, которые вырастают посреди зимы на том месте, где была когда-то похоронена сестра Рахель! Признаюсь, мы перестали допускать вас к сестре Цецилии и к Шейкенсу, — кстати, он живет припеваючи, за него не стоит тревожиться, — да, мы перестали допускать вас к ним. Но не потому, что устраивали махинации с чудесами, а потому, что чудеса устраивали ужасающие махинации с нами. Естественно, нам приходится держать на расстоянии посторонних людей, особенно склонных к сочинительству. Но происходит это не потому, что мы желаем кого-либо канонизировать, а как раз потому, что мы не желаем никого канонизировать! Верите ли вы мне теперь, как обещали?»

На этот раз, прежде чем ответить, авт. задумчиво и «испытующе» взглянул на свою собеседницу. И что же? Сестра Клементина вдруг сникла — другого выражения авт. не подберет, — она сникла и стала явно нервничать, сдвинула свой убор, и тут авт. увидел во всей красе ее густые темно-рыжие роскошные волосы. Все это чистая правда, увы! А потом сестра Клементина снова потянулась за сигаретой, на сей раз привычным жестом заядлой курильщицы-студентки, убедившейся часа в четыре утра, что доклад о Кафке, который она должна прочесть через шесть часов, совершенно не удался. Сестра Клементина налила авт. чай, добавила молока, положила сахар, и притом в самой любимой его пропорции. Она даже размешала сахар и пододвинула к авт. чашку, после чего посмотрела на него с мольбой — другого выражения здесь опять-таки не подберешь.

Напомним еще раз. Солнечный весенний день. Рим. Аромат пиний. Вдали замирающее стрекотанье цикад... Колокольный звон, мрамор, глубокие кожаные кресла, деревянные кадки с только что распустившимися пионами. И все эти предметы буквально источают католицизм, тот католицизм, о котором время от времени грезят лютеране. А напротив авт. Клементина, поначала во цвете сил и красоты, а потом вдруг увядшая. Увядшая после своего замечания насчет маркизы фон О... Вот она со вздохом перебирает в картонной коробке бутылочного цвета пачки бумаг, скрепленные либо канцелярскими скрепками, либо надетыми на них резинками... Пять, шесть, десять, восемнадцать тонких пачек бумаг... Всего их в коробке оказалось двадцать шесть.

«Каждый год мы получаем отчеты с описанием одного и того же факта: в декабре из-под земли внезапно появляются розы. Розы, которые отцветают тогда, когда обычные розы только-только начинают расцветать. Мы прибегли к самым отчаянным мерам, вам они могут показаться чудовищными: мы ее эксгумировали, мы перенесли ее... ну, скажем, останки, которые уже совершенно истлели, что соответствует сроку их пребывания в земле, мы перенесли ее останки на другое кладбище в стенах монастыря. Но и там расцвели эти кошмарные розы. Тогда мы опять эксгумировали труп, еще раз перенесли его на новое место и снова эксгумировали. На сей раз мы подвергли прах кремации, а урну установили в часовне, где не было и в помине никакой земли. Розы вылезли из урны, они форменным образом заполнили всю часовню. Тут мы опять схватили пепел и закопали его в землю. И что же? Опять розы! Я уверена, если бы мы погрузили пепел на самолет и развеяли его в океане или в пустыне, результат был бы тот же. Розы! Вот в чем проблема. Нет, мы не намерены делать ника-

² Намек на бесконечные споры вокруг «пилюли» — противозачаточного средства, которое долго не желала признавать католическая церковь.

ких сообщений, проблема в том, чтобы сохранить все в тайне. Только поэтому мы не допускали вас к сестре Цецилии, только поэтому сделали Шейкенса управляющим в одном из наших имений недалеко от Вюрцбурга, только поэтому нас до сих пор беспокоит госпожа Пфейфер... Понимаете? Нас беспокоит не то, что она отрицала бы... ну, скажем, эту загадку природы, а то, что госпожа Пфейфер, если судить о ней по данным, которыми я располагаю, и по данным, которые вы мне сообщили дополнительно... Одним словом, госпожа Пфейфер наверняка сочтет совершенно естественным, что из пепла ее Гаруспики каждый год примерно в середине декабря вырастают розы. Густой колючий розовый куст точь-в-точь как в сказке о Спящей Красавице. Уж лучше бы это безобразие случилось в такой стране, как Италия, здесь нам можно было бы никого не бояться, даже коммунистов. Но для Германии это возврат к средневековью. Что станет с реформой литургии? Что станет с научно-биологическим обоснованием так называемых чудес? Не забывайте также еще одно обстоятельство: никто не в состоянии гарантировать, что розы будут цвести и после того, как мы обнародуем эту историю. А вдруг цветение прекратится? Что тогда? Даже весьма реакционные круги в Риме советуют прикрыть это дело; разумеется, с подобающей корректностью. Для ознакомления с феноменом розового куста мы пригласили ботаников, биологов и богословов, конечно же, потребовав от них сохранения тайны. И что вы думаете? Кто больше всех переполошился? Кто заговорил о сверхъестественном? Ботаники и биологи! Отнюдь не богословы. А теперь взгляните на этот казус с точки зрения политики. Начиная с сорок третьего года из пепла еврейки, которая приняла католичество, стала монахиней, тут же была лишена права преподавания и умерла при весьма печальных обстоятельствах — назовем вещи своими именами, — из пепла монахини начали вырастать розы. Полная чертовщина. Черная магия! Мистика! В довершение всего это дело передали мне, именно мне, человеку, который позволил себе критически отозваться о биолизме Бенна. Знаете ли вы, что сказал вчера по телефону один видный прелат? Хихикая, он сказал: «Святой Павел явил нам и так достаточно чудес. Спасибо. Больше не надо. Нам хватает little flowers³, и, стало быть, цветами мы обеспечены...» Я надеюсь, что и вы тоже... Что и... вы будете молчать...»

В ответ авт. не сказал «да», наоборот, он энергично покачал головой и еще подкрепил этот жест совершенно недвусмысленным «нет». Клементина улыбнулась. Устало улыбнулась и скомкала пустую пачку из-под сигарет; сперва она смахнула ею окурки со своего блюдца на блюдце авт., потом устало стерла той же пачкой следы пепла и выбросила окурки в синюю пластмассовую корзину для бумаг. Все еще улыбаясь, она встала в знак того, что аудиенция закончена... Это произошло столь быстро, что авт. до сих пор находится в нерешительности — может быть, в Риме все же объявят о совершившемся чуде, хотя орденом было принято обратное решение?..

Клементина проводила авт. до ворот, но теперь она вела с ним чисто светскую беседу о литературе. До ворот было относительно далеко — авт. и К. шли метров четырехста по огромному парку, где росли кипарисы, пинии и олеандры (см. выше). Дойдя до шоссе, откуда открывался вид на желто-красный Вечный город, авт. сунул Клементине запасную, еще не распечатанную пачку сигарет, и Клементина с улыбкой спрятала ее в рукав своей монашеской рясы, этого похожего на балахон одеяния, которое казалось настолько твердым и в то же время столь необъятным, что в нем можно было спрятать и более крупные предметы. Ожидая автобуса, который довез бы его до Ватикана, авт. вдруг явственно ощутил, что ему надоели платонические чувства, — он затолкнул Клементину за стволы двух молодых кипарисов и, ничуть не смущаясь, поцеловал ее в лоб, в правую щеку, а потом и в губы. Она не сопротивлялась, только вздохнула и пробормотала: «Да, да». Помолчала немного и, улыбувшись, в свою очередь поцеловала авт. в щеку. А позже, когда автобус был уже у самой остановки, сказала: «Заходите опять... но только не надо роз, пожалуйста».

³ Цветочков (англ.).

* * *

Нетрудно догадаться, что авт. расценил аудиенцию в Риме как весьма удачную; нетрудно догадаться также, что он решил не медлить с отъездом, чтобы сразу же не поставить под удар некоторых лиц. А поскольку авт. не признает поговорки «тише едешь—дальше будешь», он проделал обратный путь на самолете. Уже тогда он совершенно потерял покой — и не обрел его до сегодняшнего дня! — потерял покой, не зная, в какой степени, насколько и до каких пределов надо рассматривать его поездку как личную и до каких пределов как общественно полезную. Все вышеизложенное касается дорожных издержек. Но и в другом отношении авт. потерял покой, правда только наполовину: он не знает, какую цель, собственно, преследовала К., хитрила ли она и добивалась паблсити для чуда с розами в монастыре в Герзелене или же, наоборот, хотела предотвратить всякую гласность. И как авт. должен вести себя в том случае, если ему удастся проникнуть в мысли столь милого его сердцу существа: объективно, как повелевает долг, или субъективно, как подсказывает любовь и желание угодить К.?

* * *

Вдобавок ко всему авт., всецело поглощенный решением этой сложной четырехступенчатой проблемы, в довольно нервном состоянии, можно даже сказать, издерганный, попал из римской весны прямехонько в отечественную зиму: уже в Нифельхейме его встретили снег, скользкое шоссе и разъяренный шофер такси, который ежесекундно хотел уморить в душегубке, расстрелять, ударить или, на худой конец, избить очередную жертву своего гнева. Далее авт. постигло жестокое разочарование: угрюмая пожилая монахиня весьма нелюбезно спроводила его от монастырских ворот в Герзелене, мрачно буркнув несколько слов, смысл которых он даже не сразу понял: «Газетчиками мы сыты по горло!» Авт. не оставалось ничего другого, как обойти монастырь вокруг (общая длина стен примерно пятьсот метров), полюбоваться Рейном и закрытой на замок сельской церковью (мальчишки, которые во времена оны прислуживали в этой церкви, впадали в транс от кожи Маргарет). Да, здесь жила Лени, здесь была похоронена Гаруспика, снова выкопана, опять зарыта, еще раз выкопана и сожжена в крематории... Но нигде, решительно нигде авт. не обнаружил бреши в монастырских стенах. Пришлось ему пойти в сельскую гостиницу, где, впрочем, отнюдь не было так тихо, мирно и дремотно, как на родине Альфреда Буллхорста. Здесь было шумно, здесь авт. недоверчиво оглядели с ног до головы, здесь он обнаружил массу приезжих, массу лиц, несомненно, относившихся к категории литераторов-документалистов. И когда авт. спросил хозяина, есть ли у него свободный номер, все эти лица как по команде иронически изрекли: «Свободный номер в Герзелене, и именно сегодня?!» А потом с еще большей иронией добавили: «Может, и того чище — свободный номер с видом на монастырский сад. Не так ли?» Стоило, однако, наивному авт. обрадоваться и кивнуть головой в знак согласия, как приезжие просто взвыли от восторга. Тот факт, что авт. принял за чистую монету любезные слова этих одетых по последней моде дам и господ и выразил желание и вправду поглядеть на заснеженный монастырский сад, привел к странному результату. Авт. окончательно и бесповоротно зачислили в разряд дурней, после чего отношение к нему изменилось к лучшему, его решили просветить. И вот пока хозяин разливал по рюмкам и цедил из бочки вино, опять цедил и разливал, авт. разъяснили следующее: он один не в курсе того, что уже давно известно всему миру. Он один не знает, что в монастырском саду забил теплый источник и расцвел розовый куст, не знает, что монахини, ссылаясь на свои территориальные права, собственноручно обнесли высоким щитовым забором соответствующий участок и заколотили вход на церковную колокольню. Не знает, что в соседний университетский город (в тот самый город, где Б. Х. Т. и Гаруспика так часто беседовали tête-à-tête. Авт.) уже послали гонцов, чтобы те раздобыли в фирме, занимающейся сносами зданий, высокую лестницу с радиусом обзора в двадцать пять метров. «Тут-то мы и заглянем в чертову кухню этих монахинь». С этими словами весь приезжий люд окружил авт., который сам не

предполагал, до чего он глуп и прост. Там оказались корреспонденты Юнайтед Пресс Интернейшнл, Дейтче Пресс-агентур, агентства Франс Пресс и даже представитель Агентства Печати Новости, который вместе с представителем чешского агентства ЧТК решил «сорвать маску с лица клерикального фашизма и тем самым разоблачить предвыборные махинации ХДС». Корреспондент АПН, человек, в общем, весьма симпатичный, протянул авт. кружку пива и сказал: «В Италии, знаете ли, мадонны плачут в дни выборов, а в ФРГ в монастырском саду обнаружен теплый источник и розы, которые неизвестно почему расцвели. Да к тому же на кладбище, где похоронены монахини, которые, как нас пытаются уверить, были изнасилованы коммунистами во время боев в Восточной Пруссии. Во всяком случае, досужие языки болтают, будто вся эта история каким-то образом связана с коммунистами. А ведь всем известно, что монахини могут быть связаны с коммунистами только тогда, когда их насилуют...»

Авт., информированный лучше большинства присутствующих, поскольку он всего лишь пять часов назад поцеловал щечку, которую при всем желании нельзя было назвать пергаментной, решил капитулировать и дожидаться официальных газетных сообщений,— приобщиться к истине здесь, на месте, не было никакой возможности.

Неужели Лени оказалась замешанной — пусть косвенно замешанной — в эту story⁴? И неужели Гаруспика и впрямь обратилась в тепловую энергию?

Выходя из трактира и закрывая за собой дверь, авт. услышал, как одна из корреспонденток насмешливо затянула песенку: «И роза расцветала там...»

* * *

На следующий день в дневном выпуске газеты, которая уже цитировалась на этих страницах, авт. прочел «Заключительное сообщение о происшествии в монастыре в Герзелене»: «Выяснилось, что странное явление, язвительно названное восточной прессой «чудом розового куста и теплого источника», на самом деле имеет под собой вполне реальную почву. Достаточно обратиться к названию Герзелен, чтобы понять, что в нем заключено древнегерманское слово «Geysir» (очевидно, Герзелен в старину назывался Geysirenheim, что дословно значит «Дом гейзеров»). В этом селении уже в IV веке после Р. Х. били теплые источники, что, в свою очередь, привело к тому, что Герзелен в VIII веке временно стал приютом германских кайзеров и продолжал быть таковым до тех пор, пока источники не иссякли. Как заявила настоятельница монастыря сестра Сапиенция в специальном интервью, данном нашей газете, монахини ни на секунду не поверили в чудо. Все слухи об этом исходили не от них. Вероятно, слово «чудо» было брошено бывшей ученицей монастырского лицея, издавна находившегося в Герзелене, ученицей, чьи отношения с монастырем нельзя назвать иначе, чем амбивалентными, женщиной, которая впоследствии стала близка к КПГ. В действительности, как и подтвердили специалисты, речь идет о внезапной активизации теплых источников, что само по себе уже является примечательным фактом. В результате этой активизации расцвело несколько розовых кустов. Но ничто, решительно ничто, как подчеркнула сестра Сапиенция с трезвостью, свойственной современным просвещенным и научно подкованным церковным деятелям, ничто не указывает на вмешательство сверхъестественных сил».

* * *

Без всяких колебаний авт. поведал о чуде розового куста и теплого источника и о закулисной стороне этого чуда Маргарет (она буквально засияла, сразу во все уверовала и настоятельно рекомендовала авт. не забывать Клементи-ну); даже Лотту авт. посвятил в эту историю, не побоявшись ее едких насмешек (Лотта, разумеется, объявила чудо жульничеством и зачислила авт. в малопривлекательную категорию «монашеского прихвостня в буквальном смысле этого слова

⁴ Историю (англ.).

и в переносном» (Лотта). Но вот Лени авт. не стал бы рассказывать о странных происшествиях в Герзелене, тем более не стал бы намекать ей, к чему привели розыски в Риме. Однако, по мнению авт., кто-кто, а Б. Х. Т. имел право узнать, какая чудодейственная сила приписывалась праху Рахели через двадцать семь лет после его погребения, то есть праху некогда обожаемой им женщины.

Тем временем известные геологи при поддержке некоторых деятелей нефтяной корпорации, которая не задумываясь использовала казус с розами и с теплым источником для рекламы, представили авторитетные отзывы, неопровержимо подтверждавшие «абсолютно естественную природу» происшествия в монастырском саду; только некоторые восточноевропейские органы печати упрямо придерживались своей первоначальной версии о «трюках реакционных сил в Герзелене» в связи с выборами. Согласно этой версии, реакция потерпела провал лишь благодаря неутомимому давлению социалистических сил и «обратилась за поддержкой к лженаучным кругам, которые целиком и полностью посвятили себя служению капитализму. Капиталистическая наука еще раз доказала свое умение маневрировать».

* * *

Вполне возможно, что авт. в данном случае сдрейфил: наверное, он должен был вмешаться, перелезть через стену в Герзелене, лучше всего, пожалуй, вдвоем с Б. Х. Т., должен был мобилизовать Лени или, по крайней мере, сорвать несколько роз и послать эти розы ей. Надо думать, розы подобающим образом украсили бы «Часть сетчатки левого глаза девы Марии, известной под именем Рахель» — произведение Лени, задуманное с таким размахом. Но тут как раз события начали запутываться и в то же время быстро разворачиваться, что не дало авт. возможности прислушаться к голосу собственного сердца, которое звало его в Рим. Авт. призывал долг; долг в лице Гервега Ширтенштейна, создавшего нечто вроде комитета «Лени в опасности — помогите Лени» и решившего незамедлительно собрать всех лени, которые могли бы оказать поддержку Лени как в финансовом, так и в моральном отношении, в крайнем случае даже предпринять необходимые политические акции, чтобы противостоять все усиливающемуся нажиму Хойзеров. Ширтенштейн позвонил авт. Он был встревожен, но тверд; от волнения голос его звучал несколько хрипло, и если раньше модуляции этого голоса напоминали эдакий слабый фанерный скрип, то теперь в нем слышались металлические ноты. Попросив адреса всех тех, кто «заинтересован в судьбе этой воистину паразитической личности», и получив искомое, Ширтенштейн назначил на вечер общее собрание комитета. Таким образом, у авт. еще оставалось достаточно времени, чтобы наконец-то проникнуть в штаб-квартиру противника. Он обязан был сделать это во имя объективности, во имя справедливости и истины, дабы избежать в будущем чисто эмоционального подхода к событиям, а также ради полноты информации. Хойзеры, заинтересованные в том, чтобы изложить свою точку зрения на злосчастную историю с Лени, и отчасти напуганные планируемой акцией, выразили желание незамедлительно встретиться с авт., «отложив на время весьма неотложные дела». Труднее всего оказалось определить место встречи. Авт. было предложено на выбор посетить либо апартаменты старого Хойзера в уже упомянутом заведении, представляющем собой нечто среднее между роскошным отелем, домом для престарелых и санаторием, либо отправиться в оффис или на квартиру к Вернеру, собственнику игровой конторы, либо пойти в оффис или домой к Курту Хойзеру, «менеджеру по строительству» (здесь авт. приводит титул, который Курт Х. сам себе присвоил). И наконец, авт. мог избрать местом встречи конференц-зал фирмы Хойзер ГМБХ, КГ⁵, где «Хойзеры совместно защищают многообразные интересы и капиталовложения Хойзеров». (Слова, взятые в кавычки, — цитаты из телефонных высказываний Курта Х.)

⁵ Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kommandit Gesellschaft — общество с ограниченной ответственностью, смешанное общество.

Не без задней мысли авт. избрал местом встречи конференц-зал фирмы Хойзер ГМБХ, КГ, находившийся на двенадцатом этаже высотного здания на берегу Рейна. Посвященные уже давно знали, а авт. до поры до времени еще не знал, что из этого зала открывается впечатляющий вид на пригороды и на сам город. Авт. не отрицает, что по дороге к Хойзерам сердце его учащенно билось, ибо его мелкобуржуазная натура с трепетом воспринимает все воистину величественное. По причине своего более чем скромного происхождения авт. чувствует себя в высшем свете чужаком, хотя и стремится бывать там... С бьющимся сердцем вошел он в lobby⁶ этого изысканного здания, отдельные апартаменты которого напоминают квартиры типа pent house⁷ и пользуются таким спросом. Портье не был ни в форме, ни в ливрее, но, как ни странно, казался облаченным и в форму и в ливрею; он смутил авт. взглядом, в котором, впрочем, не чувствовалось презрения, взгляд был просто испытующий, и авт. сразу смекнул, что его обувь не выдержала испытания. Само собой разумеется, лифт был бесшумный. В лифте висели латунные таблички, снабженные общей надписью: «Поэзтажный указатель». После беглого осмотра табличек — их внимательное и вдумчивое изучение исключалось из-за поразительно быстрого, хоть и бесшумного хода лифта — авт. понял, что офисы, помещавшиеся в этом доме, принадлежали почти исключительно людям творческого труда — здесь находились архитектурные мастерские, редакции, агентства, обслуживающие модных портных, и т. д. Одна табличка особенно бросалась в глаза по причине ее размера: «Эрвин Кольф — посредническая фирма. Контакты с творческими личностями».

Мучительно раздумывая над тем, о каких контактах, собственно, идет речь — о деловых, духовных, а может, о чисто общественных, ни к чему не обязывающих контактах, или даже о замаскированных контактах известного рода, которые можно обозначить контактами с call-man и call-girls⁸, авт. сам не заметил, как поднялся на двенадцатый этаж. Дверцы лифта бесшумно открылись, и авт. увидел встречавшего его симпатичного господина, который скромно представился: «Курт Хойзер». В обращении Курта Хойзера не чувствовалось ни заискивания, ни высокомерия, а тем паче презрения к собеседнику; у него оказались приятные, так сказать, нейтрально-любезные манеры, отнюдь не исключавшие, а скорее даже предполагавшие сердечность; Хойзер отвел авт. в конференц-зал, живо напомнивший тому комнату, в которой он всего два дня назад сидел вдвоем с Клементиной... Мрамор, металлические дверные и оконные рамы, глубокие кожаные кресла... Правда, из окон открывался вид не на желто-красный Рим, а всего лишь на Рейн и на населенные пункты, расположенные по его берегам, точнее говоря, на тот географический пункт, в котором эта река, все еще величественная, вступает в свою самую что ни на есть грязную фазу; примерно в семидесяти—восемидесяти километрах (если считать по высоковольтным линиям) выше того места, где сей общегерманский грязный поток, или поток грязи, изливается на ни в чем не повинные голландские города Арнхейм и Ньимвеген.

Конференц-зал и его меблировка производили на редкость приятное впечатление: комната имела форму сектора круга и в ней стояли несколько столов и уже упомянутые кожаные кресла — родные братья кожаных кресел главной канцелярии в Риме. Нетрудно догадаться, что ностальгия авт. получила в связи с этим новую пищу и что авт. на некоторое время замер, стараясь справиться со своим волнением. Его усадили на самое почетное место с видом на Рейн и на рейнские мосты — их было штук пять в поле зрения. Элегантный столик, сделанный с большой выдумкой, под стать элегантно изогнутому окну, был уставлен бутылками с алкогольными напитками и соками. Там же стоял термос с чаем и лежали сигары и сигареты; впрочем, количество и качество этих изделий указывало на то, что оффисом владеют люди разумные, а не какие-нибудь вульгарные нувориши. Самым подходящим словом для описания конференц-зала и его хозяев было бы, пожалуй, слово «изысканные»... Старик Хойзер и его внук Вер-

⁶ Вестибюль, коридор (англ.).

⁷ Роскошная квартира на крыше небоскреба (англ.).

⁸ Мужчины и девицы, приходящие по вызову (англ.).

нер на сей раз показались авт. куда более симпатичными, чем они ему помнились. Не мудрено, что авт., верный своим принципам, поспешил отбросить всякие предубеждения, он хотел отнестись непредвзято даже к зловещему Курту Хойзеру, с которым встретился впервые, отнестись к нему как к симпатичному, спокойному, скромному господину. В тот день Курт Хойзер придал своей, в общем-то, безукоризненной одежде оттенок небрежности, как нельзя лучше гармонировавший с его ровным баритоном. Он оказался поразительно похожим на свою мать Лотту — те же круглые глаза, те же волосы.

Неужели это и впрямь тот самый младенец, который появился на свет при столь драматических обстоятельствах? Младенец, которого по просьбе его матери не стали крестить? Младенец, родившийся в комнате, где теперь разместились португальская семья из пяти человек? Неужели это тот самый Курт, который вместе со своим братом Вернером — Вернеру сейчас тридцать пять, и с виду он человек гораздо более суровый, — тот самый Курт, который вместе с Вернером продавал Пельцеру во время житья в skleпах чинарики в новых гильзах? Продавал под маркой свежих сигарет, чего Пельцер до сих пор не может ему простить?

На секунду в конференц зале возникло замешательство, так как авт., видимо, сочли своего рода парламентаром; ему пришлось дать некоторые необходимые разъяснения, дабы пролить свет на цель своего визита. Авт. явился к Хойзерам, чтобы проинформироваться, проинформироваться, так сказать, по существу. В своем кратком вступительном слове он отметил, что дело вовсе не в личных симпатиях, не в субъективных пожеланиях, не в аргументах и контраргументах. Важно определить истинное положение вещей, а не идеологические разногласия; авт. не собирается никого защищать, он не уполномочен на это и не намерен добиваться каких-либо полномочий; с «небезызвестной особей» он до сих пор не знаком, видел ее всего раза два-три на улице, не общался с ней ни словом. Намерение авт. заключается в том, чтобы изучить жизнь вышеупомянутой особы; возможно, он изучит ее фрагментарно, хотя желательно эту возможную фрагментарность избежать; надо отметить также, что никто не возлагал на него (на авт.) этой задачи изучения — ни посторонние, ни потусторонние силы, труд авт., так сказать, чисто экзистенциалистский. И тут вдруг на лицах всех трех Хойзеров, которые до сих пор лишь нехотя, из вежливости слушали авт. или делали вид, что слушают, появился проблеск мысли; было совершенно очевидно, что Хойзеры почувствовали скрытый материальный смысл именно в слове «экзистенциалистский». Исходя из этого, авт. счел себя обязанным изложить все аспекты понятия «экзистенциализм». Тогда Курт Хойзер спросил авт., не идеалист ли он, и авт. ответил решительным «нет», таким же решительным «нет» он ответил на вопросы, материалист ли он и реалист ли он; вообще, старик Хойзер, Курт и Вернер нежданно-негаданно подвергли авт. допросу (перекрестному); его спрашивали, имеет ли он высшее образование, католик он или лютеранин, родом ли он с Рейна, социалист ли он, марксист или либерал, сторонник или противник сексуального взрыва, «пилюли», папы римского, Барцеля, общества свободного предпринимательства, общества планового хозяйства. Не разговор, а карусель. Авт. приходилось беспрерывно вертеть головой в разные стороны, чтобы видеть спрашивающего; но отвечал он на все вопросы твердо и неуклонно, отвечал одним и тем же словом «нет»; так продолжалось до тех пор, пока из невидимой доселе двери внезапно не выпорхнула секретарша; секретарша налила авт. чай, пододвинула к нему сырны палочки, распечатала пачку сигарет и нажала на кнопку, в результате чего одна из безукоризненно гладких стен раздвинулась, обнаружив шкаф, из которого секретарша вынула три канцелярские папки, положила их на стол перед Куртом Хойзером, положила рядом с папками блокнот, бумагу и даже трубку; проделав все это, секретарша — блондинка с грудью не слишком большой и не слишком маленькой, так сказать, среднестатистическая красotka — исчезла за той же дверью, напомнив авт. определенного сорта фильму, в которых показывается, с какой спокойной деловитостью обслуживают клиентов в публичных домах.

После долгого молчания первым взял слово старик Хойзер; он слегка ударил своей клюкой по папке, а потом и вовсе положил клюку на стол, с тем чтобы время от времени отбивать такт, подчеркивая то или иное слово.

«Отныне,— сказал он голосом, в котором, как ни странно, слышалась печаль,— отныне я разрываю все нити и все узы. Отныне я порываю все связи с Груйтенами, порываю отношения, тянувшиеся целых семьдесят пять лет. С этой историей покончено. Как вам известно, пятнадцатилетним подростком я стал крестным отцом Груйтена, а сегодня я и вместе со мной мои внуки порываем с Груйтенами, мы расходимся с ними, как в море корабли...»

В виде исключения авт. придется сильно сократить показания Хойзера, ибо старик начал свою речь очень издавелека, примерно с 1890 года, когда он в возрасте шести лет рвал яблоки в саду у Груйтена-отца. Далее старик Хойзер довольно-таки подробно остановился на двух мировых войнах, на своих демократических убеждениях и на различных ошибках и проступках Лени (политических, моральных, финансовых); наконец он описал судьбу почти всех персонажей, уже представленных на этих страницах; выступление его продолжалось около полутора часов и сильно утомило авт., поскольку старик говорил о вещах давно знакомых, хотя и освещал их по-своему. О чем только не повествовал старый Хойзер! И о матери Лени, и об ее отце, и о молодом архитекторе, с которым Лени решила однажды провести субботний вечерок, и о ее родном брате, и о двоюродном, и о мертвых душах... Словом, обо всем, решительно обо всем... Авт. показалось даже, что оба внука Хойзера слушают старика вполслуха. Потом дед осветил «хорошо известную, абсолютно легальную сделку», о ней он говорил не то чтобы в однозначно-агрессивном тоне, а скорее в оборонительно-агрессивном, почти в том же тоне, в каком вело беседу упоминавшееся ранее высокопоставленное лицо. «Земельный участок, который Курту подарили при рождении... (Здесь авт. встрепенулся и обратился в слух.) Квадратный метр этого земельного участка стоил в 1870 году, то есть в ту пору, когда дедушка госпожи Груйтен приобрел его у эмигрировавшего сельского хозяина, десять пфеннигов. И это еще была божеская цена; с тем же успехом участок можно было купить по четыре пфеннига за квадратный метр, но известного сорта господа любят делать широкие жесты: дедушка Груйтенси был сумасшедший, и он округлил сумму — заплатил за участок вместо пяти тысяч марок две тысячи талеров, так что участок обошелся по двенадцать пфеннигов за квадратный метр. Теперь же каждый квадратный метр стоит триста пятьдесят марок, а если учитывать известные инфляционные явления, то все пятьсот. Конечно, без стоимости зданий, которые, в свою очередь, потянут ту же кругленькую сумму за каждый квадратный метр. И произошло это благодаря нам... Клянусь, если завтра вы приведете покупателя, который выложит на стол пять миллионов марок, то я... то мы не отдадим ему наш участок. А теперь подойдите ко мне и взгляните в окошко». Ничуть не смущаясь, старик взял авт. на бордаж, зацепив набалдашником клюки за небрежно пришитую пуговицу его куртки, — а ведь авт. и так постоянно пребывает в страхе за свои болтающиеся пуговицы. Да, старик Хойзер довольно бесцеремонно притянул авт. к себе. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что внуки неодобрительно качали головами... Но Хойзер недолго думая притянул авт. к себе и заставил его оглядеть близлежащие восьми-, семи- и шестизэтажные здания, расположенные вокруг двенадцатизэтажного дома. «Знаете ли вы,— спросил старик, зловеще понизив голос,— знаете ли вы, как называют эту часть города? (Авт. качнул головой, поскольку он уже давно понял, что не в силах уследить за различными топографическими изменениями.) Эту часть города называют Хойзеровкой, и эти дома построены на земельном участке, который семьдесят лет назад был совершенно заброшен. Да, здесь была пустошь, пока наконец ее милостиво не подарили вот этому молодому человеку (набалдашник повернулся в сторону Курта, и в голосе старика послышались язвительные ноты), пока его не подарили на зубок младенцу... Я, только я, и никто другой, позаботился, чтобы подарок этот не пропал втуне, следуя изречению, которое было известно уже нашим предкам: «Владейте землей своей»...»

В этом месте беседы дедушка Хойзер, человек весьма преклонных лет, начал дрыхнуть прямо на глазах, впрочем, отнюдь не утратив своей агрессивности; попытку авт. освободиться от набалдашника, вернее от абордажного крюка, он воспринял как проявление ответной агрессии. А между тем авт. действовал с величайшей осмотрительностью отчасти из-за врожденного чувства такта, отчасти из страха за свои пуговицы. Но Хойзер-старший вдруг покраснел как рак, и тут одна пуговица и впрямь отлетела, старик вырвал ее с мясом, причем погиб довольно большой клочок твидовой ткани. После этого старик угрожающе замахал клюкой над головой авт. И хотя авт. готов в любое время подставить левую щеку, когда его бьют по правой, он все же решил, что надо принять меры для самообороны — нагнул голову и увернулся; честно говоря, ему с большим трудом удалось выйти из этой щекотливой ситуации, не уронив своего достоинства. Однако тут вмешались Курт и Вернер, они жаждали все сгладить, а потом в дело вступила белокурая машина по обслуживанию клиентов, с грудью не слишком большой и не слишком маленькой; очевидно, братья вызвали ее, нажав на какую-то невидимую кнопку; машина с неопишуемой и неподражаемой бесчувственностью выпроводила старика из конференц-зала, прошептав ему что-то на ухо, а оба внука в унисон прокомментировали ее действия такими словами: «Вы, Труды, у нас мастерица на все руки, второй такой не сыщешь». Но прежде чем старик покинул помещение (авт. не рискует назвать конференц-зал комнатой, спасаясь, что его привлекут к ответственности за оскорбление), он успел еще прокричать: «Ты дорого заплатишь за свой смех, Губерт, Смеется тот, кто смеется последним!»

Неприятность с пуговицей обеспокоила господ Вернера и Курта Хойзеров, если можно так выразиться, лишь с точки зрения технически-материальной. И они и авт. разом заговорили о поврежденной куртке; разговор вышел громкий. Невольно вырвавшееся у Вернера предложение заплатить авт. наличными, даже дать ему лишку, было, так сказать, подавлено в зародыше одним взглядом Курта. И все же Вернер успел сделать красноречивый жест, а именно: протянул руку к своему бумажнику, но сразу отдернул ее. В ту же секунду были произнесены следующие слова: «Естественно, мы компенсируем стоимость новой куртки, хотя и не обязаны этого делать». Примерно тогда же было предложено выдать «вознаграждение за понесенный моральный ущерб» и «надбавку за нервный шок», были названы даже соответствующие страховые компании и номера страховых полисов. В конце концов братья вызвали зловещую Труды, которая попросила у авт. визитную карточку, а когда выяснилось, что таковой у него нет, с гримасой явного отвращения открыла блокнот; занеся в него адрес авт., она всем своим видом выражала негодование; можно было подумать, что ее заставили выгребать нечистоты, к тому же особенно вонючие.

Здесь авт. решается сказать несколько слов о себе лично: он вовсе не стремился получить новую куртку, пусть даже куда более дорогую; он хотел иметь свою старую куртку; не боясь прослыть чуть ли не размазней, он смеет утверждать, что любит свою куртку. Поэтому он настаивал на ее починке, настаивал, хотя братья Хойзеры с жаром отговаривали его от этого шага, ссылаясь на упадок портняжного искусства; в ответ авт. рассказал о мастерице художественной штопки, которая уже много лет с успехом занимается его курткой. Всем нам знакомы люди, которые ни к селу ни к городу то и дело восклицают: «Я тоже хотел бы сказать несколько слов!» — или: «Разрешите и мне вставить словечко!» — хотя никто не запрещает им говорить, даже в мыслях этого не имеет. Аналогично повел себя и авт., ибо на этой стадии переговоров он с трудом сохранял равновесие. Не мог же он объяснить, что куртка у него старая и заслуженная, что он совершил в ней множество путешествий, что в подкладку у него завалились мелочь, хлебные крошки и тому подобное. Не мог же он, в самом деле, сослаться на то, что к правому лацкану этой куртки всего сорок восемь часов назад прижималась щечка Клементины, пусть совсем мимолетно, но все же прижималась. Неужели авт. суждено навлечь на себя подозрение в сентиментальности?

Ведь речь идет о совершенно конкретном, знакомом каждому жителю абендланда явлении, о котором еще Вергилий говорил: «*Lacrimae rerum*»⁹.

Обстановка в конференц-зале уже давно перестала быть гармоничной, правда, гармония могла быть восстановлена, если бы братья Хойзеры проявили чуточку понимания. Если бы они поняли, что некоторые люди любят старые вещи больше новых и что реальная ценность предметов в подлунном мире не всегда совпадает с их материально-технической ценностью. Под конец Вернер Хойзер изрек нижеследующее: «Представьте себе, что кто-нибудь помнет ваш старый «фольксваген» и предложит взамен не фактическую стоимость вашей машины, а новый «фольксваген»; если вы откажетесь от такой сделки, я сочту ваш поступок ненормальным». Уже само утверждение, будто авт. ездит на древней колымаге марки «фольксваген», являлось оскорблением, пусть неосознанным, ибо тем самым Вернер Хойзер намекал на то, что его собеседник обладает скромным достатком и плохим вкусом. А это унижало авт., впрочем, только субъективно, но не объективно. Не стоит особенно порицать авт. за то, что он (авт.) на некоторое время потерял самообладание и наговорил много лишнего. В частности, он заявил, что ему начхать на все старые и новые «фольксвагены» и что он желает только одного — чтобы починили его куртку, порванную выжившим из ума садистом. Такого рода речи не могли, разумеется, привести ни к каким положительным результатам. Ведь невозможно объяснить чужим людям, что ты и впрямь привязан к старой куртке и что никакие силы мира не заставят тебя снять ее — именно этого требовали от авт., чтобы установить фактические размеры повреждений, — не заставят тебя снять ее, ибо... да, черт побери, такова жизнь!.. ибо на рубахе у тебя дырка, даже не дырка, а просто рваные места. Когда ты ехал на автобусе по Риму, какой-то мальчишка зацепил за твою рубаху крючком от удочки. Кроме того, черт подери, рубаха у тебя не первой свежести, ведь ты во имя служения истине перманентно находишься в пути и перманентно делаешь заметки то карандашом, то шариковой ручкой, а поздно вечером, смертельно усталый, валишься на кровать, так и не сняв рубашки. Неужели слово «починка» так трудно понять? По-видимому, люди, именем которых называют целые городские кварталы, люди, владеющие землей в размерах целых городских кварталов, впадают чуть ли не в метафизический гнев при одной мысли о том, что на свете все же существуют предметы, даже столь незначительные предметы, как куртки, потерю коих их владельцам нельзя возместить деньгами. Факт этот кажется им провокацией, прискорбной провокацией. Но ежели читатель до сих пор верил, хотя бы наполовину верил, в абсолютную правдивость авт., то он должен считать правдой и то, что звучит явно неправдоподобно: почти на всем протяжении ссоры не кто иной, как авт. вел себя корректно, спокойно, вежливо и в то же время твердо; напротив того, братья Хойзеры вели себя некорректно, голоса у них были раздраженные, нервные, обиженные; под конец этой неприятной сцены даже у Курта начала дергаться рука, ибо он то и дело порывался дотронуться до того места, где, по всей видимости, лежал его бумажник. Да, у Курта начала дергаться рука. Но все равно он не мог вытащить из своего бумажника куртку, верой и правдой служившую человеку целых двенадцать лет, куртку, которая этому человеку дороже, чем собственная кожа, поскольку кожа, как известно, поддается трансплантации, а куртка не поддается; к таким курткам человек привязывается, даже не будучи сентиментальным, привязывается исключительно в силу того, что он как-никак является жителем абендланда и ему с молодых ногтей объясняют, что значит «*lacrimae rerum*».

К тому факту, что авт. встал на колени и начал ползать по паркету, стараясь разыскать клоч материи, вырванный из его куртки вместе с пуговицей, братья Хойзеры опять-таки отнеслись как к провокации, хотя было совершенно ясно, что этот клоч понадобится, когда куртку отдадут штопать. Наконец, Хойзеры сочли оскорблением и то, что авт. отказался от всякой компенсации и решил починить куртку за свой счет; при этом он намерянул, что попытается окольны-

⁹ Слезы сочувствия есть.

ми путями покрыть свои издержки, вписав их в графу издержек производства: ведь что ни говори, а в оффис Хойзеров авт. привела его профессия. В ответ на это братья заявили, что не позволят оскорблять себя. Какая цепь недоразумений! Неужели трудно поверить, что человек хочет сохранить свою куртку? Спасти свою куртку, и больше ничего! Неужели это законное желание надо обязательно расценивать как сентиментальность и фетишизацию вещей? Разве в мире уже не существует экономики высшего порядка, экономики, запрещающей выбрасывать куртку, которая, будучи тщательно починенной и заштопанной, вполне годна для носки и даже может и впредь радовать ее владельца? Разве можно выбрасывать такую куртку только из-за того, что у некоторых господ пухлые бумажники и раздутое самолюбие?

* * *

После неприятной интермедии, сильно нарушившей первоначальную гармонию, договаривающиеся стороны перешли к делу — к трем папкам, которые, как можно было понять, представляли собой досье Лени. Здесь снова придется сокращать пространные показания Хойзеров о «расхлябанности тети Лени», о потере тетей Лени чувства реальности, об ошибках тети Лени в воспитании сына, о дурной компании тети Лени... «Только не подумайте, что мы люди чопорные, отсталые, недостаточно прогрессивные; дело вовсе не в ее любовниках — дело совсем в другом: из-за нее один из наших участков стал на шестьдесят пять процентов нерентабельным. Допустим, мы продадим дом; даже в этом случае умело вложенная выручка от продажи даст ежегодно примерно сорок — пятьдесят тысяч чистыми. Может быть, еще больше, но мы люди порядочные и в споре будем оперировать минимальными цифрами... А теперь посмотрим, что приносит дом в данной ситуации. Если учесть расходы на ремонт и на управляющего, а также потери в связи с деклассированным контингентом жильцов первого этажа, где поселилась сама тетя Лени — этот контингент явно отпугивает солидных жильцов и, таким образом, снижает общую сумму квартирной платы, — если учесть все это, дом приносит менее пятнадцати тысяч годовых, он приносит всего-навсего тысячу тринадцать — четырнадцать». Это сказал Вернер Хойзер.

Его мысль продолжил Курт Хойзер. (Ниже следует краткое изложение, которое можно проверить по заметкам авт.) Никто не возражает против иностранных рабочих, они, Хойзеры, не заражены расовыми предрассудками. Просто надо быть последовательным. Если тетя Лени согласится получать нормальную квартирную плату, можно даже обсудить такой вариант: пустить весь дом под иностранных рабочих, сдавать его по койкам, по комнатам, сделать тетю Лени управляющей, положить ей бесплатную квартиру и ежемесячное жалованье. Но весь фокус в том, что тетя Лени берет с жильцов ровно столько же, сколько платит сама; вот в чем безумие, вот что противоречит даже выводам экономических учений социалистов. Ради нее, только ради нее одной мы удерживали квартплату за квадратный метр на уровне двух с половиной марок, а в результате выгоду из этого извлекают посторонние. Вот вам примеры: семья португальцев платит за пятьдесят квадратных метров сто двадцать пять марок и дополнительно тринадцать марок за ванную и за пользование кухней; три турка («Один из них не только днюет, но и ночует у нее, так что фактически турков в комнате два») платят за тридцать пять квадратных метров восемьдесят семь с половиной марок; Хельцены платят за пятьдесят метров сто двадцать пять марок плюс те же тринадцать марок. «А вот еще одно доказательство того, что тетя Лени совершенно ненормальная, — сама она вносит двойную плату за кухню и за ванную на том основании, что сохраняет комнату Льва, который временно содержится за казенный счет». Однако чашу терпения господ Хойзеров переполнило то обстоятельство, что Лени сдает свои меблированные комнаты за ту цену, по которой другие сдают немеблированные, а «это уже далеко не столь безобидное дело, это вам не какой-нибудь там анархистски-коммунистический эксперимент, здесь пахнет подрывом свободного рынка. Из каждой комнаты квартиры тети Лени плюс пользование ванной и кухней можно с легкостью выколотить от трехсот до четы-

рехсот марок, не выходя за известные рамки». И т. д. и т. п. Несмотря на все, Курту Хойзеру было, видимо, трудно перейти к следующему пункту обвинения, который, однако, он должен был «затронуть во имя полноты картины». Дело в том, что из десяти кроватей, находящихся в означенной квартире, тете Лени на самом деле принадлежат только семь: одна кровать все еще принадлежит дедушке, вторая — Генриху Пфейферу, который чувствует себя чрезвычайно уязвленным всей этой историей, третья — его родителям, Пфейферам, «и у них волосы становятся дыбом, когда они думают, что на этих кроватях, по всей вероятности, происходит». Таким образом, Лени самым вопиющим образом нарушает не только экономические законы и права домовладельцев, но и права собственности как таковые. Разумеется, Пфейферы уже с давних пор не могут вести переговоры непосредственно с Лени, поэтому они передали свое право на владение кроватями со всеми вытекающими отсюда последствиями официальному посреднику — фирме Хойзер ГМБХ. КГ. Одним словом, Хойзерам приходится соблюдать не только свои интересы, но и интересы других лиц, доверившихся им, и тем самым вся эта история приобретает дополнительный аспект — на карту поставлены принципы. Правда, кровать, которая принадлежит ныне Генриху Пфейферу, была подарена ему матерью тети Лени, подарена во время войны, когда он ждал призыва в армию. Но подарок есть подарок и подаренная вещь окончательно переходит во владение другого лица, как следует из духа и буквы закона. Наконец, дело дошло до того — если авт. желает, он может это сообщение использовать. — дело дошло до того, что все жильцы тети Лени, точнее ее квартиранты, работают по очистке улиц, точнее по вывозу мусора. Тут авт. не мог не возразить, отметить, что Хельцены вовсе не причастны к вывозу мусора: господин Хельцен — городской служащий, занимающий среднеответственный пост, а госпожа Хельцен — косметичка, что, как известно, является почтенной профессией. Что касается португалки Анны Марии Пинто, то она трудится в столовой самообслуживания, принадлежащей весьма уважаемой фирме; авт. неоднократно брал у нее котлеты, творожники и кофе и рассчитывался с ней, причем все шло вполне гладко. Кивнув головой, Курт согласился с этой поправкой, прибавив, однако, что тетя Лени ведет себя некорректно еще в одном вопросе: за семнадцать лет до пенсионного возраста она, будучи совершенно здоровой женщиной, по глупому наущению своего непутевого сына бросила работу, чтобы воспитывать трех детей португальской семьи; этим детям она поет песни, учит их немецкому, заставляет вместе с ней заниматься «мазней». И, как явствует из официальных документов, тетя Лени мешает этим детям выполнять их школьные обязанности, как мешала когда-то своему сыну. Слово, существует «бесконечная цепь» прегрешений тети Лени. Кроме того, хочешь не хочешь, а человека, вступившего в конфликт с законом, окружающие рассматривают как подозрительный элемент; хочешь не хочешь также, а вывоз мусора и очистка улиц считаются малопочтенной профессией, поэтому не надо удивляться, что социальный престиж дома падает и, следовательно, падают цены на квартиры.

Это было сказано спокойным, ровным тоном и звучало убедительно. Все, кроме авт., давно забыли инцидент с курткой, только авт. по-прежнему страдал; машинально ощупав любимый предмет одежды, он установил, что в куртке сильно повреждена подкладка; сверх того авт. показалось, что дырка в рубашке, сделанная итальянским мальчишкой, стала еще больше. Но что ни говори, а Хойзеры угощали крепким чаем, сырными палочками, сигаретами; что ни говори, а через изогнутое окно открывался великолепный вид; Вернер Хойзер также немало способствовал восстановлению гармонии, он сопровождал высказывания брата ритмичным аккомпанементом — непрерывными кивками головы; Вернер как бы представлял в речи Курта точки, запятые, тире, точки с запятой; в результате возникала некая смесь облагораживающе-психологического эффекта с джазовым эффектом, смесь, действовавшая в высшей степени успокаивающе.

Здесь необходимо сделать также комплимент проницательности Вернера Хойзера, который словно почувствовал, что авт. из мелкобуржуазной стеснительности боится нарушить чужие семейные тайны. Дело в том, что авт. очень

хотелось выяснить один вопрос, вопрос этот все время вертелся у него на языке; ему очень хотелось спросить о Лотте Хойзер, ведь она как-никак была матерью этих молодых людей, столь прочно стоявших на ногах.

И вот Вернер заговорил без всякого смущения о прискорбном разрыве с матерью, «к сожалению, окончательном». Он, Вернер, считает, что в данном вопросе не следует заблуждаться, наоборот, надо по-деловому проанализировать создавшееся положение, предпринять, так сказать, весьма болезненную психологическую операцию. Он, Вернер, знает, что между авт. и их матерью возникли контакты, возможно даже, обоюдная симпатия, в то время как контакты между ним, его братом и дедушкой, с одной стороны, и авт. — с другой, «нарушены» из-за «прискорбного, хотя, в общем-то, далекого от существа дела происшествия». Тем не менее он считает необходимым еще раз подчеркнуть, что не в силах понять, почему человек может предпочесть поношенную твидовую куртку, приобретенную в третьесортном конфекционе, куртку чуть ли не двенадцатилетней давности, новой, с иголочки, куртку из первоклассного магазина. Но, воспитанный в духе терпимости, он готов простить авт. эту странность, пусть живет как знает. Он, Вернер, не в силах понять также ярко выраженную антипатию авт. по отношению к столь популярной в стране и столь широко распространенной машине, как «фольксваген»; сам он приобрел «фольксваген» для своей жены, в их семье это вторая машина, а лет через шесть-семь, когда его сын Отто — ныне ему двенадцать лет — сдаст экзамен на аттестат зрелости и станет студентом или пойдет служить в армию, он купит еще один «фольксваген» — как третью семейную машину. Но все это так, между прочим, пора перейти к их матери. В чем ее главная ошибка? Нельзя сказать, что она исказила образ отца, павшего на войне; зато ясно другое — она грубо фальсифицировала тот исторический фон, на котором он пал; этот исторический фон она упрямо квалифицировала как «чушь собачью». «Даже такие душевно здоровые мальчики, какими, без сомнения, были мы с братом, даже такие мальчики заинтересовались в один прекрасный день образом отца». В этой просьбе им не отказали; мать изображала отца хорошим, душевным человеком, правда, отчасти неудачником, во всяком случае неудачником в плане профессиональном. У них с братом не возникло сомнений в привязанности матери к их отцу — Вильгельму Хойзеру. И все же образ отца был искажен из-за постоянно употребляемых слов «чушь собачья» в сочетании с различными историческими событиями. Впрочем, никто не утверждает, что мать делала это умышленно. Еще более прискорбен тот факт, что она имела любовников. Сперва ее любовником был Груйтген, но это еще куда ни шло, хотя из-за того, что связь была незаконная, мальчикам приходилось терпеть насмешки и поношения. Но потом она жила «даже с русским» и время от времени «с этими ужасными американцами, получавшими отставку у Маргарет». В-третьих, нельзя не сказать и о том, что антирелигиозный и антицерковный аффекты их матери — это, как известно, далеко не одно и то же — привели к ужасающим последствиям. Оба эти аффекта соединялись у нее самым «чудовищным образом». Из-за этого мать обрекла их, своих сыновей, на долгие и обременительные хождения в «свободную школу»; с каждым днем она становилась все ворчливей и все раздражительней, особенно после того, как с «дедушкой Груйтеном» случилось несчастье; им, мальчишкам, требовался противовес. И противовес нашелся в лице тети Лени — да, он признает это и до сих пор благодарен тете Лени; тетя Лени всегда была ласкова, приветлива, великодушна, пела песни, рассказывала сказки; и образ ее покойного мужа — пожалуй, его можно даже назвать мужем, хотя он и был офицером Красной Армии, — образ ее покойного мужа остался незапятнанным, ведь в отличие от их матери тетя Лени не занималась столкновением различных исторических событий и не называла их «чушь собачья» и ерундой; долгие годы, действительно долгие годы она просиживала все вечера у Рейна со своим сыном Львом, положив на колени «руки, сплошь исколотые шипами роз»; и Льва, кстати, крестили, а Курт остался некрещеным; его окрестили только семи лет от роду у монахинь, когда дедушке Отто — «слава тебе господи!» — удалось извлечь их обоих «из этого болота»: слава тебе господи, потому что

тетя Лени умеет великолепно обращаться с маленькими детьми, но для подростков она — яд; тетя Лени слишком много поет и слишком мало разговаривает, хотя надо признать, что на них она оказывала благотворное, воистину благотворное влияние еще и потому, что «не смотрела ни на одного мужчину, в то время как наша мать темнила и всегда что-то скрывала, а эта кошмарная Маргарет и вовсе ничего не скрывала». С похвалой отозвался Вернер Хойзер и о Марии ван Доорн, даже для Богакова у него нашлось несколько теплых слов, «хотя и он иногда слишком много пел». Ну, а потом в конце концов они с братом все же попали в правильное христианское русло; в них воспитали трудолюбие и чувство ответственности, оба получили высшее образование; он, Вернер, изучал юриспруденцию, Курт — экономику, а «дедушка тем временем проводил свою гениальную, да, я не побоюсь этого слова, гениальную деловую политику, что дало нам возможность сразу же применить свои знания на собственных предприятиях».

Может показаться, что создание конторы по продаже лотерейных билетов, которую он попутно возглавляет, занятие несерьезное; в действительности это его хобби, и притом экономически вполне обоснованное, к тому же удовлетворяющее его натуру игрока. Наконец, надо раз и навсегда признать, что тетя Лени куда опасней матери, которую следует считать «всего лишь обманутой псевдосоциалисткой»; никакого особого вреда она принести не может. Напротив того, тетю Лени он воспринимает как реакционерку в доподлинном смысле этого слова. Она ведет себя чрезвычайно антигуманно, или, попросту говоря, бесчеловечно, так как упорно, последовательно, хотя и инстинктивно не приемлет все формы выгоды, все формы, связанные с прибылью. Она их не то чтобы отрицает — ведь это предполагало бы какое-то осознание происходящего — она их именно инстинктивно не приемлет. В тете Лени прочно засел дух разрушения и саморазрушения; по-видимому, это исконно груйтеновское качество, оно было свойственно также ее брату и в еще большей степени отцу. Под конец своей речи Вернер Хойзер заверил авт., что он не какое-нибудь «допотопное чудовище», он космополит и сторонник полной моральной свободы, во всяком случае до тех пределов, какие диктует время; достаточно сказать, что он является открытым приверженцем «пилюли» и сексуального взрыва; в то же время он считает себя христианином; он, если можно так выразиться, «фанатичный сторонник свежей струи»; кстати, эту историю с тетей Лени можно разрешить только нагнетанием свежей струи. Не он, а именно тетя Лени — допотопное чудовище, ибо здоровый инстинкт прибыли, инстинкт умножения собственности заложен в природе человека — это доказано богословием; более того, в последнее время с этим все чаще соглашаются даже философы-марксисты. В конце концов, на совести тети Лени неблагополучие одного человека — ей это никак нельзя простить; про этого человека не скажешь, что он был некогда любим Вернером, нет, он, Вернер, любит его и по сей день: речь идет о Льве Борисовиче, его крестнике, доверенном ему при столь драматических обстоятельствах. «Для меня опека над ним — жизненная задача, хотя какое-то время, не скрою, я относился к этой своей обязанности несколько цинично. Но как-никак его крестный отец — я, и сие является не только метафизическим, не только общественно-религиозным, но и правовым статутом, именно из него я намерен исходить». Да, он и брат отдали Льва под суд из-за «нескольких глупостей, с точки зрения закона, пожалуй, спорных»; в результате Льву вынесли приговор и посадили его за решетку; все истолковали их поступок как проявление ненависти, но на самом деле это было проявлением любви, желанием заставить Льва образумиться, вытравить в нем то, что «в конечном счете является самым тяжким грехом, — гордыню и высокомерие». Он, Вернер, отлично помнит отца Льва, это был хороший, милый, тихий человек, и он уверен, что отец не захотел бы, чтобы его сын стал мусорщиком даже после тех передряг, которые Лев претерпел. Он, Вернер, ни в коей мере не оспаривает, что вывоз мусора имеет огромное значение и является для общества первоочередной обязанностью, однако Лев — и это совершенно бесспорно, — Лев «достоин лучшего» (кавычки здесь поставлены самим авт., хотя он не знает точно,

откуда цитата — из первоисточника, из изложения первоисточника или это слова самого Вернера Хойзера, по-своему изложившего источник; вопрос о том, правомерны ли здесь кавычки, остается открытым, читателю следует рассматривать их как предположительное).

А теперь надо подчеркнуть, что беседа с Хойзерами продолжалась почти три часа, от четырех до семи вечера. За это время произошло немало событий и было сказано немало слов. «Мастерица на все руки» больше не появлялась, чай в термосе слишком настоялся и стал горьким, сырные палочки потеряли свою свежесть и зачерствели из-за того, что помещение оказалось в результате все же чересчур жарко натопленным. И хотя Вернер Хойзер назвал себя сторонником свежей струи, он не предпринял никаких попыток, чтобы проветрить офис, заполненный чрезвычайно концентрированным и разнообразным табачным дымом (Вернер Хойзер курил трубку, Курт Хойзер — сигары, авт. — сигареты); попытку авт. без дураков открыть среднюю часть причудливо изогнутого окна — часть эта, обрамленная металлической рамой и украшенная металлической ручкой, не была выгнута и выглядела как обычное окно, — эту попытку Вернер Хойзер встретил улыбкой и пресек мягко, но решительно. Он сослался на сложнейшую установку для кондиционирования воздуха, разрешающую проветривать помещение, так сказать, «стихийно и произвольно», лишь после того, как загорится специальный сигнал, оповещающий о состоянии воздушного охлаждения и обогрева во всем здании.

В разговор вступил Курт Хойзер, который вежливо заметил, что как раз эти часы — незадолго до закрытия всех офисов и редакций — считаются часами «пик»; магический глаз, вделанный в перемычку окна, загорится примерно через полтора часа, не раньше, и тогда можно будет проветрить помещение; в данный момент кондиционер настолько перегружен, что не в состоянии вводить достаточное количество свежего воздуха. «Наше здание состоит из сорока восьми отдельных отсеков — двенадцать, помноженные на четыре, — и в каждом из сорока восьми отсеков царит в это время суток чрезвычайно напряженная атмосфера: диктуются служебные записки, ведутся ответственные телефонные переговоры, проводятся важные совещания. Будем считать, что в сорока восьми отсеках находится в среднем по четыре помещения; будем считать далее, что в каждом помещении мы имеем в среднем по две с половиной курящих единицы; согласно статистике, одна из этих единиц в неумеренном количестве потребляет сигареты, вторая курит трубку и, наконец, три четверти единицы не выпускают изо рта сигару. Таким образом, в этом здании находятся сорок восемьдесят пять курящих единиц... Но, простите, я перебил моего брата, да и вообще, мне кажется, нам пора закругляться. Не сомневаюсь, что ваше время также весьма ограничено».

Тут снова заговорил Вернер Хойзер (его слова также приводятся в сильно сокращенном виде). Поверхностному наблюдателю может показаться — это отнюдь не камешек в огород авт., — поверхностному наблюдателю может показаться, будто все дело в деньгах. Но это отнюдь не так. Тете Лени была предложена бесплатная полноценная квартира. Совершенно бесплатная. Они с братом вызвались также помочь Льву, который вскоре будет освобожден, окончить вечернюю школу, сдать на аттестат зрелости, а впоследствии поступить в высшее учебное заведение. Но все их предложения были отвергнуты. Некоторые люди, видите ли, чувствуют себя хорошо лишь в обществе мусорщиков. Некоторые люди не желают даже минимально приспособливаться к обстоятельствам. Этих людей не соблазняет, не прельщает современный комфорт, они привязаны к своему старомодному очагу, к своей печке, к своим привычкам. Словом, совершенно ясно, кто здесь реакционер, а кто — нет. В данном случае речь идет о прогрессе, о движении вперед, и он, Вернер Хойзер, выступает в двух ипостасях — как христианин, верный сын церкви, и как толерантный экономист и юрист, хорошо знакомый с государственно-правовыми нормами, — речь идет о движении вперед, а «тот, кто шагает вперед, должен уметь через многое перешагивать». «Тут уж не до романтических бредней, не до песни «Когда мы шагали в едином строю».

которую мать когда-то пела до одурения. Мы не можем поступать, как нам хочется; сами видите, нам не разрешают даже открывать окна в собственном офисе, во всяком случае далеко не всегда, когда это взбредет в голову. Конечно, тетю Лени нельзя поселить ни в одном из новых жилых домов, принадлежащих Хойзерам; квартиру в двести двенадцать метров ей никто не даст, ибо в общей сумме квартплаты это пробьет брешь почти в две тысячи марок. Нельзя также обеспечить тете Лени окна, которые «в любую минуту можно распахнуть настезь»; наконец, в отношении квартирантов и любовников ей придется подчиниться известным «социальным ограничениям, хоть и незначительным». «Да, черт подери, я сам бы хотел так уютно устроиться, как устроилась тетя Лени». Здесь Вернер Хойзер впервые стал агрессивным, правда ненадолго. Итак, по всем вышеизложенным и не изложенным причинам, равно как из соображений высшего порядка, машина выселения, которая только на первый взгляд кажется совершенно безжалостной, должна быть пущена в ход.

В этом месте беседы авт. с радостью произнес бы несколько кротких умиряющих слов; ему хотелось бы, например, признать относительную несерьезность инцидента с курткой по сравнению с тяжкими проблемами, мучившими этих людей, — шутка ли сказать, они не могли распахнуть окно в собственном доме! В конечном счете совершенно не важно, как он оценил поначалу эту курточную историю. Однако не кто иной, как К. Хойзер удержал авт. от произнесения кротких слов; умиряющими их, пожалуй, назвать нельзя, ибо мир между авт. и обоими собеседниками не нарушался, назовем их лучше сочувственными. Под конец Курт сказал нечто вроде заключительного слова, после чего с видом отнюдь не угрожающим, а скорее умоляющим, загородил авт. дорогу, когда тот, коротко попрощавшись и держа пальто и шляпу в руках, направился к выходу.

Да, что касается авт., то ему пришлось расстаться со многими предубеждениями: к примеру, исходя из полученных сведений, он считал Курта Х. некоей помесью гиены с волком, беспощадным рыцарем наживы; но при ближайшем рассмотрении оказалось, что у этого персонажа ласковые глаза, похожие на глаза матери лишь по форме, а не по содержанию; совершенно очевидно, что в этих круглых ласковых карих глазах, глазах лани — мы не побоимся этого сравнения, — что в этих глазах язвительность, твердость и несколько слезливая горечь, свойственные Лотте, смягчены качествами, унаследованными Куртом если не от его отца Вильгельма, то, во всяком случае, по отцовской линии. Впрочем, надо думать, Курт унаследовал эти качества не от своего дедушки, то есть не от отца своего отца. Вообще, гены многих действующих лиц, непосредственно связанных с Лени, так сказать, родом из географического треугольника Верпен — Толцем — Лисселих; таким образом, мы можем произнести хвалу этому треугольнику и его свекловичным полям, хотя не надо забывать, что поля эти породили и Пфейферов. Курт Хойзер, вне всякого сомнения, был натурой чувствительной, и, несмотря на то, что время истекло, следовало предоставить ему возможность выразить свои чувства. Ничуть не смущаясь, Курт положил руки на плечи авт., и жест его опять-таки не таил в себе ни лживости, ни пренебрежения, он был братским, а в выражении братских чувств не надо препятствовать ни одному человеку. «Послушайте, — сказал он вполголоса, — не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, будто тетя Лени оказалась во власти жестокого социально-исторического процесса, протекающего автоматически. Конечно, неумолимый процесс этот, уничтожающий устаревшие строения, происходит; мы сами вынуждены с ним считаться. Разумеется, если бы мы отдали приказ о ее выселении, не подумав, не спросив у своей совести, то есть поступили бы безответственно, тогда тетя Лени подпала бы под действие указанного процесса. Но это отнюдь не так. Мы выселяем тетю Лени, продумав все детали, вполне ответственно и, уж во всяком случае, проконсультировавшись со своей совестью. Не буду спорить, на нас оказывают давление соседние домовладельцы и компании, управляющие недвижимым имуществом. Но мы достаточно сильны, чтобы пренебречь этим давлением или хотя бы получить новую отсрочку. Не буду также отрицать,

что наш дедушка полон сильнейших эмоциональных комплексов, но его мы тоже сумели бы обуздать. Мы могли бы и в дальнейшем погасить недостачу на лицевом счету тети Лени из собственного кармана, как делали это долгие годы, наверное, целое десятилетие. Таким образом, мы бы опять как-то умиротворили и примирили враждующие стороны. Ведь, в конце концов, мы любим тетю Лени, благодарны ей за многое и относимся к ее причудам скорее снисходительно, нежели с возмущением. Итак, торжественно обещаю и уполномочиваю вас передать мое обещание заинтересованным лицам: если завтра выселение пройдет гладко и квартира будет освобождена, мы с Вернером тут же погасим недостачу на лицевом счету тети Лени и прекратим дело против нее; для тети Лени уже приготовлена очень миленькая квартирка в одном из наших жилых комплексов. Конечно, в этой квартирке нельзя держать десять жильцов. Ничего не попишешь. Площади там как раз достаточно для нее, ее сына и, надо думать, для любовника, с которым мы вовсе не желаем ее разлучать. Дело совсем в другом; мы проводим то, что я не колеблясь назвал бы оздоровительным мероприятием; любя тетю Лени, мы намерены руководить ею, к сожалению, при этом приходится прибегать к довольно жестоким мерам и обращаться к жестоким исполнителям. Ведь, как известно, частные лица у нас не обладают исполнительной властью. Словом, операция пройдет быстро, хотя и болезненно; к середине дня все будет позади. И если тетя Лени не проявит излишней экзальтации — от нее, увы, этого всегда можно ожидать, — то уже завтра к вечеру мы поселим ее в новой квартирке. Все подготовлено также к тому, чтобы в решающий момент она могла выкупить или купить заново свою старую мебель, столь милую ее сердцу. За нашей акцией в основном скрываются воспитательные цели — разумеется, дружески-воспитательные, — а также принципиальные мотивы. Боюсь, что вы недооцениваете социологических убеждений той социальной прослойки, какую представляют домовладельцы и собственники недвижимого имущества в целом. Но, смею вас уверить, мы уже давно догадались, что именно в больших старых квартирах, относительно дешевых, довольно удобных и так далее, образуются те самые ячейки, которые объявляют войну нашему обществу, основанному на свободной конкуренции. Высокая оплата иностранных рабочих может быть оправдана, с точки зрения экономики государства, только тем, что часть ее выкачивается с помощью квартировладельцев и, таким образом, остается, как положено, в стране. Три турка в общей сложности зарабатывают две тысячи марок с небольшим; нельзя допустить, чтобы они платили за квартиру, включая пользование кухней и ванной, всего около ста марок. Ведь это составляет пять процентов их зарплаты, в то время как: обычный рабочий или служащий отдает за квартиру от двадцати до сорока процентов своего жалованья. Общая сумма заработка у Хельценов более двух тысяч трехсот марок, а платят они за свои комнаты на круг сто сорок марок, и притом за меблированные комнаты. Та же история с португальской семьей. Таким образом, совершенно искажается идея свободного соревнования; если эта зараза распространится, она может поразить один из основополагающих принципов нашего общества свободного предпринимательства, может подорвать, разложить, уничтожить устои правого демократического государства. Ведь здесь нарушается принцип равных возможностей. Понимаете? Однако параллельно этому экономическому антипроцессу протекает и другой процесс — моральный. И это, пожалуй, самое важное. Условия, царящие в квартире тети Лени, способствуют возникновению социалистических, если не сказать коммунистических, иллюзий; в свою очередь, эти опасные иллюзии, эта идиллия действует разрушительным образом. Возникает также, ну, скажем, не промискуитет, а нечто близкое к промискуитету, назовем это постпромискуитетом. И все это вместе медленно, но верно подтачивает стыдливость и мораль, подвергает глумлению священный индивидуализм... А теперь благодарю за внимание. И если у вас возникнут трудности с жильем, мы всегда к вашим услугам... Причем наша помощь не связана ни с какими условиями, она будет оказана лишь вследствие симпатии к вам и нашей терпимости. Итак, всегда к вашим услугам...»

X

В квартире Ширтенштейна царило такое оживление, какое царило, наверное, в октябре семнадцатого года в боковых покоях Смольного в Петербурге. В разных комнатах заседали разные комитеты. Госпожа Хельтхоне, Лотта Хойзер и доктор Шолсдорф образовали так называемый финансовый комитет, который должен был определить размеры финансовой катастрофы Лени; он занимался протоколами судебных описей, предписаниями о выселении и так далее. Благодаря содействию Хельценов, турка Мехмеда и португальца Салазара комитету удалось добыть официальные извещения и т. д., которые Лени с преступным легкомыслием совала нераспечатанными сперва в ящик тумбочки, а потом, когда там уже не осталось места, в нижнее отделение той же тумбочки. Пельцер был придан этому «комитету трех» как своего рода начальник генштаба. Ширтенштейн вместе с Гансом Хельценом, Грундчем и Богаковым, которого Лотта привезла на такси, занялась проблемой «общественного резонанса». Снабжение взяла на себя Мария ван Доорн, она приготовила мясо, бутерброды, винегрет, яйца и поставила самовар. Как большинство непосвященных, Мария считала, что чай заваривают прямо в самоваре. Пришлось Богакову просветить ее на этот счет; по словам Ширтенштейна, самовар — эдакая машина! — был прислан ему на дом незнакомым господином с напечатанной на машинке запиской, в которой говорилось: «В благодарность за «Лили Марлен», прослушанную в Вашем исполнении много раз. Ваш знакомый». Мария ван Доорн, как и все домохозяйки ее возрастной категории, не накопила достаточного опыта в приготовлении чая, и ее почти насильно заставили насыпать ровно в четыре раза больше заварки, чем она намеревалась. В остальном Мария проявила себя блестяще; лишь только ей удалось создать некоторые запасы продовольствия и выкроить время, как она принялась за куртку авт.; правда, довольно долго она тщетно искала иголку и нитку, но потом с помощью Лотты все же обнаружила их в ширтенштейновском комодке, после чего с исключительной ловкостью и без очков начала устранять уже известные читателю тяжкие внутренние и внешние повреждения в куртке авт. Учитывая сноровку ван Доорн, можно сказать, что практически она занималась художественной штопкой, хотя и не имела соответствующего диплома. Что касается авт., то он отправился в ванную комнату, поразившую его своей роскошью, размерами, гигантской ванной, а также ассортиментом парфюмерных изделий. По неосмотрительности авт. Лотта обнаружила дыру у него на рубашке, и тогда хозяин одолжил авт. свою рубашку; несмотря на некоторые различия в объеме груди и в размере воротничка, она пришлась ему почти впору. Есть все основания считать квартиру Ширтенштейна идеальной: старый дом, три комнаты на последнем этаже... В одной комнате — концертный рояль, полки с книгами, письменный стол; в другой, поистине гигантской (площадь этой комнаты, измеренная, правда, не рулеткой, а шагами, примерно шесть на семь), — постель хозяина, платяной шкаф, несколько комодов с разложенными на них папками — критическими статьями Ширтенштейна. Третья комната — кухня, хоть и не преувеличенно больших размеров, но весьма просторная. Наконец, в квартире имеется уже упомянутая ванная, которая по сравнению с ванными в новостройках кажется ярко выраженным архитектурным излишеством; да, ванная у Ширтенштейна прямо-таки королевская, и не только по своим масштабам, но и по оборудованию. Окна в ванной стояли открытые; они выходят до двор, где растут по меньшей мере восьмидесятилетние деревья и виднеется стена, увитая плющом. Лишь только авт. с наслаждением вытянулся в ванне, как в соседних комнатах неожиданно наступила тишина; к тишине призвал Ширтенштейн, который несколько раз требовательно произнес: «Т-с-с-с, т-с-с-с». И тут случилось одно событие, которое временно отвлекло мысли авт. от Клементины, вместе с тем значительно углубив эти мысли и придав им, так сказать, оттенок скорби. Да, произошло чудесное событие — запела женщина... И женщиной этой могла быть только Лени... Человеку, который никогда не рисовал в своем воображении прекрасную юную Лилофею, пожалуй, лучше пропустить несколько последующих

строк; но тот, кто посвятил прекрасной Лилофее хоть малую толику своей фантазии, пусть знает: именно так, а не иначе пела Лилофея. Авт. услышал девичий голос — женский голос, голос, звучащий как музыкальный инструмент. И что же пел этот голос? Что несло из открытого окна на тихий двор, а потом лилось через другое открытое окно в квартиру?

Я однажды соткал покров
 Для песни моей, расшил
 Сверху донизу
 Старыми сказками.
 Дураки отобрали покров
 И таскают его на глазах
 У всех, словно сами они
 Ткали и расшивали его.
 Пусть таскают.
 Больше доблести в том,
 Чтoб расхаживать гольшом¹⁰.

Действие этого голоса, разносившегося по двору, по тому самому двору, в котором он звучал неслышимый и неслышанный, наверное, уже лет сорок, было таково, что авт. с трудом удерживал Сл. Он удерживал слезы до тех пор, пока не спросил себя, почему, собственно, надо всегда сдерживаться, и тогда слезы полились у него из глаз ручьем. Но поскольку в голове авт. крепко засела мысль о необходимости литературной добросовестности, он вдруг начал сомневаться в собранных сведениях о книжном фонде Лени. Быть может, несмотря на тщательные поиски, несмотря на то, что судебные исполнители рылись в сундуках, ящиках и шкафах Лени, они пропустили несколько книг из библиотеки ее матери, несколько книг, принадлежавших перу писателя, имя которого они утаили, возможно, потому, что не знали, как его правильно произнести. Без сомнения, в книжных фондах Лени еще хранилось немало сокровищ, хранились шедевры, которые ее матушка читала, будучи юной девушкой, в 1914 году, самое позднее — в 1916 году.

* * *

В то время как «финансовый комитет» еще не обрел полной ясности, «комитет общественного резонанса» выяснил, что жестокая акция по выселению Лени начнется уже в 7 часов 30 минут. Однако в эту часть суток учреждения, которые могли бы приостановить означенную акцию, только-только открываются. И далее, Ширтенштейн уже вел по этому вопросу немало бесплодных бесед с самыми различными лицами от прокуристов до прокуроров: приостановить выселение ночью не представлялось возможным. Таким образом, возникла на первый взгляд почти неразрешимая проблема: как выиграть время? Как отложить принудительное выселение Лени и ее жильцов примерно до половины десятого? «Комитету общественного резонанса» временно предоставил свои знания и связи Пельцер; он созвонился с несколькими экспедиторами и судебными исполнителями, с которыми был знаком по обществу «Вечно молодые гуляки»; кроме того, как выяснилось, Пельцер пел в мужском хоре, где юристы «прямо-таки кишмя кишат»; в результате бурной деятельности Пельцера пришлось еще раз констатировать, что перенести выселение на другой час практически невозможно. Повиснув на телефоне, Пельцер предложил некоему деятелю, которого он называл Юпп, устроить автомобильную катастрофу, а, мол, он, Пельцер, в свою очередь, «не постоит за деньгами». Но Юпп — по всей вероятности, он и был чиновником, осуществляющим акцию по выселению жильцов, — не клюнул на предложение Пельцера, и Пельцер прокомментировал его позицию следующим образом: «Он все еще мне не верит, не понимает, что мною руководят чисто гуманные побуждения». Однако слова «автомобильная катастрофа» были произнесены, и тут Богакову пришла в голову почти гениальная идея: дело в том, что Лев Борисо-

¹⁰ Стихотворение Йитса.

вич работал шофером мусороуборочной машины, шоферами мусороуборочных машин были также турок Кая Тунч и португалец Пинто. Все верно. Так неужели у шоферов мусороуборочных машин нет чувства солидарности? Солидарности с их товарищем, посаженным за решетку, и с матерью их товарища? Ни Пинто, ни Тунча — уж очень они были с виду темные — не стали вводить в «финансовый комитет» и в «комитет общественного резонанса», сочтя их для этого дела непригодными; Пинто чистил на кухне картошку, сваренную в мундире, Тунч следил за самоваром и разливал чай. Но тут они оба подняли голос и заявили, что на одной солидарности далеко не уедешь. «Бесполезно призывать к солидарности! — гневно и презрительно восклицали Тунч и Пинто. — Что тут говорить о солидарности, если на глазах у всех выселяют десять человек, в том числе трех детей!» (В действительности Пинто и Тунч выразили свою мысль несколько иначе: «Слова, слова, одни слова от обыватель»). В ответ Богаков покачал головой и, требуя тишины, с трудом поднял руку, сопроводив этот жест болезненной гримасой. «Мусороуборочные машины, — сказал он, — довольно классные агрегаты, для уличного движения они не слишком полезны. Из-за них повсюду возникают пробки; стоит двум таким машинам столкнуться, и весь район будет перекрыт по меньшей мере часов на пять; этот Юпп на своих грузовиках не сумеет подъехать к дому Лени ближе чем на пятьсот метров. К тому же его путь пролегает по улицам с односторонним движением. Так вот, если я что-нибудь смыслю в немцах, Юпп и его парни явятся к нам только после шапочного разбора, то есть после того, как мы добьемся у властей отсрочки. Допустим даже, что Юпп купит себе, так сказать, перронный билет — получить разрешение проехать по улице с односторонним движением, чтобы выполнить срочное задание. На этот случай надо, чтобы на другом углу улицы столкнулись еще две мусороуборочные машины».

Ширтенштейн обратил внимание присутствующих на то, что как раз для шоферов-иностранцев подобная эскапада чревата тяжелыми последствиями; надо подумать, не лучше ли заполучить для этого дела немцев. На поиски подходящих немцев не мешкая послали Салазара, снабдив предварительно деньгами на проезд. А Богаков, которому Шолсдорф дал бумагу и карандаш, приступил к вычерчиванию карты города; его консультировал Хельцен, так что Богаков внес на карту все улицы с односторонним движением. Вскоре присутствующие пришли к выводу, что столкновения всего двух мусороуборочных машин будет вполне достаточно — в итоге такого столкновения возникнет чудовищный хаос и машина Юппа безнадежно застрянет примерно в километре от дома Лени. Хельцен был немного знаком со статистикой уличного движения, кроме того, как служащий управления по дорожному строительству он точно знал габариты и тоннаж мусороуборочных машин. Таким образом, выработывая вместе с Богаковым стратегический план, он пришел к выводу, что, «пожалуй, хватит, если одна-единственная мусороуборочная машина наедет на фонарь или на дом. Хотя все же лучше, если и со второй машиной произойдет авария. Вмешается полиция, и на все про все уйдет часов четыре-пять, никак не меньше». После этих расчетов Ширтенштейн обнял Богакова и спросил, не может ли он выполнить какое-нибудь его желание. Богаков ответил, что его самое заветное желание, можно сказать, его последняя просьба, поскольку он чувствует себя совсем больным, это услышать еще раз «Лили Марлен». Ввиду того, что Богаков не знал ранее Ширтенштейна, здесь имел место не злой умысел, а, очевидно, всего лишь некоторая русская наивность. Ширтенштейн хоть и побледнел, но повел себя по-джентльменски: он немедленно сел за рояль и сыграл «Лили Марлен», наверное, в первый раз за последние пятнадцать лет. Он исполнял эту песенку вполне корректно, и она понравилась не только Богакову, тронутому до слез, но и турку Тунчу, Грундчу и Пельцеру. Лотта и госпожа Хельтхоне заткнули уши, а Мария ван Доорн, усмехаясь, появилась в дверях кухни.

Затем Тунч снова перешел к делу, заявив, что автомобильную катастрофу он берет на себя. За восемь лет он не имел ни одной аварии — к удовольствию органов коммунального хозяйства, — поэтому он может позволить себе роскошь

спровоцировать небольшое уличное происшествие. Правда, ему придется несколько изменить или, так сказать, нарушить свой маршрут, для чего необходимо достичь одной договоренности, а это возможно, хоть и трудно.

Пока суд да дело, установил полную ясность и «финансовый комитет». «Увы, — сказала госпожа Хельтхоне, — давайте не будем обольщаться, ясность эта ужасная. Хойзеры сосредоточили буквально все документы в своих руках, они скупили долговые обязательства Лени, запаслись даже ее счетами за газ и за воду. В общей сложности речь идет — только не пугайтесь этой цифры, — речь идет о шести тысячах семидесяти восьми марках и тридцати пфеннигах». Кстати, сумма эта почти полностью покрывается жалованьем Льва, выпавшим из бюджета Лени в связи с его арестом; тем самым доказано, что Лени может сводить концы с концами; ссуженные ей деньги нельзя считать потерянными, они, безусловно, будут возвращены. С этими словами госпожа Хельтхоне вытащила свою чековую книжку, положила ее на стол и начала выписывать чек. Потом она сказала: «Предварительно я даю тысячу двести. В данную минуту я не способна на большее. Дело в том, что я пожадничала, покупая итальянские цветы. Вы, Пельцер, знаете, как это бывает». Вынимая свою чековую книжку, Пельцер не мог удержаться, чтобы не прочесть мораль: «Если бы она продала дом мне, вообще не произошло бы никаких неприятностей. Но все равно я даю полторы тысячи. — А потом, бросив взгляд на Лотту, он добавил: — Надеюсь, теперь ко мне перестанут относиться как к парии. И не только в критических ситуациях, когда позарез нужны деньги». Лотта, так и не отреагировав на намек Пельцера, призналась, что она на мели; Ширтенштейн заверил, что при всем желании он не может дать больше ста марок, и это прозвучало вполне убедительно. Хельцен дал триста марок, Шолсдорф — пятьсот, причем Хельцен сказал, что готов помочь погашению задолженности, внося в дальнейшем более высокую квартплату, а Шолсдорф, залившись краской, заявил, что считает себя обязанным взять остальную часть долга на себя, так как он хоть и косвенно, но зато безраздельно виновен в финансовой несостоятельности гослужи Пфейфер. К сожалению, за ним водится один грешок, который постоянно высасывает из него все соки, — он собирает русские сувениры, особенно автографы: как раз сейчас он раздобыл несколько чрезвычайно дорогих его сердцу писем Толстого, но готов предпринять завтра рано утром срочные шаги. Ему кажется, что при его связях он наверняка сумеет добиться отсрочки, поэтому, как только откроется касса, он немедленно возьмет аванс в счет своего жалованья и отправится с этой суммой в звонкой монете к соответствующим лицам. Вообще, по его мнению, достаточно принести с утра половину долга, остальное он пообещает возместить к середине дня. В конце концов, он государственный служащий, славящийся своей аккуратностью. Кстати, после войны он неоднократно предлагал отцу Лени компенсировать убытки за его, Шолсдорфа, счет, но тот каждый раз отказывался. И вот сейчас у него появилась реальная возможность зачистить свои филологические грехи, политическое значение которых он осознал слишком поздно.

Вы бы только посмотрели на Шолсдорфа в эту минуту! Это был ученый до мозга костей, отчасти даже похожий на Шопенгауэра, а в голосе его явственно слышались Сл.: «Уважаемые дамы и господа, мне нужно лишь два часа сроку, всего два часа! Нет, я не одобряю операцию с мусороуборочными машинами, я признаю ее лишь как акт самообороны; однако, вступив в конфликт с моей совестью государственного служащего, я буду молчать. Теперь же позвольте заверить вас, что у меня есть друзья и что я пользуюсь влиянием в известных кругах; почти тридцатилетняя безупречная служба — служба хоть и противоречащая моим склонностям, но соответствующая моим талантам — принесла мне высокопоставленных друзей, которые помогут всем нам добиться скорейшей отмены принудительного выселения. Итак, я прошу только одного — попробуйте выиграть время».

По мнению Богакова, который за это время изучил вместе с Тунчем карту города, единственная возможность выиграть время для Шолсдорфа заключалась в том, чтобы заставить транспорт ехать круглым путем, словом, подстроить

уличную катастрофу, в крайнем случае организовать затор в одном из тихих переулков. Не успел Ширтенштейн открыть рот, как сам же прервал себя, громко зашипев: «Тс-с-с, т-с-с!» Лени запела опять:

Во поле коса поет,
Зеркало пруда сияет,
Виноградник покрывает
Холм, что кругл,
Как твой живот!¹¹.

Настала почти благоговейная тишина, нарушаемая, однако, насмешливым хихиканьем Лотты. А потом Пельцер прокомментировал пение Лени следующим образом: «Стало быть, это правда, она и впрямь от него забеременела». Комментарий Пельцера — еще одно доказательство того, что даже чистое искусство может явиться источником полезной информации.

Прежде чем покинуть настроенное на торжественный лад общество, авт. впервые нарушил свой нейтралитет: он внес скромную лепту в фонд спасения Лени.

* * *

Уже на следующий день около половины восьмого утра авт. узнал от Шолсдорфа, что комитету удалось добиться отсрочки, а еще через день прочел описание этого события в одной местной газете под заголовком «Неужели опять иностранцы?»: «Чему можно приписать тот факт, что вчера около семи утра на углу Ольденбургской улицы и Битцератштрассе мусороуборочная машина, которую вел португалец и которая в этот час должна была находиться в трех километрах западнее, на Брукнерштрассе, столкнулась с другой мусороуборочной машиной, которую вел турок и которая должна была находиться в пяти километрах восточнее, на Кренкманштрассе? Имел ли здесь место саботаж, слепой случай или повторение хэппенинга с мусором, вызвавшего в свое время столь бурные споры? И чем можно объяснить, что третья мусороуборочная машина — на сей раз за рулем сидел немец, — несмотря на соответствующий знак, указывающий на одностороннее движение, въехала с другой стороны на ту же Битцератштрассе и сшибла фонарь? Финансово-промышленные круги, пользующиеся в нашем городе заслуженным уважением и оказавшие нашему городу немалые услуги, предоставили редакции материалы, согласно которым упомянутые несчастные случаи явились следствием заранее запланированной акции. Да и в самом деле, какое странное совпадение! Шоферы, турок и португалец, проживают в одном и том же пользующемся дурной славой доме на Битцератштрассе; именно вчера этот дом с согласия органов социального надзора и полиции нравов решено было очистить от жильцов. Однако покровители некой дамы, которая, по слухам, ведет весьма веселый образ жизни (чтобы не сказать больше!), «ссудили» эту даму непомерно высокой суммой и предотвратили выселение, задержанное с утра неопишущим хаосом на улицах (см. наше фото). Следовало бы все же внимательней присмотреться к обоим шоферам-иностранцам, которых посольства их стран характеризуют как «политически неблагонадежные элементы». Ведь в недавнем прошлом мы уже не раз узнавали, что иностранные рабочие «прираба-тывают» у нас сутенерством. Повторяем свой вопрос как *ceterum censeo*¹²: неужели опять иностранцы? Явно скандальный инцидент с уличным движением продолжает расследоваться. В «организации» этого инцидента подозревается неизвестное доселе лицо, которое, назвав себя «экзистенциалистом», под весьма прозрачным предлогом втерлось в доверие к уже упомянутым финансово-промышленным кругам, весьма опрометчиво снабдившим его некоторой информацией. По предварительным подсчетам, материальный ущерб, нанесенный происшествием на Битцератштрассе, оценивается в шесть тысяч марок. А потери в рабо-

¹¹ Стихотворение Г. Тракля.

¹² Повторно высказанное мнение (лат.).

чем времени, которые произошли по причине многочасового простоя транспорта, наряд ли вообще можно подсчитать».

Ознакомившись с этим сообщением, авт. ударился в бега, но не по причине трусости, а по причине сердечной тоски... Он бежал не в Рим, а во Франкфурт; из Франкфурта отправился поездом в Вюрцбург, куда в наказание была переведена Клементина; ее заподозрили в том, что она раскрыла авт. некоторые секреты, связанные с делом Рахели Гинцбург. Впрочем, Клементина не вняла этому предупреждению, наоборот, она решила сбросить монашеский убор — пусть люди лицезреют ее медно-рыжие волосы во всей их красе.

* * *

Здесь авт. надо сделать, пожалуй, одно чрезвычайно тривиальное признание: несмотря на то, что он, авт., старается по примеру одного небезызвестного врача следовать своим извилистым путем «в земной карете, запряженной небесными конями», он чувствует себя всего лишь слабым земным человеком. И посему ему хорошо понятны вздохи героя одного литературного произведения, который хотел мчаться «с Эффи на Балтийское море». По причине отсутствия Эффи, с которой можно было бы умчаться на Балтийское море, авт. решил без всяких угрызений совести отправиться с Клементиной, ну, скажем... в Вайтсхехгейм, чтобы обсудить с ней на досуге ряд жизненно важных проблем; к сожалению, он еще не имеет права назвать эту женщину своею, поскольку она пока не желает назвать его своим. У Клементины возник ярко выраженный «алтарный комплекс»; почти восемнадцать лет она была тесно связана с церковными алтарями и вот теперь не хочет, чтобы кто-нибудь «повел ее к алтарю». По мнению Клементины, брачное предложение, будто бы спасающее честь женщины, на самом деле роняет ее честь. Да, кстати, ресницы у Клементины все же гораздо более длинные и шелковистые, чем это показалось авт. однажды в Риме. Много лет Клементина вставала чуть свет, сейчас она наслаждается поздним вставанием, завтракает в постели, совершает прогулки, отдыхает после обеда; иногда читает довольно длинные лекции (их можно, наверное, назвать также размышлениями вслух или монологами) о причинах своей боязни перейти вместе с авт. «через линию Майна», то есть поехать на север. О жизни до Вайтсхехгейма никогда не упоминается. «Представь себе, что я была бы в разводе или вдовой... Я ведь тоже не стала бы рассказывать тебе о первом браке». Доподлинный возраст Клементины сорок один год, доподлинное имя — Карола, но она не возражает, чтобы ее и впредь звали Клементиной. При ближайшем рассмотрении и после нескольких серьезных разговоров выяснилось, что Клементина — женщина избалованная: она привыкла жить на всем готовом, не знала забот с квартирой, с одеждой, с книгами, не должна была обеспечивать себе «обеспеченное существование»... Отсюда ее страх перед жизнью: Клементину пугают самые пустяковые траты, она боится позволить себе чашечку послеобеденного кофе где-нибудь в Шветцингене или в Нимфенбурге; каждый раз, когда кошелек Клементины чуть тощает, она впадает в тоску. Неизбежные длинные разговоры авт. по телефону с «за-Майном» — так это называет Клементина — действуют ей на нервы, ибо все, что она слышит о деле Лени, кажется ей выдумками. Конечно, она не подвергает сомнению существование самой Лени, о которой знает из официальных документов, из досье ордена. Впрочем, знаменитое сочинение Лени о «Маркизе фон О...» Клементина так и не сумела достать и прочесть; подробный разбор формы и содержания этого сочинения она получила от сестры Пруденции в письменном виде. Любое упоминание о Рахели Гинцбург выводит Клементину из равновесия, а на просьбы авт. отправиться с ним в Герзелен, чтобы рвать розы, она отвечает мягко, по-кошачьи отмахивается левой рукой; Клементина не хочет и слышать о «чудесах». Быть может, здесь стоит отметить, что тем самым она отрицает — бессознательно! — различие между верой и знанием. Известно, что перед Герзеленом открывается блистательное будущее — по всей вероятности, там устроят бальнеологический курорт; вода в тамошнем теплом источнике достигает 38—39 градусов по Цельсию, что считается идеальной температурой. Известно также — авт. узнал

это из телефонных разговоров, — что Шолсдорф «накрепко связал себя с делом Лени» (согласно высказываниям Ширтенштейна) и что на упомянутую выше газету подано в суд, от газеты требуют извинений за такие выражения, как «дом, пользующийся дурной славой», и «веселый образ жизни»; причем труднее всего оказалось убедить суд в оскорбительности, как им казалось, вполне вежливого выражения «веселый образ жизни». И еще новости: Лотта временно поселилась в комнате Льва, оба турка — Тунч и Кылыч — займут, видимо, квартиру Лотты (в случае, если на то согласится домовладелец — «враг левантинцев»), ибо Лени и Мехмед решили «образовать семью», таково предварительное обозначение их союза, ведь Мехмед женат; правда, как магометанину ему разрешено завести себе вторую жену, разрешено его магометанским законом, но отнюдь не законами страны, где он является гостем. Разве только Лени примет магометанство, что, впрочем, не исключено, поскольку и в коране нашлось место для мадонны. За это время удалось разрешить и проблему закупок — старшая дочь португальской семьи, восьмилетняя Мануэла, носит Лени булочки. Начальство оказывает на Хельцена давление, «пока что не очень большое». (Все эти сведения получены от Ширтенштейна.) За истекший период Лени встретила лицом к лицу с комитетом «Помогите Лени» и покраснела «от радости и от стыда» (покраснела, наверное, четвертый раз в жизни. Авт.); беременность Лени была подтверждена гинекологом, и теперь она тратит уйму времени на врачей; хочет, чтобы ее обследовали «сверху донизу, вдоль и поперек» (согласно Ширт., это подлинное слова Лени). Заклечения терапевта, зубного врача, ортопеда и уролога были стопроцентно благоприятны, только психиатр позволил себе некоторые замечания; он установил совершенно непонятную ущербность в сознании Лени и весьма основательное нарушение чувства связи с окружающим миром, однако счел, что все эти аномалии излечимы, они пройдут сразу после того, как Льва выпустят из тюрьмы. Лени должна — и это надо рассматривать как «лекарство, прописанное врачом» (показание Ширт.), — как можно чаще прогуливаться под руку с Мехмедом Шахином и Львом; разумеется, на виду у всех. Однако для психиатра, равно как и для Ширтенштейна, остались непонятными мучащие Лени кошмары, в которых она видит возле себя то борону, то доску, то чертежника, то офицера, видит даже в те ночи, когда засыпает в объятиях своего утешителя Мехмеда. Кошмары Лени приписываются «вдовьему комплексу», что, как берется доказать авт., является упрощенным и совершенно ошибочным толкованием; также ошибочно считать, будто первопричина страшных снов Лени — это те исключительные обстоятельства, при которых она зачала и родила Льва. Нет, кошмары Лени, что может подтвердить и Клементина, ни в коем случае не связаны ни с подземельями, ни с бомбежками, ни с объятиями во время оных бомбежек.

Благодаря хорошо продуманному многоступенчатому плану авт. осуществил свой замысел: оставившись сначала в Майнце, потом в Кобленце и в третий раз в Амдернахе, он под конец завлек-таки Клементину «на север, в за-Майн». С людьми он ознакомил ее столь же осторожно, как и с новой природой, соблюдая ту же постепенность. Ведь и образованные дамы требуют, чтобы с ними обращались тактично. Посему первым номером программы шла госпожа Хельтхоне с ее библиотекой, изысканной домашней атмосферой и почти монашеской строгостью. Встреча эта вполне удалась, и на прощанье хозяйка чуть хрипло прошептала: «Поздравляю вас» (с чем, собственно? Авт.). После Хельтхоне настала очередь Б. Х. Т., блеснувшего поразительно вкусным луковым супом, превосходным итальянским салатом и мясом, поджаренным на грилле; Б. Х. Т. с жадностью впитывал в себя каждое, буквально каждое слово К. о Рахели Гинцбург, Герзелене и т. д. Поскольку Б. Х. Т. считает ниже своего достоинства читать газеты, он ничего не знал о скандале, уже заметно поутихшем. Под конец Б. Х. Т. прошептала: «Вы счастливички!» Колоссальный успех имели Грундч, Шолсдорф и Ширтенштейн, первый благодаря «полной естественности», а также потому, что «старые кладбища обладают притягательной силой, их печаль безот-

казно действует на людей». Что касается Шолсдорфа, то он и впрямь «звезда» по части обаяния, устоять перед ним невозможно. С тех пор как у Шолсдорфа появился реальный базис для оказания помощи Лени, он избавился от прежней скованности; кроме того, он филолог, стало быть, коллега Клементины; за чаем и миндальными пирожными они очень скоро вступили в жаркий спор о том периоде в истории советско-русской культуры, который К. называла формализмом, а Шолсдорф структурализмом. В отличие от Шолсдорфа Ширтенштейн оказался не в лучшей форме, он неумеренно жаловался на интриги и вагнерианство неизвестных псевдомолодежных композиторов, а потом, бросив обиженный взгляд на К. и еще более обиженный во двор, открыто пожаловался на то, что не связал себя на всю жизнь ни с одной женщиной и что ни одна женщина не связала себя с ним. Ширтенштейн проклинал рояль и музыку и в припадке мазохизма и самоуничтожения подбежал к своему инструменту и забарабанил на нем «Лили Марлен». Под конец он извинился и, всхлинув без слез, попросил оставить его «наедине со скорбью». Какого рода была эта скорбь, авт. стало ясно у Пельцера, посетить которого он считал себя обязанным сразу же после визита к Шолсдорфу. За это время, то есть примерно за пять дней пребывания авт. в Вайтсхехгейме, Шветцингере и Нимфенбурге, Пельцер ужасно исхудал. В присутствии своей супруги Евы, подававшей кофе и чай с усталой, но приятной меланхолической улыбкой, Пельцер произнес несколько пессимистических сентенций, так сказать, общего плана: госпожа Ева в сильно запачканном халате художницы казалась какой-то ненастоящей и разговаривала исключительно на грустные темы, к примеру о таких материях, как «осмысленная бессмыслица искусства», а также о Бойсе, Артмане и т. д.; при этом она обильно цитировала одну солидную ежедневную газету... Но потом госпожа Ева покинула общество, дабы вернуться к своему мольберту: «Долг повелевает мне писать! Извините меня, пожалуйста!» На Пельцера было жалко смотреть. Он бросил на Клементину испытующий взгляд, словно взвешивал, можно ли схватить эту синицу в руку, а когда К. пришлось срочно удалиться по вполне понятной причине (от двух до шести дня она выпила у Шолсдорфа четыре чашки чая, у Ширтенштейна три и еще две чашки кофе у Пельцера), — когда К. удалась, Пельцер заговорил шепотом: «Раньше считали, будто я болен диабетом, но оказалось, что содержание сахара в крови у меня в норме, да и вообще здоровье в полном порядке. Поверьте мне... Наверное, вы будете смеяться, но я в первый раз в жизни понял, что у меня есть душа и что моя душа страдает; в первый раз я чувствую, что исцелить меня может не первая попавшаяся женщина, а одна-единственная в мире. Я бы с удовольствием задушил турка. И что только она в нем нашла?... Неотесанный мужик, деревенщина, провонял баранами и чесноком! И еще вдобавок моложе ее лет на десять. «У него ведь есть жена и четверо детей, а теперь он и ей сделал ребенка... А я... Помогите же мне...»

Авт., проникшись большой симпатией к Пельцеру, дал ему понять, что в подобных ситуациях посредничество третьего лица, как показывает опыт, не достигает цели; скорее даже, наоборот, вредит. В т а к о м деле сам потерпевший должен все превозмочь без постороннего вмешательства. «И притом, — продолжал Пельцер, — я ежедневно отваливаю мадонне дюжину свечей, ищу утешения — говорю вам это как мужчина мужчине — у других женщин, не нахожу его, пью, пропадаю в игорных домах, но rien ne va plus¹³, говорю я вам. Вот так-то!»

Авт. утверждает, что Пельцер произвел на него отчаянное впечатление; пожалуйста, не считайте это иронией, просто эпитет «отчаянное» как нельзя лучше подходил к тогдашнему состоянию Пельцера. «Никогда в жизни я не был влюблен, никогда в жизни! Только пугался с разными шлюхами. Сплошной разврат... Ну да, жена... Конечно, я относился к ней очень хорошо, до сих пор отношусь к ней хорошо; пока жив, не допущу, чтобы с ней случилось что-нибудь плохое... Но я никогда не был в нее влюблен. А Лени я домогался, домогался с того самого дня, как увидел впервые. Но каждый раз мне перебежал дорогу какой-нибудь

¹³ Ничего не выходит (франц.)

иностранец. И все же я не был влюблен в Лени, я влюбился в нее всего неделю назад, когда снова с ней встретился... Я... я ведь совершенно не виноват в смерти отца Лени. Я... я люблю ее!.. Ни к одной женщине я не испытывал этого чувства».

Тут как раз вернулась Клементина и незаметно, но настойчиво начала торопить авт. закончить визит. Ее последующий комментарий был довольно недружелюбный, во всяком случае холодный и трезвый: «Мне кажется, это болезнь, как ее ни назови — хоть пельцеровской, хоть ширтенштейновской...»

* * *

В связи с поездкой в Толцем — Лисселих у авт. появилась возможность одним выстрелом убить и второго зайца: приобщить Клементину, которая всегда подчеркивает, что она жительница гор и баварка и сильно сомневается в наличии приятных людей севернее Майна, к прелести, более того, к очарованию равнин; впрочем, авт. не исключает, что он, быть может, живописал равнины чересчур восторженно. В итоге Клементина признала, что она никогда не видела таких плоских, таких необъятных равнин; она «сравнила бы их с равнинами России, если бы не знала точно, что равнины эти тянутся всего на триста—четыре-ста километров, тогда как там они тянутся на многие тысячи километров... И все же они напоминают Россию». Замечание авт. насчет того, что, мол, действительно «напоминали б, если бы не изгороди», Клементина не восприняла, а его пространные рассуждения об изгородах, заборах и межевых знаках сочла излишне «литературными»; когда же авт. упомянул о кельтском происхождении этих межевых знаков, обвинила его в неприятном «расизме»; в конце концов она все с той же неохотой согласилась, что здесь «засасывают горизонты», в то время как у них в горах «засасывают вертикали». «Тут у тебя все время такое чувство, будто ты плывешь, даже в машине ты плывешь и, наверное, в поезде тоже. Прямо страшно — вдруг ты так никогда и не доберешься до берега... А может; у вас вообще нет берегов?» Ссылка авт. на подъемы почвы в предгорьях и отрогах Эйфеля вызвала у Клементины всего лишь презрительную усмешку.

Колоссальный успех выпал на долю ван Доорн. Перед угощением Марии нельзя было устоять — сливовый пирог со сливками (комментарий К.: «Вы тут то и дело поглощаете сбитые сливки») и кофе; причем Мария, «как положено», сама жарила зерна и молола их. Вот что сказала Клементина: «Фантастика, я вообще первый раз в жизни пью такой кофе, только теперь я поняла, что значит настоящий кофе» и т. д. и т. п. И под конец: «По-моему, все вы, здешние, умеете пожить в свое удовольствие». На прощанье Мария ван Доорн, в свою очередь, прокомментировала встречу с К.: «Несколько запоздало, но лучше поздно, чем никогда. Да благословит вас господа! — А потом, перейдя на шепот, заметила: — Она вас научит... — И, покраснев, пояснила, опять же шепотом: — Я хотела сказать, научит порядку и всему прочему». Кончала она эту тираду со слезами на глазах: «А я превратилась в старую каргу, так и осталась в девках».

* * *

Богакова в инвалидном доме отметили, к удивлению авт., как «выбывшего в неизвестном направлении». Правда, он оставил записку: «Пока что не ищите. Спасибо за все. Дам о себе знать». Однако за истекшие четверо суток он так и не дал о себе знать. Прошел даже слух, что Богаков — «красный шпион». Любезная сестра в инвалидном доме честно призналась, что ей будет недоставать Богакова, и спокойно добавила, что он исчезает почти каждую весну. «По весне его, очевидно, тянет уйти. К сожалению, с каждым годом положение усложняется. Ведь теперь ему необходимы инъекции. Будем надеяться, что ему, по крайней мере, тепло».

* * *

Выслушав множество самых разных соображений о Лени, множество отзывов, частично резких, иногда прямых, а иногда и косвенных (от Б. Х. Т., например, который мог всего лишь засвидетельствовать факт ее существования), Кле-

ментина решила во что бы то ни стало увидеть Лени «во плоти, осязаемую, обнимаемую, зримую». И авт. не без страха и внутреннего трепета попросил Хельцена устроить ему эту столь необходимую встречу. Учитывая чрезвычайную нервность Лени, было решено допустить к встрече только Лотту, Мехмеда и еще одно лицо («То-то вы удивитесь, когда узнаете, кто это лицо!»).

«После первых же прогулок с Мехмедом,— сказал Ганс Хельцен,— Лени пришла в возбужденное состояние, теперь она с трудом выносит присутствие пяти человек одновременно, и уж никак не больше. Поэтому моя жена и я не придем. Особенно нервно реагирует Лени на атмосферу влюбленности и связанную с этим атмосферу эротического ожидания и напряженности; тут надо опасаться флюидов, которые исходят от Пельцера, от Ширтенштейна и пусть в гораздо меньшей степени, но и от Шолсдорфа».

Неправильно истолковав нервозность авт., К. приревновала его к Лени, поэтому авт. пришлось объяснить ей следующее: он, авт., знает о Лени все, а о ней, Клементине, почти ничего; благодаря интенсивным и продолжительным исследованиям он посвящен в самые наинтимнейшие стороны личной жизни Лени и из-за этого чувствует себя порой шпииком, а порой ее сообщником... Тем не менее Клементина близка авт., а Лени, хотя и вызывает его симпатию, далека.

Впрочем, надо честно признаться: авт. радовался, что пришел к Л. в сопровождении К., радовался филологическо-социологическому любопытству своей спутницы, ибо без К. (в конечном счете знакомству с К. он обязан той же Лени и Гаруспике) он наверняка подвергся бы опасности заразиться упомянутой выше неизлечимой болезнью — либо в пельцеровском варианте, либо в ширтенштейновском.

И все же поначалу авт. проявлял беспокойство и нетерпение, но потом, к счастью, его внимание было отвлечено неожиданной встречей. Кто бы, вы думали, сидел в комнате Лени, держа за ручку у всех на виду очаровательно покрасневшую Лотту Хойзер? Кто бы, вы думали, сидел там, улыбаясь от смущения или, скорее, ухмыляясь от смущения? Богаков собственной персоной! Одно было ясно: любезная сестра из инвалидного дома может не беспокоиться — Богакову тепло! А если кто-нибудь и сомневался в том, что Лотта способна излучать тепло, ему пришлось бы устыдиться. Там же сидел турок; вопреки ожиданиям авт. тип у него был на редкость не восточный, он казался мужиковатым и не то чтобы смущенным, а скорее деревянным; на нем были синий костюм и накрахмаленная рубашка со скромным (бурым) галстуком, турок держал Лени за руку с таким видом, словно дело происходило в 1889 году и он позировал в ателье фотографа; казалось, фотограф только-только сунул в свой огромный аппарат пластинку и готовится нажать на резиновую грушу, чтобы дать магниевую вспышку. Ну, а как вела себя Лени? Не без известной робости авт. искоса бросил взгляд на нее, а потом посмотрел на Лени в упор — как-никак за время своих неустанных поисков и розысков он всего лишь дважды мимолетно видел Лени на улице, да и то в профиль, не анфас, и успел отметить лишь ее гордую осанку. Сейчас, однако, отступить было некуда — пришлось взглянуть действительности прямо в лицо. И тут авт. позволит себе сказать четко и лаконично, позволит себе *understatement*¹⁴: игра стоила свеч! Да! Как хорошо, что при сем присутствовала К., иначе не исключено, что авт. испытал бы ревность к Мехмеду. Но все равно в нем что-то шевельнулось, его что-то кольнуло, быть может, легкое сожаление по поводу того, что Лени мерещатся борона, чертежник и офицер не в его объятиях, а в объятиях этого турка.

Лени коротко подстриглась и покрасилась «под седину», теперь она с легкостью могла бы сойти за тридцативосьмилетнюю; темные глаза ее смотрели ясно, но с некоторой печалью. И хотя документально подтверждено, что рост Лени — 1 м 72 см, казалось, что в ней 1 м 85 см; в то же время длинные ноги Лени свидетельствовали о том, что она не принадлежит к числу женщин, которые кажутся красавицами только в сидячем положении. Лени чрезвычайно грациозно

¹⁴ Сдержанное высказывание (англ.).

разливала кофе. Лотта раскладывала по тарелочкам сдобу, а Мехмед каждый раз вопрошал: «Одну ложечку сахара? Две? Три?» — и выдавал неизменные в таких случаях сбитые сливки. Было совершенно очевидно: Лени не просто немногословна и скрытна, она прямо-таки молчаливица; а застенчивость Лени выражалась в робкой улыбке, не сходявшей с ее уст. На К. Лени поглядывала благосклонно, даже с удовольствием, что преисполнило авт. гордостью и радостью. Клементина спросила ее о Гаруспике, и Лени показала на свою и впрямь внушительную картину — полтора метра на полтора, — которая висела над диваном и вовсе не производила впечатления пестрой, она была скорее красочной. Неоконченная картина эта излучала неопишемую, прямо-таки космическую мощь и нежность: сетчатка глаза была изображена многослойной, точнее восьмислойной. Из шести миллионов колбочек сетчатки Лени воспроизвела за истекшее время эдак тысяч тридцать, а из ста миллионов палочек не более восьмидесяти тысяч. Она не захотела изображать глаз в поперечном разрезе, выбрала плоскостное решение, казалось, на картине нарисована бесконечная равнина, по которой зритель шагает навстречу еще не видимому горизонту.

Лени сказала: «Вот она. Когда я кончу, на картине окажется, может быть, тысячная доля ее сетчатки». Вообще, в ту минуту у Лени заметно развязался язык, и она добавила: «Моя прекрасная учительница, мой прекрасный друг». Это было ее последнее высказывание; за те пятьдесят три минуты, которые еще длилась встреча, из нее не удалось больше выжать ни одной связной фразы. Мехмед показался авт. человеком, лишенным чувства юмора; он неизменно держал свободной рукой руку Лени; даже когда Лени наливала кофе, он и то вынуждал ее действовать одной рукой, ибо и в эти минуты не выпускал ее руку из своей. Это держание друг друга за руки было настолько заразительным, что в конце концов и К. схватила авт. за запястье; казалось, она неотрывно щупает его пульс. Да, Лени, без сомнения, гронула К. до глубины души. От высокоученой гордыни К. не осталось и следа. Одно было ясно: хотя К. знала о Лени, она в нее до сих пор не верила. Конечно, в орденских досье было немало соответствующих записей, но тот факт, что Лени существует реально, так сказать, во плоти, потряс К. Она начала тяжело вздыхать, и ее учащенный пульс тут же передался авт.

* * *

Возможно, нетерпеливый читатель уже заметил, что на этих страницах имеют место массовые «хепий-энды», не так ли? Что персонажи здесь держатся за руки, заключают союзы, обновляют старую дружбу (Лотта и Богаков), в то время как другие — к примеру, Пельцер, Ширтенштейн и Шолсдорф — остаются за бортом жаждущие и страждущие. Турок, похожий на крестьянина с Роны или с Эйфеля, заполучил себе невесту, хотя дома его ждут жена и четверо детей; зная о своем праве на полигамию, он, конечно, никогда не принимал это право всерьез; тем не менее теперь он не проявляет ни малейших признаков угрызения совести, возможно, даже открыто признался во всем какой-нибудь там Зулейке. По сравнению с Богаковым и авт. этот человек вызывающе чист, он высокoben с головы до пят, на нем брюки со складкой, он при галстукe, вдобавок он гордится своей накрахмаленной сорочкой, ибо она подчеркивает торжественность момента. Поза у турка все та же, кажется, будто воображаемый фотограф в широкополой шляпе художника, с шейным платном художника, сам неудавшийся художник, все еще сжимает в руке резиновую грушу где-нибудь в Анкаре или в Стамбуле в 1889 году... И вот этот турок, рабочий по вывозке мусора, перетаскивающий контейнеры с мусором, поднимающий и опоражнивающий эти контейнеры, связан узами любви с женщиной, оплакивающей трех мужчин, читающей Кафку, знающей наизусть Гёльдерлина. Связан любовными узами с певицей, музыкантшей, художницей, с женщиной, как бы созданной для неги, с женщиной, уже ставшей матерью и опять готовящейся стать матерью, с женщиной, в присутствии которой угрожающе учащается пульс у бывшей монахини, всю жизнь ломавшей себе голову над проблемой отражения действительности в литературе.

Даже языкастая Лотта и та заметно притихла, она тоже казалась растроганной, взволнованной, потрясенной; запинаясь, она рассказала авт. о предстоящем освобождении Льва и о вытекающих отсюда трудностях с квартирой: домохозяин Лотты отказался поселить у себя «турецких мусорщиков», Хельценам никак нельзя лишиться одной из комнат, поскольку Грета Хельцен — косметичка и «немного подрабатывает на дому»; невозможно также обидеть «пятерых наших друзей португальцев, заставив их тесниться в одной комнате». Что касается ее, Лотты, и Богакова, которого она без стеснения назвала «мой Петр», то они хотят жить рядом с Лени, должны жить рядом с Лени, «чтобы давать надлежащий отпор Хойзерам». «Сейчас настала передышка, но это еще далеко не конец». Далее Лотта сообщила, что они с Богаковым решили расписаться.

После этого свою лепту в общую беседу внесла Лени, пробормотав: «Маргарет, Маргарет, бедная Маргарет»; имя Маргарет она повторяла сперва с влажными, а потом и вовсе с мокрыми глазами. В конце концов Мехмед с многозначительным видом чуть-чуть пошевелился, вернее сел еще прямее, чем сидел прежде, и тем самым дал понять, что аудиенция закончена. Все начали прощаться. «Надо надеяться, что мы прощаемся не навек», — сказала К., а Лени в ответ совершенно очаровательно улыбнулась. Словом, все попрощались, и, как водится, гости некоторое время стояли и в весьма любезных выражениях хвалили фотографии, рояль и прочее убранство квартиры; что касается картины Лени, то тут выражения были самые восторженные. Когда гости топтались в передней, Лени сказала: «Хорошо бы нам и впредь ехать на земной карете, запряженной небесными конями». Этот намек остался непонятным даже К., в образовании которой, как видно, существовали некоторые пробелы.

А под конец, выйдя из дома и стоя на довольно-таки пошлой Битцератштрассе, К. впала в привычные неисправимо-литературные сомнения, заявив: «Да, она есть, и все же ее нет. Ее нет, и она есть». По мнению авт., эти фразы весьма банальны, от К. можно было бы ожидать большего.

Подумав еще немного, К. добавила: «Наступит день, и она станет утешением для всех мужчин, которые страдают из-за нее, да, она исцелит их всех».

А потом после паузы спросила: «Интересно, Мехмед тоже любит танцевать до упаду, как Лени?»

XI

Со вздохом облегчения авт. заявляет, что в конце книги он намерен выезжать на одних цитатах — он приведет, в частности, заключение эксперта-психолога, письмо одного пожилого санитара и полицейский протокол. Вопрос о том, каким образом все эти документы попали к нему, производственная тайна. Авт. признает, впрочем, что использовал не одни только легальные пути и не всегда соблюдал чужие секреты, однако он считает, что незначительные нарушения легальности и этические отклонения в данном случае вполне простительны, поскольку они служили святой цели — объективности. Разве так уж важно, что служащая фирма Хойзеров (конечно, не та «мастерица на все руки»!) пропустила однажды несколько машинописных страниц — в них, кстати, не содержалось особых тайн — через фотомеханический умножитель? При этом Хойзеры потерпели ущерб примерно на сумму в две с половиной марки, если не считать сопутствующих эксплуатационных расходов. (Вспомните, что одна-единственная пуговица авт. стоила пять миллионов!) Неужели эти две с половиной марки не окупаются коробкой «ассорти» стоимостью в четыре с половиной марки? Письмо санитара (оригинал!) авт. предоставила неутомимая Мария ван Доорн, предоставила на достаточно длительный срок, и авт. собственноручно отнес его в соответствующую контору, где с письма сняли фотокопию — полмарки за страницу; вся эта операция (включая сигареты для в. Д.) обошлась в восемь марок. Полицейский протокол авт. получил бесплатно. Упомянутый протокол не содержал ни полицейских, ни тем паче полицейски-политических тайн, он представлял собой всего-навсего попытку социологического анализа (попытку хоть и вынужденную, но успеш-

ную), поэтому если у обладателя сего протокола и возникли сомнения, давать его или не давать, то, во всяком случае, чисто теоретические. Их удалось рассеять с помощью нескольких кружек пива, за которые, между прочим, пожелал заплатить сам обладатель протокола, то есть молодой полицейский; его желание было авт. понято и могло вызвать только уважение; побоявшись обидеть полицейского, авт. не стал преподносить ему букет цветов для жены или красивую игрушку для полуторарагодовалого сынишки. («Какая прелесть!» — засвидетельствовал авт., бросив беглый взгляд на фотографию и ничуть не покривив душой. Фотографию своей жены полицейский ему не показал. Да авт. и не решился бы сказать «прелесть» о чужой жене в присутствии мужа.)

Итак, начнем с производственно-психологического заключения. Образование эксперта, подоплека его деятельности, возраст етс остались неизвестными. Указанная молодая служащая сообщила лишь, что эксперта в равной степени ценят и деятели ОНП¹⁵ и судьи, разбирающие рабочие конфликты.

«Эксперт (который в дальнейшем именуется Э.) впервые встретился с Львом Борисовичем Груйгеном (в дальнейшем именуемым Л. Б. Г.) уже давно — за четыре месяца до ареста Л. Б. Г.; согласно распоряжению директора по кадрам городского управления по уборке улиц, Э. должен был провести с Л. Б. Г. ознакомительную беседу. Предметом этой беседы служило предполагаемое выдвижение Л. Б. Г. в административный аппарат, а также назначение по совместительству (с половинным рабочим днем) на должность уполномоченного по работе с иностранными рабочими и консультанта по языкам. В тот период Э. рекомендовал использовать Л. Б. Г. и на той и на другой работах (но в обоих случаях Л. Б. Г. отказался). После первого собеседования психологическое развитие Л. Б. Г. можно было проследить лишь поверхностно от даты к дате, но за последние месяцы благодаря содействию тюремных властей состоялось еще четыре беседы Э. с Л. Б. Г., по часу каждая; изучение характера Л. Б. Г. значительно продвинулось вперед, хотя и сейчас, с точки зрения современной науки, его надо считать недостаточно детальным для познания личности со столь сложной нервной организацией. Нет сомнения, что Л. Б. Г. был бы достоин глубокого и всестороннего исследования. Именно поэтому Э., который за истекший период стал старшим преподавателем в специальном высшем учебном заведении, хочет предложить одному из своих студентов Л. Б. Г. в качестве темы для дипломной работы.

Таким образом, предлагаемый черновой вариант психогаммы Л. Б. Г., хоть и дает приблизительно правильную картину, с позиций чистой науки должен быть воспринят с некоторыми оговорками. Указанная психогамма может, видимо, помочь в вопросе о дальнейшем использовании Л. Б. Г. в административном аппарате, а также (если учесть перечисленные оговорки) помочь выяснению причин, которые привели Л. Б. Г. к «преступным» деяниям.

Л. Б. Г. рос в исключительно неблагоприятных внесемейных условиях и в исключительно благоприятных семейных. Однако последнее обстоятельство также требует уточнения: слово «благоприятно» в данном случае идентично слову «баловство»; тем не менее именно благодаря своей «избалованности» сей двадцатипятилетний молодой человек, несмотря на значительные аномалии в психике, может считаться в высшей степени полезным и многообещающим членом нашего общества.

Чрезвычайно неблагоприятную роль в формировании базы для психического становления Л. Б. Г. сыграло среди прочего одно обстоятельство: будучи внебрачным ребенком и воспитываясь без отца, Л. Б. Г. не мог претендовать на то, чтобы считаться сиротой, а тем паче сиротой военного времени. Для внебрачного ребенка погибший отец не служит сиротским алиби. Надо учесть также, что Л. Б. Г. дразнили на улице и в школе «русским», а его мать периодически называли «русской полубовницей»: более того, ему постоянно, хоть и не прямо, а, так сказать, косвенно внушали, что акт его зачатия был особенно грязным и уни-

¹⁵ Объединение немецких профсоюзов.

зительным, поскольку его мать не изнасиловали, а она добровольно отдалась чужеземцу. Ему разъясняли также, что отцу и матери грозили страшные кары вплоть до смертной казни. И вот Л. Б. Г. стал как бы «каторжным отродьем». Все сверстники Л. Б. Г. и даже другие внебрачные дети имели перед ним преимущество и считали себя на ступеньку выше его в социальной иерархии, так как были детьми «павших воинов». И, наконец, совсем худо пришлось Л. Б. Г. в школьные годы: чем дальше, тем больше он подвергался преследованиям в том сомнительном учреждении, которое называется конфессиональной школой¹⁶ (Э. критикует к. школу во многих публикациях). Л. Б. Г. был крещен, и даже по католическому обряду; факт этот засвидетельствован небезызвестным Пельцером, который впоследствии был короткое время работодателем Л. Б. Г., а также другими лицами. Однако церковные власти начали настаивать на замене «срочного крещения» новым, полноценным. Предпринятое в этой связи энергичное, скрупулезное и недоброжелательное расследование принесло Л. Б. Г. еще одно, в высшей степени зловещее прозвище. Оказалось, что он был «кладбищенским» ребенком, «могильным» ребенком. Мать Л. Б. Г. не давала согласия на новое крещение сына, ей были дороги воспоминания о тех первых крестинах, в которых участвовал отец ребенка, и она не желала, чтобы эти воспоминания заслонил «какой-то новый обряд». С другой стороны, мать не хотела посылать Л. Б. Г. в «свободную школу», находившуюся в пятнадцати километрах от дома, и ни в коем случае не хотела отдавать его к лютеранам. (Причем до сих пор неизвестно, не потребовали ли бы и лютеране нового крещения.) В результате на репутации Л. Б. Г. появились еще одно пятно — непонятно, кем он был? Христианином? Католиком? А может, ни тем, ни другим? Принимая во внимание все сказанное, термин «избалованный» кажется настолько относительным, что его, пожалуй, лучше вообще снять. Л. Б. Г. воспитывало множество «теток»: тетя Маргарет, тетя Лотта, тетя Лиана, тетя Мария; ну и, конечно, в первую очередь мать; одним словом, Л. Б. Г. «баловали» исключительно женщины. Кроме того, у него были «дяди» и «кузены», своего рода эрзацы отца и братьев: дядя Отто, дядя Петр, кузены Вернер и Курт. Л. Б. Г. хорошо помнит также своего родного дедушку, с которым он когда-то сживал на берегу Рейна. Тот факт, что мать Л. Б. Г. старалась как можно чаще, иногда под самыми нелепыми предлогами, не пускать сына в школу, надо рассматривать задним числом как показатель ее исключительно здоровых инстинктов и реакций. Да и сам Л. Б. Г. проявил поразительную психическую твердость, по собственному почину вырвавшись из «круга баловства», дабы играть с детьми на улице; его несколько не пугали ни, так сказать, фигуральные, ни буквальные удары судьбы, иначе он бы навряд ли смог вынести ежедневный гнет школы. Вообще, если бы Л. Б. Г. — здесь мы позволим себе одну гипотезу, — если бы Л. Б. Г. был неполноценным или болезненным ребенком, пусть в самой малой степени, он надломился бы уже к четырнадцати годам; неизбежными следствиями такого надлома были бы мания самоубийства, хроническая депрессия или преступная агрессивность. Что говорить, Л. Б. Г. многое преодолел и поборол. Одного он не сумел преодолеть и побороть, а именно: неожиданной акции «дяди» Отто, до поры до времени чрезвычайно ласкового; «дядя» Отто вдруг лишил Л. Б. Г. общества обоих «кузенов» — Вернера и Курта, которые были старше Л. Б. Г. на пять и, соотв., на десять лет и служили ему опорой и защитой; опора эта была вполне реальная, а не придуманная самим мальчиком. И вот между Л. Б. Г. и его «кузенами» разверзлась социальная пропасть; совершенно очевидно, что чувство мести и упрямства, в свою очередь, послужило причиной так называемого уголовного проступка Л. Б. Г., выразившегося в том, что он неуклюже подделал два векселя. После пяти собеседований для Э. так и осталось неясным, сознательно или несознательно «дядя» и «кузены» спровоцировали Л. Б. Г. на подделку векселей. Л. Б. Г. несколько раз фабриковал фальшивые векселя (в общей сложности четыре раза), но поначалу дело заминали, лишь на четвертый раз оно ста-

¹⁶ Школы в ФРГ, где учатся дети одного вероисповедания.

ло предметом судебного разбирательства. Однако во всех четырех фальшивках оказалась одна и та же ошибка (рубрика «сумма прописью» была заполнена неправильно), исходя из этого, приходится предположить, что речь идет о сознательной провокации, связанной с тем, что, как известно, во время войны семейства Груйтенов и Хойзеров поменялись местами в имущественном положении.

Каким же образом Л. Б. Г. компенсировал свою уязвимость и в детском и во взрослом возрасте? Инстинктивно он понял, что внутрисемейной компенсации, обозначенной здесь приблизительным словом «избалованность», явно недостаточно и что ему следует проявить собственную инициативу, понял, что нельзя целиком полагаться на мать и многочисленных «теток», особенно после отдаления обоих «кузенов». Очень рано Л. Б. Г. осознал беспомощность и уязвимость матери и тот факт, что, как только он подрастет, ему придется стать «главой семьи».

На данном этапе уже пора ввести термин «отказ от полезной деятельности» (в дальнейшем обозначаемый ООПД). Сначала речь пойдет об ООПД в школе, где над Л. Б. Г. периодически нависала угроза перевода в специальное учебное заведение, а именно — в заведение для умственно отсталых детей. Несмотря на свои несомненные способности и вполне нормальное развитие, Л. Б. Г. вел себя так, как должны вести себя, по мнению нашего общества машинной цивилизации, подростки с ярко выраженными асоциальными признаками. В школе Л. Б. Г. учился во много раз хуже, чем ему следовало учиться; более того, по временам он нарочно притворялся слабоумным. Избегал он только одного: оставаться на второй год в тех случаях, когда повторное второгодничество повлекло бы за собой немедленный перевод в школу для умственно отсталых, а перевода он, в свою очередь, избегал лишь по той причине, что мать опасалась, как бы дорога в эту самую школу не была слишком длинной. Л. Б. Г. признался Э., что сам он «с удовольствием перешел бы учиться в специальную школу», но в тот период она находилась в далеком пригороде, мать тогда еще работала, и мальчик с ранних лет помогал по хозяйству, таким образом, долгие поездки в школу нарушили бы «домашний распорядок».

Наряду с ООПД в школе у Л. Б. Г. отмечалось вне школы повышение эффективности полезной деятельности (в дальнейшем именуемое ПЭПД), объясняемое, видимо, его упрямством. Тринадцати лет от роду Л. Б. Г. благодаря любезной помощи одного знакомого матери, который давал ему уроки русского языка, научился бегло читать и писать по-русски. Заметим, что русский язык был родным языком его отца! И еще: в описываемый период Л. Б. Г. ошеломил, или, вернее сказать, разозлил, своих педагогов — здесь надо учесть умственный и психологический уровень типичного учителя начальной школы, — итак, Л. Б. Г., как ни печально, разозлил своих педагогов тем, что досконально изучил русских поэтов от Пушкина до Блока; в то же самое время в знании немецкой грамматики он недалеко ушел от учеников уже упомянутой школы для умственно отсталых детей. Еще большее недовольство вызвало другое достижение Л. Б. Г. — оно было воспринято чуть ли не как провокация! — тринадцати лет, перейдя в пятый класс начальной школы, Л. Б. Г. познакомил своих учителей, и притом по собственной инициативе, с Кафкой, Траклем, Гельдерлином, Клейстом и Брехтом, а также со стихами одного неизвестного поэта, пишущего на английском языке, кажется ирландца по национальности.

Однако довольно примеров. Э. делает нижеследующий вывод: в случае с Л. Б. Г. отмечается крайняя «поляризация» по отношению к обществу; там, где успехи «могут что-то дать», скажем в школе, Л. Б. Г. проявляет ООПД, там же, где успехи «ничего не дают», скажем вне школы, с его стороны имеет место ПЭПД.

Эта резкая поляризация определила всю предшествующую жизнь Л. Б. Г. По мере того как он становился старше и освобождался благодаря своим здоровым инстинктам от «баловства», поляризация превращалась в источник энергии, питавший его сопротивляемость и жизнестойкость. До четырнадцатилетнего возраста модель поведения Л. Б. Г. существенно не менялась. Но уже в возрасте

четырнадцать лет, незадолго до окончания начальной школы, Л. Б. Г. совершил свой первый «уголовный» проступок, вызванный проблемами, которые Э. к сожалению, может только пересказать; тщательно проанализировать суть дела он не берется, поскольку не имеет доступа (как фактического, так и формального) к необходимым материалам. Кроме того, для подобного анализа следовало бы дополнительно привлечь ряд богословско-психологических и исторических дисциплин. Таким образом, ниже будут перечислены лишь основные вехи, приведшие Л. Б. Г. к его проступку: на уроках закона божьего Л. Б. Г. присутствовал всего лишь спорадически, вызывая раздражение духовных лиц и раздражаясь сам, и вот его отстранили от таинства исповеди и причастия. Далее Э. приводит слова самого Л. Б. Г.: «В ту пору это произошло уже не столько из-за моего злосчастного крещения, а скорее потому, что я слыл строптивым, заносчивым, надменным мальчишкой; во всяком случае, недостаточно безропотным. И еще потому, что я тогда немного интересовался богословием, читал церковную литературу, хоть и по-дилетантски, но зато с увлечением, с жаром. Это бесило моих учителей, я имею в виду священников — учителей закона божьего, ведь акт вкушения святых даров они связывали исключительно со смирением».

Л. Б. Г., однако, настаивал на причастии, как он признал, уже из чисто принципиальных соображений и чуть ли не из суеверия; в конце концов он завладел освященными облатками, которые тут же съел, завладел путем «святотатственного поступка — воровства, точнее говоря, осквернения алтаря». Разыгрался страшный скандал. Если бы за Л. Б. Г. не вступился образованный, хорошо знакомый с психологией подростков священнослужитель, его уже тогда посадили бы в исправительный дом для несовершеннолетних преступников. Вот что сказал в заключение сам Л. Б. Г.: «С тех пор я вкушаю святые дары только утром, за завтраком, вместе с моей мамой».

ПЭПД Л. Б. Г. в другом вопросе проявилось еще в возрасте до четырнадцати лет и, можно сказать, сыграло роковую роль в его жизни — мальчик обладал повышенным стремлением к порядку, его все время тянуло что-то убирать, навести порядок; тяга эта была, безусловно, связана с наступающей половой зрелостью. Л. Б. Г. наводил чистоту не только перед домом, у себя в палисаднике и в квартире, он «прибирал» даже во время прогулок, то и дело поднимая опавшие листья. Любимая игрушка Л. Б. Г. в возрасте от восьми до четырнадцати лет — метла во всех ее разновидностях; и это несмотря на то, что пристрастие мальчика к метле истолковывалось его окружением, преимущественно женским, как проявление «женственности», как бабье занятие. Осмыслить этот психологический феномен — значит, предположить, что Л. Б. Г. боролся за чистоту, дабы противопоставить ее окружающему миру, чернящему и грязнящему его особу. Таким образом, и здесь мы также наблюдаем идею защитной поляризации.

В конце концов Л. Б. Г. был исключен из шестого класса. Получив не слишком доброжелательно интерполированный аттестат, он лишился возможности обучиться серьезной профессии и начал работать подсобным рабочим — причем его инструментом опять же чаще всего была метла! Сначала он поступил в цветководство неизвестного Пельцера, потом в цветководство неизвестного Грундча, позже перешел на службу в Управление кладбищ, еще позже в Городское управление по перевозке мусора, за счет которого получил водительские права. В этом управлении он и работает последние шесть лет; нынешний работодатель Л. Б. Г. чрезвычайно доволен им, если не считать инкриминируемой Л. Б. Г. склонности к продлению выходных дней и отпусков; вполне понятное раздражение вызывает также явное ООПД Л. Б. Г.

ПЭПД Л. Б. Г. за последние шесть лет было направлено исключительно на его мать — это он посоветовал ей бросить работу, хотя она была еще сравнительно молодой женщиной, способной участвовать в производственном процессе. Далее: Л. Б. Г. привел к матери ее будущих квартирантов — иностранных рабочих, некоторых с семьями. То обстоятельство, что один из иностранных рабочих стал в конце концов ее сожителем, подозрительно мало травмировало Л. Б. Г.,

особенно если учитывать его привязанность к матери. Даже известие о том, что его мать беременна — беременна от иностранца восточного происхождения! — даже это известие вызвало у Л. Б. Г. всего лишь беспечное — по мнению Э., подозрительно беспечное — высказывание: «Слава богу, стало быть, у меня все же появится маленький братец или сестричка»; и все же голос его при этих словах дрогнул, хотя, чтобы заметить этот нюанс, надо было обладать тонким слухом.

Однако неверно приписывать изменения в голосе Л. Б. Г. только лишь эдипову комплексу. Совершенно очевидно, что в основе их лежит также вполне объяснимый страх перед новыми конфликтами с окружающей средой, которые, по мнению Л. Б. Г., вызовет ожидаемый ребенок; исходя из собственного опыта, Л. Б. Г. убежден, что вероятные конфликты будущего ребенка станут и его собственными конфликтами.

Может быть, Л. Б. Г. испытывает ревность? Чувство это хотя и не исключается, но должно быть сведено к минимуму, ибо из показаний ровесников Л. Б. Г. и его товарищей по работе явствует, что он не только пользуется успехом у женщин и девушек, но и не отказывается пожинать плоды этих успехов.

Здесь следует заранее оговорить, что рабочие по вывозке мусора зачастую исполняют дополнительные просьбы граждан, потребности которых не удовлетворяет коммунальное обслуживание; при этом неизбежно возникают непредусмотренные контакты. Впрочем, Управление по вывозке мусора смотрит сквозь пальцы на проступки своих рабочих, заключающиеся в том, что рабочие, вняв настойчивым просьбам жильцов, забирают у них мусор сверх положенной нормы и принимают чаевые; ведь всем известно, что управление страдает от нехватки транспорта.

Итак, нарисованный до сих пор портрет может считаться относительно гармоничным; пора отметить другое: некоторые нарушения в психике Л. Б. Г., легко объяснимые с точки зрения необходимой самообороны и естественно возникшей поляризации, все же существуют.

Даже психолог-непрофессионал легко обнаружит у Л. Б. Г.:

1) Комплекс солидарности; он возник из перманентного стремления Л. Б. Г. идентифицировать себя со своим отцом и со своей матерью и обратился в последнее время на иностранцев, а за истекшие три месяца, которые он просидел в тюрьме, и на товарищей по заключению. Примем условно, что заключенные являются в нашем обществе чужеземцами, тогда нам станет ясно, что из комплекса солидарности у Л. Б. Г. возник комплекс 2) ксенофилии, который выражается среди проч. и в 3) ксенофилологии — желании изучить язык чужеземцев (Л. Б. Г. уже несколько месяцев учится на курсах турецкого языка). Индивидуум типа Л. Б. Г. (в данном случае Э. скорее склонен, нежели не склонен использовать, несмотря на некоторые сомнения, такое понятие, как «индивидуальность»), — итак, индивидуум типа Л. Б. Г. с сильно развитой впечатлительностью, интеллигентный по природе, стоит перед дилеммой — либо приспособиться и тем самым «предать» себя и свои постоянные индивидуальные признаки, либо, напротив, самоутвердиться внутренне, отстояв свои признаки; пока что Л. Б. Г. перманентно пребывает в состоянии неприспособленности; в итоге возник устойчивый конфликт — конфликт между социальными достижимыми целями для Л. Б. Г. и его способностями. И ныне этот индивидуум (или индивидуальность?) требует все новых и новых (зачастую даже искусственных) препятствий, дабы утвердиться в своих собственных глазах и в глазах окружающих. Если отвлечься от обычного понимания слова «симуляция», предполагающего получение определенных выгод каким-то лицом (продолжительное пребывание в больницах, выколачивание пенсий и оплаченных отпусков), то Л. Б. Г. можно было бы назвать 4) симулянтom с одной лишь разницей: Л. Б. Г. симулирует — тут мы намеренно несколько преувеличиваем — не ради выгоды, а ради невыгодности, удовлетворяя при этом свою склонность к солидарности и ксенофилии. Исходя из вышеизложенного, подделку векселей тоже надо рассматривать как своего рода «симуляцию», а не как «уголовное деяние». Тот факт, что некоторые акты симуляции в конечном счете приносят Л. Б. Г. изве-

стные выгоды (например, расположение иностранных рабочих, граничащее с обожанием), относится к диалектике подобного рода экспериментального существования, которое «демонстрирует» определенную модель общественных отношений или особый принцип этих отношений, как выразились бы марксистские коллеги Э.

Наконец, надо разъяснить, каким образом Л. Б. Г. осуществляет на данном этапе ООПД. За истекшее время его произвели в начальника колонны («Выше я не желаю забираться!»), и Л. Б. Г. проявил незаурядные организаторские способности. Когда ему растолковали схему вывоза мусора и особенности уличного движения во вверенном ему районе, Л. Б. Г. распланировал подъезд к объектам и выгрузку контейнеров таким образом, что его колонна без всякой спешки выполняла запланированные задания на два, а иногда и на три часа раньше, чем положено. И самого Л. Б. Г. и его колонну нередко заставляли за тем, что они долгое время отдыхали; однако отдых не влиял на их производительность труда. Но когда Л. Б. Г. предложили передать свой организаторский опыт штабу планирования, он от этого уклонился и снова начал работать как предписано, по старинке. Оно и было лучше, поскольку население уже начало возмущаться поведением рабочих-мусорщиков, особенно иностранцев, которые подолгу прохлаждались среди бела дня, и возмущение это дошло до ушей прессы. Позиция Л. Б. Г. привела к первой беседе Э. с ним; в этот период администрация обсуждала вопрос о том, не передать ли Л. Б. Г. суду по трудовым конфликтам, но, следуя совету Э., отказалась от своего намерения. (Э. ссылался на дело служащего управленческого аппарата некоего Г. М., на дело, в котором он также выступал в качестве Э.; как раз тогда Э. впервые ввел в специальную литературу по трудовому праву термин ООПД. Г. М. справлялся со своими обязанностями не за восемь часов, как было положено, а всего за два с половиной часа, и впоследствии выработал соответствующий график для своих коллег — здесь мы видим коренное различие с делом Л. Б. Г., — но потом не выдержал травли и заболел весьма тяжелой психической болезнью. Оправившись и поступив на работу в другое учреждение, он был вынужден проводить шесть с половиной часов праздну. Тогда Г. М. начал просить, чтобы ему «возвращали потерянное время — шесть с половиной часов ежедневно»; он претендовал на то, чтобы это время считалось нерабочим. Г. М. было отказано в его просьбе, и он заболел еще тяжелей, чем прежде, но поскольку случай этот привлек к себе внимание общественности, Г. М. взяли на работу в промышленную фирму, где он оказал немалые услуги общему ПЭПД фирмы, кстати, сразу же полностью выздоровев. В истории с Г. М., которой также занимался Э., упрек в ООПД касался лишь отказа Г. М. высиживать положенные часы. Но вообще феномен ООПД становится все более распространенным, и нашему обществу еще предстоит столкнуться в связи с этим со множеством трудных проблем.)

В деле Л. Б. Г. явный ООПД заключался в том, что указанное лицо хотя и выполняло свои служебные обязанности сполна, однако не желало сполна отдавать работодателю присущий ему интеллект и организаторские способности — не желало даже за сравнительно высокое вознаграждение. Наше общество свободного предпринимательства, разумеется, может с помощью компьютеров вычислить различные минимальные, оптимальные и среднеоптимальные варианты, однако для выработки специальных норм по вывозке мусора, чрезвычайно сложных, поскольку, создавая их, надо учитывать всевозможные непредвиденные обстоятельства, как то: уличные пробки и происшествия, степень вероятности которых неодинакова в разных районах, по-разному подверженных уличным пробкам и происшествиям, — совершенно необходимы усилия сведущих, способных к конструктивному мышлению сотрудников, таких, как Л. Б. Г. Здесь надо добавить, что значительная рационализация вывозки мусора может быть проведена не только в местном масштабе, эта проблема ждет регионального и даже сверхрегионального решения; отсюда ясно, что вред, нанесенный Л. Б. Г. всей нашей экономике, с трудом поддается учету. Таким образом, в данном конкретном случае имеет место значительный ООПД.

Э. было важно пронаблюдать за всеми процессами в организме Л. Б. Г., поэтому по его просьбе тюремный врач измерил рост Л. Б. Г., вес, а также заинтересовался его физиологическими отправлениями. Результат был абсолютно положительный. Потребление алкоголя и никотина также оказалось в норме, во всяком случае, явлений, связанных с употреблением наркотиков, не обнаружено. Никаких других болезненных отклонений опять же не удалось установить, если не считать очень небольшой близорукости правого глаза Л. Б. Г., в размере 0,5 диоптрии. Поскольку, однако, во-первых, отмечены значительные нарушения в психике Л. Б. Г. и доказано его неправильное поведение и поскольку, во-вторых, почти каждое из этих нарушений должно было бы отразиться на его эндокринной системе, Э. относит нормальное функционирование организма Л. Б. Г. как раз за счет той постоянной, ярко выраженной поляризации, которая создает необходимый противовес. Если этот сложный, вызывающий беспрестанное внутреннее напряжение противовес отпадет, Л. Б. Г. наверняка заболет диабетом и гепатитом в тяжелых формах. Скорее всего у него также начнутся почечные колики. В связи с этим не рекомендуется досрочно освобождать Л. Б. Г. из заключения; тюрьма идет на пользу поляризации, дает благоприятную пищу как комплексу солидарности, так и ксенофилии. Не исключено, что Л. Б. Г. — во всяком случае, эту возможность нельзя сбрасывать со счетов — и сам стремился попасть в крайнюю ситуацию, то есть в заключение, дабы поддержать на прежнем уровне спадающую социальную напряженность. Как стало известно Э., за истекший отрезок времени у Л. Б. Г. произошел значительный рост солидарности с матерью и, соотв., возможности поляризации для него уменьшились. Таким образом, Л. Б. Г. должен полностью отсидеть свой срок — только это поможет ему в данный момент; заключение желательно для Л. Б. Г. и по другой причине — процесс героизации Л. Б. Г., происходящий в среде его товарищей по работе, не будет прерван.

Но Э. все же не решается взять на вооружение новую, созданную проф. Хунксом теорию и применить ее к Л. Б. Г. Речь идет о введении нового понятия, объявленного некоторыми кругами спорным, понятия «притворной нормальности», которую, как утверждает проф. Хункс, он открыл у ряда лиц, подвергшихся тестированию; лица эти якобы «маскируют свои резко выраженные латентные гомосексуальные склонности повышенной гетеросексуальной активностью на фоне стремления к постоянно регулируемой компенсации» (Хункс). Подвергнув заново точному научному анализу старые протоколы инквизиции, Хункс объясняет «красоту ведьм, их физическую привлекательность и прелесть», а также их знание функций желез внутренней секреции (несомненно, опережавшее время) и связанное с этим «любовное искусство» тем же самым стремлением к «постоянно регулируемой компенсации», которая скрывала их «истинную природу».

Научная добросовестность не позволяет Э. считать, что у Л. Б. Г. имеет место «притворная нормальность, скорее у него отмечается отказ от нормальности при нормальных естественных склонностях. Тот факт, что Л. Б. Г. сознательно и целенаправленно избрал профессию мусорщика, доказывает, что он инстинктивно тянется к необходимой для него поляризации, ибо цель мусорщика — чистота, хотя его профессия слывет грязной».

ХП

Письмо больничного санитаря, некоего Б. Э., приблизительно пятидесяти пяти лет, адресованное Лени:

«Уважаемая госпожа Пфейфер!

Убирая в соответствии с моими служебными обязанностями письменный стол шефа, господина проф. д-ра Кернлиха, и приводя в порядок его записи, необходимые для составления медицинских заключений, которые он мне обычно диктует, я совершенно случайно наткнулся на Ваше письмо. Отвечая на него, я нарушаю профессиональную тайну, за что и могу очень тяжело поплатиться. Поэтому обращаюсь к Вам с убедительной просьбой сохранить мой ответ в стро-

жайшем секрете от проф. Кернлиха, от моих коллег — санитаров и санитарок и от работающих у нас в качестве дежурных сестер монахинь. Я твердо уповаю на Вашу скромность.

С большой неохотой нарушаю я свой служебный долг, разглашая профессиональную тайну, хотя соблюдение такого рода тайн за двенадцать лет службы в дерматологической клинике стало для меня законом. Я решился на это не только из-за Вашего печального и взволнованного письма и не только из-за глубокой скорби, которую Вы, как я хорошо помню, проявили на похоронах госпожи Шлёмер. Нет, не только. Направляя Вам это послание, я как бы выполняю поручение, или скорее завет, покойной госпожи Шлёмер, очень тяжело страдавшей оттого, что в последние две недели жизни к ней запретили пускать посторонних, должны были запретить пускать посторонних, принимая во внимание состояние ее здоровья, — это следует подчеркнуть особо.

Надеюсь, Вы вспомните меня; раза два или три я имел честь провожать Вас к покойной, конечно, в тот период, когда ей еще разрешали свидания. Однако, поскольку я вот уже более года почти постоянно работаю в кабинете господина проф., помогая ему при сборе материала для медицинских заключений, больничных отчетов etc, Вы, может быть, и не вспомните меня в роли санитаря; тогда Вы, надеюсь, вспомните непозволительно громко плакавшего господина — пожилого, полного, лысого, в темно-коричневом пальто с ворсом, — который стоял на похоронах госпожи Шлёмер несколько в стороне и которого Вы, наверное, приняли за одного из неизвестных Вам поклонников усопшей. Но это не так. И если я не пишу здесь «к сожалению», то прошу Вас не усматривать в этом оскорбления дорогой Вам покойницы, а также желания превознести свою особу. Увы, мне так и не удалось найти себе верную спутницу жизни; правда, несколько раз я с самыми честными намерениями связывал свою судьбу с женщинами, но эти связи — не буду кривить душой! — терпели фиаско не столько из-за черствости моих избранниц, сколько из-за моей профессии (которая в силу необходимости заставляла меня постоянно соприкасаться с венерическими больными), а также из-за частых ночных дежурств, которые я по доброй воле брал на себя.

Господин профессор не ответит на Ваше письмо ввиду того, что Вы не являетесь близкой родственницей усопшей, но даже если бы Вы оказались ее родственницей, он не обязан был бы сообщать Вам «подробности» смерти госпожи Шлёмер, о чем Вы просите в своем письме. Это запрещает врачебная этика, это запрещает и этика среднего медперсонала, которую я не хочу нарушать. Сообщая Вам некоторые детали о последней неделе жизни Вашей покойной приятельницы, я и так уже разглашаю врачебную тайну, хотя лишь частично; вот почему я очень прошу Вас держать мое письмо в секрете. Разумеется, причина смерти, указанная в официальном свидетельстве о смерти, соответствует действительности: острая сердечная недостаточность, полное нарушение кровообращения. Но я хочу объяснить Вам, каким образом дело в конечном счете дошло до этого, несмотря на то, что госпожа Шлёмер находилась на пути к выздоровлению, если говорить об ее основном заболевании. Прежде всего отметим: тяжелая инфекционная болезнь, которая привела Вашу приятельницу в наше лечебное учреждение, была получена ею от иностранного политического деятеля, что засвидетельствовано документально.

Вероятно, Вы лучше меня знаете, что Ваша приятельница уже за два года до болезни покончила со своим легкомысленным образом жизни, который вела довольно длительное время; получив наследство от своих родителей, она удалилась на лоно природы, чтобы достойно закончить свои дни в созерцании и печали. И, конечно, Вы лучше, чем я, знаете, что по своей природе она никак не была проституткой или даже распущенной женщиной, скорее ее следует считать жертвой мужского темперамента, жертвой, которая была не в силах сказать «нет», зная, что может принести радость другому. Я считаю себя вправе толковать об этом, поскольку госпожа Шлёмер рассказала мне в ночь накануне смерти почти всю свою жизнь, все подробности своего постепенного «падения». Умудренный двенадцатилетней службой в дерматологической университетской

клинике, умудренный знанием нравов и обычаев женщин легкого поведения, о которых речь пойдет ниже, я, конечно, не склонен идеализировать, а тем паче романтизировать профессию проститутки: кто-кто, а я знаю, что большинство женщин этого сорта умирают в нищете и в грязи, насквозь больные, изрыгая в свой смертный час самые ужасные богохульства; я уверен, что ни один из нынешних веселых порнографических журнальчиков не решился бы поместить портрет кого-либо из этих падших созданий у себя на обложке; их смерть — самая ужасная смерть, какую можно себе представить: они умирают всеми покинутые, заживо гниющие, истрадавшие, бедные, как церковные мыши... Вот почему я обычно посещаю похороны этих созданий, которых провожают в их последний путь всего лишь два человека — служащая отдела социального обеспечения и священник, который в тот день обязан служить панихиду.

А теперь я не знаю, как бы мне без новых долгих околичностей перейти к чрезвычайно щекотливой теме; затрагивать эту тему я затрудняюсь, несмотря на то, что считаю Вас женщиной вполне современной и свободомыслящей, несмотря на то, что Вы были замужем и отчасти знакомы с некоторыми неприятными деталями, которых мне предстоит коснуться. Итак, когда-то и я был студентом, был «медиком», хотя мне так и не довелось стать врачом. На медико-санитарной службе я застрял по причине военных невзгод, и не только по этой причине, а еще из-за неискоренимого страха перед экзаменами, проявившегося во время сдачи начальной физики. Однако, приобретя огромные знания и опыт в немецких и русских госпиталях и будучи освобожденным в 1950 году из лагеря для военнопленных в возрасте тридцати пяти лет, я по легкомыслию стал выдавать себя за дипломированного врача и в качестве такового создал себе хорошую практику, но в 1955 году был разоблачен и приговорен к заключению за мошенничество etc; несколько последующих лет я провел в тюрьме, пока не был отпущен досрочно благодаря вмешательству проф. д-ра Кернлиха, с которым работал, когда был еще студентом, в 1937 году; проф. Кернлих предоставил мне свое покровительство и службу; произошло это в 1958 году. Коротко говоря, мне известно, как живет человеку, на репутации которого черное пятно. Кстати, за время «моей как-никак пятилетней «врачебной» деятельности я не совершил ни одной ошибки, которую бы мне поставили в вину. Теперь Вы, по крайней мере, поняли, с кем имеее дело, хотя бы это я Вам разъяснил. Не знаю только, как мне разъяснить другое. Попытаюсь взять быка за рога! Процесс излечения Вашей приятельницы Маргарет шел так быстро, что можно было вполне рассчитывать на ее выписку из больницы уже через полтора-два месяца. Об этом могут засвидетельствовать все лица, посещавшие больницу, в том числе несколько странный, но все же симпатичный господин, приходивший в последнее время очень часто (!!!! — прим. авт.); сначала мы принимали его за бывшего любовника М. Ш., потом за сводника, позже за дипломатического работника, который познакомил больную с иностранным политическим деятелем, сыгравшим в ее жизни такую роковую роль; этого иностранного деятеля больной надо было, по ее словам, привести в «договорное состояние», с чем она успешно справилась после того, как всем другим дамам так и не удалось привести его в означенное «договорное состояние».

И вот незадолго до выписки с Вашей приятельницей произошло нечто очень странное, нечто парадоксальное. Даже я — бывший студент-медик, много лет занимавшийся «врачебной» практикой, привыкший за последние тридцать пять лет к циничному жаргону закрытых заведений, — даже я никак не могу решить, сообщать Вам, незнакомой даме, некоторые факты в письменном виде, при том что выразить их устно мне было бы еще трудней. Итак, уважаемая госпожа Пфейфер, речь пойдет о выполняющем чрезвычайно сложные функции и способном к чрезвычайно сложным реакциям как в физическом и биохимическом, так и в психологическом смысле органе, носящем повсеместное название мужского полового члена. Вы, конечно, не удивитесь, что женщины, неизбежно попадающие в наше лечебное учреждение, наделяют этот мужской атрибут не очень-то деликатными наименованиями (о боже, как я рад, что все точки над «и» нахо-

нец-то поставлены!). Особой популярностью пользуются и испокон века пользовались различные мужские имена. Надо отметить, что прямые грубые словечки звучат достаточно грубо, но они, по крайней мере, соответствуют среде и имеют, так сказать, чисто служебный, почти медицинский характер; прямая грубость как бы нейтрализует эти слова, делает их менее отвратительными, нежели, казалось бы, более «невинные» наименования. Но как раз в те месяцы, когда Ваша приятельница начала поправляться, наша больница была прямо-таки охвачена глупейшей эпидемией — упомянутый атрибут назывался исключительно мужскими именами. Уважаемая госпожа Пфейфер, Вы должны понять, что в лечебных учреждениях нашего типа подобные глупые эпидемии накатывают, так сказать, волнами; пожалуй, эти явления можно наблюдать еще только в интернатах для девочек; кроме того, учтите, что эпидемии перекидываются также и на средний медицинский или педагогический персонал. За три года пребывания в плену я узнал, что такого рода «диалектические перекидки» имеют место и в среде заключенных и их стражей. Монахини — у нас они исполняют роль дежурных сестер — и без того склонны ко всяким дурацким проделкам; именно в дерматологических больницах они охотно участвуют в глупых шутках, и это даже не признак их порочности, а скорее своего рода самооборона. Вообще-то сестры-монахини были на редкость милы с Вашей приятельницей, очень часто они смотрели сквозь пальцы на ее визитеров и на приносимые ей передачи, даже на алкоголь и сигареты, но поскольку часть этих сестер уже лет тридцать—сорок имеет дело с венерическими больными, многие из них усвоили жаргон падших женщин и даже, случается, сами расширяют его. А теперь должен сообщить Вам один поразительный факт, хотя, впрочем, не думаю, что Вы удивитесь; скорее это подтвердит Ваши собственные наблюдения: госпожа Шлёммер была исключительно стыдливой женщиной. Сперва над ней дружно потешались — дело в том, что госпожа Шлёммер никак не могла догадаться, о чем идет речь, если больные заводили разговор, скажем, о «Густаве-Альфреде», или «Эгоне», или «Фридрихе» и т. д., в уже упомянутом контексте, конечно. И вот больные начали дразнить Вашу приятельницу, не унимаясь ни днем ни ночью; причем сестры-монахини тоже принимали участие в этих жестоких забавах. Сначала в розыгрышах госпожи Шлёммер фигурировали лишь типичные лютеранские имена. Но это не помогло, тогда больные решили во что бы то ни стало покончить с «дурацкой невинностью Шлёммерши» (больная К. Г., профессиональная сводня шестидесяти с лишним лет); волей-неволей Ваша приятельница начала ужасно краснеть буквально каждый раз, когда в ее присутствии упоминали мужское имя. И тут над госпожой Шлёммер стали насмехаться из-за ее пылающих щек, приписывая это явление жеманству и лицемерию; монахини и больные до того изощрялись, что это перешло в самый вопиющий садизм. Дальше больше — преследователи начали употреблять в соответствующем контексте и женские имена. Самым большим успехом пользовались сочетания типичных лютеранских имен с типичными католическими — такие сочетания назывались «смешанными браками». Например, Алоис и Луиза etc. Теперь уже госпожа Шлёммер, так сказать, пылала перманентно, она краснела даже тогда, когда в коридоре без всякого злого умысла произносилось имя какого-нибудь посетителя, имя сестры или сиделки. Вступив на путь жестоких издевательств и не желая простить госпоже Шлёммер ее непреодолимую стыдливость, мучительницы никак не могли остановиться, и наконец их забавы превратились в ярое кощунство; теперь в больнице то и дело поминали святого Алоиса, который как-никак считается заступником всех непорочных, или святого Агату и т. п. Даже человек менее психологически ранимый, чем госпожа Шлёммер, и то страдал бы, а Ваша приятельница мало того что краснела, но и беспрестанно вскрикивала, вскрикивала каждый раз, когда при ней произносили имя Генрих или святой Генрих.

А теперь я должен сказать, уважаемая госпожа Пфейфер, что покраснение лица, как доказано медициной, имеет свои внутренние причины. Вызывается оно внезапным усилением кровоснабжения сосудов и капилляров кожного покрова, что наблюдается при радостном волнении или смущении (именно последнее и

отмечалось у госпожи Шлёмер) и непосредственно связано с вегетативной нервной системой. О других причинах покраснения, как то перенапряжение etc., говорить не стоит. Однако проницаемость (проницаемость) капилляров у госпожи Шлёмер была и без того выше нормы, не удивительно, что у нее начали образовываться так наз. гематомы (известные в народе под названием синяков) и красные пятна, которые можно было бы назвать *vuigo* — «красняки». Подвожу итоги: Ваша приятельница, уважаемая госпожа Пфейфер, скончалась именно от этого. Как подтвердило своевременно произведенное вскрытие, в конце концов все тело госпожи Шлёмер покрылось гематомами и красными пятнами, в связи с этим ее вегетативная нервная система была полностью травмирована, кровообращение вышло из строя, сердце отказалось служить; постоянная краска стыда привела госпожу Шлёмер к острому неврозу; достаточно сказать, что в свой последний вечер — ночью она скончалась — Ваша приятельница ужасно покраснела, услышав пение монахинь в часовне, исполнявших литургию всевышнему. Конечно, я понимаю, что никогда не смогу научно обосновать мою теорию и, соотв., мой диагноз. И все же я считаю себя вправе написать Вам: Ваша приятельница Маргарет Шлёмер умерла от покраснений!

После того как силы ей изменили и она уже не могла связно говорить, госпожа Шлёмер продолжала шептать: «Генрих, Генрих, Лени, Рахель, Лени, Генрих». Несмотря на то, что Вашей приятельнице следовало бы дать возможность собороваться, я в последний момент отказался от этой мысли; соборование вконец измучило бы госпожу Шлёмер — ведь кошунство в больнице достигло таких размеров, что в упомянутом выше контексте употреблялись и святые имена «милого спасителя», «милого младенца Иисуса», «мадонны», «Марии», «пресвятой богородицы» со всеми ее постоянными эпитетами, в том числе с эпитетами, взятыми из лауретанской литании, например «Роза Мистическая» etc. Одним словом, молитвы, которые госпожа Шлёмер услышала бы на своем смертном одре, не только не утешили бы ее, а, наоборот, огорчили еще больше.

Это мое письмо я не стану заключать словами «с искренним уважением», но не воспримите сие как нежелание следовать общепринятым правилам вежливости. Не решаясь употребить слово «сердечный», что могло бы быть истолковано как известная навязчивость, я позволю себе закончить мое письмо словами:

С дружеским приветом

Ваш

Бернгард Эльвейн».

ХШ

После долгих размышлений Клементина, которая в последнее время энергично вмешивается в работу авт., решила, что полицейский протокол не стоит переписывать слово в слово; по мнению К., его лучше пересказать. Правда, в этом случае неизбежно некоторое искажение стиля и выпадение ряда интересных эпизодов и деталей (в частности, из пересказа выпал эпизод с дамой в бигуди, которая находилась в обществе господина в нижней рубашке, чья волосатая грудь в протоколе сравнивалась с «меховым спорком», выпали также «жалобно скулившая собака» и агент по выколачиванию взносов за купленные в рассрочку вещи; все эти персонажи пали жертвой новаторства, которое совсем не по душе авт., так что, собственно говоря, они пали жертвой его неспособности сопротивляться К.). Вопрос о том, надо ли упрекать авт. в ООПД или только в НС (неспособности сопротивляться), остается открытым. К. вычеркнула все, что показалось ей лишним, при этом она без стеснения орудовала своим любимым красным карандашом. Итак, все, что читатель прочтет далее, надо считать наиболее существенным.

1) Несколько дней назад с полицейским Дитером Вюльфеном, находившимся в служебной машине, которую он поставил перед Южным кладбищем, заговорила некая госпожа Кэте Цвифеллер; она попросила Вюльфена взломать дверь в квартире госпожи Ильзы Кремер, ул. Нургхеймер, дом № 5. На вопрос о том, почему госпожа Ц. считает нужным прибегнуть к этой мере, та заявила, что после много-

летних поисков (они продолжались 25 лет, но, как признает госпожа Ц., эти 25 лет не были целиком посвящены поискам) ей удалось узнать адрес госпожи Кремер; и вот, освободившись от всех дел, она отправилась к госпоже К., дабы сделать ей одно важное сообщение. Госпожу Ц. сопровождал ее сын — двадцатипятилетний Генрих Цвифеллер, сельский хозяин, как и его мать (собственно, о госпоже Ц. следовало бы сказать — сельская хозяйка. Прим. авт.). Госпожа Ц. и ее сын намеревались сообщить госпоже К., что ее погибший в конце 1944 года сын Эрих, находясь в деревне между Коммершейдтом и Зиммератом, предпринял попытку перебежать к американцам. При этом его обстреляли как американцы, так и немцы. Тогда Э. К. в поисках убежища заскочил в деревенский дом Цвифеллеров, действительно получил там искомое убежище и прожил в этом доме много дней. В ту пору Эриху К. было семнадцать лет, а ей, Кэте Ц., девятнадцать, и между ними возникли любовные отношения; они «обручились», «поклонились друг другу в верности навек» и решили ни за что не покидать дома. Молодые люди не выходили на улицу даже тогда, когда боевые действия настолько активизировались, что их жизням начала угрожать непосредственная опасность: дом Ц. находился «между двумя фронтами». Когда американцы подошли еще ближе, Эрих К. попытался укрепить над дверью дома кухонное полотенце в знак капитуляции; правда, на полотенце были красные полосы, но основной фон был белый. И тут К. настигла пуля немецкого снайпера, он был убит «выстрелом в сердце»; госпожа Ц. сама видела этого снайпера вермахта, он сидел на вышке «между двумя фронтами», направив винтовку не на американцев, а на деревню; впрочем, после этого происшествия уже никто («В деревне оставалось еще человек пять»), уже никто не осмеливался вывесить белый флаг. Госпожа Ц. рассказала, что она втащила мертвого К. к себе в дом, а ночью, оплакивая от всего сердца, закопала в сарае; позже, когда американцы захватили деревню, она собственноручно похоронила его в «освященной земле». Вскоре Ц. заметила, что забеременела, а 20/IX 1945 года, то есть «ровно в срок», родила сына и нарекла его при крещении Генрихом; родители госпожи Ц. — во время встречи с Э. К. она жила одна — не вернулись из эвакуации, и госпожа Ц. так и не получила от них никаких известий; они числятся пропавшими без вести, наверное, погибли по дороге от бомбежек. Как матери-одиночке и как хозяйке небольшого надела, госпоже Ц. пришлось трудно, но она поставила свое хозяйство на ноги — «время залечивает раны», — вывела сына в люди, он хорошо учился и стал сельским хозяином. Как-никак у мальчика было то, чего не было у многих его сверстников, — могила отца поблизости. Госпожа Ц. «уже (!) в 1948 году» пыталась разыскать госпожу К., предприняла вторичную попытку в 1952 году (!), потом надолго отказалась от своей затеи как от безнадежной, но все же сделала еще одну, также закончившуюся неудачей. попытку в 1960 году (!). Между прочим, до последнего времени она не знала, что и Эрих К. был незаконнорожденным ребенком, не знала также имени и профессии его матери. Наконец приблизительно полгода назад посредник фирмы удобрений любезно взял дело в свои руки и после энергичных розысков узнал адрес госпожи К.; однако госпожа Ц. все еще колебалась, не зная, как ее «встретит госпожа К.». В конце концов сын настоял и они отправились в город, нашли квартиру госпожи К., но дверь никто не отпирает, несмотря на долгий и неоднократный стук. В результате опроса соседей (именно здесь сыграли довольно значительную роль дама в бигуди, скулившая собака и т. п., но эти персонажи, как уже было отмечено выше, пали жертвой беспощадных новаций, напомнивших авт. реформу литургии!), — итак, в результате опроса соседей было установлено, что госпожа К. ни в коем случае не могла уехать, ведь она в жизни никуда не уезжала. Коротко говоря, госпожа Ц. «боится самого худшего».

2) Вюльфен попал в трудное положение. Надо ли было считать эту ситуацию ситуацией, когда «промедление опасно»? Вот в чем вопрос. Ведь ни по какой другой причине легально взломать квартиру госпожи К. не разрешалось. Прибыв вместе с госпожой Ц. и ее сыном на ул. Нургхеймер, дом № 5, полицейский установил, что госпожа К. вот уже неделю как не показывалась на улице. Один сосед (не с волосатой грудью, а другой — известный пьяница-пенсионер родом с Рейна,

который называл госпожу К. Ильзой; как жаль, что весь разговор с ним вычеркнут!) припомнил следующее: примерно дня три подряд он слышал «жалобный писк Ильзиной птицы». И тогда полицейский Вюльфен решил войти в квартиру. Но не потому, что счел формулу «промедление опасно» применимой к данному случаю, а из чистого сострадания. К счастью, среди соседей госпожи К. нашелся молодой человек, который вскрыл ее квартиру, вскрыл с подозрительной ловкостью и с многозначительным замечанием: «На этот раз я делаю это для полиции» (столь бледными словами приходится обрисовывать чрезвычайно колоритную фигуру, которая имела не то четыре, не то пять судимостей за телесные повреждения, сутенерство и кражи со взломом и известна всем жильцам дома под кличкой «убийца Крокес»; даже полицейский Дитер Вюльфен отметил, что молодой человек этот «дикобраз», что у него «жирные, густые, длинные каштановые волосы» и что «вся округа его знает»).

3) Госпожа К. была найдена мертвой, она отравилась таблетками снотворного и лежала совершенно одетая на скамейке в кухне. Тело еще не успело разложиться. На старом зеркале, висевшем над кухонной раковиной, покойная написала остатками томатной пасты (!! — авт.), которую она, очевидно, наносила пальцами, глагол «хотеть» в разных глагольных формах: «Я больше не хочу. Я больше не хотела. Я уже давно больше не хо...» На этом слове у нее, наверное, кончилась паста. В комнате рядом с кухней под комодом была найдена мертвая птица госпожи К. — волнистый попугайчик.

4) Дитер Вюльфен признался, что госпожа К. находилась на учете в полиции. Через агента К-14 было известно, что в прошлом она состояла в компартии, хотя с 1932 года не проявляла активности. Далее, полиции было известно, что госпожу К. много раз навещал господин... (здесь Клементина полностью написала фамилию уже упомянутого выше киоскера Фрица, но и эта фамилия пала жертвой красного карандаша, на сей раз красного карандаша авт.) и что этот господин призывал ее, видимо, к политической активности; особенно часто он навещал госпожу К. после запрета КПГ.

5) Госпожа Ц. и ее сын высказали свои притязания на наследство. Дитер В. установил наличие кошелька с 18 м. 80 пф., а также сберегательной книжки, на которой лежало 67 м. 60 пф. Судя по всему, единственным ценным предметом в квартире был почти новый телевизор (не цветной), к которому госпожа К. приклеила записку: «Выплачен полностью». На фотографии, висевшей в рамке над кухонной скамейкой, госпожа Ц. обнаружила отца своего ребенка, Эриха К. На второй фотографии был изображен, «наверное, его отец. Поразительное сходство». В расписанной цветами жестяной коробке с маркой известной кофейной фирмы были найдены мужские часы, «не имеющие почти никакой ценности», но исправные, стертое золотое колечко с искусственным рубином, также не имеющее почти никакой ценности, десятимарковая бумажка, год выпуска 1944, значок союза «Рот фронт», стоимость которого подписавший протокол не смог установить, ломбардная квитанция на заложенное в 1936 году за 2,50 марки золотое кольцо, еще одна ломбардная квитанция на заложенный в 1937 году за 2,00 марки бобровый воротник, аккуратно ведшаяся книжка по расчетам квартирной платы. Сколько-нибудь значительных запасов продовольствия обнаружить не удалось. В квартире были найдены половина бутылки уксуса, почти полная жестяная растительного масла (небольшого размера), зачерствевший докторский хлеб (пять ломтиков), нарезанная пачка молока, какао в жестяной банке — приблизительно 65—85 гр., полстакана молотого кофе, соль, сахар, рис, немного картофеля, а также непечатый пакетик птичьего корма. Кроме того, в кухне оказались две пачки папиросной бумаги и начатая пачка табака мелкой резки марки «Радость турка». Было также обнаружено шесть романов известного писателя Эмиля Золя, дешевые издания; все томик зачитанные, но не грязные — наверное, и они не представляют собой особой ценности, — и книга под названием «Песни рабочего движения». Предметы одежды и другие вещи, принадлежащие госпоже К., которые, как положено, находились в шкафах; любопытные соседи, проникшие в квартиру, презрительно охарактеризовали их как «сплошной хлам». После появления полицейского врача, ко-

торого все ждали, квартиру госпожи К. в соответствии с инструкцией опечатали. Госпожу Ц. направили в судебные органы для разрешения вопроса о наследстве, на которое она претендовала.

б) Госпоже Ц. рекомендовали связаться с господином Фрицем, который, вероятно, мог сообщить ей интересные факты из жизни покойной и из жизни отца погибшего Эриха К. Но госпожа Ц. отклонила это предложение. Она заявила, что не желает иметь ничего общего с коммунистами.

XIV

В те часы, когда К. не орудует красным карандашом, она, можно сказать, незаменимая помощница. Бесспорные достоинства стилистики отказывают К. лишь в периоды, когда ее одолевают авторские или редакторские амбиции. Небесполезным оказался и опыт К. в религиозной практике, ведь он вполне приложим к мирским делам. И наконец, именно потому, что К. в известном смысле женщина эмансипированная, она с лестным для авт. усердием берется за стряпню и вообще за любую домашнюю работу; по части всякого рода мытья К. производит впечатление просто одержимой; ко всему прочему, она, нахмурив лоб, изучает цены на мясо и цифры квартплаты; правда, в то же самое время она не отказывает себе в поездках на такси. Лавина порнографической литературы нередко вгоняет ее в краску. Что же касается этой книги, то в настоящее время К. заняла по отношению к ней, можно сказать, автономную позицию, иными словами, ее карандаш не гуляет больше по чужому тексту; теперь К. занимается только собственными текстами. К. говорит, что смерть Ильзы Кремер «потрясла» ее; из-за этой смерти пролито немало слез (они льются и сейчас). К. намерена написать краткую биографию Ильзы, работницы, которая «трудилась не покладая рук пятьдесят лет и оставила после себя телевизор (совсем недавно выплаченный), половину бутылки уксуса, немножко папиросной бумаги и... книжку по расчетам квартирной платы». «Нет, я не могу с этим примириться, не могу!» (К.) Что ж, весьма похвальные мысли и чувства!

Кроме того, К. оказывает авт. неоценимые услуги не то чтобы в качестве шпионки, но, во всяком случае, в качестве наблюдательницы. В то время как авт. еще не достиг состояния тотального ООПД, к которому он всей душой стремится, К. уже почти приблизилась к желанной цели. К. занимается только тем, что доставляет удовольствие ей самой. С удовольствием посещает она Ширтенштейна и Шолсдорфа; по ее мнению, оба они стали куда спокойнее. Причину успокоения Ширтенштейна она открыла позже, увидев его в «Блюхеровском парке на скамейке рядом с Лени. Рука к руке, щека к щеке...» Кроме того, она своими глазами дважды видела Лени вместе с Шолсдорфом в кафе Шперц и стала очевидицей сцены «возложения руки». А однажды К. встретила в квартире Лени человека, который, судя по ее описаниям, был не кем иным, как Куртом Хойзером. К. почти уверена, что в своем нынешнем состоянии Лени избегает близости даже с Мехмедом, поэтому она считает, что с Пельцером Лени зашла достаточно далеко: «Она поцеловала его в темноте, в машине, недалеко от дома». К. самому Пельцеру К. боится идти, считая, что он по натуре «человек не деликатный и вполне может дать волю рукам, чтобы добиться каких-нибудь суррогатов эротики».

Судьба Льва Груйтена ее ничуть не беспокоит, «он ведь скоро выйдет на свободу». В силу своей активной натуры К., впрочем, участвовала в демонстрации рабочих-мусорщиков перед зданием суда, она же сочиняет тексты к плакатам, к примеру, следующего содержания: «Разве солидарность — преступление?!» — или: «Разве верно товарищу карается законом?» — или куда более грозные: «Если наших парней будут сажать в каталажку, город захлебнется в нечистотах!» Бурная деятельность принесла К. первый крупный заголовок в одной местной бульварной газетенке: «Бывшая монахиня, рыжеволосая красотка, — новоявленная яковинка мусорщиков». И в других делах К. тоже старается быть полезной: она дает уроки немецкого португальским детям в квартире Лени, беседует с Богаковым о современном положении в Советском Союзе; в свою очередь, Грета Хельцен «заботится» о ней «как косметичка». Наконец, К. помогает много-

численным туркам и итальянцам заполнять формуляры для подоходного налога, разговаривает по телефону с прокурорами (по поводу еще введущихся судебных дел против трех шоферов мусороборочных машин) и описывает очередному крупному чиновнику (также по телефону), какой хаос возникнет, если мусорщики объявят забастовку, etc. Само собой разумеется, К. роняет слезу, читая «Маркизу фон О...», а читая «Сельского врача» или «В исправительной колонии», плачет навзрыд. Но, несмотря на эти слезы, она по-прежнему не понимает, что значит формула «на земной карете, запряженной небесными конями». К. очень решительно, пожалуй, даже слишком решительно отошла от всего небесного. И надо признать, что не она, а Лени настаивает на посещении Герзелена, узнав, что там в самом деле намереваются открыть ванное заведение. Нетрудно догадаться, кого прочтут на пост директора курорта и управляющего по рекламе, ну, конечно же, нашего старого знакомого Шейкенса! Сейчас он то носится как угорелый с синьками, то властным голосом отдает по телефону распоряжения прорабам и архитекторам; Шейкенс нашел оправдавшее себя средство обуздать, «если надо, то и силой, это наказание божье — розы, черт бы их подрал». В радиусе пятидесяти метров вокруг «кормильца-источника» он соорудил нечто вроде дренажа, по которому циркулируют ядохимикаты, уничтожающие растения. И действительно, розы перестали цвести. Разве может горсть праха, которая была когда-то Рахелью Гинцбург, противостоять такому напору химии?! Богаков уже успел с радостью ощутить «классность» источника и его благотворное действие на «проклятый артрит». С тех пор как ему удалось уговорить Лотту перейти на позиции ООПД, оба они часто прогуливаются в парке у монастыря.

И еще одна подробность: К. единственной из всех упомянутых до сих пор лиц, включая Мехмеда, удалось присутствовать при явлении богоматери по телевизору; тут, надо признать, она проявила недюжинное упорство и упрямство, присущие бывшим монахиням и не монахиням; она молча просиживала часами, наблюдая, как Лени пишет свою картину, варила ей кофе, мыла кисти, не скупилась на лесть и добила своего. Комментарий К. к этому факту был весьма плоский, но, как говорится, бумага все стерпит: «Это сама Лени, сама! Она сама себе является на фоне постепенно блекнущих рефлексов». Что ни говори, остаются еще постепенно блекнущие рефлексы и на заднем плане мрачные, не предвещающие ничего доброго грозовые тучи — ревнивая натура Мехмеда и его выявившаяся не так давно антипатия к танцам.

Перевела с немецкого Л. ЧЕРНАЯ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Нет необходимости представлять советскому читателю автора романа «Групповой портрет с дамой». Генрих Бёль хорошо известен в нашей стране, все его романы и повести переведены на русский язык (некоторые — и на другие языки народов СССР). Он неоднократно бывал у нас. В первый свой приезд Бёль встретился с большой группой московских писателей, — у меня сохранилась краткая запись этой беседы, состоявшейся 1 октября 1962 года. Немецкому гостю, в частности, задали вопрос: «Кем из русских писателей Вы особенно интересуетесь?» Бёль ответил: «В возрасте 15—16 лет я начал читать Достоевского. Затем читал Пушкина, Толстого, Лермонтова, Лескова. Самый близкий мне русский классик — Гоголь».

За годы, прошедшие с тех пор, у Генриха Бёля было немало других встреч с советскими литераторами — и в редакциях наших журналов, и в московских квартирах, и в его гостеприимном доме в Кёльне. Мы гораздо лучше знаем Бёля, чем знали десять лет назад, и полнее представляем себе, что значат для него традиции русской литературы. В статьях и интервью последних лет он не раз высказывался и о Достоевском, и о Толстом, и о русской классической литературе в целом. («Я считаю русскую литературу XIX в. величайшей, самой гуманной и в то же время самой важной на

целом свете»¹, — писал он, отвечая на анкету Пушкинского дома в связи с юбилеем Достоевского.) Однако теперь, читая «Групповой портрет с дамой», мы, пожалуй, можем яснее понять, чем привлекал и привлекает Бёля именно Гоголь.

Авантюра Груйтена-старшего, новоявленного Чичикова, создавшего во время второй мировой войны дутое предприятие с «мертвыми душами» вместо рабочих, — это всего лишь небольшой эпизод в разветвленном, многообъемлющем сюжете «Группового портрета с дамой». Родство с Гоголем сказывается, конечно, не только в этой прямой реминисценции: оно глубже. Новая книга Генриха Бёля дает повод задуматься над тем, какое важное место в его творчестве занимает стихия сатиры, юмора, комического гротеска, как существенны в его стиле ирония и пародия. Можно было бы написать большой труд о смехе Бёля, о разных вариациях и градациях этого смеха от добродушной шутки до гневного сарказма. Бёлевский смех часто бывает невеселым, он соседствует с горечью и горем. Но это, по сути своей, смех раскрепощающий, он помогает писателю противостоять многим признанным в его обществе истинам и авторитетам и в то же время обеспечивает ему определенную внутреннюю свободу. В частности, и свободу от слишком буквально понятой достоверности.

В личном разговоре Бёль, отвечая на вопрос, считает ли он правдоподобной одну из ситуаций, описанных в его книге, мимоходом бросил реплику: «А я и не хотел писать реалистический роман!» Эти слова тоже не надо понимать буквально: «Групповой портрет с дамой», если судить о нем по большому счету, конечно, роман реалистический в самом высоком смысле слова. Это своего рода роман-исследование — писатель пылливо вглядывается в прошлое и настоящее своей страны; перед нами проходят несколько десятилетий немецкой истории, обнажаются скрытые пружины, которые управляют национальными судьбами. Здесь развертывается — шире и полнее, чем в прежних вещах того же автора (таких, как «Дом без хозяина», «Бильярд в половине десятого», «Глазами клоуна»), — один из коренных идейных мотивов всего его творчества: выявление преемственных связей между гитлеровской диктатурой и современным неокapитализмом ФРГ. Но всю свою работу историка, социального аналитика, социального психолога Бёль проводит путями, присущими именно ему как художнику. Он иногда не останавливается и перед резкими нарушениями достоверности. Он следует глубоинной логике фактов, уклоняясь от мелочно понятой точности фактов, а иногда, напротив, подкрепляет художественный вымысел подлинным историческим материалом.

Всякий советский читатель обратит внимание на те страницы романа, где повествователь, прервав на время свой рассказ о судьбе Лени и связанных с нею людей, вводит документы о зверском обращении гитлеровских властей с советскими военнопленными. Нам эти факты известны. Для многих читателей в ФРГ они, наверно, новы. Так или иначе, эти страницы производят особо сильное впечатление именно благодаря тому, что они умело вмонтированы в художественное повествование. Впрочем, искусство Бёля-стилиста сказывается и там, где он не цитирует документ, а создает нечто подобное ему. Читая литературные опусы незадачливого вояки Алоиса Пфейфера, где так точно воспроизводится трескучий слог нацистской пропаганды, мы даже затрудняемся определить, авторские ли это тексты или цитаты из прессы «третьей империи».

Стилизация, оборачивающаяся пародией, есть и в самом повествовании, начиная с первых его строк. Романист спокойно, ненавязчиво, иронично воссоздает бюрократически-телертерскую манеру изложения, свойственную энциклопедическим словарям, официальным справочникам, ученым сочинениям специального характера и т. д. Сама эта необычная в художественном произведении мнимобесстрастная интонация рассказчика позволяет ему резче оттенить самостоятельность, независимость своей авторской позиции. Он вроде бы никого не судит, не казнит, не оправдывает — он «только» выясняет истину, выслушивает показания сторон. Демонстрируя сам процесс собирания материала, предоставляя слово то одному, то другому из разнообразных своих свидетелей, воспроизводя строй речи и образ мыслей каждого из них, Бёль малопомалу разворачивает богатую, объемную картину немецкой действительности. Каждый

¹ «Достоевский и его время». Л. «Наука». 1971, стр. 7.

из свидетелей, повествуя о жизни Лени, говорит попутно и о себе, исповедуется перед читателем: раскрытие исторической истины сопровождается самораскрытием (подчас саморазоблачением) многих и разных персонажей.

Повествователь, обозначаемый как «авт.», — активно действующее в романе лицо. И лишь тем, кто прочитал роман беголо и поверхностно, может показаться, что писатель Генрих Бёль прячется за вымышленными фигурами и уклоняется от того, чтобы высказать собственную точку зрения. Это далеко не так. Симпатии и антипатии романиста естественно выявляются из хода, столкновения, взаимодействия различных свидетельств и исповедей. И уж вовсе само собой разумеется, что «авт.» не отвечает за высказывания отдельных своих персонажей — скажем, за откровения оголтелой нацистки Ванфт. Не отвечает он, конечно, и за путаные рассуждения некоего киоскера, отколовшегося от рабочего движения. Здесь и во многих подобных случаях авторское отношение к речам персонажей достаточно явственно сквозит в той иронии, с которой передаются эти речи. Отсутствие прямых авторских оценок, поза невмешательства — это своего рода маскировка, которая нужна писателю, чтобы полнее выявить истину. И сам процесс отыскания истины оказывается захватывающим, отчасти именно тут секрет занимательности романа. Стоит нам привыкнуть немного к его непривычной структуре (очень крепко слаженной, невзирая на кажущуюся мозаичность) — и нам становится необычайно интересно узнать не только «что произошло», но и «как все это происходило» и «почему именно так происходило». В сопоставлении версий, в поисках правды фактов и смысла фактов обнаруживается свой, богатый источник сюжетного драматизма. Притом драматизма тем более остро, что за событиями жизни Лени и ее близких встают самые коренные социальные, нравственные проблемы, то самое главное, о чем написаны все книги Бёля.

Об этом самом главном писатель неотступно думает. И ему все труднее становится соблюдать декорум бесстрастия. Где-то в конце четвертой главы у него вырывается прямо-таки крик души: «Ну и порядки! Где же справедливость?» И он откровенно сознается, что «многие вопросы продолжают оставаться открытыми». Многие вопросы действительно так и останутся открытыми в романе до самого конца. И все же общественная позиция писателя Генриха Бёля, как и позиция «авт.» в его романе, совершенно недвусмысленна и бескомпромиссна. Это позиция страстного антифашиста, противника империалистических войн, в конечном счете и противника эксплуатации человека человеком вплоть до самоновейших, рафинированных и «цивилизованных» форм этой эксплуатации.

В «Групповом портрете...», как и в других романах Бёля, фашисты в собственном смысле слова почти не появляются или стоят где-то на периферии действия. Зато детально и безжалостному анализу подвергается поведение тех, кто поддерживал гитлеровскую диктатуру, обслуживал ее, приспособлялся к ней — и наживался благодаря ей. Когда-то в романе «Дом без хозяина» Бёль показал, каким прибыльным делом могли стать фашизм и война и для таких, казалось бы, безобидных, сугубо мирных людей, как владельцы фабрики, производящей мармелад и повидло. В «Групповом портрете...» Груйтен, своевременно сделав ставку на Гитлера и его политику, наживается на строительстве казарм и бункеров, а Пельцер — на производстве траурных венков. Ни в том, ни в другом нет ни грана нацистской идеологии в собственном смысле слова, просто они из породы тех, для кого деньги не пахнут. Однако без таких, как они, — и многих им подобных — фашизм не мог бы существовать.

К моменту, когда «авт.» начинает свое расследование, и Груйтен и Пельцер — люди вчерашнего дня, так сказать, погорельцы гитлеровского рейха. И к ним мы склонны питать скорее презрение, чем более резкие чувства (к старику Пельцеру автор проявляет даже некоторое снисхождение, на наш взгляд излишнее). Зато под концентрированный обстрел критики со стороны Бёля попадают Хойзеры — нувориши «экономического чуда». Эпизод в конторе Хойзеров — одна из наиболее ярких сцен романа. Тут действует своего рода замедленная съемка — каждая деталь, включая и инцидент с оторванной пуговицей, полна серьезного смысла. Здесь «авт.» полнее, чем прежде, раскрывается сам, юмористически обыгрывает свою неловкость, несветскость, потерянный пиджак — все это контрастно

противостоит самодовольному, комфортабельно-бездушному (и даже в прямом смысле душному — без притока свежего воздуха!) существованию Хойзеров. Нет, автор не хочет искать общий язык с этими нелюдями! Конфликт Лени с ее дальними родичами, которые, в сущности, именно ей обязаны своим богатством и которые пытаются теперь вышвырнуть ее из родительской квартиры на улицу, раскрывается в романе как конфликт классовый. И Лени и ее сын Лев принадлежат к лагерю угнетенных — не только вследствие своей бедности, не только в силу своей дружбы с иностранными рабочими, живущими в ФРГ на положении изгоев, но и по существу своего поведения, привычек, склонностей. (Недаром разные персонажи по разным поводам говорят о «пролетарских» чертах натуры Лени...) И сам «авт.», который под конец романа нарушает свой старательно соблюдавшийся «нейтралитет» и включается в акцию помощи Лени (акцию, надо сказать, несколько причудливую), тоже прямо и открыто стоит на стороне угнетенных.

В интервью, которое Генрих Бёль сразу же после выхода романа дал газете «Цайт», он сказал, что ему давно уже хотелось устранить из литературы положительных и отрицательных героев. Человек на самом деле сложнее — «иногда и фигура, первоначально задуманная как несимпатичная, может стать симпатичной». О центральном образе своего романа он высказался так: «Эту Лени Груйттен нельзя назвать героической или негероической, — она такая, какая она есть. Она не принадлежит к приспособившимся или неприспособившимся. Я боюсь, что ее будут интерпретировать как тип неприспособившейся — но не в этом суть»². Симпатия автора к Лени бесспорна. Однако он не хотел создать, да и не создал, личность мало-мальски типическую. Напротив, она как бы выламывается и из своей среды, и из всех норм художественной типичности. Ни детство, проведенное в зажиточном доме, ни школа, ни даже пребывание в гитлеровской юношеской организации — все это никак не пошло в ущерб чистой душе Лени. Она не знает, что такое национал-социализм, не знает, что в гитлеровском государстве преследовались евреи. Она бестрепетно нарушает все нормы поведения, принятые в гитлеровском государстве (а потом и в послевоенном западногерманском государстве), не имея и не желая иметь понятия об этих правилах, руководствуясь скорее инстинктом, чем разумом. Причем женский инстинкт, сильно развитый в ней, оказывается в то же время и инстинктом нравственным. Лени — своего рода естественный человек, органически не способный ни к какому злу, корысти, лицемерию. Она живет согласно велению сердца, и, по сути дела, живет в ином плане, ином измерении, чем большинство персонажей романа.

Во всех книгах Бёля симпатия автора отдана людям с чуткой и уязвимой душой — тем, кто не приемлет жестокости, грубости окружающего их мира. Таков клоун Ганс Шнир, такова душевнобольная Иоганна Фемель из романа «Бильярд в половине десятого», таковы столяры Грули, отец и сын, в повести «Чем кончилась одна служебная командировка». Эти любимые бёлевские герои всегда носят печать исключительности, они как бы «не от мира сего» и противятся господствующему злу на свой, особый, необычный лад. К этому же кругу привлекательных и странных, слабых и стойких героев Бёля принадлежит и Лени Груйттен. И не только одна она. Тема мудрого чудачества громко заявлена еще в первой главе — там, где идет речь о гибели Генриха Груйттена и его друга Эрхарда, попытавшихся сказать свое «нет» гитлеровской войне. Эта тема развертывается на всем протяжении романа; захватывая разнообразные человеческие судьбы. Любимая наставница юной Лени Рахель Гинцбург, социалистка и католичка, ученый-биолог и монахиня, тоже личность необычная. В ее поведении и образе мыслей есть налет парадоксального, шокирующего, но есть, для автора, и своя логика. Рахель на свой лад бросает вызов лицемерному церковному аскетизму и утверждает мысль, очень важную и органичную для Бёля: что в человеке высокое, духовное и физическое, пусть самое «низменное», нерасторжимо переплетены.

Еще более существенное место в романе занимает Борис Колтовский. Типичен ли он как офицер армии, разгромившей Гитлера? Правдоподобна ли его судьба? Да нет, ни в коем случае. Образ Бориса явно литературного происхождения, он сродни князю Мышкину или Алеше Карамазову скорее, чем поколению ровесников Октября. Однако

² «Die Zeit», 6.VIII.71.

Борис наделен неподдельным человеческим благородством — он как бы излучает особый нравственный свет, воплощает в себе высокую духовную культуру нации, породившей Толстого и Достоевского. Любовь Бориса и Лени в контексте той картины немецкой жизни, которая дана в романе, приобретает символический смысл. Тут можно вспомнить латинское изречение, которое когда-то Ромен Роллан поставил эпиграфом к своей антивоенной повести «Пьер и Люс»: «Мирно любви божество». Любовь и для Бёля ассоциируется с идеей мира. А в данном случае любовь немки и русского — в самом прямом смысле поэтическая антитеза войне и фашизму, антитеза всему, что разъединяет, калечит, губит людей. Понятно, что утверждению этой идеи писатель постарался отдать лучшие свои краски. Чтобы развернуть дальше историю Бориса и Лени со всем волнующим, трогательным и страшным, что ей сопутствует, романисту приходится то и дело отступать от строгой достоверности, подчас даже идти на явные художественные потери. Случайная гибель Бориса, о которой рассказано скороговоркой, оказывается по-своему необходимой: ведь нельзя же было бы без явного нарушения психологической правды представить Бориса невозвращенцем (на примере Богакова очень убедительно показана жалкая судьба «перемещенных лиц», потерявших вместе с советским гражданством и свое человеческое достоинство). Однако Борис через много лет после смерти неистребимо живет в памяти тех, кто его знал, и как бы оживает заново в образе Льва. Он тоже из породы излюбленных Бёлем мудрых чудаков. Лев, как бы он ни был далек от политики, по сути дела совершает политический выбор — уже в силу того, что не хочет для себя никакой карьеры, никакого личного успеха в том обществе, в котором он живет. В «Групповом портрете с дамой» носители добра не одиноки: они способны действовать совместно, они приобретают друзей, которые не покидают их в беде. В финале романа нарастают комически-гротескные мотивы; проблемы, которые не находят разрешения, снимаются или смягчаются (как бывало и в прежних романах Бёля) с помощью лукаво-добродушного юмора. Однако здесь звучит на особый парадоксальный лад тема солидарности угнетенных, новая для Бёля.

...Сегодня, когда роман «Групповой портрет с дамой» приобрел широкий круг читателей в разных странах мира, любопытно вспомнить, что при своем появлении он был принят прессой ФРГ далеко не безоговорочно. Иные критики не сумели или не захотели понять антиимпериалистическую, антибуржуазную направленность книги Бёля и в своих отзывах обратили наибольшее внимание на парадоксы сюжета и необычность литературной манеры. Нас, конечно, тоже привлекает художественное своеобразие «Группового портрета с дамой», его стиль и структура. Но особенно дорого нам в этой книге то страстное, искреннее утверждение идеи мира, взаимопонимания, дружбы между русским и немецким народами, которое заложено в самой основе романа.

Обратимся еще раз к беседе Бёля с московскими литераторами, состоявшейся 1 октября 1962 года. Ему был, в частности, задан вопрос — дают ли его книги полное представление о современной жизни ФРГ. Бёль ответил: «Не думаю, чтобы в моих романах отражалось все, что происходит в Федеративной Республике. Наверное, отражается лишь часть — в соответствии с моими взглядами не только на Федеративную Республику, но и на мир в целом. У нас в стране с 1945 года произошло много всякого. Представить в книгах все, и положительное и отрицательное, одному человеку невозможно. Писателем-то и становишься именно в силу способности себя ограничить: пишешь о том, что знаешь, что тебя интересует. Есть тысячи проблем, о которых я и представления не имею...»

«Групповой портрет с дамой» — самая широкая картина действительности, какая когда-либо вставала в романах Бёля. Было бы близоруко предъявлять претензии к автору по поводу того, что картина эта не исчерпывающа. Бесспорно, что перед нами — честный, живой отклик писателя-гуманиста на острые проблемы эпохи, одно из наиболее значительных произведений зарубежной литературы последних лет.

Т. МОТЫЛЕВА.



ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ

★

СКАЛЫ, РОЩИ, ВЗГОРЬЯ

С сербскохорватского

Через поле, через ниву
Соча разлилась счастливо
и поет, и поет, и смеется,
так что в Руднике отдается.
Где же ты, Симон Грегорчич!
Слушай Сочу, полную смеха,
слушай речь свою словенскую,
что свободно звучит вместе с русской,
вместе с речью хорвата, и серба,
и поляка, болгарина, чеха.
Все народы нашей отчизны,
даже малые, словно рой пчелиный
из старого дуба
или птичья стайка,
все имеют право по-своему
разговаривать, читать книги,
песни петь про свое родное.
Где же ты, батальон Похорский?
Над Белградом и всей страной
твой напев раздается гордый.
Может быть и такая держава,
что мала, как лесной муравейник,
или меньше, чем гнездышко птичьё,
но у нас на родине право
все имеют на свои границы.
Где вы, павшие партизаны?
Вот бы с нами пожить вам свободно.
На своем языке македонцы
созывают овец на Шаре
и своих ребятишек будят
и поют. По-своему учатся
и мадьяры и албанцы —
для всех наций равны законы.
Где же вы, борцы и повстанцы,
где вы, сгинувшие миллионы?

1949.

ТЫ ОБЕЩАЛА, ЧТО БУДЕШЬ ВЕЧНОЙ

Ты обещала однажды в детстве,
что будешь вечной,
что встретишь нас, откуда бы мы ни вернулись,
словно порог родного дома,
словно тень под его стрехою.

Куда бы мы ни уплывали,
ты, как рыбачка,
сидела у моря, глядя в пучину;
после каждой бури
и кораблекрушенья
твое лицо мы видели в чистом небе.

Где бы мы ни проснулись,
в окошке видели тебя и солнце,
ты всегда была необходимой и сущей,
как воздух.
Как вода —
всегда была под рукою.

Обещала, что будешь вечной,
как все, что нас встречает в мире
и провожает нас оттуда.
Когда умирала,
казалось, чувствовала себя виноватой
в том, что нас покидаешь.

ПОЛОВОДЬЕ

Половодье на меня нахлынуло,
жизнь перевернуло,
воды замутило
и снесло плотины.
Все вчерашние слова забылись
и вчерашние заботы,
и, пока во мне осядет тина,
сколько ждать — не знаю,
месяцы иль годы.

Мир зеленый тысячами ведер
половодье за единый вечер
унесло и смыло.
Я не знаю, вырастет когда-нибудь
то, что я растила.
Половодье натащило камни —
и циклопам их не сдвинуть, —
вырыло промоины и ямы.
Хватит сил мне, чтобы их засыпать?
Сдвину я ли эти камни с места?

РОДНЫЕ МЕСТА ПОЭТОВ

Есть места, которые
я никогда не брошу,
куда и во сне возвращаюсь,
словно кто-то туда толкает.

Иногда это скалы,
иногда это рощи,
иногда это взгорья,
посещаемые влюбленными.

Может быть, там,
по дороге в вечность,
ваши души спешили,
полные воспоминаний
и греховных смятений.
Может быть, меня манят
эти краски и линии,
потому что когда-нибудь,
на земле позабытая,
проплыву там в тумане.

ВРЕМЯ ПРОШЛО

Говорю обо всем, что сейчас случилось,
как будто с тех пор промчались
световые годы — целая вечность.
Говорю обо всем так неуверенно,
как будто нас разделяет
многих вселенных бесконечность.

Как на дуб, окольцованный тремя веками,
которому память уже изменяет,
я смотрю на прошлое и пересчитываю
годовых колец паутину.
Это — лес, обуглившийся под ледниками,
погруженный в столетий тину.

Говорю теперь не «люблю», а «любила»,
как будто все это было
на какой-то планете синей,
где тысячу световых лет назад я любила
и оставила нерожденного сына.

ВОЗЛЕ ДОМА

Крестьяне хоронят отцов и братьев
на своем поле,
чтобы в пору сева и жатвы
они — и мертвые — рядом были.
В праздники ходят к ним сквозь кукурузу,
или по пашне, или по тропке
той, что для них специально пробили.
Вижу ваши могилы, словно вас схоронили
возле родного порога,
между домами самых близких,
тех, которые все понимают,
если через забор им крикнуть,
тех, у которых в страду подмоги
просят и косу и серп занимают.

Перевел БОРИС СЛУЦКИЙ.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ИВАН ЩЕДРОВ

★

ДЖОЙ БАНГЛА!

24 декабря семьдесят первого, в канун рождества, с корреспондентом ТАСС Сергеем Буланцевым мы предприняли попытку выехать из Дакки до любого индийского города. Это и привело нас на аэродром Тадджаон, связывавший в те дни республику с внешним миром. Морские порты и железные дороги бездействовали. Свыше трехсот изуродованных мостов на долгие недели и месяцы закупорили основные сухопутные магистрали в стране рек. Завтра отсюда, из Дакки, начнут полеты первые гражданские самолеты, будет установлена телеграфная и телефонная связь с Дели и Лондоном. Впрочем, в том случае, если этому снова не помешают какие-либо обстоятельства. Ну, а пока в здании аэровокзала пытаемся найти представителя индийских ВВС. Под ногами хрустит битое стекло, из помещения в помещение приходится добираться сквозь завалы, не убранные до сих пор, хотя больше недели бомбы и ракеты уже не падают на взлетные полосы и аэродромные постройки. Наконец буквально на ходу ловим молоденького капитана. Определив, кто мы такие и что нам нужно, он, даже не дожидаясь вопроса, коротко объясняет положение: «Ничем помочь ни я, ни кто другой здесь, в Дакке, вам не сможет. Получен приказ командования: не выпускать отсюда на военном транспорте ни одного гражданского лица. Ждите. Может быть, завтра, а скорее всего через несколько дней начнут летать гражданские самолеты. Все. Гуд бай». И он быстрым шагом устремляется к летному полю. «Послушайте! — дружно, с отчаянием кричим мы вдогонку. — Есть же исключения из правил. Мы обязаны сегодня быть в Дели».

Капитан оборачивается, разводит руками и устало бросает: «Приказ Дели, и отменить его может Дели. О корреспондентах сказано определенно — не пускать. Вы же корреспонденты, а не правительственная делегация». Еще несколько минут — и он уже недосягаем. Впрочем, спасательная соломинка, брошенная им на ходу, нами подхвачена. А разве мы не делегация? Всего два часа назад нас принял в своей резиденции только что прибывший в освобожденную столицу глава Временного правительства Таджуддин Ахмад. Это была его первая встреча в качестве премьер-министра с советскими людьми. Словом, делегация... Войдя в наше безвыходное положение, генеральный консул Валентин Федорович Попов дает распоряжение выправить на официальном бланке удостоверение о том, что имярек такой-то и такой являются членами советской делегации, направляющейся с поручением в Индию. Печать, подпись — и бумага готова. Правда, вид у делегации неважнецкий. Небриты. Рубашки и брюки не первой свежести, со следами грубой мужской штопки. Вторую неделю обходимся тем, что было на себе. Все наше походное снаряжение осталось в калькуттской гостинице. На сборы времени не было — в чем были, в том и уехали сюда, в Дакку, при случайной okazji.

Генерал Джэкоб, начальник штаба объединенного командования вооруженных сил Индии и Бангладеш, наш старый знакомый. Одобрительно оценив наш тактический ход, он с хитровой улыбкой сказал: «О делегациях в приказе ничего не говорится. Но раз такое неотложное дело, возьмем ответственность на себя. Пропустим с okazji делегацию нашего союзника — Советского Союза».

Мы стоим с генералом на зеленой лужайке около дощатого штабного барака.

Здесь, в военном городке, размещается ставка объединенного командования. Жарко даже в тени. В нескольких метрах от нас военнопленные пакистанцы в форме и без конвоя убирают двор, подрезают траву. Один пытается поймать бабочку, а она не дается. Солдаты напоминают почему-то безобидных зеленых кузнечиков. Теперь для них война кончилась. Собственно, кончилась она и для генерала Джэкоба. Да и нам, репортерам, можно перестраиваться на мирный лад — фронтовые командировки позади.

Сейчас слово за политиками и дипломатами. Солдаты и народ сказали свое слово еще в одной «малой войне» на тревожном азиатском континенте. Впрочем, такие ли они малые — войны в Индокитае и Индостане?

Около 700 миллионов жителей Индии, Западного и Восточного Пакистана за одну ночь с 3 на 4 декабря 1971 года очутились на передовой или в уязвимых тылах огромного театра индо-пакистанского вооруженного конфликта. Тысячи городов, сотни тысяч селений две недели жили под вой сирен, возвещавших воздушные тревоги, чутко следя за вестями с западного и восточного фронтов, растянувшихся на тысячи километров. Матери и жены молили Аллаха и Шиву, Будду и Христа уберечь от пули и осколка сыновей и мужей. Погрузившиеся разом в темноту города, бумажные полоски на стеклах — от взрывных волн, защитные стены из мешков, военные патрули на улицах и дорогах, мобилизация на сооружение укрепрайонов, проводы на фронт стали неотъемлемой частью жизни одной пятой людей, живущих на нашей планете. А на фронтах шли танковые бои, горели в дыму пожарищ города и села, небо и море стали грозвыми театрами войны.

И вот теперь все это позади. Есть время спокойно оглянуться назад.

Вид у Джэкоба бравый. В руках неизменный стек. Попыхивая трубкой, он не спеша ведет беседу. В четырнадцатидневной войне генерал принимал участие не только в разработке и осуществлении важнейших операций на территории Бангладеш, но и выполнял ряд важных дипломатических миссий. По поручению Главной ставки он в последние дни войны здесь, в Дакке, вел переговоры с командованием пакистанских войск об условиях капитуляции.

«На что рассчитывал генерал Яхья-хан? Трудно сказать,— говорит Джэкоб.— Видимо, провоцируя вооруженный конфликт, он надеялся на вмешательство Вашингтона и Пекина в критической ситуации. Трудно найти иное объяснение. Во всяком случае, к началу войны мы располагали перевесом в пехоте, танках, авиации, а в первые дни войны и в военно-морских силах. Это прежде всего относилось к нашему восточному фронту».

В мае 1972 года «Таймс оф Индия» опубликовала предварительный анализ, сделанный лондонским Институтом стратегических исследований. Он подтвердил справедливость оценки генерала Джэкоба. У Пакистана к началу войны было 870 танков, 215 боевых самолетов, а у Индии — 1200 танков и 365 боевых самолетов. Что касается сухопутных вооруженных сил, то Пакистан располагал 350 тысячами солдат и офицеров, а Индия и Бангладеш — более чем миллионной армией.

«Разумеется,— продолжал генерал,— вступление индийских войск в первые дни индо-пакистанского конфликта на территорию Бангладеш приблизило час победы патриотов. Но, с другой стороны, широкий размах освободительной борьбы, народная поддержка облегчили партизанским отрядам «мукти бахини» и индийской армии ведение военных действий, поставили еще в более трудное положение пакистанские войска. Почему мы избрали на восточном фронте тактику обхода укрепрайонов пакистанских войск и стремительного продвижения к Дакке с оставлением в наших тылах отдельных группировок войск? В этом немного «виноват» ваш Кутузов: он тоже не любил лезть напролом, если имелся другой, более легкий путь к победе. Вся восточная группировка пакистанской армии капитулировала. Только в Дакке сдали оружие 30 тысяч солдат и офицеров противника».

К весне 1972 года уже стали известны предварительные итоги двухнедельной войны. Пакистан потерял 220 танков и 83 самолета. Ранеными, убитыми и сдавшимися в плен — 110,5 тысячи солдат и офицеров, включая сюда и 93-тысячную группировку, капитулировавшую на территории Бангладеш.

Потери индийской армии, по официальным данным министерства обороны, составили 12 тысяч солдат и офицеров, 83 танка и 54 самолета. Тысячи сынов и дочерей Бангладеш погибли, защищая свою свободу и независимость.

Но говоря о «малой» индо-пакистанской войне, мы не вправе забывать события, приведшие к конфликту,— жестокие репрессии бывшей пакистанской военной хунты против мирного населения Бангладеш с марта по декабрь 1971 года. Миллионы людей вынуждены были оставить свои родные города и деревни, бежать на территорию соседней Индии или скрываться в глухих партизанских районах. А потери среди гражданского населения на западном фронте...

Значительны и последствия вооруженного конфликта, огненным смерчем промчавшегося над городами и селами Южной Азии. Генерал Джэкоб об этом, сказал так: «В конечном итоге всегда результатами войн являются политические перемены. Я убежден, что появление 75-миллионного независимого нейтрального государства Бангладеш и приход в Исламабаде после краха военной диктатуры к власти лидеров, провозгласивших демократический парламентский строй,— факторы, которые сыграют важную роль в достижении прочного мира в Азии. За последнюю четверть века мы пережили четыре войны. Не слишком ли много? Лично я уверен, что эта была последней. Одержав военную победу, Индия заявила, что у нас нет никаких территориальных претензий ни к Бангладеш, ни к Пакистану, что мы не намерены использовать создавшуюся обстановку для каких бы то ни было захватов чужой земли и аннексии».

Штабной офицер напоминает генералу, что его ждут дела. «Ну что же,— говорит на прощание Джэкоб.— Счастливого пути. Жаль, не осталось времени поговорить о русском военном искусстве. Я поклонник Льва Толстого, люблю «Войну и мир». И вообще считаю выдающимся опыт России в двух Отечественных войнах — 1812 и 1941—1945 годов».

Зеленый пузатый «карибу» уже готов к отлету. Садимся на железные скамейки. Ревут авиационные двигатели. Еще будут здесь, в Дакке, волнующие события — возвращение 10 января 1972 года из пакистанского плена лидера освободительного движения Бангладеш Муджибур Рахмана, провозглашение конституции независимого государства... Но главное достигнуто. Уже тогда, в декабре, было ясно: родилось новое государство мира. 75-миллионный народ, добившийся свободы и независимости в суровой борьбе, на попятную не пойдет.

Потом мне снова доведется работать в Бангладеш. Но это будет иная Дакка. Генерала Джэкоба и его солдат я уже не застану здесь — в марте они вернутся домой, в Индию.

Все, что было «до» и «после», легло в журналистские тетради. Как репортер вместе с моими товарищами я стремился своими глазами увидеть наиболее важное из происходящего. Не всегда это удавалось. Да и под силу ли такая задача одному человеку?

Для публикации в журнале я отобрал малую долю того, что довелось видеть самому или слышать от непосредственных участников событий.

* * *

Кто такой Муджибур Рахман, с ареста которого началась «кровавая ночь» с 25 на 26 марта 1971 года?

Его судьба в те дни продолжала оставаться загадкой. Слухи были самые противоречивые. Одни утверждали, ссылаясь на передачи подпольного радио, что этому человеку удалось уйти в подполье. Другие, тоже ссылаясь на «достоверные источники», говорили: Муджибур Рахман «убит при попытке к бегству», но пакистанская военщина боится объявить об этом: ведь Муджибур Рахман — лидер крупнейшей в Восточном Пакистане партии. Газеты разных направлений напоминали о том, что лидер большинства в пакистанском парламенте Муджибур Рахман должен был стать премьер-министром Пакистана. Более того, президент страны генерал Яхья-хан об этом заявил публично. И вот арест... Хотя в апреле судьба Муджибур Рахмана оста-

валась загадкой, одно было ясно: его имя стало боевым знаменем вооруженного сопротивления, борьбы за утверждение на восточнобенгальской земле независимого государства Бангладеш.

Собственно, до самого января семьдесят второго, когда Муджибур Рахмана под давлением международного общественного мнения освободили, многое оставалось неясным в его судьбе.

О том, что произошло в ночь с 25 на 26 марта 1971 года, я услышал от жены Муджибур Рахмана. После победы в декабрьские дни семьдесят первого двухэтажный каменный особняк в даккском районе Дханманди стал местом подлинного паломничества. Кто только не приходил сюда: партизаны и политические деятели, журналисты и дипломаты. Во дворе траншея, на крыше огневая позиция — память о девяти-месячной домашней тюрьме. Здесь до 17 декабря размещались посты пакистанской армии, днем и ночью державшие под наблюдением семью «мятежного» бенгальца. Бегум (госпожа) в простеньком белом хлопчатобумажном сари принимала гостей. В те дни Муджибур Рахман еще находился в западнопакистанской тюрьме. Но на лице его жены ни слез, ни смятения. Эта мужественная женщина умела держать себя в трудные моменты. В гостиной — небольшой стол, несколько кресел и цветы. Рядом с ней — обе дочери и младший сын.

«В час ночи с 25 на 26 марта неожиданно зазвучали выстрелы,— рассказала бегум.— Пакистанские солдаты подкатили на грузовике и сразу же к нам в дом. Муджибур Рахман вел себя спокойно — снова арест. Так мы остались совсем одни. Со страхом ждала с детьми следующую ночь — в городе шли повальные обыски и аресты, расстрелы... Что делать? Надо как-то спастись детей. Собрала я их — и к друзьям, жившим поблизости. Может быть, здесь не найдут? Нашли все же. Вечером 26-го под конвоем нас отправили сюда, в дом, ставший на девять месяцев тюрьмой. Мой старший сын Камаль во время ареста отсутствовал. Потом ему удалось бежать к партизанам. А я, дочери, младший сын и Джамаль, мой средний сын, стали узниками-заложниками. Лишь одному из нас, Джамалю, удалось в августе бежать и скрыться в безопасном месте. Потом с помощью друзей он благополучно добрался до границы и попал в Индию. Все это трудное время я тревожилась и за детей и за мужа. Нам не говорили, что с ним».

Утром 17 декабря Дакка ликовала — пришла долгожданная победа. Но в особняке в Дханманди все оставалось по-старому. У пулеметного гнезда на крыше несли дежурство пакистанские солдаты, готовые открыть огонь по любому, кто посмеет приблизиться к заложникам. Капитан, командир охранного отряда — это выяснилось потом, — не получил приказа о снятии поста и не был даже информирован командованием о капитуляции.

Первыми вернулись старшие сыновья, а через три недели из Лондона на пути домой позвонил Муджибур Рахман. Он тоже ничего не знал о судьбе близких ему людей. И первый звонок, как только представилась возможность, — в Дакку, бегум...

Но все это произошло позже. А тогда, весной семьдесят первого, события разворачивались так. Сначала Муджибур Рахмана доставили в военный городок, расположенный у даккского аэродрома Таджаон, и здесь держали до конца марта под усиленной охраной, в глубокой тайне. 1 апреля на военном самолете его отправили в Западный Пакистан, в тюрьму со строгим режимом. Оттуда не доходили вести.

Я увидел Муджибур Рахмана в январе за несколько часов до его возвращения в Дакку. Он сделал короткую остановку в Дели. Здесь в президентском дворце состоялись его первые переговоры в качестве главы государства (Муджибур Рахман был заочно уже весной 1971 года объявлен президентом Народной Республики Бангладеш) с президентом Индии В. В. Гири и премьер-министром И. Ганди. Для пробившихся сюда корреспондентов устроили прямо на лужайке президентского дворца импровизированную пресс-конференцию.

Муджибур Рахман выглядел бодрым, держался спокойно, с улыбкой отвечая на множество прямых, иногда резковатых вопросов.

«Я счастлив, что дожил до этого дня. Победа Бангладеш — факт, и никакой речи о возврате к старому быть не может,— сказал Муджибур Рахман.— Никаких секрет-

ных заверений¹ я не давал и никогда бы не дал даже под угрозой физической расправы. До последней минуты я не знал — буду освобожден или же меня ждет смерть. Я был оторван от родины, но о главном, что происходило в Бангладеш, знал с помощью друзей. Я верил в победу моего народа, гордился им. Независимая Бангладеш будет проводить в жизнь мир и нейтралитет. Наше государство базируется на принципах национализма, секуляризма и демократии.

Моя самая заветная мечта? Снова быть со своим народом. Предстоящая сегодня в Дакке встреча — самое волнующее событие в моей жизни. Джой Бангла!»².

...С первой демонстрации, когда Муджибур Рахман был впервые арестован, прошло без малого тридцать пять лет. После раздела в 1947 году бывшей Британской Индии на Пакистан и Индию Муджибур Рахман переезжает в Дакку, где продолжает учебу на правовом факультете. Здесь он снова в гуще политических событий. Вместе с товарищами создает боевую молодежную организацию — Восточнопакистанскую студенческую лигу. За что они боролись в те годы? За демократизацию университетских порядков, за то, чтобы бенгальский язык признали государственным. В следующем году по распоряжению властей Муджибур Рахман в числе других «смутьянов» арестовывается. За участие в «антизаконной подрывной деятельности» его отчисляют из даккского университета.

Арест в марте 1971 года был восьмым после 1948 года. В тюрьмах проведено более десяти лет. В промежутке между ними — активная деятельность сначала в рядах, а потом и во главе Народной лиги.

За эти годы Муджибур Рахман приобрел не только неоценимый опыт политической борьбы, но и государственной деятельности. Дважды он занимает министерские посты в правительствах провинции Восточный Пакистан — в 1954 и в 1956 годах. В 1969 году ему предлагается пост главного министра регионального правительства Восточного Пакистана. Но он отвергает предложение. Возглавляемая им Народная лига добивается демократизации жизни страны, прямых всеобщих выборов и назначения на правительственные посты лиц, облеченных доверием народа в ходе выборов.

К этому времени лидер крупнейшей восточнобенгальской партии уже имел опыт в дипломатических и международных делах. В 1952 году он участвует в работе конференции сторонников мира в составе пакистанской делегации. В 1957 году в качестве гостя правительства посетил Великобританию, Соединенные Штаты, а затем во главе парламентской делегации Китай. Муджибур Рахман одним из первых видных политических деятелей Пакистана приветствует Ташкентскую декларацию, положившую конец индо-пакистанскому вооруженному конфликту 1965 года. Он выступает за установление дружественных отношений с соседней Индией, за решение всех спорных вопросов мирными политическими средствами. В 1957 году Муджибур Рахман — член пакистанской правительственной делегации, посланной в Дели для заключения торгового пакта с Индией.

Для того чтобы понять события бурного 1971 года, нам придется обратиться хотя бы в общем к тем перипетиям политической борьбы, которая явилась прологом рождения Бангладеш.

14 августа 1947 года на карте мира появился Пакистан. В 1956 году он был провозглашен республикой. Однако первые в стране всеобщие выборы в Национальную ассамблею состоялись лишь в 1970 году. Правящие буржуазно-помещичьи круги надежную защиту видели в военной диктатуре и частенько прибегали к разгону и запрету политических партий. Небезынтересно, как готовились сами выборы. В марте 1969 года президентом Пакистана стал генерал Яхья-хан. Одно из его первых мероприятий — объявление в стране военного положения. В ноябре того же года в обстановке стремительно нарастающего демократического движения объявили о предстоящих в октябре 1970 года всеобщих прямых выборах. Затем их перенесли на декабрь 1970 года.

¹ В те дни в пакистанской западной печати муссировались слухи о данном якобы Муджибур Рахманом президенту Пакистана З. А. Вхутто обещании сохранить единый Пакистан.

² По-бенгальски «Да здравствует Бенгалия!» — боевое приветствие партизан, а сейчас лозунг, который звучит на всех митингах и демонстрациях.

Важное место в политической жизни страны занимали взаимоотношения между Западным и Восточным Пакистаном, отстоящими друг от друга более чем на 1500 километров. Лидеры восточнобенгальских партий не без основания определяли их как неоклониальную зависимость. Вот данные, которые приводились ими. К 1970 году население Пакистана достигло 130 миллионов, из которых 54,2 процента проживало в Восточном Пакистане. До двух третей поступлений от внешнеторговых операций, причем в свободной валюте, Пакистан получал за счет экспорта восточнобенгальского сырья и продукции, прежде всего джута. Распределение же выглядело так: более 70 процентов общего импорта шло в Западный Пакистан, четыре пятых поставок промышленного оборудования оседало там. Штаб-квартирой 22 монополистических семейств, которые контролировали ключевые отрасли пакистанской экономики, являлся Западный Пакистан. Если на Западе банковские депозиты достигали 12,5 миллиарда рупий, то на Востоке всего 2,5 миллиарда. Госбюджетные расходы на экономическое развитие в первые десять лет существования Пакистана распределялись так: две трети — Западному, треть — Восточному Пакистану. Иностранная помощь соответственно — 70 процентов и 30 процентов. В результате разрыв в уровне экономического развития между двумя районами не только не сокращался, но и усугублялся. Восточный Пакистан становился аграрным придатком, источником сырья и иностранной валюты для более развитых районов Западного Пакистана, рынком сбыта промышленной продукции последнего. Отсюда и огромная разница в жизненном уровне населения. К началу 70-х годов в Восточном Пакистане годовой доход на душу населения составлял — 433 рупии, в Западном — от 614 до 854 рупий, в зависимости от района. Резкую критику вызывали и неравноправные отношения в общегосударственном аппарате, где на долю восточнобенгальцев приходилось около трети служащих. В армии господствующие позиции также занимали западнопакистанские генералитет и офицерство.

В 1954 году Пакистан становится членом военно-политического пакта СЕАТО, а с 1955-го — Багдадского пакта (позже переименован в СЕНТО).

Таков общий политико-экономический фон, на котором стремительно зрели острые противоречия и борьба между западнопакистанской и восточнопакистанской национальной буржуазией, нарастало национально-освободительное движение в Восточном Пакистане.

Усиление эксплуатации широких масс трудящихся города и деревни, усиливающееся классовое расслоение порождали нарастающую революционную борьбу за коренное переустройство общества. С этим вынуждены были считаться при выработке своих программ легальные оппозиционные восточнобенгальские партии, выражающие интересы мелкой и средней национальной буржуазии.

Ключевые позиции в Пакистане занимала правая буржуазно-помещичья Мусульманская лига. Летом 1949 года в промышленном пригороде Дакки — Нараянгандже — группа видных политических оппозиционно настроенных деятелей созвала конференцию, на которой приняли решение о создании новой партии. Первым президентом Народной лиги (Авами) стал А. Х. Бхашани, секретарем — Муджибур Рахман. Как-то в беседе со мной он заметил:

«На первых порах нам пришлось бороться за самое элементарное право любого народа: говорить, думать, писать и читать на родном языке. И это в государстве, где мы, бенгальцы, составляли большинство населения; в государстве — я это говорю серьезно, без националистических заскоков, — где бенгальская культура, литература и искусство имели самые большие традиции, находились на самом развитом уровне. Наше освободительное движение началось с защиты национальной культуры, нации как таковой. Из этого выросли боевые лозунги за автономию, а чуть позже и за независимость Восточной Бенгалии — Бангладеш».

Разумеется, в основе движения лежали острые противоречия на социально-экономической почве, борьба национальной буржуазии за «свой рынок», за «законное» право быть полным хозяином в «своем» восточнобенгальском доме. Положение осложнялось стремлением правящих кругов Пакистана ввести в качестве единственного государственного языка страны язык урау.

На нем разговаривало незначительное меньшинство населения. В Восточном Пакистане, согласно данным переписи за 1951 год, урду использовало в повседневной практике всего 1,1 процента населения. Попытки законным мирным путем добиться признания бенгальского государственным языком Пакистана оставались безуспешными. И движение в защиту национальной культуры собирает под свои знамена всю восточнобенгальскую оппозицию от правой до ультралевой.

В феврале 1952 года пакистанская полиция расстреляла мирную студенческую демонстрацию, вышедшую с лозунгами: «Дайте нам право думать, говорить и писать на родном языке». Девятнадцать студентов были убиты, десятки ранены. Лишь в 1954 году правящие власти Пакистана пошли на попятную — бенгали признали вторым государственным языком. Но движение за автономию Восточной Бенгалии уже перешло «языковой» рубеж и набирало новую силу. В середине 60-х годов его бесспорным лидером становится Народная лига. В 1966 году президентом партии избирается Муджибур Рахман. В феврале того же шестьдесят шестого года им выдвигается политическая программа из шести пунктов. Она становится знаменем борьбы широкого демократического фронта, который одержал решающие победы, коренным образом изменившие дальнейшее развитие событий на восточнобенгальской земле.

Вот краткое изложение знаменитой программы. 1. Добиться включения в конституцию положения о федеративных основах пакистанского государства, а также о парламентских формах правления, основанных на прямых и всеобщих выборах, в которых бы принимало участие все взрослое население. 2. Центральное федеральное правительство должно заниматься только решением двух вопросов — обороны и иностранных дел. 3. Добиться создания различных свободно конвертируемых валют для каждой из двух частей страны или же валюты с двумя независимыми резервными банками. 4. Налоговые органы и службы по сбору доходов должны быть переданы обоим федеративным единицам. Федеральное правительство будет получать лишь часть этих средств на покрытие своих финансовых расходов. 5. Устранить экономическую диспропорцию между обеими частями страны в ходе экономических, налоговых и правовых реформ. 6. В Восточном Пакистане должны быть созданы собственные милиция и полувоенные силы.

В своем предвыборном манифесте 1970 года Народная лига выдвинула требования: провести в жизнь программу аграрных реформ, кооперирования в сельском хозяйстве, национализации ряда важнейших отраслей промышленности. В области внешней политики — выход Пакистана из военнополитических блоков СЕНТО и СЕАТО, установление дружественных отношений со всеми странами, в том числе и с соседней Индией.

В 1957 году в результате откола от Народной лиги левого радикального крыла и объединения его с рядом демократических и национальных организаций образуется Национальная народная партия. В конце 1967 года в восточнобенгальской фракции ННП произошел раскол. По существу, образовались две новые партии, каждая из которых претендовала на прежнее название.

С первых лет существования Пакистана компартия находится фактически на нелегальном положении.

Несмотря на то, что выборы в декабре 1970 года в Восточном Пакистане проходили в обстановке неблагоприятной для оппозиционных восточнобенгальских партий (компартия оставалась на нелегальном положении), Народная лига одержала решающую победу. В провинциальной ассамблее Восточного Пакистана она получила 288 из 300 мест, а в Национальной ассамблее Пакистана 160 из 300 мест. 3 марта 1971 года предполагался созыв первой сессии Национальной ассамблеи. Однако президент Пакистана генерал Яхья-хан откладывает сессию на неопределенный срок. Это вызвало взрыв негодования в Восточном Пакистане. 3 марта Муджибур Рахман призвал восточнобенгальцев в знак протеста начать кампанию гражданского неповиновения. 16 марта в Дакке начались переговоры Муджибур Рахмана с Яхья-ханом. А в это же время из Западного Пакистана сюда в срочном порядке перебрасывались боевые армейские подразделения. 25 марта переговоры прерваны. Яхья-хан отдает приказ об аресте Муджибур Рахмана, обвинив его в государственной измене. Народная лига объявляется вне закона. Отборные части пехоты,

бронетанковых войск и военно-воздушных сил пакистанской армии начинают карательные операции против активных участников движения за автономию и проведение радикальных реформ. По радио передается указ президента Яхья-хана о введении в стране военного положения. Запрещена любая политическая деятельность, введена цензура печати, закрыты все учебные заведения. Из Дакки высылаются иностранные корреспонденты.

26 марта радиостанция Читтагонга еще удерживалась восточнобенгальскими патриотами. Отсюда на всю страну раздался призыв к сопротивлению: «Вооруженные силы Пакистана атаковали штаб-квартиры восточнопакистанских стрелков в Пулххане и бенгальской военной полиции в Раджабаге. Они убили тысячи безоружных людей в Дакке». Диктор читал обращение на бенгальском. «Народ поставлен перед необходимостью подняться на войну за свободу родины, не щадя своей жизни,— продолжал он.— Я призываю каждого из вас сделать все возможное для борьбы за освобождение. Да поможет вам аллах! Да здравствует Бенгалия!» В тот же день призыв повторил еще один человек — на английском языке. Говорила все та же остающаяся в руках патриотов радиостанция Читтагонга.

Долгое время имена смельчаков оставались неизвестными. Шла война.. И вот в апреле семьдесят второго я с помощью читтагонгских друзей пытаюсь найти ту улицу и тот дом. По узким улочкам старого города, протискиваясь через ряды велорикш, бычьи упряжки и нескончаемый человеческий поток, попадаем в ничем не выделяющееся здание. Здесь, как и в те тревожные мартовские дни, размещается штаб-квартира местной организации Народной лиги. Дым коромыслом. Десятки людей окружают стол и наперебой рассказывают, как это было тогда, 26 марта семьдесят первого.

— Собрались здесь,— рассказывает один из вожakov местных профсоюзов, К. Ш. Рахман,— обсудили создавшееся положение и приняли решение — обратиться с призывом к народу подниматься на борьбу. Победа или смерть! Зачитал призыв секретарь нашей читтагонгской организации Народной лиги Абдул Маннан. Потом уже на английском призыв его повторил по радио майор Зиа.

— Где же они сами?

— Майор Зиа, кажется, в Дакке. А Абдул Маннан,— и лицо К. Ш. Рахмана расплывается в улыбке,— сейчас прогуливается по улицам Москвы. В составе первой делегации профсоюзов он приглашен на первомайский праздник в Советский Союз.

Народ услышал призывы патриотов из Читтагонга. Сотни тысяч восточнобенгальцев поднялись на борьбу. Весною произошло событие, которое сыграло важную роль в дальнейшем стремительном становлении сил национально-освободительного движения. 13 апреля оставшиеся на свободе лидеры Народной лиги образовали правительство независимой Бангладеш. 9 сентября при Временном правительстве образовали Консультативный совет. В него вошли представители основных партий, участвующих в борьбе: Народной лиги, Коммунистической партии Бангладеш, обеих фракций Национальной народной партии и Национального конгресса.

С весны формируются партизанские отряды сражающейся республики. Их руководителем становится полковник Османи, кадровый офицер, вставший на сторону народа.

Удивительна судьба этого человека. Полковник Османи — бакалавр искусств. Выпускник университета в Алигархе. Студенческий политический лидер. Активный участник второй мировой войны на стороне стран антифашистской коалиции. Самый молодой — в 23 года — майор британской армии. Депутат Национального собрания Пакистана, одержавший победу на выборах в декабре 1970 года в своем родном Силхете. Таковы лишь немногие этапы пути человека, ставшего главнокомандующим вооруженных сил Народной Республики Бангладеш. К концу освободительной войны народная армия насчитывала в своих рядах многие тысячи бойцов и командиров.

Мне не удалось встретиться с ним во время войны — так сложились обстоятельства. Знакомство состоялось позже, в декабре, в Дакке. На столичном аэродроме, где еще несколько дней назад рвались бомбы и снаряды, в строгом порядке в почетном карауле выстроились роты бывшего восточнопакистанского полка, одного из первых подразделений, с которых в марте семьдесят первого началось строительство осво-

бодительной армии Бангладеш. Небольшого роста, с белыми пышными усами, полковник Османи в сопровождении своих адъютантов обошел строй солдат, а потом уже согласился ответить на вопросы. «Я рад, что после девяти месяцев снова нахожусь теперь уже в освобожденной Дакке — столице независимой Бангладеш, — сказал он. — Пакистанский генерал Тикка-хан угрожал раздавить нас за две недели. У него была хорошо обученная и вооруженная армия. Но она проиграла сражение. Нас не только не уничтожили, но и не смогли загнать в джунгли. За девять месяцев выросла регулярная народная армия и партизанские соединения Бангладеш. Их костяк составили студенты, рабочие и крестьяне. Девять месяцев назад мы начали трудный, но славный путь к независимости. Сегодня цель достигнута».

...К началу декабря пакистанские войска фактически уже потеряли военную инициативу, хотя на их стороне еще оставалось превосходство в живой силе и, конечно, в технике. Но не стоит забывать, что тылами последних служили довольно беспокойные города Восточной Бенгалии с враждебно настроенным населением, а второй эшелон располагался более чем за 1500 километров, в Западном Пакистане. Оттуда свежие подкрепления и снабжение могли поступать лишь по морю или воздушному мосту. Индия — ближайший сосед Восточного Пакистана — с самого начала заняла дружественную позицию по отношению к национально-освободительному движению за независимость Бангладеш, что создавало прочные тылы для расширяющихся с каждым днем освобожденных районов. По единодушному мнению нейтральных военных наблюдателей, развитие обстановки вело к тому, что в ближайшие годы вооруженные силы Бангладеш могли бы самостоятельно одержать полную военно-политическую победу.

Декабрьский индо-пакистанский вооруженный конфликт резко изменил соотношение сил и ускорил ход событий. В начале декабря было создано объединенное командование вооруженных сил Индии и Бангладеш, которое располагало уже приблизительно тройным превосходством в сухопутных силах. Бенгальский залив был блокирован индийским военно-морским флотом. С первых же дней конфликта военно-воздушные силы Индии стали полными хозяевами в небе Бангладеш.

Столь подробно остановиться на ходе развития военно-политической обстановки меня вынуждают особые обстоятельства. Дело в том, что уже в ходе декабрьского вооруженного конфликта на Индостане пропагандистскими органами пакистанской военицины, маоистской печатью была запущена в ход версия, которая старательно муссируется до сих пор. Мол, вплоть до вступления индийских войск в Восточный Пакистан движение сопротивления и национально-освободительная борьба не носили характера массового. Диверсии, акты саботажа и даже успешное осеннее наступление патриотических сил изображается как деятельность диверсионных групп индийских войск и их агентуры. Отсюда вывод с далеким политическим прицелом: в декабре на карте мира появилось не молодое независимое государство Бангладеш, а всего-навсего, мол, оккупированная территория, этакое неокOLONиальное владение Индии.

Цель этой сознательной фальсификации — обелить действия пакистанской военицины.

Но вернемся к событиям тех дней, когда судьба Бангладеш решалась на фронтах вооруженной, политической и дипломатической борьбы.

* * *

— Встретимся во втором корпусе факультета. Завтра. Спроси Манзрулу. Джой Бангла! — И худенький юноша в больших очках на узеньком носу растворился в ночи.

А через несколько минут в той стороне, куда он исчез, грохнул выстрел — словно сучок треснул, затем другой. Удаляющийся топот чьих-то ног по асфальту мостовой, и снова настораживающая тишина... Еще только вчера, 16 декабря, здесь, в Дакке, подписали акт о капитуляции. Но реальное положение еще далеко не ясно — тридцатитысячная пакистанская армия оставалась неразоруженной. Отдельные ее подразделения, рассредоточенные в разных концах Дакки, еще не получили или не торопились выполнять приказ о капитуляции. Впрочем, ключевые позиции в городе уже занимали «мукти бахини» и индийские войска, вступившие в город вчера. Словом, вой-

на окончилась, а борьба продолжалась. И звучали выстрелы всю ночь напролет, а утром на дорогах и в оврагах появились новые жертвы расправы — руки связаны за спиной, тела изрешечены пулями, а то и изуродованы кинжалами и штыками. Поэтому победителям, особенно участникам даккского подполья, приходилось быть начеку. Штаб-квартиры подпольных и партизанских групп находились под усиленной охраной. Сам Манзрула уже находился на легальном положении — организовывал митинги в поддержку Бангладеш, участвовал в патрулировании. На одной из его первых легальных операций мы и познакомились. Узнав, что я советский, да еще из «Правды», Манзрула предложил: «Встретимся... Джой Бангла!» Это звучало как пароль, по существу, последней явки крупнейшей подпольной организации даккских патриотов. Так я попал к легендарным бойцам невидимого фронта. Об их дерзких операциях много писали в мировой печати: взрыв американского информационного центра, нижних этажей крупнейшей гостиницы «Интерконтинентэл»... За голову руководителей и участников боевых групп пакистанские власти обещали крупные награды. По секретным документам они проходили как коммунистическое подполье.

...В аудитории на черной доске какие-то замысловатые формулы. За столом несколько молодых людей, по виду студенты, о чем-то увлеченно спорят. В углу карабины и автоматы. Все с оружием — у одних пистолеты, у других автоматы и карабины.

Манзрулы на месте не оказалось — находился на очередном задании. Встречают настороженно: «Кто такой?» «Советский. Корреспондент «Правды»...» Отношение сразу же меняется: «Здравствуй, товарищ. Да, мы подпольщики, точнее, до вчерашнего дня. Теперь уже бойцы особых партизанских отрядов. Власть в Дакке контролируется нами. Но приходится подавлять засевавших по углам коллаборационистов, которые еще пытаются свести счеты, а затем уйти в подполье».

За столом молодые парни и девушки лет двадцати — двадцати пяти. Подходят вернувшиеся с патрулирования двое ребят и девушки с флагами — были на митинге в одном из рабочих кварталов... Даккские студенты чем-то напоминают мне старых друзей — ребят из сайгонского подполья, — такие же веселые, разговорчивые, открытые. Нет в этих бенгальских парнях и девушках таинственности, такой замкнутости — образа, нередко создаваемого писателями детективных романов и повестей.

Я забыл сказать о том, что подпольные и партизанские группы, влившиеся в декабре в особые партизанские отряды, в основном формировались из членов легальных левых массовых организаций — Профсоюзного центра, Студенческого союза, Национальной народной и коммунистической партий.

Стройный молодой человек лет двадцати пяти, с лихо закинутым за спину шарфом оказался одним из руководителей «мукти бахини», действовавших в сельских пригородах Дакки и поддерживавших тесную связь со столичными подпольными организациями. Теперь он назначен командиром одного из особых партизанских отрядов даккского округа. Первое впечатление о возрасте оказалось обманчивым. Усману Гони уже под сорок. В революционном и освободительном движении участвует девятнадцатый год. Сolidный стаж легальной, а больше нелегальной деятельности, тюремного заключения.

Его сосед — руководитель даккского подполья. Молодой человек в модном в клеточку пиджаке, в очках, придававших ему вид студента-интеллектуала.

— Мистер, а как вас теперь называть? — шутливо обращается к товарищу Усман Гони.

После короткого совещания мне пока посоветовали повременить с именем, а для простоты в очереди, если таковой появится, дать имя Азиз. Чем оно хуже доброго десятка других, под которыми приходилось действовать бесстрашному студенту инженерного факультета даккского университета?

— Азиз так Азиз, — соглашается парень.

— Как все начиналось? — переспрашивает руководитель подпольной организации. — Вы знаете, у нас еще не было времени заниматься историей, выяснением отдельных моментов — все впереди.

— А ты Расскажи о себе, а мы дополним, — зашумели вокруг ребята.

— Ну что ж,— соглашается Азиз.— Но учтите: борьба продолжается и кое-что в своем рассказе я вынужден буду по известным соображениям опустить.

Видимо, правильнее будет начинать с марта семьдесят первого, хотя, разумеется, наша организация появилась тогда не на пустом месте,— рассказывает Азиз.— Как только пакистанская военщина перешла к открытому террору, пришлось скрываться, пробраться в сельские пригороды на одну из баз. Здесь тоже уже всюду действовали шпики. Обсудив создавшееся положение, решили разделиться— те, кто имел легальное прикрытие и, по нашим данным, не был раскрыт, должны были немедленно вернуться в Дакку. Нам предстояло закрепиться, восстановить разгромленные организации, установить надежную связь с центром. Дальше— действовать в соответствии с указаниями и обстановкой. Другим товарищам предстояло организовать партизанские базы, создать учебные лагеря или же временно с потоком беженцев перейти границу и поступить в распоряжение заграничного центра.

Вы знаете, что некоторое время спустя на территории Индии— в Калькутте и Дели— появились первые заграничные представительства Бангладеш. Восточнобенгальские дипломаты, находившиеся здесь до марта в составе миссий Пакистана, порвали с последним и объявили себя законными представителями Народной Республики Бангладеш.

Так появился в Дакке— для посторонних я и не исчезал никуда, просто отсиживался дома,— чиновник одного из деловых оффисов «Истерн Пакистан Эпивада». Я изображал из себя преуспевающего человека, которого политика не интересовала. Бизнес и только бизнес. Карьера чиновника. Впрочем, мое положение осложнилось тем, что приходилось избегать друзей и знакомых, даже членов нашей старой организации. Всякое могло случиться— и разоблачение, и удар товарища из-за угла за «сотрудничество» с бывшей пакистанской военной администрацией. Пришлось не только изменить имя, но и внешность. Началась для меня жизнь, о которой я и представления не имел. Шикарная машина, отличные костюмы, вечеринки, ужины в лучших ресторанах столицы— китайском «Шанхай», в фешенебельном отеле «Пурбани». Моя жена, врач по специальности, по договоренности со мной жила с родителями и старалась не появляться на людях. Первое время она ничего не знала о моем образе жизни и работе. Лишь в последние два месяца подполья мы снова вместе— она стала моей активной помощницей.

Используя свое легальное положение и связи с теми кругами высшего общества, которые сотрудничали с пакистанской военной администрацией, я начал осторожно вести работу по восстановлению организации, вовлечению в нее новых людей. Действовать приходилось с предельной бдительностью— Дакка кишела шпиками и тайными агентами. Работал, соблюдая строгую конспирацию, опираясь лишь на надежных, проверенных товарищей и сложную сеть подполья. Иногда в этих условиях дело доходило до анекдотов. Меня осторожно прощупывали и склоняли на свою сторону участники нашей организации, не догадывающиеся о том, кто я такой. И каждый раз приходилось повторять: «Я человек маленький. Напуган всем и вся. Политикой не интересуюсь. Бизнес и карьера».

Постепенно шаг за шагом нам удалось не только восстановить, но и значительно укрепить организацию. На первых порах мы не занимались диверсиями. Это сразу бы привлекло внимание охранки. Впрочем, работы было по горло. Опасной, требующей напряжения всех сил. Наши группы помогали партизанам— пересылали деньги, медикаменты, организовывали явки, устраивали тайники для оружия. Нередко нам приходилось направлять для оказания помощи тяжелораненым партизанам врачей...

С лета нам удалось организовать подпольную типографию. Скоро тираж первого двухнедельника «Протирод» («Сопrotивление»), который ротировали на стеклографе, достиг тиража 2,5 тысячи экземпляров. В конце лета мы перешли к более активной деятельности. 6 сентября военные власти решили с большой пропагандистской помпой провести в Дакке и других городах День обороны Пакистана. Подпольный центр принял решение сорвать его и устроить свою демонстрацию— хартал, кампанию неповиновения. Подготовили и распространили листовки, развернули пропагандистско-разъяснительную работу. Организовали и используемую потом не раз «кампанию шепота»—

широкого распространения нужных нам слухов среди различных слоев населения. И хартал удался.

На решающем этапе вооруженной борьбы, особенно в декабре, деятельность наших подпольных организаций помогла объединенному командованию вооруженных сил Бангладеш и Индии в разработке военно-политических операций, срыве осуществления секретных планов пакистанской военщины. Наши товарищи действовали к этому времени и там, где враги и не догадывались: в штаб-квартире пакистанского администратора Восточного Пакистана Малика и его последнем убежище — отеле «Интерконтинентэл»... Осенью провели несколько нашумевших диверсионных операций.

В Дакке и других городах действовало несколько подпольных организаций, нередко независимо одна от другой. Восточнобенгальские патриоты ни на минуту не прекращали своей борьбы в исключительно сложной обстановке, когда каждый неосторожный шаг грозил смертью.

* * *

С волнением шел я на первую встречу с руководителями только что вышедшей из подполья коммунистической партии.

Из ворот университетского двора медленно вырывается «джип». На радиаторе знакомые слова на английском и бенгали: «Особый партизанский отряд».

— Давай сюда, «Правда!» — Это кричит мне из машины Ахмад Мирза, с которым я познакомился у нашего консульства. Он стоит во весь рост, в каске, с карабином.

Партизанский патруль направляется в Гульшан. А мы — в штаб. В дальнем углу огромной комнаты — два стола, вокруг толпится народ. Протиснувшись вперед, продвигаюсь к столу, где пожилой, с усиками человек в традиционном мусульманском белом одеянии беседует с группой мужчин.

— Скажите, не вы командуете особыми партизанскими отрядами? — обращаюсь к нему.

— А разве я похож на партизанского командира?

Собеседник протягивает мне руку.

— Здравствуйте, товарищ. Вы из «Правды»? Знаю вашу газету уже около сорока лет. Много слышал о Москве. А когда последний раз сидел в тюрьме, мне передали, что советские товарищи наградили меня юбилейной ленинской медалью. Но вот получить ее я пока не успел. Всё дела. Давайте знакомиться. Мони Сингх.

Так вот он какой — человек из легенды. Старейший бенгальский коммунист, один из руководителей компартии. Мони Сингх большую часть жизни провел в подполье и тюрьмах. Всего час назад он прибыл в Дакку и, конечно, сразу же сюда — в партизанский штаб.

Одним из его собеседников оказался Мухаммад Фархад, тот самый боевой командир, которым я интересовался. Он член секретариата ЦК компартии Бангладеш, один из лидеров революционной рабочей и студенческой молодежи, организатор партизанских отрядов и героического подполья.

Студенты откуда-то принесли чай. На столе появились дефицитные по тем временам печенье и конфеты...

— Обстановка продолжает оставаться сложной, во многом неясной. — говорит Мони Сингх. — Но важные рубежи взяты. Одержана победа. Бангладеш стала реальным фактом. В стране сложилась новая расстановка сил, благоприятная для дальнейшего роста революционного и демократического движения. Впервые за последнюю четверть века мы действуем на легальном положении. К этому победоносному декабрю компартия и близкие нам массовые организации пришли окрепшими и закаленными в освободительной борьбе.

Я прошу Мони Сингха рассказать о себе. Ведь его жизнь — это частичка истории компартии. Мони Сингх — ветеран революционного движения не только Бангладеш, но и Индии, Южной Азии. Мою просьбу поддерживают партизаны

— Я ровесник века, — начал свой рассказ Мони Сингх. — С двадцати восьмип — после участия в забастовках и стачечных баталиях с полицией — считаю себя революционером. Мое первое боевое крещение состоялось почти сорок четыре года назад

в Калькутте, тогда политической и экономической столице всей Бенгалии. Колониальные газеты в то время нас ругательно, разумеется с их точки зрения, называли красными, большевистскими элементами. Так я стал коммунистом. Вся моя последующая жизнь, как и всякого подпольщика-революционера, складывалась из нелегальной борьбы и пребывания в тюрьмах.

В 1930 году — первый арест. За революционную деятельность. Освободили лишь через семь лет.

И сразу же выслали к матери в деревню Сусан, в мой родной край — Майменсинг. А здесь тоже все бурлит кругом. Крестьяне за топоры и ружья берутся: даешь помещицью землю! И меня как опытного, прошедшего уже огонь и воду человека односельчане просят стать их вожаком. Сначала борьба шла мирно, а потом перешла в вооруженную.

После раздела страны летом 1947 года на Индию и Пакистан пришлось перестраивать и наши ряды. В начале 1948 года создали Коммунистическую партию Пакистана, а в марте того же года созвали первый съезд КПП. С первых же дней на коммунистов обрушились репрессии. Сотни товарищей снова очутились за тюремной решеткой.

Тогда-то, в конце сороковых, мы, пожалуй, и приобрели первый опыт партизанской вооруженной борьбы.

В 1968—1969 годы в стране сложилась благоприятная обстановка для роста демократического и революционного движения. — продолжал рассказ Мони Сингх. — Я в это время отбывал очередное заключение. На этот раз вместе с Муджибур Рахманом. В феврале 1969 года под давлением массовой кампании протеста нас выпустили на свободу. В обстановке, когда компартия оставалась вне закона, мы на прямых всеобщих выборах 1970 года призвали население Восточной Бенгалии голосовать против ставленников реакции, за кандидатов, выступающих с демократическими лозунгами.

— Мартовские события 1971 года не застали компартию врасплох. — Это вступает в беседу М. Фархад. — Мы и раньше предупреждали о том, что генерал Яхья-хан ведет хитрую игру и добровольно не откажется от власти, не передаст ее представителям, избранным народом. С весны семьдесят первого компартия активно включилась в освободительную вооруженную борьбу.

— Я же весну семьдесят первого встретил в тюрьме, — говорит Мони Сингх. — В июле 1969 года меня снова арестовали и отправили за двести пятьдесят километров от Дакки, в Раджшахи. Но мы не сидели сложа руки. Когда партизаны появились в наших краях, мы организовали побег. Он удался, и через несколько дней я был у своих.

С сентября 1971 года Мони Сингх представляет коммунистическую партию в Консультативном совете при правительстве Бангладеш.

В беседу снова вступает Мухаммад Фархад.

— Несколько слов о демократическом фронте и нашем отношении к нему, — говорит он. — Мы, коммунисты, имеем в виду и боремся за создание и укрепление союза сил, который представляет левое прогрессивное крыло правящей Народной лиги. Национальная народная партия и компартия, а также примыкающие к нам массовые организации. Упрочение и расширение массовой базы демократических сил позволит не только укрепить национальную независимость, но и повести страну вперед по пути глубоких социально-экономических преобразований.

Заявление правящей Народной лиги о том, что целью Бангладеш является строительство демократического государства на некапиталистической основе, что одна из ее целей — построение в стране социализма, отражает чаяния наших народных масс. Это же можно сказать и о внешнеполитическом курсе неприсоединения и неучастия в военных блоках, мирного сосуществования. Мы будем эту программу последовательно поддерживать и вести борьбу за ее полное претворение.

Во время первой встречи с руководителями компартии речь шла не только о едином демократическом фронте.

— Мы отдаем себе отчет и в том, — сказал тогда Мухаммад Фархад, — что есть силы, в том числе и отдельные элементы из правого крыла правящей Народной лиги, которые по разным мотивам выступают против создания единого демократического фрон-

та. Ультра справа добиваются от Народной лиги полного разрыва с коммунистами. Ультра слева — я прежде всего имею в виду промаоистские и троцкистские группы и группочки — требуют, чтобы мы отказались от любого сотрудничества с Народной лигой и ее массовыми организациями. Они кричат на всех углах, что это, мол, капитуляция перед буржуазией.

Сохраняется угроза авантюристических действий со стороны «ультраревольюционеров», необдуманные действия которых могут привести к беспорядкам и мятежам в ответственный для Бангладеш исторический момент.

В правильности и справедливости этой оценки мне пришлось не раз убедиться. Еще существовала под крышей Международного Красного Креста «нейтральная зона», оставались частично неразоруженными пакистанские части и воды Бенгальского залива бороздили суда 7-го американского флота, а в газетах, по радио и телевидению передавались призывы командования «мукти бахини» об обязательной и немедленной регистрации партизан.

И вот именно тогда, в этой сложной обстановке, 18 декабря по даккскому радио выступил один из студенческих лидеров. Он призвал население во имя отмщения за свои страдания — «кровь за кровь» — расправиться со всеми чиновниками и другими коллаборационистами пакистанского военного режима, с теми, кто работал на телевидении и на радио с марта по декабрь, уничтожить всех «небенгальцев, говорящих на урду» и т. п. и т. д. В тот же субботний день на Палтан майдане, около стадиона, партизанское командование организовало первый в освобожденной Дакке массовый митинг. Даже это историческое событие кое-кто из экстремистов попытался использовать для разжигания страстей, учинив на глазах тысяч собравшихся публичную расправу над заподозренными в измене. Фотографии с митинга, запечатлевшие эту расправу экстремистов, на несколько дней стали мировой сенсацией: «В Дакке беспорядки... террор достиг апогея...» Одновременно словно по приказу — а может быть, и по приказу? — активизировали свою деятельность «вооруженные негодяи», как тогда газеты называли грабителей, бандитов и провокаторов, действующих под маской партизан.

Кому и для чего понадобились эти и другие провокационные выпады — объяснять излишне. Но события, несмотря на все провокации, развивались в ином направлении, в сторону стабилизации. Первое послевоенное воскресенье — 19 декабря — по призыву правительства и ведущих партий объявили рабочим, днем демонстрации поддержки республики, рожденной в огне борьбы. Он прошел успешно. Впервые мы увидели иную, не только митингующую Дакку. Открылись учреждения, магазины.

Впрочем, митинги и демонстрации продолжались. Но Бангладеш поглотили уже мирные заботы. Среди важных событий тех дней нельзя не упомянуть пресс-конференцию, устроенную 20 декабря в гостинице «Пурбани» председателем Национальной народной партии Бангладеш профессором Музаффар Ахмадом. Это вообще было первое в Дакке публичное выступление руководителя одной из партий, активно борющихся за освобождение. Профессор Музаффар Ахмад четко изложил программу. Он подчеркнул, что ННП поддерживает курс правящей Народной лиги на глубокие социально-экономические преобразования и мирное сосуществование. В ответ на вопросы журналистов он вместе с тем сказал: «По нашему мнению, в ближайшей обозримой перспективе в стране должны быть намечены и проведены новые всеобщие выборы, а в государственном аппарате и политической жизни Бангладеш должны активно, без дискриминации участвовать все партии и организации, борющиеся за независимость».

С лидерами правящей Народной лиги я встретился чуть позже — они одновременно являлись членами Временного правительства, а оно прибыло в Дакку 22 декабря.

Самое прибытие правительства описать невозможно. Его надо было видеть. Весь народ — от мала до велика — вышел на улицы. Это событие и встреча 10 января возвращающегося из пакистанского заключения Муджибур Рахмана еще раз показало всему миру, на чьей стороне народ.

В резиденцию бывшего генерал-губернатора пробиваемся с моим коллегой Сергеем Буланцевым утром следующего после приезда Временного правительства дня. На стенах Дворца следы недавних тревожных дней — темные провалы от прямых попа-

даний ракет и бомб, на стеклах защитные бумажные полосы. В роскошных апартаментах и среди фонтанов расхаживают партизаны и бойцы особых частей.

На зеленой, коротко стриженной по-английски лужайке Сайед Назрул Ислам и Таджуддин Ахмад отвечают на вопросы корреспондентов английского и американского телевидения. Советским журналистам руководители правительства и Народной лиги готовы уделить несколько минут. Исполняющий обязанности президента республики Сайед Назрул Ислам кратко характеризует обстановку так:

— Политическое положение в стране нормализуется. Делаем первые шаги по восстановлению разрушенной войной экономики. Одновременно принимаем меры к пресечению подрывной деятельности контрреволюционных элементов. Будете писать,— продолжает он,— обязательно передайте благодарность всего нашего народа советским людям за ту поддержку и помощь, которые нам были оказаны в самые трудные дни национально-освободительной борьбы. Мы уверены, что эти отношения будут улучшаться на новом этапе, когда Бангладеш обрела независимость.

Таджуддин Ахмад приглашает нас на следующее утро для более обстоятельной беседы. Сейчас же он просит передать «признательность бенгальского народа великой Стране Советов за поддержку и помощь в трудный критический час. Рад в качестве премьер-министра и генерального секретаря Народной лиги,— говорит Таджуддин Ахмад,— приветствовать вас, первых русских корреспондентов, здесь, в освобожденной Дакке».

Разумеется, политическая жизнь Бангладеш не строилась и не строится исключительно на «трех китах» — Народной лиге, коммунистической партии и Национальной народной партии. В состав Консультативного совета при правительстве вошли еще два представителя.

Один из них — А. Х. Бхашани, видный деятель освободительного движения, один из лидеров Национальной народной партии до ее раскола в 1967 году на две фактически новые партии, возглавляемые соответственно Музаффар Ахмадом и А. Х. Бхашани. Если партия Музаффар Ахмада выступала за союз демократических сил и осуждала раскольническую деятельность маоистов в национальном и международном революционном движении, то А. Х. Бхашани нередко выступал с маоистских позиций. Рассказывают, что частенько на массовых митингах в Восточном Пакистане он держал свои речи на трибунах, где устанавливали портрет «великого кормчего Мао». Когда пакистанская военщина с марта перешла к открытым репрессиям, А. Х. Бхашани вынужден был — ему около девяноста лет — перейти границу и жить в Индии. Отсюда он неоднократно обращался в Пекин, пытаясь объяснить маоистским руководителям «неразумность» и «нелогичность» их враждебной позиции по отношению к сражающейся за свободу и независимость Бангладеш, призывая поддержать освободительное движение восточнобенгальского народа. Однако не получил ответа и в конце концов вынужден был публично признать «ошибочность позиции КНР».

С начала семьдесят второго он снова в Бангладеш. Теперь уже о Мао не упоминает. Но на митингах своих сторонников А. Х. Бхашани не раз выступал с нападениями на компартию, ННП и на профессора М. Ахмада, называя их «слугами Москвы». Себя же и своих сторонников он выставляет «истинно национальной революционной силой». В отличие от Национальной лиги, ННП (М. Ахмада) и КПБ у А. Х. Бхашани партии как строгой организации, в обычном понимании этого слова нет. Но он пользуется некоторым авторитетом в крестьянских массах. С ним в близких отношениях руководители ряда промаоистских групп, до сих пор предпочитающих действовать на полуправильном положении. Но это тоже непрочный альянс.

У самого А. Х. Бхашани нет определенной программы и четкой политической платформы даже в таком важном вопросе, как отношение к единому демократическому фронту и правительству Бангладеш. Свою поддержку он часто обставляет довольно противоречивыми условиями, видимо колеблясь вместе с приливами и отливами крестьянского мелкобуржуазного моря, под влиянием своих прежних взглядов и нового окружения.

Десятки промаоистских групп и группочек, не найдя друг с другом общего языка для объединения, представляют собой довольно пеструю политическую мозаику. Их полуправильный статус нередко используется запрещенными правыми реакционными му-

сультанскими организациями для развертывания подрывной деятельности. Интересные факты на этот счет приводил еженедельник «Нью эйдж». Согласно его информации, известный реакционный мусульманский лидер Абдус Саттар неожиданно «перестроился» и теперь выступает в Бангладеш не иначе, как от имени так называемой коммунистической (марксистской) партии. Другой лидер мусульманской реакционной партии, Сайед Ирфанул Бари, уже вовсю призывает к «немедленной пролетарской революции», выдавая себя за сторонника А. Х. Бхашани.

Говоря о политических партиях, необходимо упомянуть еще одну — Национальный конгресс Бангладеш Отражая интересы средних слоев индуистской общины — в Бангладеш более 10 миллионов индийцев, — она вместе с тем в 1947—1958 годах протестовала против проведения в Пакистане отдельных выборов по религиозно-общинным куриям. В годы подъема освободительного движения Национальный конгресс выступал в защиту бенгальского языка и за предоставление Восточному Пакистану автономии. Партия не раз запрещалась. В декабре ее мало знали в широких кругах бенгальского населения. Нам, советским корреспондентам, ни разу не довелось повстречаться ни с ее лидерами, ни с ячейками на местах.

Помимо этого продолжали действовать, уводя свои штабы в глубокое подполье, оппозиционные республиканскому правительству Бангладеш реакционные партии. В ряде сельских районов они имели в своем распоряжении хорошо обученные, владеющие партизанскими методами борьбы банды.

Такова лишь в общих чертах была внутривнутриполитическая расстановка сил.

* * *

В первые же дни после освобождения газеты опубликовали решения правительства, в результате которых под контроль государства были поставлены деятельность частных компаний, контролируемых небенгальским капиталом, важнейшие банковские и экспортные операции, вывоз за границу золота, драгоценных камней и ювелирных изделий. 23 декабря было объявлено о создании центрального (резервного) банка Бангладеш. Впрочем, денежное обращение в те дни представляло пеструю картину. В ход шли и пакистанские и индийские рупии, доллары и западногерманские марки. Курс менялся ежедневно, ежечасно. А в эти же самые дни минеры, занимавшиеся очисткой читтагонгского порта, со дна реки, в устье которой стоит город, подняли странной формы мешки. Они оказались набитыми пакистанскими денежными знаками различного достоинства. Дальнейшие поиски позволили сделать новое открытие: число денежных мешков, брошенных пакистанской армией в реку накануне и после капитуляции, составило многие сотни. Но и это не все. Установлено, что здесь, в читтагонгском порту, главных морских воротах Бангладеш, сожжены в самые последние часы войны по приказу пакистанского командования денежные знаки на сумму в 320 миллионов рупий. Их предполагалось морем вывезти в Западный Пакистан, но события опередили реализацию плана, главной целью которого была дезорганизация экономики Восточной Бенгалии. В Дакке и других городах в последние дни войны пущены в ход огромные суммы фальшивых денежных знаков. Из Читтагонга последними пакистанскими военными судами в Карачи вывезены значительная часть золотого запаса и драгоценности. Взрыв большинства мостов, разрушение подвижного железнодорожного состава, речных и морских транспортных средств, линий связи и электропередач в конце войны и в день подписания документа о капитуляции пакистанской армии, как здесь считают, не были вызваны чисто военными интересами.

Весною семьдесят второго Бангладеш после становления своей государственности и упрочения политического положения вступила в новый этап своего развития — долгосрочного послевоенного восстановления разрушенной войной экономики. И здесь, как и в годы освободительной войны, Советский Союз и Индия снова пришли на помощь. 3 марта 1972 года в Москве была подписана совместная декларация Советского Союза и Народной Республики Бангладеш, которая заложила прочную основу нашего долгосрочного сотрудничества. В ходе состоявшихся здесь переговоров между Председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным и Муджибур Рахманом была достигнута договоренность об оказании Советским Союзом Бангладеш помощи в строительстве тепловой электростанции, радиовещательных станций, завода электрооборудова-

ния, в проведении геологоразведочных работ на нефть и газ, в восстановлении и развитии морского рыболовства, морского и железнодорожного транспорта, в подготовке национальных кадров. 31 марта в Москве подписано торговое соглашение между СССР и Бангладеш. В его основу положен принцип наибольшего благоприятствования.

19 марта в Дакке подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и мире между Народной Республикой Бангладеш и Республикой Индией сроком на 25 лет. В нем определены принципы равноправных отношений, основные направления сотрудничества между обеими странами. 28 марта Бангладеш и Индия заключили торговое соглашение. При этом достигнута принципиальная договоренность: двусторонняя торговля в основном должна вестись через Торговую корпорацию Бангладеш и другие государственные организации.

Внешне это выглядит сухим пересказом стереотипных официальных договоров. Но вокруг выработки молодой республикой принципов экономического сотрудничества с другими странами развернулась острая внутривнутриполитическая дискуссия. По существу, вопрос стоял о путях развития независимого государства. С какими странами налаживать в первую очередь отношения? Правые круги в этой обстановке не сидели сложа руки.

При налаживании равноправных экономических отношений с Индией — страной, оказавшей помощь в достижении независимости, дружественным соседним государством, — приходилось учитывать многие сложные аспекты. До 1947 года Восточная Бенгалия была аграрным придатком индустриальной Западной Бенгалии. К 1971 году Восточный Пакистан играл такую же роль по отношению к Западному. Сильный монополистический капитал Западной Бенгалии не прочь прибрать к рукам обширный рынок сырья и сбыта Бангладеш: ваше сырье — наши фабрики и готовая промышленная продукция. Еще шла война, а калькуттские хозяйчики и коммивояжеры уже потянулись в Джессор, Кхулну и другие города: разведать, закрепиться. Оживилась и сеть контрабандной пограничной торговли, субсидируемая в конечном счете крупным капиталом.

Слабая, не обладающая ни такими капиталами, ни опытом, ни организацией, восточнобенгальская буржуазия Бангладеш забила тревогу. Здесь уместно напомнить интересные в связи с этим факты. Накануне второго индо-пакистанского вооруженного конфликта 1965 года индийские частные предприниматели контролировали в Восточном Пакистане 15 крупных промышленных предприятий, большое число торговых компаний, несколько чайных компаний. После войны в том же 1965 году все они были взяты под контроль пакистанского правительства, а затем часть выкупило государство, другие перешли в собственность всесильных частных монополий.

Все это использовалось реакционными элементами в их попытках подорвать дружеские отношения между Индией и Бангладеш, сложившиеся в годы освободительной борьбы. Так как утка, запущенная все из тех же источников, о том, что Бангладеш, мол, будет оккупированной индийскими войсками, зависимой территорией, не сработала, то пошел слух, будто Индия в качестве цены за оказанные услуги потребует свободных рук своим частным монополиям на земле Бангладеш, то есть об экономическом закабалении еще не вставшей прочно на ноги республики.

В этих условиях вопрос, на каких принципах налаживать экономическое сотрудничество, приобретал большое политическое звучание. В ходе переговоров между И. Ганди и Муджибур Рахманом была достигнута договоренность: вести дела на основе межгосударственных отношений, а не частных. Разумный шаг в интересах добрососедства и дружбы, равноправного сотрудничества.

Надо сказать, что все эти проблемы и их аспекты выплескивались на дискуссионные полосы даккских газет, муслировались в государственных и дипломатических кулуарах.

Решения приняты в марте и закреплены договорами и соглашениями, о которых выше шла речь. В этих благоприятных условиях премьер-министр Бангладеш Шейх Муджибур Рахман 26 марта 1972 года объявляет решение правительства о судьбе банков и страховых компаний, крупных предприятий, торговых и пароходных компаний западнопакистанского и местного капитала. Они национализируются и фактически передаются государственному сектору. Правительство отдало также рас-

поражение о взятии под контроль государства всех предприятий с капиталом, превышающим 1,5 миллиона така, владельцы которых покинули страну. Надо учесть при этом предыдущие решения, в результате которых под контроль государства перешли некоторые чайные плантации, торговля чаем и джутом.

Во всех этих случаях государство не выплачивало бывшим владельцам компенсации. Объявлено также, что в будущем крупные предприятия в республике будут строиться исключительно в государственном секторе. Одновременно правительство приступило к выработке программ по оказанию помощи в развитии мелкого частного кустарного и промышленного производства, торговли.

По своему значению для будущего республики мартовские перемены, как справедливо заметила одна из дакских газет, можно смело приравнять к событиям декабря семьдесят первого. Бангладеш определила главное направление своего развития. В жизни республики наступил новый важный этап.

* * *

...Кажется, совсем недавно, весной семьдесят первого, в тихой калькуттской гостинице чудом выживший Абдулла Кабир рассказал мне не укладывающиеся сразу в сознании истории трагического марта Дакки семьдесят первого... Тогда, весной семьдесят первого, все еще только начиналось, появились лишь первые очаги партизанской борьбы, разросшиеся затем в победоносное вооруженное сопротивление. Помнится, два года назад даже самые большие оптимисты предсказывали победу не раньше чем через три-четыре года. А она пришла через девять месяцев — 16 декабря.

Уже сейчас можно смело утверждать, что в декабре 1971 года в Южной Азии произошел не механический распад двуединого государства Пакистан, а процесс рождения республики на развалинах военной диктатуры. Если вспомнить, что в том же социально-экономическом направлении развиваются и соседние с Бангладеш Индия и Бирма, то становится очевидной вся значительность явления, непосредственно касающегося настоящего и будущего более 700 миллионов человек.

Какой же путь проделан самым молодым азиатским государством к весне семьдесят третьего?

Республиканская власть на волнах освободительного движения произвела значительную перестройку социально-экономического фундамента. Если до декабря 1971 года ключевые позиции в промышленности, торговле, транспорте и финансах занимал частный иностранный и западнопакистанский капитал (с позиций сегодняшнего дня тоже уже иностранный), то весной семьдесят третьего, когда пишутся эти строки, картина кардинально изменилась. В настоящее время под контролем государства находится приблизительно четыре пятых капиталов и основных средств производства в крупной промышленности, весь железнодорожный, воздушный и морской транспорт, речные пароходные компании, девять десятых финансово-банковских учреждений. Установлен государственный контроль над внешней торговлей. И все эти гигантские перестройки в государстве, население которого составляет свыше 70 миллионов, осуществлены за каких-то шестнадцать месяцев, в обстановке послевоенной разрухи, нелегкого положения с продовольствием.

Что же обеспечило успех? Мне кажется, участие в политической жизни миллионов людей, пробужденных к деятельности освободительной борьбой, критической ситуацией, сложившейся в стране. Это способствовало созданию демократического политического климата в стране. Вот лишь несколько штрихов. Сразу же после победы в декабре семьдесят первого была запрещена деятельность реакционных, дискредитировавших себя в дни вооруженного сопротивления партий, которые проповедовали религиозно-общинную рознь. Эта мера республиканского правительства значительно ограничила возможности политических маневров сил реакции. Впервые за последнее двадцатилетие была легализована деятельность компартии сначала в освобожденных районах, а после победы и на территории всей Бангладеш.

Завершив борьбу на военном фронте, республика продолжает вести упорные битвы на политическом и дипломатическом фронтах. И здесь одержаны важные победы. Сегодня Бангладеш признана почти ста государствами мира.

Из событий последнего года необходимо упомянуть хотя бы два, безусловно важ-

нейших, определяющих дальнейший ход развития Бангладеш: провозглашение конституции 16 декабря 1972 года и первые в стране всеобщие выборы в парламент, состоявшиеся 7 марта 1973 года.

Вопрос о разработке конституции был поставлен еще в апреле семьдесят второго, когда была созвана Учредительная ассамблея. А семь месяцев спустя, в ноябре, 404 делегата Учредительной ассамблеи после продолжительного обсуждения проекта одобрили конституцию, которая в следующем месяце вступила в силу. Вопрос о политической структуре государства, таким образом, был решен. Согласно конституции, парламент Народной Республики Бангладеш избирается сроком на пять лет всем взрослым населением, начиная с восемнадцатилетних. Им утверждается правительство, которое формирует лидер партии большинства. Премьер-министр и его кабинет несут перед парламентом коллективную ответственность. Члены парламента избирают также президента республики. Основными принципами политического устройства государства провозглашены: национализм, демократия, социализм и секуляризм, то есть светский характер государственной власти.

Во внешней политике, согласно конституции, Бангладеш и впредь будет придерживаться политики независимости, неприсоединения и нейтралитета.

Основной закон страны закрепил сложившийся в ходе реформ социально-экономический строй и признал за государственным сектором ведущую роль.

Курс независимой республики на семидесятые годы определяет соотношение политических сил в стране, которое выявилось в марте семьдесят третьего в ходе первых всеобщих выборов в парламент. В избирательной кампании приняли участие четырнадцать партий и организаций, фактически все политические силы, участвовавшие в национально-освободительном движении. Важно отметить, что правящая Народная лига, Национальная народная партия и Коммунистическая партия Бангладеш выступали самостоятельно, выдвинув свои предвыборные программы. В обстановке стремительного развертывания событий произошла некоторая перестановка и в соотношении политических сил. Осенью произошел раскол в студенческих и молодежных организациях, руководимых правящей Народной лигой. В результате образовалась Национальная социалистическая партия. В послевоенный период формально оформился и принял участие в выборах так называемый Комитет общепартийных действий шести партий, стоящих в основном на промаоистских позициях. Его президентом стал престарелый А. Х. Бхашани. Эти партии выступали с нападками на политику укрепления дружеских отношений Бангладеш с Индией и СССР, за смену правительства Муджибур Рахмана.

Как и ожидалось, победу на первых всеобщих выборах одержала Народная лига во главе с Шейхом Муджибур Рахманом. В этой связи уместно напомнить обещания, данные правящей партией народу.

В течение ближайших пяти лет, было сказано в предвыборном манифесте, главной целью является достижение Бангладеш самообеспечения в продовольствии. В числе первоочередных задач были названы: укрепление государственного сектора и занятие им ведущих позиций во всех жизненно важных отраслях экономики, проведение аграрной реформы, электрификация города и деревни.

Приняв участие в выборах, Коммунистическая партия Бангладеш в своем манифесте призвала к созданию единого фронта патриотических, демократических и секуляристских сил в стране для последующей борьбы за неуклонное продвижение Бангладеш по прогрессивному пути.

Этими беглыми сообщениями о последних событиях мне хочется закончить свои документальные записи о рождении и первых шагах Бангладеш, самого молодого государства мира.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ФЕЛИКС КУЗНЕЦОВ

★

СУДЬБЫ ДЕРЕВНИ В ПРОЗЕ И КРИТИКЕ

«Будет ли предел тишине...»

Тема деревни в литературе и критике последних лет — одна из главенствующих.

Предтечей тому явился «овечкинский» период в развитии нашего очерка, когда в публицистике В. Овечкина, С. Зальгина, А. Калинина (середина 50-х годов) были явственно обнажены экономические противоречия колхозной действительности тех лет, — овечкинскую традицию продолжили Г. Радов, Ю. Черниченко, Л. Иванов, К. Буковский, И. Винниченко, П. Ребрин...

В прозе тенденция остросоциального осмысления жизни деревни проявила себя в ту пору в повестях и рассказах, принадлежащих перу В. Тендрякова, Г. Троепольского, А. Яшина и других.

Впрочем, трудно уловима эта грань между очерком и высокой прозой. Возьмем ли мы «Владимирские проселки» и «Каплю росы» В. Солоухина, или «Вологодскую свадьбу» А. Яшина, или «Деревенский дневник» Е. Дороша — произведения, где публицистичность переплеталась с проникновенным лиризмом, а документальность с обобщенностью, свойственными подлинному искусству, — все они рушили привычные представления о жанрах, возникая на стыке очерка и рассказа, публицистики и повести. Для большинства этих произведений характерны опять-таки активность и социальность авторской позиции, тенденция к непосредственному вмешательству в жизнь.

Обострение общественного интереса к теме деревни в литературе обусловило появление новых талантливых произведений. Именно в эти годы в полную меру раскрылся талант таких прозаиков, как В. Астафьев, В. Белов, Б. Можжев, С. Крутилин, Е. Носов,

В. Лихоносов, В. Шукшин, В. Распутин, В. Цыбин.

В критике наметилась даже определенная тенденция сводить «деревенскую» прозу последних лет только к этой, по преимуществу «лирической» ее ветви, что неправильно. Ибо судьбы деревни с не меньшим напором исследовались и в прозе социально-аналитической. Назову хотя бы роман «Две зимы и три лета», повести «Пелагея» и «Алька» Ф. Абрамова, «Память земли» В. Фоменко, «Войди в каждый дом» Е. Мальцева, «Вишневый омут» М. Алексева, «Материнское поле» и «Прощай, Гульсары!» Ч. Айтматова, «Кончину» В. Тендрякова и др. Различие между двумя «ветвями» прозы, конечно, не следует представлять некой китайской стеной — оно движущееся, взаимопроницаемое. И все-таки нельзя не заметить, что большинство названных произведений социально-аналитической прозы, так же как, скажем, «Поднятая целина» М. Шолохова, в рубрику «деревенской» не помещаются — она тесна для них, поскольку в значительной части этих произведений ставятся на обсуждение проблемы и воспроизводятся характеры, выходящие далеко за пределы деревенской жизни. Это говорит, до какой степени условен термин «деревенская» проза, утвердившийся в качестве рабочего в критике последних лет.

При всех жанровых различиях и разнообразии творческих индивидуальностей, эту прозу — и «лирическую» и «аналитическую» — объединяло обостренное чувство историзма, стремление взглянуть в исторические судьбы деревни, постичь пути и закономерности ее развития от прошлого до наших дней. Исследовались исторические судьбы деревни в эпоху предреволюционную и революционную (скажем, «Сибирь» Г. Маркова, «Соленая Падь» С. Зальгина), в

пору коллективизации («На Иртыше» С. Залыгина, диалогия И. Мележа), подвиг крестьянства в трудные военные и послевоенные годы (книги Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Фоменко, М. Алексеева, С. Крутилина и др.), в пору 50-х годов («Войди в каждый дом» Е. Мальцева). В этом прежде всего значение этой прозы, так она запечатлела себя в сознании читателей, представив в полный рост крестьянина, колхозника, выдержавшего труднейшее испытание войной и экономическими сложностями послевоенных лет и ни в чем не поступившего духовно, сохранившего мощь и красоту своего нравственного характера, характера труженика, преобразователя, хозяина родной земли.

Время с особой остротой ставит вопрос о последовательности и полноте историзма нашей прозы, посвященной судьбам деревни, о правде истории, о верности жизни в этих произведениях.

Вместе с тем книги, посвященные судьбам деревни, таили и таят в себе глубоко современный интерес — при всем видимом обращении их к жизненному материалу не только и не столько сегодняшнего, сколько минувшего дня. Положительно, существует какая-то мощная новейшая потребность, вызвавшая к жизни столь богатую литературу о деревне, обусловившая читательское внимание к ней. Последние годы нашего общественного развития, как известно, вообще отмечены все более углубленным вниманием к духовным и нравственным залогам народной жизни в ее прошлых и современных проявлениях.

Вне этой активизации нашего народного самосознания невозможно правильно осмыслить и понять и современную так называемую «деревенскую» прозу. Процесс этот сложен, противоречив, он требует вдумчивого истолкования. С проявлением его мы сталкиваемся не только в литературе. Литература, и в частности «деревенская» лирическая проза (о ней-то в первую очередь и пойдет здесь речь), лишь своеобразно аккумулирует эту общественную потребность.

Для всех очевидно, что в духовной нравственной атмосфере последних лет все наущнее, все пронзительнее звучит чувство родной земли, чувство отечественной истории. Для литературы и критики крайне важно эту реальную тенденцию не только выразить, но и исследовать, осмыслить, объяснить, понять. Найти точный, выверенный психод к ней. Поэзия природы, память

родной земли, чувство отчизны буквально пронизывают сегодня произведения многих молодых прозаиков, пишущих о деревне. Природа и история, одухотворенная красота родных мест не просто средства художественной изобразительности, но важнейший нравственный фактор в их книгах.

«И вот опять родные места встретили меня сдержанным шепотом ольшаника.— Так начинается один из рассказов В. Белова, «На родине».— Мне кажется, что я слышу, как растет на полях трава, я ощущаю каждую травинку, с маху сдергиваю пропотелые сапоги и босиком выбегаю на рыжий песчаный берег... Тихая моя родина, ты все не даешь мне стареть и врачуешь душу зеленой тишиной! Но будет ли предел тишине?..»

Русская природа для Белова, так же как для В. Астафьева или Е. Носова, прежде всего образ родины.

Пожалуй, одним из первых певцов этой темы в современной литературе следует назвать В. Солоухина, его «Владимирские проселки», «Каплю росы». В. Солоухин рассказал нам о своем родном селе, ему необходимо было рассказать о нем: «Село Олепино — одно для меня на целой земле, я в нем родился и вырос». Его книга — своеобразное поэтическое путешествие в самую дивную из всех волшебных стран — страну детства... Человек, позабывший, что было там и как было там, позабывший даже про то, что это когда-то было, самый бедный человек на земле.

«Липяги» Сергея Крутилина трогают нас тем, что в них воссоздан образ родных ему мест, поэтический образ деревней, исконной земли русской. Это проза при всем ее лиризме суровая, трезво-правдивая, трудная. И в этом было движение вперед в сравнении с «Каплей росы» В. Солоухина, где социальные начала жизни несколько приглушены. Книга С. Крутилина полна раздумий о том, как вывести деревню на дорогу более счастливой жизни...

С. Крутилин, как и Ф. Абрамов, В. Астафьев, В. Белов, Б. Можаяев, Е. Носов, В. Шукшин, мог бы с законной гордостью сказать о себе те самые слова, которые написал в рассказе «Угощаю рябиной» А. Яшин: «Я есть сын крестьянина... Меня касается все, что делается на той земле, на которой я не одну тропку босыми пятками выбил; на полях, которые еще плугом пахал, на пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога».

Да не упрекнул меня в излишнем социологизме, если я рискну высказать одно наблюдение касательно нашей так называемой «деревенской» прозы. Глубина и прочность ее кровной сопричастности миру народной жизни predetermined, на мой взгляд, во многом тем, что создается она — и это прямой результат Октября — в значительной степени сыновьями крестьян, плоть от плоти трудового народа, унаследовавшими великие традиции русской культуры, получившими возможность выявить свой талант. Их проза органически выражает те духовные богатства народной жизни, которые веками вырабатывались трудом человека на земле.

И если говорить о их верности залогам трудовой, народной жизни, а они эту верность и проявляют и декларируют, то начинать следует с их отношения к слову, к языку.

У Василия Белова — мастера прозы, открытого в свое время А. Яшиным, — есть рассказ с красочным названием «Колоколе-на», он опубликован и в последней книжке «День за днем» («Советский писатель», 1972). Это звучное прозвище носит в колхозе старая крестьянка бабушка Параня, заслужившая его за свою неугомонную и умную речь.

Надо в совершенстве знать народный говор и крестьянскую душу, чтобы средствами одной лишь речевой характеристики с такой осязаемой достоверностью воссоздать характер крестьянской женщины.

Слово в прозе В. Белова несет самостоятельную нравственно-эстетическую функцию: его емкая, щедрая наполненность и самобытность выражает душу народа, одухотворенность народного бытия.

Мы говорим порой о том или ином писателе: он хорошо слышит народную речь. О Белове так сказать нельзя: народный, исконно русский язык для него стихия, естество. Его рассказы завораживают пленительной вязью истинно народной речи. Они наполнены любовью к родной природе, к русской сельщине, к отчей деревне. Остро чувствует Белов запахи северного леса, крупные краски северорусского пейзажа, особый говор северорусских деревень. О деревенском труде он пишет настолько осязаемо, что кажется: человек, ни разу в жизни не державший вил, сможет, прочитав картину сенокоса в повести «Деревня Бердяйка», метать стога. Мало кто умеет в современной нашей литературе с такой ес-

тественностью и проникновенностью передавать изначальное — поэзию труда земледельца, красоту творений рук человеческих. Труд в его рассказах и в самом деле предстает как творчество, как колдовство, как таинство.

В прозе В. Белова — вспомним его «Привычное дело» — в полную силу проявилась не только любовь к миру деревни, знание ее быта, ее людей, но и боль за те несовершенства жизни, за все те тяготы экономического (и не только экономического) характера, которые переживала деревня, в особенности его северная деревня в послевоенные годы.

И все-таки — рискну высказать такое предположение — не этот мотив, не драматическое описание, скажем, всех тягот жизни Ивана Африкановича и его многочисленной семьи главное для писателя (и читателя) в том же «Привычном деле». Иначе повесть уже не жила бы: ушли в небытие тягостные обстоятельства колхозной жизни, связанные с издержками субъективизма в сельском хозяйстве, и не проблема «стожка сена», не вопрос о том, как «прокормить семью», является сегодня вопросом жизни для Ивана Африкановича.

Обнаженно-социальная проблематика повести, что называется, устарела — а повесть живет! И сохраняет свое сугубо современное звучание, берedit душу, волнует сердца!

Почему? Какой нерв гражданского, общественного, человеческого сознания берedit, тревожит проза В. Белова, в чем ее острая необходимость, непреходящий смысл?

В конечном счете в постановке того тревожного вопроса, которым, помните, обрывается лирическое признание В. Белова в верности любви его к родным северным краям. «Тихая моя родина, ты все так же не даешь мне стареть и врачуешь мою душу своей зеленой тишиной! Но будет ли предел тишине...»

«Я сажусь у теплого стога,— размышляет далее писатель,— курю и думаю, что вот отмахнет время еще какие-то полстолетия и березы понадобятся одним лишь песням, а песни тоже ведь умирают, как и люди...»

Он вслушивается в сосновый шум, в шелест берез и вздрагивает, когда в зеленый шум влетает непонятный нарастающий свист, заполняющий весь этот тихий зеленый мир. Он смотрит в небо, но серебряное туловище реактивного самолета уже исчезает за горизонтом.

«Как мне понять, что это? Или мои слезы, а может быть, выпала в полдень скупая соленая роса?..»

В рассказах В. Белова (и не только его) обостренно звучит вот эта тревожная мысль: а вдруг «отмахнет время еще какие-то полстолетия и березы понадобятся одним лишь песням...»? Белов с пристрастием спрашивает себя: «Может быть, так оно и надо.. Исчезают деревни, а взамен рождаются веселые, шумные города?..»

В этом вопросе — современное звучание прозы В. Белова, других «деревенщиков», даже если она посвящена и вчерашнему дню деревни. Это вопрос о судьбе красоты природы и сельщины, ее традиционного духовного уклада в современный век. Вопрос, имеющий принципиальное значение для последующего развития нашей культуры и цивилизации, для формирования духовного фундамента коммунистического общества. Этот вопрос ставит сама жизнь в современную эпоху, эпоху бурных социальных и научно-технических преобразований.

Нельзя недооценивать всей важности подлинно гуманистической постановки этого вопроса, вопроса о ценностях природы, труда и преобразования земли, о поэзии и красоте мира природы в наш век. Это наше, социалистическое, коммунистическое право, забота и обязанность — думать о том, какой оставим мы землю потомкам. Но столь же важно не только поставить, но и найти верный и точный, с максимальным приближением к исторической истине ответ на этот вопрос.

Наша так называемая «деревенская» проза, ее лирическая «ветвь», в известном смысле слова — эмоциональная реакция, рефлексия ума и сердца на тот намечающийся гигантский, тектонический общественный сдвиг, который именуется научно-технической революцией.

Тема «человек и природа», «человек и земля», тема «природного», «цельного» человека, тема «малой» и через нее большой Родины — вечная тема в литературе. Однако в современной прозе и публицистике она звучит с особой пронзительностью, а порой и полемической заостренностью. Иван Африканович у В. Белова — это именно «природный», цельный человек, воплощающий те общечеловеческие ценности нравственности, которые вырабатывались народом в протяжении тысячелетнего труда на земле. Едва ли не главное отношение тут — человек и природа, — помните этот мотив полного

«слияния» героя повести со снегом и солнцем, с глубоким, безнадежно далеким небом, со всеми запахами и звуками «предвечной весны». Социальные связи с миром у Ивана Африкановича едва намечены, позиция его здесь по преимуществу пассивная, страдательная. Ради максимально четкого воплощения художественной идеи В. Белов пошел даже на известную односторонность в характере своего героя.

В «Вологодской свадьбе» А. Яшина был персонаж, в чем-то предвосхищавший Ивана Африкановича, — родственник и дружка невесты, вологодский колхозник Григорий Кириллович: «Бывалый человек, с неумным озорным характером, прошедший во время войны многие страны Западной Европы как освободитель и победитель, он сохранил в памяти бесчисленное количество присловий и прибауток из старинного дружкиного багажа и не пренебрегал ими».

Багаж народных присловий и прибауток у Ивана Африкановича (как и у других героев В. Белова) не меньший, а вот то немало-важное обстоятельство, что герой «Привычного дела» также прошел во время войны многие страны Европы «как освободитель и победитель», что не могло не наложить на весь его внутренний мир свою резкую печать, не сказалось в повести. И причина тому, думается, в полемичности внутреннего авторского замысла, смысл которого и состоял прежде всего в том, чтобы заслонить, отстоять от ветров века те ценности крестьянского характера, которые формировались столетиями, тысячелетиями общения с природой, сельскохозяйственным трудом. Эти ветры века, высекающие в сердце прозаика столь резкую тревогу за близкие ему ценности, связаны в конечном счете с гигантским ускорением научно-технического процесса, который и в деревне, в особенности в условиях коллективизации, дает свои плоды.

Когда «Привычное дело» только появилось на свет, критики (и я в том числе) большее внимание обращали на верхний срез повествования, связанный с экономической деревни, трудным экономическим положением северного крестьянства в сороковые и пятидесятые годы. Но с отдалением во времени повесть, поставленная в контекст других произведений В. Белова («За тремя волоками», «Плотничьи рассказы», «Бухтины вологодские», «День за днем»), и не только его («Последний срок» В. Распутина, некоторые повести В. Лихоносова), с

возрастающей резкостью обнажает свой глубокий идейно-художественный пафос. Суть его — судьба деревни и ее ценностей в XX веке в условиях глубочайших социальных и научно-технических сдвигов и изменений. И более широко: соотношение природы как гуманистической человеческой ценности и «второй природы», то есть социально-технической среды, созданной самим человеком.

Постановка этого круга вопросов нашей литературой закономерна и своевременна. Все возрастающее ускорение процессов научно-технической революции и связанные с этим урбанизация жизни, интенсификация труда и, в частности, индустриализация земледелия исторически неизбежны, необратимы, для человечества — обязательны. Без этого человеческое общество ни развиваться, ни выжить попросту не в состоянии. Во всем мире идут эти процессы и с ними — коренное изменение всего облика, уклада сельщины.

Современная экономическая политика партии в деревне сопрягает резервы научно-технической революции в нашем обществе с огромными возможностями социалистического земледелия. Это уже дало, как известно, некоторые экономические и социальные результаты.

Индустриальный, экономический, исторический прогресс деревни с особой остротой ставит перед ней сегодня проблему духовных и нравственных ценностей. Забота о родной природе, о ее лесах и лугах, забота о том, чтобы березы в будущем были так же нужны людям, как и песня, — дело партийной и государственной важности.

Сложен комплекс проблем, которые стоят перед современной деревенской прозой: социальные, научно-технические и психологические изменения, с предельным ускорением совершающиеся в сегодняшней колхозной деревне. Готова ли литература наша — не только документальная, очерковая, но и художественная — к осмыслению этого круга проблем во всей их реальности и остроте? И самое главное: достаточно ли высокий уровень ее социально-философского мышления для правильного, исторически истинного решения их?

Об этом говорили недавно в диалоге «Неизбежность гармонии» на страницах «Литературной газеты» Чингиз Айтматов и Леонид Новиченко: «Литература, как и вся система нашего обществен-

ного воспитания, обязана способствовать тому, чтобы в отношении к природе быстрее преодолевались проявления потребительской, близоруко-прагматической психологии, вред от которой увеличивается по мере роста технической вооруженности современного человека. На смену этой психологии придет — и в нашем обществе уже приходит — новое отношение к природному миру, отношение не только подлинно хозяйское, но и дружеское, полное умной заботы о живой природе как общественном богатстве, которое надо не только сохранить, но и умножить». Авторы диалога резко подчеркивают новое качество отношения к природе, определяемое нашим общим революционно-преобразовательным отношением к жизни, необходимость «синтеза, сочетающего и активно-творческое отношение к природному миру, и «старую» способность наслаждаться его поэзией, его вечной красотой, уметь, если хотите, быть добрым, отзывчивым его созерцателем».

Разрыв этого диалектического единства, преувеличение одной из его сторон за счет другой приводит к нарушению гармонии человека и природы, оборачивается либо голым, прагматическим технократизмом, либо сентиментально-романтическим консерватизмом, проявляющим себя в отрицании социального и научно-технического прогресса в принципе. Между тем, справедливо говорили участники диалога, преобразующая роль человека, революционное, подлинно хозяйское отношение человека к окружающей среде — фактор наиглавнейший, ибо человек не может быть только созерцателем природы.

Поставив нравственные искания современной литературы (не только «деревенской», ибо, скажем, прозу Ю. Казакова, Г. Семенова да и В. Лихоносова впрямую к ней не отнесешь) в этот социально-философский контекст эпохи, мы глубже и полнее их поймем. Об этом выразительно говорил в дискуссии «Современная деревня и литература» Федор Абрамов, подчеркнувший социальный аспект той же самой проблемы: «Столь пристального внимания именно к нравственным истокам характера человека деревни литература еще не знала. И объясняется это особенностями переживаемого нами момента, вполне сопоставимого по своим масштабам с периодом коллективизации». Сказав о том, что речь сегодня идет «об изменении всего облика крестьянской России», Ф. Абрамов далее продолжал:

«Круто меняется и сам крестьянин — тот крестьянин, который победил, пойдя за партией большевиков и рабочим классом, в гражданской войне, тот крестьянин, который вынес основное бремя войны Отечественной, тот крестьянин, чьим трудом была восстановлена страна после войны. Уходят эти вот люди, эта вот деревня, и естественно, что писатель сегодня пристально всматривается: а что же уходит, как все это было? И этот интерес нельзя объяснить простым пристрастием к патриархальной старине, — исследуются проблемы... нашего национального развития, наших исторических судеб» («Вопросы литературы», 1971, № 8).

Право и обязанность литературы — понять, осмыслить, запечатлеть на полотне и то, что уходит, и то, что нарождается. Но здесь важна позиция писателя! Будет ли она не только объемной, но и попутной историческому развитию, стремлениям и чаяниям крестьянства, всего советского народа или же ретроспективной, как говорил В. И. Ленин, сентиментально-романтической? В первом случае литература даст реальную истинную картину исторических судеб нашей деревни в ее революционном развитии, правдиво, трезво воссоздаст деревню старую, уходящую, бережно отнесется к ее подлинным, гуманистическим, природным ценностям и вместе с тем откроет новые типические характеры и обстоятельства, выражающие жизнь в динамике ее развития. Во втором — картина жизни будет смещена, искажена, сдвинута в прошлое, представленное в явно идеализированном, идиллическом, сентиментально-романтическом свете.

Выработка точной писательской позиции здесь происходит в борьбе и полемике с обеими крайностями — с односторонним, плоскостным, нигилистическим отношением к духовным богатствам природы, к ценностям трудовой крестьянской жизни, отношением, игнорирующим ленинский взгляд на крестьянина, в котором Ленин видел не только собственника, но и труженика, а также и со столь же метафизическим, иллюзорным и плоскостным «пейзанским» взглядом на жизнь деревни, идеализирующим патриархальные формы ее прежнего бытия, абстрагирующимся от социальных, классовых противоречий крестьянства, от современной нови деревни.

Обе эти крайности противоречат коренным традициям русской и советской литературы, сочетавшей любовь к народу, к

крестьянству с предельно трезвым, глубоко правдивым воспроизведением жизни, быта, характеров его.

Начало спора

Начало нынешним спорам о деревне положила, пожалуй, известная статья В. Солоухина «Диалог», опубликованная «Литературной газетой» в декабре 1964 года. Ему отвечали там же в статьях «Продолжим диалог» и «О хороводах и дне нынешнем» Б. Можаяев и А. Борщаговский. Вспомним этот спор.

В своей статье В. Солоухин вел диалог с воображаемым собеседником. «Не так давно в разговоре с одним моим товарищем я высказал мысль, что духовный уровень нашей деревни поднялся на неизмеримую высоту, — начинает В. Солоухин свой «Диалог». — Я сказал об этом и не ожидал никакого возражения». Но возражение последовало, последовал вопрос: что понимать под «неизмеримой высотой духовной жизни деревни»?

«— То есть как это что? — удивился В. Солоухин. — Это настолько элементарно, что, право, не стоит и говорить. В каждом доме радио, в каждом доме радиола. В некоторых домах телевизоры, много газет, клубы, велосипеды, комбайны, тракторы, рейсовый самолет садится в шести километрах от села.

— Наверное, мы говорим о разных вещах, — возразил ему воображаемый собеседник. — Очень часто ставят знак равенства между техническим прогрессом и духовной культурой. Но это разные вещи...»

Тогда автор попросил своего собеседника «сформулировать, как он понимает проблему нашего разговора.

— Охотно, — ответил тот. — Под духовной жизнью я понимаю красоту, которой окружает себя человек, проникновенное понимание этой красоты, глубокую радость от ее понимания. Пуще же всего — активное участие в создании красоты. Именно не только восприятие, но и соучастие, а может быть, даже чистое творчество.

— Ну и что же?

— Не спешите, я не договорил до конца. Посмотрим теперь, как подходят под мое определение выставленные вами духовные категории. Ну, велосипеды с автомобилями, пожалуй, отпадают сами собой. Газета — все-таки тоже не эстетическая категория. Сказать ли вам, что радио, телевизор и радиола — это еще не вся

духовная культура?» Столь же сдержанное отношение собеседник В. Солоухина проявил и к кино, которое, на его взгляд, «рассчитано лишь на воспринимательскую функцию зрителя». То же самое можно сказать и о книге: она, по этой логике, так же рассчитана лишь «на воспринимательскую функцию» читателя.

В чем же должна проявляться тогда «активная духовная жизнь» народа? На взгляд собеседника В. Солоухина, с которым, как выясняется, солидарен и автор,— в одном: в «активном участии в создании красоты».

«Кто создал замечательные, поражающие весь мир красотой многоголосые русские песни? Народ, простые труженики, о духовной жизни которых мы сейчас говорим. Они пели всякий раз, когда собирались вместе на посиделках, на сговорах, на свадьбах, по дороге на сенокос, в праздники за столом, на улицах, вода хоровады. Пели пряжи, ямщики, матери над колыбельями, рыбаки на веслах, бурлаки. Короче говоря, пели все. Мало того, что пели,— сочиняли. Я считаю, что в этом заключается элемент активной духовной жизни деревенского человека. Он окружал себя красотой, сам ее создавал, сам ею активно пользовался.

И вот вместо того, чтобы создавать и соучаствовать, то есть в нашем случае артистически петь и наслаждаться пением, все сидят и слушают патефон с заигранными пластинками. Разве это не подмена активной духовной жизни?..»

«Итак, песня, одежда, нарядная национальная одежда, уникальная вышивка, уникальные кружева, русская сказка, фольклор и, наконец, обряд», обряд свадебный или, к примеру, хоровод,— в этом должна в первую очередь проявляться, по мнению писателя, активная духовная жизнь современной деревни.

На первый взгляд программа во многом притягательная. Худо ли: деревня, в которой только и делают, что пляшут и поют, водят хороводы в национальных одеждах на зеленом лугу, а по вечерам рассказывают сказки, занимаются резьбой по дереву, плетут кружева... Может быть, именно так жила русская деревня в прошлом?

Чтобы внести в это представление некоторый корректив и приблизить его к реальной исторической действительности, обратимся к Герцену, которому не откажешь ни в знании, ни в сочувствии миру рус-

ской деревни. Его творчество во многом— страстное признание в любви к русскому крестьянину, в котором он видел главное действующее лицо истории. Вот что писал он о прославленных русских народных песнях: «Русский крестьянин только песнями и облегчал свои страдания. Он постоянно поет: и когда работает, и когда правит лошадьми, и когда отдыхает на пороге избы. Отличает его песни от песен других славян, и даже малороссов, глубокая грусть. Слова их — лишь жалоба, теряющаяся в равнинах, таких же беспредельных, как его горе, в хмурых еловых лесах, в бесконечных степях, не встречая дружеского отклика. Эта грусть — не страстный порыв к чему-то идеальному, в ней нет ничего романтического, ничего похожего на болезненные монашеские грезы, подобно немецким песням,— это скорбь сломленной роком личности, это упрек судьбе, «судьбе-мачехе, горькой долюшке», это подавляемое желание, не смеющее заявить о себе иным образом, это песня женщины, угнетаемой мужем, и мужа, угнетаемого своим отцом, деревенским старостой, наконец — всех угнетаемых помещиком или царем; это глубокая любовь, страстная, несчастливая, но земная и реальная...

В печали или буйном веселье, в рабстве или анархии русский жил всю жизнь, как бродяга, без очага и крова, или был поглощен общиной; терялся в семье или ходил свободный среди лесов с ножом за поясом. В обоих случаях песня выражала ту же жалобу, то же разочарование: в ней глухо звучал голос, вещавший, что природным силам негде развернуться, что им не по себе в этой жизни, которую теснит общественный строй».

Я привел столь обширную выписку из работы А. И. Герцена «О развитии революционных идей в России» ради того, чтобы читатель воочию увидел, каким может быть разный подход к «поражающим весь мир красотой многоголосым русским песням».

Это различие в подходе к миру крестьянской жизни обнаружилось после опубликования солоухинского «Диалога» сразу же: в «Литературной газете» появились возражения В. Солоухину Б. Можаяева и А. Борщаговского. Не принял «Диалога» и покойный Александр Яшин, всегда относившийся к творчеству В. Солоухина с уважением и любовью. «За этим — неправда, не

этого ждет сегодня деревня, не о том печется, не к тому стремится, другого ей недостает!..» — говорил он.

В архиве А. Яшина хранятся номера «Литературной газеты» со статьей В. Солоухина и ответами на нее Б. Можаяева и А. Борщаговского, испещренные яшинскими пометками. Пометки эти чрезвычайно интересны и знаменательны. А главное, как и весь спор, удивительно современны.

А. Яшин, судя по этим пометкам, полностью солидаризировался с оппонентами Солоухина, ему возражавшими. Его внимание привлекает система аргументации Можаяева и Борщаговского в их споре с Солоухиным. И прежде всего их мысль, их забота о достатке в деревне — это слово А. Яшин подчеркивает и ставит на полях два восклицательных знака. Отчеркивает он и рассказ Б. Можаяева о двух соседних колхозных хозяйствах — богатом, где сплошь новые пястистенки и клуб большой и где люди поют. Да как поют!.. И бедном, где в середине августа трава все еще не кошена... «Какие уж тут песни! — подчеркивает А. Яшин заключительную фразу. — Не будем наивными, скажем прямо: любая культура прежде всего материальна».

Дважды, зеленым, а потом красным карандашом, подчеркивает он и отделяет еще двумя жирными скобками на полях то место в статье Борщаговского, в котором говорится: «Расписные деревянные ложки, так нравящиеся иным горожанам и приезжим туристам, по моим наблюдениям, оставляют равнодушными жителей деревень. Жизнь заставляет их, жителей деревень, пока еще больше думать о том, чем эта ложка наполнится».

Не надо забывать — завязалась эта дискуссия в декабре 1964 года, в самый канун мартовского Пленума ЦК КПСС, когда экономическое положение деревни во многих областях страны было трудным. Для Яшина с его социальным пафосом отношения к жизни была неприемлема и казалась несвоевременной забота Солоухина в ту трудную для села пору об играх, хороводах, песнях, причетах — при умолчании об экономических трудностях жизни деревни. В этом были близки Яшину и Можаяев и Борщаговский, решительным образом оспорившие самое представление о духовной жизни села и путях

движения к ней, которые предлагались Солоухиным.

«Видите, как все просто (здесь и далее подчеркнуто Яшиным. — Ф. К.)... Если вы научились понимать красоту или собирать старинную крестьянскую утварь, вы, стало быть, духовной жизнью обеспечены. А как же быть тогда с такими категориями, как нравственность, любовь, понятия о добре, о долге?... — задавал вопрос Б. Можаяев. — Я, разумеется, не против уникальных кружев или красивой национальной одежды. Но писать о духовной жизни народа, о его нравственном облике следует, не глядя на мир сквозь уникальные кружева, не умиляясь при виде патефона или громкоговорителя, а трезво взвешивая реальную действительность».

«Справедливо протестуя против тех, кто ставит «...знак равенства между техническим прогрессом и народной культурой», — пишет А. Борщаговский. — В. Солоухин несколькими абзацами ниже совершает не меньший грех, сводя духовную жизнь к понятию красоты, тем самым неосмотрительно и несерьезно обуживая область духовной жизни, духовного развития народа... В. Солоухин на первый взгляд оказывает величайшее доверие деревенскому человеку — ждет от него сочинительства, «чистого творчества», «проникновенного понимания красоты», на деле же он невольно игнорирует и самую жизнь, и кровные интересы, и нужды этого самого деревенского человека. Ему люб деревенский мир как некий обособленный, наивный, нетронутый, патриархальный мир остановившейся духовной жизни, а не трудная и прекрасная жизнь, развивающаяся в шаг со всей страной... Непростительно игнорировать действительную жизнь народа!»

Я намеренно с такой щедростью цитирую эту, казалось бы, давнюю дискуссию — она освещает весь последующий спор о судьбе деревни. В этом споре своим творчеством принимал участие и А. Яшин. Самобытный, глубокий талант его, на мой взгляд, пока недооценен нашей критикой. По мере движения лет социально-философский и нравственный смысл его прозы и стихов будет звучать все явственнее и безусловнее, а главное — современнее.

В цикле лирических миниатюр «Вместе с Пришвиным» А. Яшин писал: «Он дружил

с природой не заискивая, без низкопоклонства, дружил на равных началах, и природа ничего от него не прятала».

А. Яшин хотел бы, чтобы так же дружили с природой все люди. На худой конец — хотя бы его городские дети. Его рассказ «Угощаю рябиной», написанный им в 1965 году, — глубоко личностное повествование о наивной попытке писателя «докричаться» до них, выросших в городе детей, да и до всех людей, «доказать им, что деревенское детство не только не хуже, а во многих отношениях даже лучше городского». Не рассказ, а своего рода лирическое размышление на тему, чрезвычайно близкую и важную для него и, кстати, во многом перекликающуюся с «Диалогом» В. Солоухина, размышление о деревенской России и низкий писательский поклон ей.

Поклон и вопрос. Вопрос, адресованный времени, детям и самому себе: «Дело в том, что я был и останусь деревенским, а дети мои городские и что тот огромный город, к жизни в котором я так и не привык, для них — любимая родина. И еще дело в том, что я не просто выходец из деревни, из хвойной глухомани, а я есть сын крестьянина, они же понятия не имеют, что значит быть сыном крестьянина. Поди втолкуй им, что жизнь моя и поныне целиком зависит от того, как складывается жизнь моей родной деревни».

Что же вмещает в себя, что будоражит сердце писателя на той земле, где он «не одну тропку босыми пятками выбил»?

Забота его земная и вполне реальная.

Ему не все равно, чем засеют землю в его колхозе в нынешнем году, и какой она даст урожай, и будут ли обеспечены на зиму коровы кормами, а люди хлебом. «Не могу я недумать изо дня в день и о том, построен ли уже в моей деревне навес для машин или все еще они гниют и ржавеют под открытым небом, и когда же, наконец, будет поступать запчастей для них столько, сколько нужно, чтобы работа шла без перебоев, и о том, когда появятся первые проезжие дороги в моих родных местах, и когда сосновый сруб станет клубом, и о том, когда мои односельчане перестанут, наконец, глушить водку, а женщины горевать из-за этого».

А еще: сколько талантливых ребятишек растет сейчас в моей деревне и все ли они выйдут в люди, заметит ли их вовремя кто-нибудь и кем они станут?..»

Как видите, отношение Александра Яшина к родной северной деревне — глубоко и активно социальное, оно объемлет все стороны реальной, а отнюдь не иллюзорной, мечтательной жизни колхозного села. Это отношение кровной, жизненной сопричастности.

В 1962 году, том самом, когда была написана его «Вологодская свадьба», он пишет стихотворение «В бору случилось невозможное». Что же это — «невозможное» для его родной северной глухомани? «В Блуднове появилось радио — поет, играет, митингует. И до чего всех это радует, и как волнует!..»

«Народ — творец и хранитель народного искусства, а не просто радиослушатель и телезритель», — заканчивал В. Солоухин свой «Диалог», отстаивая ту мысль, что радио — не более чем заменитель, суррогат активной духовной жизни народа.

«...Отныне стала небогатая изба, где столько лет я прожил, душе моей, навек засваганной, еще дороже, — завершал А. Яшин стихотворение «В бору случилось невозможное». — И снова верится и чудится, что жизнь идет не стороною: когда-нибудь, наверно, сбудется все остальное». Надо ли говорить, что за этими безыскусными, предельно искренними строками — подлинная любовь к земле, глубокое знание ее нужд и чаяний, что устами Яшина говорили сами жители вологодской деревни Блудново.

Диалог Яшина и Солоухина — неосознанный, а порой и осознанный — много дает для понимания последующих путей и противоречий так называемой «деревенской» литературы. Этот диалог, пожалуй, с наибольшей отчетливостью и резкостью выявлял зарождение, взаимопроникновение и одновременно взаимоотталкивание двух тенденций в ее развитии, двух оттенков в подходе литературы (и критики) к жизни деревни, двух начал социально-философского мышления.

Мало кто знает и помнит, что в «Диалоге» В. Солоухин впрямую касался и «Вологодской свадьбы» А. Яшина, — сам А. Яшин в статье В. Солоухина подчеркнул, выделил в рассуждении о красоте старинного свадебного обряда следующие строки: «А то мне недавно рассказали, как жених за невестой приехал — на чем бы вы думали? — на самосвале! Представьте, что вместо свадебного поезда (лошади, украшенные лентами, цве-

тами и бубенцами) жених пожаловал бы на навознице, то есть на телеге, на которой возят навоз. Его прогнали бы от ворот... В этой истории самое неприятное не самосвал, а то, что все отнеслись к этому спокойно, как будто бы так и надо...»

Эту историю рассказал в «Вологодской свадьбе» А. Яшин: «Жених, сваха, тысяцкий, дружка и все гости со стороны жениха приехали за невестой на самосвале: другой свободной машины на льнозаводе не оказалось. В кузове самосвала толстым слоем лежало свалывшееся за сорок километров желтое сено...» — начинал А. Яшин этот рассказ. И все, в самом деле, отнеслись к этому совершенно спокойно — потому прежде всего, что, как выяснилось по ходу дела, на то были свои, вполне уважительные причины: в первую очередь — огромные расстояния при северном бездорожье.

В свое время «Вологодская свадьба» была подвергнута критике за то, что в ней воспроизводились те недостатки в жизни северной деревни, которые были рождены бедами субъективизма и изжиты после мартовского Пленума ЦК КПСС (1965), — о том, в какой степени была справедлива эта критика, подробно писал Г. Радов в журнале «Журналист» и в книге «Кого люблю» («Советская Россия», 1971), к этим источникам я и отсылаю читателя. Меня же, как и в случае с «Привычным делом» Белова, интересует сейчас не злободневно-социальное содержание «Вологодской свадьбы», прикрепящее ее к исторически преходящему моменту, но непреходящий социально-философский смысл этого произведения. А смысл этот, легко обнаруживающийся при внимательном прочтении, и заключался как раз в постижении судеб патриархального деревенского уклада в современных условиях жизни. Писатель-реалист, в совершенстве владевший бытописательным рисунком, А. Яшин воссоздал в своем, как сказали бы в прошлом веке, «физиологическом очерке» предельно точную, документальную, почти фотографическую картину деревенской свадьбы, которая играет в условиях современной северной деревни, но еще во многом по старинному обычаю. Очерк этот — художественный документ времени, свидетельствующий, сколь причудливо переплеталось

еще десятилетие назад в сузёмной северной глухомани старое и новое в быте деревни, как само движение действительности неудержимо взрывало изнутри старые обычаи, прежний уклад крестьянской жизни.

«Я уже не очень верил, что сохранилось что-нибудь от старинных свадебных обрядов, и потому не особенно рвался за тысячу верст киселя хлебать, когда получал время от времени приглашения на свадьбы», — приступает А. Яшин к рассказу об этом знаменательном событии в жизни его племянницы Гали из далекой вологодской деревни, сразу же обнаруживая свой особый, писательский интерес.

Сама Галя работает на льнозаводе, там-то она и нашла своего жениха. «Шибко далеко!» — горюет мать невесты Мария Герасимовна. — «Сорок километров — шутка ли!»

«Как будете свадьбу справлять — по старинному или по-новому?» — спрашивает ее писатель.

«Какое уж по-старинному, ничего, по-ди-ко, не выйдет», — отвечает Мария Герасимовна, — да и по-новому тоже не свадьба», — заключает она и затем начинает рассказывать, как все должно быть, чтоб по-хорошему...

«— А невеста плакать должна?»

— В голос реветь должна, как же! Еще до приезда жениха соберутся подружки и начнут ее отпевать под гармошку, все-таки на чужую сторону уходит.

— Она же там работает три года?

— Мало ли что работает, а все чужая сторона. Да и заведено так: родной дом покидает.

— Не умею я реветь, — испуганно говорит Галя, — да и Петя не велел.

— Мало ли что не велел, а пореветь надо хоть немного...

— Не умею я реветь, — повторяет невеста.

Так с первых страниц этой документальной повести, где изменены лишь название деревни да имена, обнаруживается противоречие между самыми добрыми пожеланиями матери невесты, «чтоб все было по-хорошему», то есть «по-старинному надо бы!», и реальной действительностью. Невеста уже три года как живет не дома, а на льнозаводе, там она выбрала себе жениха, и оплакивать свое замужество, на чем и построен свадебный обряд, ей не хочется, да и «Петя не велел».

Свадьба идет своим чередом и вроде бы по обычаю: играет гармонист, поют жалостливые частушки, вот только со слезами у Гали никак не получается. И тогда приглашают причитальщицу-плакальщицу, соседку Наталью Семеновну, которая одна на всю деревню все причеты, «красоту» всю помнит, знает не только обряд, но и старинные свадебные песни. «И хоть пела она протяжно и красиво,— рассказывает Яшин,— и, казалось, изба стала просторнее, потолок поднялся, и сарафаны да кофты запестрели еще ярче, оказалось, что вряд ли хоть одна из девушек знала эти горькие старинные свадебные причеты». А невеста просто забыла о себе, растерялась, столь необычными показались ей эти Натальины плачи. Да и сама плакальщица «увлеклась, распелась, а все нет-нет да и пояснит что-нибудь: так мало, должно быть, верила она, что содержание старинного причета понятно всем нынешним, трясоголовым...», и вообще воспринимала все это не всерьез, а лишь как игру, в которой ей, старой причитальщице и рассказчице, отведена главная роль...

Сетовать ли на это или попытаться понять, почему так? Понять хотя бы ради того, чтобы отделить в обрядах и обычаях народных живую воду от мертвой, чтобы, прислушиваясь к естественному течению народной жизни, не уподобляться причитальщицам и вопленицам по покойным, а хранить, оберегать и развивать в ней все живое, органически вливающееся в сегодняшний день...

Не по чьему-то злomu наущению или указу исчезли из памяти народной, если иметь в виду молодое поколение крестьян, старинные свадебные причеты,— что-то изменилось, стало быть, в жизни, если современная невеста в деревне ли, в городе ли не хочет горестно оплакивать свое замужество, по-старинному причитая. Изменилось прежде всего экономическое, социальное положение той же невесты Гали из «Вологодской свадьбы», равно как и ее нравственное, эстетическое чувство. Плохо это или хорошо?..

С абстрактно-эстетической, этнографической точки зрения, может быть, и плохо. Направляясь по морозцу, по лесной дороге на машине доигрывать свадьбу к жениху, А. Яшин, как он пишет, «ехал и твердил про себя пушкинские строки: «Колокольчик однозвучный утомительно гремит».

«До чего же все-таки не хватает колокольчиков!» — с затаенной, чисто яшинской усмешкой заключает он. Но что делаешь: «Не на грузовики же, не на самосвалы же свадебные их навешивать?..»

Ему, деревенскому человеку, конечно, близки и эстетика старинного обряда свадьбы, и звон колокольцев, и старинная резная прясница, и берестяная соломница, с которой он в молодости ходил на сенокос. Отлично знает он и цену северной резьбы по дереву, вышитых платов, вологодских кружев.

Но он помнит и другое. Что в реальности стояло за горестными причетами, которые испокон веку пел русский народ на свадьбах; сколько труда и пота отпечаталось на этой отлакированной временем и руками крестьян резной пряснице столетней давности; что означали в деревне лапти, которые Яшин сам умел плести и сам когда-то носил.

Сермяжная и ладотная Русь! Он ее и такую любил, но считал, что не сермягой и лаптями в ее истории надо гордиться и умиляться.

А. Яшин — писатель, которого не упрекнешь в лакировке действительности. И в «Вологодской свадьбе» представляла жестокая, бескомпромиссная правда жизни северной деревни тех трудных для нее лет. Однако эта правда поверяется другой правдой — правдой того прошлого русской деревни, которое вовсе не было сплошным хоромом с песнями да плясками на зеленом лугу.

Кто-кто, а уж Яшин-то, знавший не только все хорошее, но и все плохое и жестокое в прежней крестьянской жизни («Семья наша постоянно бедствовала, и мне рано пришлось начать работу в полную силу», — напишет он впоследствии в автобиографии), как никто отдавал отчет в реальных тяготах прежнего крестьянского быта, не отделяя его эстетику от условий труда и жизни народа. Он никогда не превращал любовь к народу, любовь к России в одностороннюю доктрину и глубоко иронически относился к лапоткам в гостиницах и новомодному туризму по северным местам.

Он знал: да, за годы векового существования в русской деревне сложилась своя духовная культура, бытовой, нравственный и эстетический уклад. В нем было много противоречивого, темного, заскорузлого — то, что В. Солоухин в «Диалоге» благоразум-

но обходил,— но было немало и прекрасного, светлого, была высокая поэзия, естественность, цельность, красота. Она жила и в народных обычаях, и в фольклоре, и в народном костюме, действительно очень разнообразном по губерниям и народностям, и в художественных ремеслах.

Он также тревожился за уходящие, исчезающие ценности народной жизни, выработанные в вековечном общении человека с природой, землей.

И потому-то ему было «жаль иногда своих детей. Жаль, что они, городские,— писал он в рассказе «Угощаю рябиной»,— меньше общаются с природой, с деревней, чем мне хотелось бы. Они, вероятно, что-то теряют из-за этого, что-то неувеличиваемое, хорошее проходит мимо их души».

И в «Вологодской свадьбе», написанной в 1962 году, и в рассказе «Угощаю рябиной», написанном в 1965 году, А. Яшин, пожалуй, первым в нашей литературе поставил с такой остротой вопрос большого философского звучания о противоречии между человеком и природой в век научно-технической революции, о путях разрешения этого противоречия. Вопрос этот многопланов. Очевидно, что с ускорением научно-технического прогресса все большее количество людей с неизбежностью будет отделяться от природы — могучего духовного и эстетического врачевателя и воспитателя душ человеческих,— замыкаясь в искусственной, созданной человеком среде. И второй план проблемы: сам труд на земле, земледелие, крестьянство все в большей мере будет приближаться в современных условиях к труду индустриальному. Как это скажется на душе земледельца, на красоте поэзии земледельческого труда и быта?

Собственно, та же самая тревога, в иной форме высказанная, прозвучит позже и у Солоухина.

Так что же, повернуть жизнь вспять? Спасти, пока не поздно, прежний духовный и бытовой уклад деревенской жизни — остановись, мгновение, ты прекрасно, коль скоро просуществовало на земле не один век?!

В том-то и суть внутреннего спора А. Яшина с этой наивно-сентиментальной, а в конечном счете консервативной точкой зрения, что, по его глубочайшему убеждению, старый уклад жизни родной ему сельщины был далеко не прекрасным, что останавливать движение жизни невозможно да и не нужно, что беды северной деревни, описанные, в частности, и в «Во-

логодской свадьбе», проистекают не оттого, что она отошла от прежней жизни, но медленнее, чем хотелось бы, приближается к новой. Не вследствие, но от недостатка развития новых, социалистических начал, на его взгляд, страдало десятилетие назад яшинское Блудново, вся наша северная деревня.

Главная боль «Вологодской свадьбы» не в том, что уходят из жизни прясницы и веретена, но в том, что не пришла еще большая, подлинная культура в том количестве и качестве, в каком жаждет его родное село.

Описывая жизнь деревни, он не проходит ни мимо открыток со смазливими нарумяненными личиками в сердечках, с надписями: «Люби меня, как я тебя», ни мимо грубости деревенских нравов. Чего стоит пьяный кураж жениха, других местных «выпивох» или история взаимных жалоб на своих мужей, завязтых пьяниц и дебоширов, двух подруг по несчастью — Груни и Тони. И пьяный жених, и пожилой колхозник, который хвалится своими пластмассовыми, недавно вставленными зубами — «почокается со всеми, выпьет стакан пива, вынет челюсть, всем покажет ее и опять вставит», — все это, конечно, далеко от благолепия в описании деревенской жизни. Но что поделаешь, как бы говорит А. Яшин, если она такая. И любит он ее, болеет сердцем — за такую. И страстно хочет, чтобы она стала иной.

Не Наталья Семеновна с ее старинными «волокистыми» песнями и причетами — положительный герой «Вологодской свадьбы». А герой такой у Яшина в этом повествовании есть. Кто же? Народ? Да, народ. Только ведь проза, как и «любой пир — прежде всего люди (цитирую А. Яшина). Человеческие характеры легко и свободно раскрываются на пиру». И так же легко и свободно раскрываются они в подлинной, большой прозе.

«Среди мужчин на пиру очень скоро,— замечает А. Яшин,— объявляются типично русские правдоискатели, ратующие за справедливость, за счастье для всех. Достается от них и немцам, и американцам, и туркам, но больше всего, пожалуй, достается самим себе, своим соотечественникам. Таким людям не до веселья, не до песен, не до плясок. Они обличают, разоблачают, требуют возмездия, протестуют и все время спрашивают: что делать, как быть, кто виноват?..» — с усмешкой повествует А. Яшин, готовя нас к встрече с та-

ким именно характером, близким ему по духу, по натуре и по жизненным позициям.

Такой человек, любимый герой автора, в «Вологодской свадьбе» — шофер лесовоза Василий Прокопьевич. Он — «бунтарь по натуре,— представляет его Яшин.— Он забывает про еду и пиво, как только начинает рассказывать о беспорядках в лесу, при этом лицо его бледнеет, глаза блестят и требуют ответа сразу на все вопросы, какие ставит перед ним жизнь. А ездит он широко и знает много». И до всего ему есть дело. Притом человек этот из тех, кто к себе еще требовательней, чем к другим, и живет по совести.

Завязывается остроконфликтный разговор о делах нынешних — о тресте, потом о запчастях,— в котором симпатии А. Яшина да и поддержка райкома партии целиком и полностью на стороне Василия Прокопьевича.

«А с кухни снова зазвенел высокий нестарушечий голос Натальи Семеновны — и полилась песня про князев да бояров», — вдруг перебивает этот спор о жизни ироническая ремарка автора. По всему ходу повествования в «Вологодской свадьбе» видно: активной духовной жизнью, в авторском представлении, живет именно Василий Прокопьевич, а не Наталья Семеновна. Ибо активная духовная жизнь, в представлении А. Яшина, — производное от активности социального характера, от чувства гражданской ответственности, от богатства общественных связей личности с жизнью, с людьми.

И хоть автор «Вологодской свадьбы» относится к своему герою с доброй, неприметной, но несколько иронической усмешкой, характер этот из тех, о ком стихотворение «Век не тот»: «Те же избы, те же печи, так же полон рот забот. Но совсем иные речи: век не тот. Не тот народ!»

А. Яшин был глубоко современен, целомудрен и чист в своей любви к малой и большой родине, к своему Бобринскому угору и деревенской России. Он мог улыбнуться забавной обстоятельности и отчужденности вопросов городского собеседника о той же рябине, которой угощал всех,— и тут же устыдиться: «Но вправе ли я был ожидать и тем более требовать, чтобы и этот мой товарищ, у которого свой круг жизненных интересов, отличный от моего, но одинаково важный и нужный,

чтобы и он смотрел на мою рябину так же, как я на нее смотрю? Не было у меня такого права. Значит, неуместна была и моя ирония».

Будучи глубоко национальным по всей своей сути художником, А. Яшин бежал любого отвлеченного доктринерства в понимании народа и народности. Знаменителен его ответ на анкету «Дня поэзии» о народности поэзии, о национальных и классических традициях ее, написанный уже в больнице и начинающийся так:

«Дорогие друзья!

Завтра мне предстоит операция. Насколько я понимаю — трудная. Делать ее будет «сам Б л о х и н», директор института, в котором я сейчас нахожусь, академик. Конечно, я рассчитываю жить и работать вместе с вами еще долго, но это не исключает особой обостренности сегодняшних моих чувств и мыслей о нашем общем деле, что, возможно, скажется и на ответе, потому прошу заранее извинить за всякие нерехлесты.

Так вот насчет народности и традиций в поэзии. Оглядываясь назад, я думаю о том, что мы неправомерно много тратим времени на ненужные хлопоты...»

Охарактеризовав эти «хлопоты», поставив в их ряд прежде всего «всяческие якобы теоретические изыскания и разговоры о сущности поэзии, путях ее развития, о традициях и народности», А. Яшин продолжал: «Писать надо, друзья мои! Писать о том, о чем хочется и как хочется, и только так писать, как можно полнее. Высказывать себя, свое представление о жизни, свое понимание ее и, конечно, как можно правдивее... Лишь в этом случае можно быть счастливым и достичь в литературе чего-то своего, не изменив ее великим традициям. Только такая работа будет и партийной и народной».

Романтизм критики

Суть этих «ненужных» теоретических «хлопот» и «изысканий» о народности сегодня достаточно ясна. Ныне, пожалуй, риторикой прозвучал бы вопрос Б. Можаява, который он в свое время задавал В. Солоухину: «Если вы научились понимать красоту или собирать старинную крестьянскую утварь, вы, стало быть, духовной жизнью обеспечены. А как же быть тогда с такими категориями, как нравственность?..» Прочитав иные критические

статьи последних лет, Б. Можаяев получил бы ответ: нравственность надо искать там же, где и красоту или старинную крестьянскую утварь, — в патриархальных традициях мира деревни.

Более того, по убеждению сторонников этой доктрины, мир патриархальной русской деревни — единственный «исток» красоты и нравственности, духовных и нравственных ценностей современности, крестьянин же, старый, патриархальный крестьянин, — «наиболее нравственно самобытный народный тип».

В согласии с этой доктриной сторонники ее поддерживают в современной литературе о деревне те тенденции, которые утверждают в качестве нравственного идеала некие асоциальные, патриархальные национальные ценности, и критически относятся к социальной прозе о колхозной действительности, овечкинской традиции в ней. В книге «Мужество человечности» М. Лобанов писал: «Одно время наша литература о деревне была активна, так сказать, организационно-хозяйственными предложениями, рекомендациями, что ли. В какой мере такие рекомендации мало подходят для целей литературы, показал опыт работы В. Овечкина, в свое время писавшего страстные, убежденные очерки, которые, однако, вскоре угасли в своей практической актуальности именно из-за узкопрактической своей проблематики».

Эту мысль развили до логического конца Л. Аннинский и В. Кожин в своем критическом диалоге «Мода на простонародность», опубликованном в журнале «Кодры» (Молдавия): «От Троепольского и Овечкина, от Жестева и Калинина, от тогдашнего Тендрякова и тогдашнего Залыгина был деревенской прозе завещан, так сказать, «экономический» анализ человека... Были написаны повести и романы В. Фоменко и Е. Мальцева, С. Крутилина и В. Семина, Ф. Абрамова, П. Проскурин, Е. Дороша... Но событие произошло не здесь. Рядом. Событием стали лиричные сельские рассказы и философские эссе молодых деревенских писателей... На смену трезвому хозяйственнику пришел деревенский мечтатель, лукавый мужичонка, балагур, чудак, мудрец, древний деревенский дед, хранитель столетних традиций...»

Как видите, позиция жесткая и определенная: Овечкин и Крутилин, Жестев и Калинин, Тендряков и Залыгин, Фоменко и Мальцев, Абрамов и Дороша — вся социаль-

ная проза о деревне, по сути дела, выводится за скобки. А Яшин вообще не упоминается. В чем в чем, а в логике авторам этой схемы отказать нельзя.

В полном соответствии с указанной шкалой ценностей литература призывается к освоению «простонародности», а В. Солоухин объявляется ее «своеобразным апостолом», ибо у него «этот пафос становится осознанной философской программой»: «Письма из Русского музея» — вот этот манифест и эта программа, и, конечно, эти письма — куда более значимая веха в нашем духовном развитии, нежели «Владимирские проселки» или «Капля росы», — с уверенностью заявляется в «Кодрах». Почему? Да все потому же: в движении от «Владимирских проселков» к «Письмам из Русского музея» критики усматривают благодетельный отход от социально-экономического анализа деревенской жизни к «поискам позитивных духовных ценностей».

Круг замкнулся! «Диалог» В. Солоухина, начатый в первой половине 60-х годов, завершился диалогом В. Кожина и Л. Аннинского в самом начале 70-х, приобретающего черты «осознанной философской программы».

Как видите, эмоциональная реакция на процессы научно-технической революции выросла в по-своему цельную и законченную доктрину, закрепляющую ценности в прошлом, объявляющую «истоком» их патриархальную крестьянскую Русь. Культ патриархальных начал жизни всегда и везде сопрягается с национальной ограниченностью. И в данном случае эта доктрина утверждает социальный и национальный герметизм, социальную и национальную замкнутость и обособленность, социальную и национальную исключительность, исключительность крестьянской патриархальной Руси в качестве исчерпывающего «истока» духовных ценностей. А коль скоро именно деревня с ее консерватизмом и замкнутостью сохраняет в неизменности «национальную идею», «национальный дух», город же, промышленность, индустрия, научно-технический прогресс, разрывая национальную замкнутость, убивают «вечные» нравственные ценности и «национальный дух», — эта доктрина неминуемо ведет к противопоставлению деревни городу, к отрицанию научно-технического прогресса.

Нет спору, доктрина эта не является следствием злого умысла разделяющих ее

критиков. Ее объективные корни — все в том же обострившемся противоречии между человеком и природой в век научно-технической революции, о которой уже шла речь выше, в связи с творчеством А. Яшина и В. Белова, В. Солоухина и С. Крутилина. Противоречие, которое решается этими критиками сентиментально-романтически.

Романтический взгляд на прошлое, настоящее и будущее деревни противостоит объективно-естественному развитию народной жизни, а следовательно — и правде в литературе, оборачиваясь в прозе порой голой тенденциозностью, ослабляя иногда и сильных художников. Как показывают факты литературы последнего времени, опасность эта вполне реальна. Ведь еще со времен демократической критики известно, что ложное направление идей ограничивает и самый сильный талант. Критики-романтики усиленно пытаются перевести деревенскую прозу с рельсов реально-социального постижения мира деревни на путь мечтательный, увести ее в сферы эгегических сновидений. Олег Михайлов в предисловии к книге В. Лихоносова «Осень в Тамани», только что выпущенной издательством «Современник», — предисловие это называется «С верою в жизнь и легенду», — высказывает надежду, что в последующих произведениях писателя «эти две линии — тяготение к изображению народных характеров и авторская, лирическая мысль о России — соединятся, сольются». Справедливая мысль! Не для доказательства ее критик опирается на такое высказывание В. А. Жуковского: «Там наше могущество, наши многообъемлющие грани, наше государство: здесь наша память о жизни праотцев, наша народная внутренняя жизнь, наша вера, наш язык. Все, что собственно наше русское, что никому, кроме нас, принадлежать не может, что нигде, кроме Русской земли, не встретится, чего никто, кроме русского человека, и понять не может». Приведа эти слова, написанные в начале минувшего века, как универсально всеобщие, во всем истинные и для века нынешнего, О. Михайлов заключает: «Да ведь в этом и цель самого Лихоносова-художника...» Верю и надеюсь, что это не совсем так. Верю, что завораживающая магия старинных слов и идей тесна Лихоносову, что она теснит его сердце художника. Верю, что ему известны и другие слова. Скажем, эти:

«Многие у нас уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ...» Слова эти принадлежат Н. В. Гоголю.

...Итак, существуют вполне благородные, возвышенные эмоции, эгегические устремления в прошлое вообще, в прошлое русской деревни в особенности, к тем духовным и нравственным ценностям, которые создавались в этом прошлом. И существует реальная жизнь, по естественной и понятной потребности устремленная в будущее, развивающаяся по объективным законам, претерпевающая социальные и технические катаклизмы, гулко отдающиеся во всех сферах человеческого духа, качественно изменяющие психологию, нравственность и быт народа.

Куда уйдешь от этого противоречия, вечного противоречия между действительностью и сентиментально-романтической иллюзией? И можно ли вспомнить в истории пример, когда бы иллюзия — пусть самая благородная, возвышенная, сентиментальная — перебарывала действительность?

Куда уйдешь от того реального, неопровержимого факта, что духовный, нравственный и бытовой уклад старинной русской деревни не свалился с неба, но был следствием экономического уклада крестьянской жизни, следствием патриархальных, натуральных форм хозяйствования на земле... «Не любил крестьянин покупать то, что сам в своем лесу добыть мог, — замечает в рассказе «Вилы» (цикл «Вместе с Пришвиным») Александр Яшин. — Каждый старался сделать для себя и сани, и дугу, и оглобли для телеги, и вилы». Замкнутость, законсервированность натурального хозяйства во многом определяла и эстетику крестьянского быта, весь его неизменный уклад. За последние годы, точнее — десятилетия, уклад этот видоизменился качественно, произошли глубинные изменения в психологии, характерах, изменения не по чьему-то злому умыслу, не по субъективной воле, но в силу глубоких жизненных причин.

И дело не только в том равнодушии, которое мы в сравнительно недавнем прошлом проявляли к судьбам народной красоты, хотя в какой-то степени и в этом тоже.

Дело — в изменении социального, экономического уклада жизни села, в том, что

в деревню — следствие индустриализации и кооперации — пришла техника, машины, электричество, химия, а с другой стороны — следствие культурной революции — радио, газеты, книги, телевидение, кино, всеобщее восьмилетнее, а скоро и десятилетнее образование.

Поставим вопрос резко: что это — благо или беда? Вопрос, конечно же, риторический.

В том, что деревня в послевоенные десятилетия жила скудно, спору нет. Но почему так? Потому ли, что она отошла от патриархального уклада жизни, или потому, что не подошла вплотную к тому, что мы называем индустриальным земледелием?

Вопрос очевидный для каждого, кто не на словах, а на деле думает о материальных, культурных и духовных ценностях современной деревни. Путь тут один: он — в разумной и экономически точной организации социалистического и н д у с т р и а л ь н о г о земледелия, в современном, научном, индустриальном хозяйствовании на земле. Заинтересован ли кто-либо сегодня в движении вспять, к патриархальному земледелию, к натуральному крестьянскому хозяйству, к сохе и бороне? Едва ли. Во всяком случае, крестьяне-колхозники в этом не заинтересованы.

Механизация работ, если она проводится не на словах, а на деле, не только повышает производительность, а следовательно — достаток, но и облегчает из века нелегкую крестьянскую долю, сводит к минимуму затраты тяжелого физического труда. Трактор отнюдь не убивает поэзии земледельческого труда — напротив: соха да и плуг от зари до зари — это столь непосильная нагрузка, что пахарь или жница в страду не то что птичек да соловьев — света белого не видели.

Так развитие прежде всего экономики деревни вступает в неразрешимый конфликт с теми сентиментально-романтическими настроениями, обращенными в прошлое, о которых шла речь выше.

А какие могучие токи воздействия направлены сегодня извне на молодую, формирующуюся душу! Какая распахнутость, открытость пришла на смену прежней замкнутости, герметической законсервированности деревни!

Давайте задумаемся, вникнем со всей серьезностью, что значит для психологии подрастающих в деревне поколений всеоб-

щее восьмилетнее, а вскорости десятилетнее образование, воздействие массовых средств информации — газет, радио, кино и телевидения, влияние книги, которая вошла в быт... А разве так называемый «технический прогресс», который В. Солоухин столь решительно отделил от «духовной культуры», — сложные сельскохозяйственные машины, химия, электричество уже сами по себе не обладают тайной психологического воздействия на человеческую душу? А разве вся атмосфера нашего атомного, технотронного века — хотя бы благодаря могущественности средств информации — не ощутима в самых глухих уголках нашей родины и обходит там стороной сердца и умы людей?

Все эти разнородные и вместе с тем вполне цельные влияния — в деревне, а не только в городе — формируют (я имею в виду тенденцию) вполне современную личность, чьи запросы уже никак не удовлетворишь посиделками или хороводами, какая бы чарующая первозданная поэзия в них ни была заключена.

Возникает неожиданный парадокс: публицисты и критики ратуют за посиделки, обряды, хороводы и прочие милые им приметы патриархального крестьянского быта, а те, о ком они пекутся, жаждут чего-то совсем другого. Они хотят, чтобы в доме были не только радиоприемники, но и телевизор, чтобы после работы идти не на беседу, игрище и посиделки, но в театр или в кино, чтобы по соседству были и парикмахерская, и библиотека, и магазин, спортзал или стадион и многое другое, само собой разумеющееся для горожанина, но подчас недоступное жителю деревни. Более того: они готовы даже отказаться от прославленной русской печи, если в дом проведут не только электричество, но и газ.

Итак, деревня стремится быть городом? Я бы не сказал этого. Деревня стремится к равенству с городом в культуре, быте, жизни и труде. Как можно, да еще из самых добрых побуждений, отказывать ей в этом? Как можно навязывать ей те формы культуры и быта, которые родились в далеком прошлом и в ту пору годились, а теперь стали тесны? Пусть уж она сама в естественном движении жизни отберет и возьмет с собой, переосмыслив, переварив, все то из старого уклада быта, что жизненно, а не мертво.

И еще один вовсе не праздный вопрос: так ли уж в этом старом укладе жизни на-

шей деревни все было хорошо? И что же все-таки реально это был за уклад?

Некоторые наши критики, например А. Ланщиков считает (см. его статью «Земля и прогресс» — альманах «Кубань», 1971, № 10), будто в деревне и сейчас еще идет «ломка старого (во многом еще патриархального) уклада жизни, ломка не только отдельных его черт, но и всей его основы» (разрядка наша.— Ф. К.). Он полагает, что патриархальность и по сегодняшний день составляет во многом основу уклада жизни нашей деревни. «Мы очень охотно ругаем нынче патриархальность, и слово это в нашей практике приобрело заведомо бранный характер,— утверждает он.— Но здесь все не так просто, как может показаться с первого взгляда... Говоря о патриархальном укладе, мы сплошь и рядом забываем, что в нем воплотились многовековые чаяния, нравственный и духовный опыт трудового класса, что именно он, а не какой-либо другой уклад обеспечивал этому классу жизнестойкость в самых трудных жизненных ситуациях...»

Правильно ли считать, что только сегодня ломаются основы старого, во многом патриархального уклада деревенской жизни и что в этом состоит суть революционного переворота, совершающегося в современной деревне?.. И в таком разе — что такое патриархальность, которой придают столь серьезное и такое положительное значение иные наши публицисты и критики?

С точки зрения научной патриархальность — это не что иное, как такой экономический, бытовой и нравственный уклад жизни в деревне, который был связан прежде всего, как уже отмечалось выше, с натуральным крестьянским хозяйством. Патриархальный уклад жизни в деревне — добуржуазный ее уклад, ничего иного тут не придумаешь. Судьба его была решена еще сто лет назад — крестьянской реформой 1861 года.

Воюя с «предрассудками старого русского самобытничества», Ленин предостерегал прежде всего от ошибочности и нелепости «представления о крестьянстве, как каком-то солидарном внутри себя и однородном целом», на огромном фактическом материале демонстрируя «разложение некогда равных, патриархальных непосредственных производителей на богатеев и бедноту». Он отмечал в связи с этим и глубинные изменения в крестьянской психологии и нравственности: «Раз крестьянин становит-

ся товарным производителем (а таковыми стали уже все крестьяне), то «нравственность» его неизбежно уже будет «основана на рубле», и винить его за это не приходится, так как самые условия жизни заставляют ловить этот рубль всяческими торговыми ухищрениями». Тут Ленин делает сноску: «Ср. Успенского», имея в виду такие произведения проницательнейшего бытописателя и исследователя мира русской деревни Г. И. Успенского, как «Книжка чеков», «Письма с дороги», «Непорванные связи», «Живые цифры» и т. д. В этих произведениях писателя-народника, отдавшего свой талант русскому крестьянству, мы находим убедительные художественные и документальные свидетельства капитализации дореволюционной русской деревни, беспощадно рассеивающие тот розовый флер патриархальности, которым окутывали деревню сентиментальные романтики.

«Сентиментальные романтики» — термин ленинский. Так определял он в 90-х годах прошлого века тех, кто не видел качественно новых, товарных отношений в русской деревне и продолжал считать ее патриархальной, кто противился естественным процессам развития деревенской жизни и ориентировал деревню не вперед, а назад, в прошлое. Называя такого рода позицию «реакционным романтизмом», В. И. Ленин писал: «...под этим термином разумеется не желание восстановить просто-напросто средневековые учреждения, а именно попытка мерить новое общество на старый патриархальный аршин, именно желание искать образца в старых, совершенно не соответствующих изменившимся экономическим условиям порядкам и традициях».

Заметьте: Ленин называл «реакционными романтиками» народников 90-х годов XIX века за то, что они пытались «новое», то есть буржуазное (!) общество мерить на старый, патриархальный аршин, искать образцы в старых, патриархальных порядках и традициях, не соответствующих буржуазным, капиталистическим условиям жизни деревни. Современные «любители» «истоков» пытаются социалистическую деревню, да еще в век научно-технической революции, мерить на тот же старый, патриархальный аршин, колхозника 70-х годов XX века уложить в рамки розовых патриархальных мечтаний!.. Какова же степень этого «романтизма»?!

Кстати, почему патриархальные мечтания

«розовые»? Они не были таковыми даже в сравнении с черной действительностью капитализма!

Ленин с его предельным уважением и сочувствием к трудящемуся народу, к народной, крестьянской нравственности, к ценностям, созданным веками труда на земле, когда «культура,— как писал он,— была в руках крестьян», резко критически тем не менее смотрел на патриархальную жизнь деревни.

Нет спору, многовековой труд крестьянина на земле, когда работали «равные, патриархальные непосредственные производители» (Ленин), вырабатывал свою, крестьянскую цивилизацию, свою нравственность и красоту, об этом мы говорили выше. Но познания крестьянского труда уживалась, как известно, с безграмотностью, темнотой, забитостью и приниженностью русского крестьянина.

Ленин многократно вспоминает щедринское сопоставление патриархального крестьянина «с забитым и задавленным... конягой». В патриархальном укладе жизни, пишет он, «выступают уже в чистом виде реакционные черты мелкого производителя его забитость, заставляющая его верить в то, что ему навеки суждена «святая обязанность» быть конягой; его «завещанный отцов и дедов» сервиллизм». Но что такое сервиллизм? Та самая рабья психология, с которой с такой горечью писали еще Герцен и Чернышевский. Ленин объясняет эту черту крестьянской патриархальной психологии экономическими условиями его существования: «...Его приязанность к отдельному крохотному хозяйству... которое, вследствие низкой производительности труда и прикрепления трудящегося к одному месту, делает его дикарем»,— вот что «силою одних уже хозяйственных условий необходимо порождает его забитость и сервиллизм».

Ленин последовательно разоблачал не только идеализацию патриархального сознания, но и «сентиментальные разговоры о предпочтительности системы патриархальной эксплуатации земли», называя эту си-

стему «крепостнической эксплуатацией крестьянства в самых грубых, азиатских формах». Он характеризовал сентиментальный романтизм позднего народничества как навязную попытку «задержать все общественное развитие ради сохранения патриархальных отношений полудикого населения».

По убеждению В. И. Ленина, не движение вспять, но общественное развитие вперед, к социализму отвечает коренным, глубинным чаяниям крестьянских масс. Уже после победы Октябрьской социалистической революции он считал самой первой задачей «показать крестьянам, что организация промышленности на современной высшей технической базе, на базе электрификации, которая свяжет город и деревню, покончит с рознью между городом и деревней, даст возможность культурно поднять деревню, победить даже в самых глухих углах отсталость, темноту, нищету, болезни и одичание».

Так, с ленинской точки зрения, обстоит дело с патриархальностью. И конечно же, сами попытки не просто идеализировать патриархальный уклад жизни в деревне, но еще и искать его— днем с фонарем— в современной действительности, утверждать его чуть ли не «основой» современного уклада жизни социалистической деревни и ее нравственным идеалом— величайшая сентиментально-романтическая нелепица.

Разве можно с позиций патриархальности понять, осмыслить те процессы жизни, которые происходят в деревне 70-х годов XX века?!

Эстетическое освоение и социально-философское осмысление того гигантского, ни с чем не сравнимого ранее переворота, который переживает наша деревня в условиях социальной и научно-технической революции,— историческая задача современной прозы. Однако разговор о том, насколько успешно эта задача в нашей литературе решается,— это тема другой уже работы, осуществить которую мы надеемся в недалекие сроки.



«ПОД УГЛОМ ВОЛНУЮЩИХ ВОПРОСОВ...»

В конечном счете управление чем угодно, даже самым автоматизированным производством, сводится к управлению людьми, следящими за автоматами. Поэтому знание людей необходимо современному руководителю больше, чем знание машин. Пробелы в знании техники можно компенсировать знаниями подчиненных, пробелы в технике обращения с подчиненными компенсировать нечем.

В наши дни психология стала наукой, методы которой приложимы к самым разнообразным видам деятельности. И потому сегодня «спрос на психологию» очень велик. Его нельзя удовлетворить одной только традиционной «продукцией науки» — фундаментальными трудами, чтением соответствующих курсов в вузах.

Нужны популярные книги для тех, кто давно уже расстался со студенческой скамьей, пособия, в которых сжато излагались бы достижения современной социальной психологии и, главное, показывалось бы, как эти достижения использовать в повседневной практике.

На роль такого пособия претендует, в частности, книга В. Шепеля «Руководитель и подчиненный» («Московский рабочий», 1972).

Написана она в жанре задачника с ответами. Читателю предлагается тридцать шесть служебных конфликтных ситуаций. Авторское решение каждой предваряется изложением «принципов подхода к решению». Вас призывают встать на место начальника, принять решение и сравнить его с приведенным в книге. По замыслу, как пишет в предисловии профессор В. Г. Шорин, «решая эти ситуации, полемизируя с автором... руководитель знакомится с определенными положениями коммунистической этики, педагогики, социальной психологии и учится применять их на практике».

Конечно, все хорошо познавать на примере. И тем не менее, на наш взгляд, избранный автором жанр неудачен. Любой за-

дачник имеет органический порок — сам по себе он не столько учит правилам, сколько закрепляет изученное. Да и то при условии, что обучающийся прорешает большое число примеров и что примеры эти будут достаточно яркими и характерными. Поэтому задачник хорош только тогда, когда ему предшествует учебник или хотя бы справочник, дающий общий метод решения. Если учебник не полон без задачника, то задачник бесполезен без учебника.

По этой причине издание такого типа, как книга В. Шепеля, не может внести весомый вклад в борьбу с «психологическим голодом», — читатель в поисках метода все равно вынужден обращаться к более солидным работам.

Но, может быть, приведенные в книге ситуации настолько интересны и типичны, что, сведенные вместе, дают общую картину отношений на современном производстве? Может быть, их анализ позволяет постигнуть многие премудрости психологии? Посмотрим.

Двое рабочих выпили на работе, сломали станок, один получил травму. Решение: виновных наказать с учетом их трудовой биографии, на основе юридических норм решить вопрос о возмещении ущерба, с мастера взыскать за случай пьянства на работе. При чем здесь психология или педагогика? Начальник обязан так поступить по закону.

В обеденный перерыв работница с разрешения начальника звонит по телефону из его кабинета, а начальник в это время ждет важного звонка. Решение: во-первых, предупредить, чтобы говорили недолго; во-вторых, предупредить всех, что личные телефонные разговоры запрещены; в-третьих, установить телефон в цехе. В данном же случае «будет верно, если руководитель, извинившись, скажет работнице, что ему сейчас должны позвонить по служебным делам, и попросит окончить разговор». По-видимому, оставаясь в рамках общепринятых норм поведения, невозможно предложить никакого другого решения. Может

быть, правда, этико-психологическая сила совета заключена в слове «извинившись»?

Мастер работал до глубокой ночи — «горел» план — и утром опоздал на совещание к начальнику, за что был резко отчитан. Раз уж человек при извиняющих обстоятельствах получил нагоняй на людях, единственное решение — в приемлемой форме извиниться перед ним. Что и советует автор, верный любви к «оригинальным» решениям. А эта ситуация, если выбросить из ее условий нагоняй, весьма суживающий возможность «логических ходов» читателя, вероятно, могла бы представить довольно интересную задачу. Хотя причина опоздания мастера смягчает его проступок, совсем не реагировать на происшествие рискованно. Тогда завтра опоздает другой по менее уважительной причине, а послезавтра третий и вовсе без причины.

Вы вызвали на утро для беседы часто опаздывающего подчиненного и, как назло, опаздываете сами. «Принципы подхода к решению», обоснованные ссылками на высокие авторитеты И. П. Павлова и Сервантеса, приводят к выводам: лучше не опаздывать, а если уж опоздали, извиниться или позвонить на работу и перенести встречу.

Право, как-то неловко взрослому человеку читать подобный набор банальностей, рассчитанный непонятно на какой интеллектуальный уровень.

А между тем было бы очень полезно рассмотреть каждодневные проблемы трудовой дисциплины с позиций современной психологии. Конечно, в любой организации есть свои «Правила внутреннего распорядка». Но только ими обойтись невозможно, поскольку все равно возникают непредусмотренные ситуации и все равно решают их руководители то ли на основе прецедента, то ли «по душе», то есть по мере своего представления о психологии и управлении. Так пусть уж это представление будет близко к научному. Кроме того, применяемые порой без учета ситуации и характера труда «Правила» могут дать прямо противоположный эффект, принести ущерб делу, оказаться антипедагогичными.

Недавно в одном ленинградском институте я с удивлением узнал, что научные сотрудники при поездках в какое-либо учреждение или в библиотеку должны выписывать себе городскую командировку с обязательной отметкой о прибытии и убытии. Не нужно объяснять, что такая мелочная регламентация научной работы совершенно ни-

чего не дает. Это просто демонстративное недоверие к человеку, унижение его.

Почему бы не посмотреть глазами психолога, как действует решение администрации? Может быть, оно недостаточно эффективно, а может быть, дает побочные эффекты? Скажем, вынесли рабочему выговор за опоздание и в тот же день не обеспечили его инструментом, и он вместо работы час ходил за ним. Много ли тогда будет пользы от выговора?

В том-то и сложность, что руководство людьми требует гибкости, такта, чувства меры, умения пойти на компромисс там, где это принесет пользу делу.

Если вернуться к книге В. Шепеля, то может показаться, что автор — враг подобных компромиссов. К этому выводу невольно приходишь, знакомясь с очередной задачей.

Ответственный участок цеха. «Мастер участка — умелый организатор. Его коллектив ни разу не подводил цех. Однако сам мастер нарушает трудовую дисциплину, отказывается вести общественную работу. Как быть с мастером?»

Попробовать перевоспитать, а если не получится, снять, советует В. Шепель. За чем же так?.. Автор не говорит, как нарушал мастер дисциплину и от какой общественной работы отказывался. Так что, может быть, все не так уж и страшно. Тем более что умелые организаторы не толпятся в отделах кадров. Да и с каких пор причиной освобождения человека от должности может служить его общественная работа? Речь ведь идет о цехе, а не о кружке «Умелые руки». Не умаляя важности общественной работы, стоит заметить, что она всегда должна быть подчинена основной деятельности.

Немалое место в книге занимают «этические» ситуации. Если некоторые, как приводившаяся выше («работница и начальник телефон»), просто банальны, то другие производят и вовсе странное впечатление. Например, рассматривается вопрос, как надо поступить, если на работника пришла анонимка, о ее содержании от руководителя узнала вся бригада, а измышления не подтвердились. При этом автор исходит из тезиса: «Анонимное письмо не может быть оставлено руководителем без внимания». Что можно сказать? Очень нуждающийся в информации и не очень порядочный человек может и под дверь подслушивать, но вряд ли стоит обсуждать, как лучше это делать.

Здесь автор вступает в противоречие с моральными нормами нашего общества, которые ему как будто известны, ибо через несколько страниц, подкрепляя другое свое положение, В. Шепель приводит высказывание Л. И. Брежнева: «Не может быть победы коммунистической морали без решительной борьбы с такими ее антиподами, как стяжательство, взяточничество, туеядство, клевета, анонимки (выделено мной.— В. Л.), пьянство и т. п.».

В тех ситуациях, где действительно необходимо вмешательство психолога и где ему было бы что сказать, автор просто повторяет общие фразы.

Идет совещание. Обсуждается принципиальный вопрос. «Тон разговора постепенно повышается... Должен ли что-либо предпринять в такой ситуации старший руководитель?» По-видимому, должен — если истина не всегда рождается в споре, то в крике она и вовсе никогда не рождалась. Но что именно?

Совещание нужно готовить, говорит В. Шепель, сложные вопросы решать сначала, простые потом, спорные откладывать. Чтобы побороть нервозность одних и пассивность других, надо применять определенные «формы и приемы воздействия на людей по ходу совещания (специальные паузы, остроумные шутки, новый вариант изложения точки зрения)». А в данный момент стоит «взять себя в руки, успокоиться и соответствующим образом подействовать на других или сделать перерыв, чтобы этой паузой нормализовать обстановку». Рекомендации, что называется, необходимые, но недостаточные. А можно было бы вспомнить и о других методах ведения совещаний. Например, об относительной новинке — «мозговом штурме» или о старом флотском методе: высказываются все, начиная с младшего по званию.

Что же касается совета насчет остроумных шуток, то, думается, остроумный человек найдет решения остроумнее предложенных.

Или приводит автор спор двух мастеров о том, что лучше поднимает настроение рабочих: хорошее слово или хорошая зарплата? — и, пытаясь рассудить их, приходит к выводу, что следует «сочетать материальный стимул с добрым словом».

Вряд ли это открытие кого-либо потрясет. Ведь в том-то и вопрос, как именно сочетать.

Перечень «серых пятен» книги можно бы продолжить. Можно сказать о не очень аккуратном языке, где встречаются выражения вроде «опробировать» — загадочный французско-нижегородский гибрид «апробации» и «опробования». Или фразы вроде: «Большую пользу принесет конспектирование изучаемой... литературы под углом волнующих руководителя вопросов». Можно сказать и о многочисленных цитатах, употребленных всуе. И все же будь книга полезна как введение в производственную психологию, «под углом» ее достоинств не стоило бы говорить о недостатках.

Но, к сожалению, почти все психологические глубины книги В. Шепеля можно перейти вброд, не замочив щиколоток. По прочтении остается лишь чувство разочарования и неловкости. Не оправдалась надежда автора предисловия, утверждавшего, что «эта категория руководителей нашего производства (мастера и начальники отделов.— В. Л.) будет благодарна автору за созданное в помощь им практическое пособие».

А такое пособие очень нужно. Любое общение с людьми — это каждый раз психологическая задача. И наверное, не всегда мы решаем их лучшим образом. Сколько ненужных конфликтов происходит из-за неправильного понимания собственных и чужих интересов, из-за наивного эгоизма или непонимания причин поведения окружающих! Такие конфликты полностью в компетенции психолога.

В. ЛАТЫШЕВ,
зав. сектором Института
высоких температур АН СССР.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

С. С. Смирнов. Правда сурового времени. — **Вл. Гусев.** Напоминание о романтике. — **Вадим Ковский.** Посредничество писателя. — **Ст. Рассадин.** Право на откровенность. — **Лев Разгон.** Как требует жанр.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Е. Амбарцумов. Опыт политической биографии. — **Д. Биленкин.** Когда параллельные сливаются... — **И. Рознер.** На востоке России.

Литература и искусство

ПРАВДА СУРОВОГО ВРЕМЕНИ

Василь Быков. Дожить до рассвета. Повесть. «Нева», 1972, № 11.

Василю Быкову, начиная с «Третьей ракеты», не раз доставалось от критики. Он слышал упреки и в излишне мрачном колорите своих повестей, и в безысходности создаваемых им ситуаций, и в том, что он жертвует якобы «большой» правдой войны во имя так называемой «малой», или «окопной», правды и т. д. и т. п. К счастью, все это не заставило его опустить руки и повести Быкова одна за другой появлялись в печати, вызывая горячий интерес читателя и уверенно выдвигая автора в первую шеренгу наших военных писателей. Конечно, в каждой из книг было о чем спорить, но, как мне кажется, критика все больше привлекает к своеобразию таланта Василя Быкова и все чаще начинает судить его, как справедливо требовал того Пушкин, по законам, которые художник поставил сам над собой.

Напрасно было бы ждать от Быкова тех широкомасштабных картин войны, какие встречаем мы в романах Константина Симонова. Неправоммерно проводить аналогию, скажем, и с Юрием Бондаревым, в поле зрения которого обычно оказывается более или менее крупная операция. «Сектор обстрела»

Василя Быкова по масштабам изображаемого гораздо уже, но тем более уверенно и метко поражает он свои цели. Повести его сравнительно мало населены, быть может, поэтому каждому герою достается больше авторского внимания. Не вширь, а вглубь направлен талант писателя.

В новой повести Василя Быкова «Дожить до рассвета» практически всего один герой — лейтенант Игорь Ивановский, а остальные персонажи только сопутствуют ему в трагически неудачном рейде его диверсионной группы в тыл врага. Три ночи и два дня продолжается этот рейд. И сравнительно небольшой временной промежуток, и то, что автор сосредоточивает свое внимание на главном герое, через восприятие которого (хотя и в третьем лице) даются все события, — все это позволяет Быкову выписать характер Ивановского, глубоко проникнуть в его психологию, с правдивостью передать мысли и чувства лейтенанта за этот короткий, но столь насыщенный событиями последний кусочек его жизни.

Игорь Ивановский — необычайно характерный, типичный образ молодого человека времен Великой Отечественной войны. Рос-

ший без матери в приграничном гарнизоне, сын военного ветеринара, простой, как говорится, «не шибко грамотный» парень, все образование которого — школа в маленьком местечке да военное училище, а жизненный опыт — повседневный и монотонный быт того же гарнизона, он вступает в самостоятельную жизнь на тяжелых и горьких путях нашего отступления в суровом первом году. Ему не очень повезло с родителями — куда девалась мать, он так и не знает, а отец, приверженный к рюмке, мало занимался воспитанием сына. Ему совсем не повезло в любви — она пришла к нему в самый последний день мира и оборвалась с первыми взрывами бомб и снарядов на рассвете 22 июня 1941 года. Он еще ничего не видел в жизни, кроме жестоких начальных месяцев войны. Но он вовсе не жалуется на судьбу и отнюдь не считает себя неудачником. Таков уж его жребий — он вышел в жизнь работником войны и исполняет эту тяжелую, но необходимую работу добросовестно, истово и безропотно.

Он уже хорошо знает эту работу — его подготовило к ней училище, а испытания долгого пути по вражеским тылам окончательно выковали из него опытного военного. Ивановский — один из многотысячной армии тех командиров первого звена, бесчисленных лейтенантов, которые делили все трудности и опасности боевой жизни с солдатами и которым нередко доставалось больше, чем их бойцам. Они первыми вставали в атакующих цепях, поднимая своих людей под огнем врага, они вели разведчиков или диверсантов на передний край или в тыл противника. Они личным примером показывали подчиненным, как надо выполнять приказ «стоять насмерть». Они знали, что у каждого из них мало шансов остаться в живых на этой войне, но выполняли свой долг до конца. И в том, что Ивановский погибает, и в том, как он погибает, — типичность судьбы тысяч безвестных лейтенантов, не доживших до победы, но внесших в ее фонд свой взнос — собственную жизнь.

Вероятно, и с этой повестью Василь Быков не избежит упрека критиков в сгущении красок. И на первый взгляд может показаться, что такой упрек правомерен. Уж больно невезучим оказывается лейтенант Ивановский, уж слишком жестоко преследует его судьба, обрушивая на него удар за ударом. Словно предвидя этот упрек, автор в одном месте бросает как бы невзначай две фразы, которые, по-моему,

становятся ключевыми для всего произведения: «Лейтенант уже слишком хорошо знал, что далеко не все в жизни получается так, как надо, тем более на войне. Чтобы не остаться в накладе, порой приходится из последних сил добиваться намеченной цели, до последней возможности драться против коварной силы обстоятельств, иначе провалишь дело и пропадешь сам».

Ивановскому все время приходится сталкиваться с этой «коварной силой обстоятельств» и драться против нее. Уже в предыстории повести ему не повезло. С несколькими бойцами пробираясь по немецким тылам из окружения, он натывается в лесу на группу разведчиков опытного кадрового командира капитана Волоха. Разведчики обнаружили неподалеку большой немецкий склад боеприпасов, и Волох решает взорвать его. Нелепая случайность срывает замысел — не замеченный в метельной темноте часовой у склада первым же выстрелом убивает капитана. Но как только Ивановский переходит фронт и оказывается у своих, все его помыслы сосредоточиваются на том, чтобы выполнить невысказанное завещание капитана Волоха и взорвать обнаруженный склад. Ему удается убедить командование, и во главе маленькой группы лыжников он отправляется через линию фронта. И тут следует целая цепь обстоятельств, полных «коварной силы».

При переходе через фронт один из десяти бойцов ранен, и с ним приходится отправить назад и второго. Вскоре еще двое лыжников отстают. Затем группа попадает под обстрел и пуля поражает лейтенанта в ногу. К счастью, рана легкая и ему даже удается скрыть ее от бойцов, хотя идти становится все труднее. Но одновременно с Ивановским получил тяжелое ранение боец Хакимов, и его, потерявшего сознание, надо везти с собой. Все это задерживает группу, и лыжники не успевают затемно перейти шоссе, по которому движутся на восток колонны вражеских войск. А когда наконец Ивановский побеждает и это препятствие, с трудом перебирается через шоссе, его постигает новый неожиданный и самый большой удар. Того немецкого склада, из-за которого погиб капитан Волох, из-за которого лейтенант и его бойцы преодолели столько трудностей и пролили свою кровь, не существует больше. Лес, где он находился, покинут — видимо, за это время противник перебросил боеприпасы ближе к ушедшему на восток фронту.

Как ни сокрушительен этот удар, Ивановского он не заставляет смириться с неудачей. Лейтенант отсылает назад всю группу и раненого, оставаясь вдвоем с бойцом Пивоваровым, чтобы попробовать отыскать перебазированный склад. В ту же ночь они обнаруживают немецкий штаб, но случается очередная неудача — неожиданно вышедший во двор гитлеровец замечает Ивановского. Вспыхивает перестрелка, и лейтенант получает тяжелую рану в грудь. В темноте с помощью Пивоварова ему удается добраться до соседней деревни и спрятаться на ее окраине в бревенчатой бане. В деревне — немецкие солдаты, но боец и лейтенант, готовые дорого продать свою жизнь, проводят в этом убежище весь день не замеченные врагами.

Ивановский обессилел, он знает, что рана его смертельна. Но и тут не одолевает его «коварная сила обстоятельств». Вечером он посылает Пивоварова к вражескому штабу — мысль о диверсии не покидает его. Проходят часы, и вдруг в полузабытьи он слышит выстрелы в той стороне, куда ушел боец. Пивоваров не возвращается.

И тогда, собрав все силы, опираясь на винтовку как на костыль, Ивановский сам бредет туда. Пивоваров лежит в поле неподалеку от штаба, расстрелянный в упор. Лейтенанту остается только умереть. Но умирать так, задаром, он не хочет — все его существо протестует против такой бесполезной смерти. У него еще есть граната, и он должен умереть не один, а вместе с врагами. Уже не в силах идти, Ивановский, с неимоверным трудом одолевая каждый метр пути, выползает на дорогу, ведущую в деревню, где стоит штаб. Он приготавливает гранату и лежит в дорожной колее, заносимый снегом. Теперь все его мысли и чувства сосредоточены на одном стремлении — дожить до рассвета, когда по этой дороге поедет кто-нибудь из вражеского штаба. Он мечтает о том, что это будет генерал или штабные офицеры и тогда он взорвет их вместе с собой. Но судьба жестока с ним до конца — когда рассветает, на дороге появляется повозка, нагруженная соломой, которую сопровождают два обозника. И тут, быть может впервые, в полном суровой простоты и сдержанности повествовании Быкова звучат какие-то нотки пафоса:

«Ивановский замер в колее, совершенно раздавленный тем, что увидел, такого невезения он не мог себе и представить. После

стольких усилий, смертей и страданий вместо базы боеприпасов, вместо генерала в изысканном «опель-адмирале» и даже штабного, с портфелем, полковника ему предстояло взорвать двух обозников с возом соломы.

Но, видно, другого не будет. По крайней мере, для него ничего уже не будет. Он делал последний свой взнос для Родины, во имя своего солдатского долга. Другие, покрупнее, взносы перепадут другим. Будут, наверно, и огромные базы, и надменные прусские генералы, и злобные эсэсовцы. Ему же выпали обозники».

Однако опять его ждет неудача. Немцы замечают его, повозка с соломой останавливается поодаль, и один из обозников издали целит в лейтенанта из карабина. Неужели ему будет отказано даже в том, чтобы уничтожить хоть одного врага? И тут чуть ли не в первый раз за минуту до смерти Ивановскому «повезло». Пуля попадает ему в плечо, обозник промахнулся и, думая, что убил лежащего, подходит к нему. Следует взрыв.

Правомерна ли такая жестокая цепь неудач и невезений? Служит ли она цели, которую поставил себе писатель? Я уверен, что — да!

Война при всем том, что существуют законы, определяющие ее ход и исход, в рамках этих законов остается во многом царством случая. Для того, кто сидит в траншее переднего края, чисто случайным представляется тот факт, что снаряд врага ранил тебя, а не твоего товарища, и для идущего в атаку — случайность то, что пуля пробилась грудью соседа и миновала твою грудь. Случай в значительной степени определяет, быть тебе живым или погибнуть. И ветераны войны, особенно ветераны сорок первого, знают: в боевой жизни порой бывает, что неудачи следуют за неудачами и несчастья сыплются как из рога жестокого изобилия. Поэтому цепь невезений лейтенанта Ивановского так естественна.

Именно эти удары судьбы позволяют автору показать все бесконечное упорство Ивановского, твердость его характера, верность солдатскому долгу и, в конце концов, высоту и несокрушимость духа советского человека в тяжелейших условиях нашей борьбы того времени. Со все возрастающим удивлением и восхищением мы видим, с какой непоколебимой стойкостью встречает лейтенант сыплющиеся на него неудачи, какой великий запас воли и мужества ока-

зывается в душе этого простого паренька. по сути еще ничего не видевшего в жизни. Поистине образ народа, силы духа которого не могут сломить никакие тяжкие испытания, встает за скромной, непритязательной фигурой Игоря Ивановского.

И наконец, вспомните, когда происходит действие повести «Дожить до рассвета». Это ноябрь сорок первого — горькое время, когда враг стоял у ворот Москвы, когда страшная опасность нависла над страной, напрягшей все силы в этой смертельной борьбе. Приблизительно то же время, когда шла на казнь Зоя Космодемьянская, когда на разъезде Дубосеково стали насмерть 28 героев-панфиловцев. Тяжелая безысходность обстоятельств, в которых оказались лейтенант Ивановский и его бойцы, верно передает всю тяжесть обстановки памятных дней. Подобно тому как воля к борьбе, проявленная главным героем повести, верно передает ту волю к борьбе и победе всего нашего народа, которая уже спустя несколько дней после гибели Ивановского

обернется нашим контрударом и разгромом гитлеровских войск под Москвой.

Говоря о новой повести Василя Быкова, следовало бы упомянуть о великолепных, полных дотошного знания подробностях рейда группы Ивановского. И об умении автора несколькими скупыми штрихами обрисовать характеры персонажей второго плана — таких, как капитан Волох, боец Пивоваров или генерал, начальник штаба, каким бы скоротечным ни было их пребывание на страницах повести. Автор талантливо, с настоящей художественной силой рассказал нам о людях, не доживших до победы, но внесших в нее весомый вклад. А суровость повести «Дожить до рассвета» — это правда того сурового, жестокого и героического времени. Та правда, о которой так проникновенно сказал поэт в бессмертном «Василии Теркине»:

А всего иного пуще
Не прожить наверняка—
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей.
Как бы ни была горька.

С. С. СМЕРНОВ.



НАПОМИНАНИЕ О РОМАНТИКЕ

В л. Луговской. Собрание сочинений в трех томах. М. «Художественная литература». 1971.

Судьба таких поэтов, как Луговской, сейчас вызывает особое раздумье. Давно ли все толковали о «Середине века», о «Синей весне»... а сегодня? С легкой руки трех-четырёх критиков, один тип стиля возведен в стилевую норму, и вот только и слышишь: говорят о тишине, об успокоенной гармонии, о том, что поэзия, как и вся жизнь, сильна своей строгой формой... Что не подходит под канон, выносится за скобки.

Но поэзия сильна не только строгостью форм, но и стихийным романтическим пафосом, напором духовной энергии. Собственно, никакая гармония не жива без этой стихии, энергии: без нее она — мертвая маска, форма без содержания, равновесие без уравнивающих сил, то есть вялое спокойствие, а не гармония. Это не значит, что я ратую за поэзию бурную и романтическую, против поэзии стройных и строгих образов. Я просто напоминаю, что никакая стилевая односторонность не может исчерпать существа художественного творчества,

что самая суть его — в богатстве и полнокровии.

Выход трехтомника Владимира Луговского лишний раз подтверждает это. Не все ценно в наследии Луговского; когда написанное им собрано воедино в столь солидном издании, невольно много и специально думаешь об этой стороне дела, о жизненном и творческом пути таких поэтов, как Луговской, взятом с точки зрения «качества», успехов и неудач. Однако же природа художественных ошибок, просчетов Луговского в общем и целом давно уже ясна. Сейчас более интересно синтетически взглянуть на то позитивное, ценное, что дала нам деятельность Луговского.

Мы в принципе часто говорим о романтическом начале в советском искусстве, но само слово «романтическое» продолжает оставаться туманным истораживающим. Дело в том, что за «романтизм», за «романтику» иногда выдавали нечто, попросту не имеющее отношения к литературе. Важная задача сейчас — восстановить авторитет

слова «романтическое» в его исконном и высоком значении.

Романтизм прежде всего означает, что человек не боится стихийной мощи жизни и выходит навстречу ей, стараясь овладеть ею средствами поэзии. Луговской в высшей степени характерен в этом отношении, эта черта проходит как одна из стержневых через всю его поэзию. Не всегда поэт одерживал победы в «борьбе со стихией», не всегда выдерживал характер, сохранял должное поэтическое мужество в самом порыве к своей трудной цели; однако же всегда был верен самой цели — с начала жизни и до конца ее. Яркая и мощная действительность XX века, революционных бурь, могучей и вечной природы, жизнь в живом, глубоком и динамическом смысле этого слова — такое непреложно в Луговском. В этом отношении он верный сын страны, времени, поэзии, романтизма, о чем сам неоднократно заявлял публицистически и открыто в прозе и в стихах.

Вот перед нами ранние циклы «Сполохи», «Мускул», где весь этот жизненный напор, стихийная упругость бытия выглядят еще угловато и... плоскостно, как-то задавленно; создается особое «недиалектическое» противоречие, при котором заявленная свобода, раскованность, вихрь, стихия жизни внутренне аскетичны:

Вьюга намыливает. Ветер бреет.
Митингует с вечера батарея.
Папахи, папахи, спины и спины.
В бараке белугой ревет детина:
«Да что ж это?

Да как это?

Да мы теперь трусые!»

Председатель замертво глядит на часы...
У шестидюймовок нахохлились посты.
Внизу — Новодевичий монастырь...

Это знаменитая «интонация воли» — интонация, известная молодому Луговскому по Тихонову, по Багрицкому и другим поэтам, отечественным и иностранным, и безраздельно и упоенно «применяемая» им в собственном творчестве. Упругость и сила — таково единственное настроение этих стихов, этих сжатых метафор. Само название цикла — «Жестяные звезды» — конечно, демонстративно и полемично именно в этом смысле.

В дальнейшем Луговской в лучших своих стихотворениях и поэмах с успехом преодолевает односторонность принятого было стиля Чистый натиск — не единственное проявление жизненной мощи, эта мощь гораздо полней и богаче:

Белым, розовым цветут сады,
Ходят птицы с черными носами.
От великой штилевой воды
Пахнет холодком и парусами...

Многие стихи 30-х — начала 40-х годов веют живым лиризмом и полнотой мироощущения. Таковы ныне знаменитые «Мальчики играют на горе», «Медведь», «Курсантская венгерка», стихотворения из цикла «Конек Горбунок» и иные.

Совершенно естественно, что в поэзии Луговского с самого начала важное место занимает открыто гражданская, публицистическая тема. Стремясь мыслить широко, распахнута, стремясь впустить в поэзию все могучие ветры эпохи, Луговской в этой сфере особенно настойчиво пропагандирует действенного, наступательного, победительного героя — вспомним хотя бы «Песню о ветре», цикл «Европа» и иное. Иногда поэт с мужского голоса переходит на юношеский крик, срывает связки и выглядывает, с сегодняшней точки зрения, несколько наивно и петушисто, но сама искренность его стремления к высоким свершениям века не подлежит сомнению. Подражания Маяковскому и Багрицкому — что ж, это естественно в начале 30-х годов и для поэта такого склада, как Луговской; риторические пассажи, концовки — и это не новость; но в лучших местах первых книг «Пустыни и весны», цикла поэм «Жизнь» (впервые предвещавших «Середину века»), поэмы «Дангара» Луговской уже выходит к важным чертам своего творчества, развившимся впоследствии.

Война — то время в творчестве Луговского, о котором исследователи нередко как-то не знают, что говорить, и предпочитают замалчивать или стыдливо полупробрасывать эти страницы жизни. На самом деле трагедия и пафос великой войны имели колоссальное значение и для таких поэтов, как Луговской, а не только для поэтов собственно фронтовой темы. Что из того, что война первым же дуновением небрежно развеяла карточные хоромы, серпантины и конфетти того ложного романтизма, который проглядывал в Луговском прежних лет; что, большого и сломленного, далеко отброшенного от героических дел сражающейся родины, от грозных битв за свободу, она, война, ввергает в душевный кризис, близкий к надлому. Она же и закаляет его — пусть издалека. Из мучительных раздумий, из борьбы с жизнью поэт выходит иным, чем прежде, — более мудрым, более

бури, патетику, тишину и стихию. Органический интернационализм чувств и образов пронизывает «Середину века», лучшие произведения из «Синей весны» и из более ранних книг, этот же воинствующий антипринципиализм, широта, полнота поэтической жизни занимают Луговского и во многих его некогда вызывавших споры статьях, ныне вошедших в третий том. Сам тематический их диапазон красноречив: Луговской думает о внутренних связях во всем мире, он имеет в поле зрения французов и корейцев, Среднюю Азию и Европу, Лонгфелло и монгола Нацагдоржа поэтов Египта и Бирмы.

Стих зрелого Луговского одновременно синтетичен и живописен, это стих, отвечающий требованиям того философского романтизма, в атмосфере, в стихии которого Луговской живет в свои последние годы:

Звезда, звезда, холодная звезда,
К основным иглам ты все ниже никнешь.
Ты на заре исчезнешь без следа
И на заре из пустоты возникнешь...
Быть может, ты погибла в этот миг,
Иль, может быть, тебя давно уж нету,
И дряхлый свет твой, как слепой старик,
На ощупь нашу узнает планету?..

Стилистическая индивидуальность Луговского интересна, например, и вот в каком плане. Луговской в лучших своих произведениях «снял» в нашей поэзии противоречие между стихом «волевым» и стихом «напевным», между стихом упругим, «жестким» и стихом, идущим от музыки, от Блока:

Это белая ночь, это длинный рассвет,
Где крадутся минуты, как серые кошки.

Липы густо цветут.

Желтый липовый цвет
Теплым липовым медом обрызгал
дорожки...

Это была одна из важных побед на путях к тому духовному богатству и полноте, к которым стремился Луговской все свои зрелые годы — через ошибки, срывы.

Два слова о специфике самого издания. Два слова, ибо подробно об этой стороне дела говорить не приходится: перед нами наиболее полное из собраний Луговского, и этим все сказано. Может быть, составителям иногда следовало быть строже при отборе, но тогда какая же полнота? Да и просчеты Луговского всегда по-своему любопытны, симптоматичны. Трудно судить, какая позиция была бы тут наиболее верной.

Как бы то ни было, само по себе появление этого издания заставит задуматься многих и по многим важным поводам. Я думаю, пока прекратятся, например, споры о том, какую публикацию Луговского считать прижизненной — ту, которая при нем была заслана в набор, или ту, которая при нем была подписана в свет (а такие споры уже идут); относительно Луговского и подобных ему не решено еще слишком многое куда более существенное.

Нынешнее издание — оно снабжено обстоятельной вступительной статьей И. Гринберга, одного из самых компетентных специалистов по творчеству В. Луговского, — поможет в решении не только историко-литературных, но и некоторых теоретических проблем текущей советской поэзии и прозы.

Вл. ГУСЕВ.



ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПИСАТЕЛЯ

Зоя Богуславская. *Транзитом. Повести и рассказы*. М. «Советский писатель». 1972. 350 стр.

Книга Зои Богуславской названа по второй повести — «Транзитом», но выраженная в названии идея имеет сквозной характер. В повести «Семьсот новыми» она сформулирована так: «На этой планете — мы транзитом. Хоть одну вещь или мысль оставить после себя. Нельзя прожить жизнь, не сделав ни одного яркого, значительного поступка». И потому герой повести филолог-аспирант Костя Добровольский если и не завершит своей многострадальной диссертации «Трилогия А. В. Сухова-Кобылина — сатири-

ческое разоблачение века», то, вполне возможно, усыновит встретившегося ему во время научных розысков осиротевшего ребенка. А герой повести «Транзитом» талантливый ученый-медик Олег Муравин всю свою работу будет ощущать как стремительный маршрут «в быстротекущем промежутке между отпочкованием от матери-природы и новым погружением в нее».

Раздумья о «транзите» для героев — не поза. Тяга к решению некоей духовной сверхзадачи — естественная для интен-

сивной внутренней жизни персонажей З. Богуславской. Собранные в книге повести и рассказы строятся в форме своего рода стенограммы психологических состояний, подробной записи «биений» интеллекта, и привлекают они прежде всего именно этим скрытым напряжением.

В самом деле, о чем, например, «Семьсот новыми»? О трагической биографии Сухова-Кобылина, обвиненного в убийстве любимой женщины? Или о подростке, распродающем бесценную дедовскую библиотеку, чтобы получить «семьсот новыми» и поставить памятник отцу? Или о любви его родителей, (о ней рассказано в дневнике его матери, образующем своего рода «повесть в повести»)? Или о нескладном чуде филологе, гонящемся за химерой — давно сгоревшей перепиской Сухова-Кобылина с француженкой Симон-Деманш а вместо того натыкаящемся на обычное, сегодняшнее, человеческое горе? Да, конечно, и о том, и о другом, и о третьем... Но все (или почти все) эти сюжетные линии «просвечивают» сквозь духовный мир героя, углублены добротой и неустроенностью Кости Добровольского, его умением взять на себя чужую боль, его раскаянием и самобичеванием, его размышлениями о началах человеческой жестокости, об унижительности приспособленчества, о жизненных истоках творчества...

Внешняя канва рассказа «Перемена» — переезд семьи из коммунальной квартиры в отдельную. Но переезд этот для автора лишь повод, возможность изобразить, что происходит в душе усталой, увядающей женщины, внезапно остановившейся среди своей вечной бытовой суеты и охваченной тягостным предчувствием распада семьи.

И точно так же событие другого рассказа — «В Сиглигете» (причем событие весьма драматического свойства — гибель одного неприкаянного, «рассерженного» юноши из компании отдыхающих на лоне природы интеллигентов) — становится предметом серьезных раздумий главного героя — венгерского профессора-математика — о судьбах современной молодежи, неостановимом беге времени, о связях и противоречиях поколений...

Без этого вот единого процесса работы человеческого сознания книга З. Богуславской просто рассыпалась бы на отдельные сцены, эпизоды, зарисовки, выполненные иногда очень а иногда и не очень удачно. Рассыпалась бы потому, что автор, на мой взгляд, явно грешит избыточностью наблю-

дений, своеобразным коллекционированием материала, ему недостает решимости убрать строительные леса, следы своих подготовительных «студий».

Эта перенасыщенность особенно заметна в повести «Транзитом». Сразу две любовные драмы героя... Поток профессиональной информации из сферы психиатрии (подчас несущий следы чрезмерной увлеченности психоанализом)... Десятки страниц, посвященных судебному процессу, не имеющему никакого отношения к сюжету (кроме разве того, что друг Олега Муравина — юрист)... Случайно подслушанный героем разговор девушек на мосту (пустяковая история о «трехминутной размолвке» с женихом, которая, однако, скрупулезно воспроизводится на трех страницах текста)... Мелькание вполне «проходных» фигур, ненадолго попадающих в поле зрения повествователя...

Справедливости ради надо заметить, что многие информационные излишества прозы З. Богуславской интересны, писательница обладает большой цепкостью взгляда, умением ввести материал — из какой бы области он ни был почерпнут — в круг своих размышлений; подробные описания повадок рыжих муравьев, например (Олег Муравин «для души» занимается мирмекохорией), увлекательны и венчаются соображениями насчет коллективизма и одиночества уже не в муравьином, а в человеческом сообществе.

Персонажи книги — вообще умные собеседники, и мы прислушиваемся к их разговорам и спорам (будь то полемика о типе современного человека, о его литературных пристрастиях, размышления о противоречиях прогресса или воспоминание об английском фильме «Иф») с чувством не напрасно проведенного времени. Но познавательные функции всего этого материала подчас не «прорастают» в эстетическую структуру произведений, в кровь и плоть художественного образа. Размеры рецензии не позволяют мне, к сожалению, процитировать несколько интересных страниц из повести «Транзитом», посвященных рассказам Бунина. Но совершенно очевидно, что за ними стоит преимущественно литературоведческий опыт самого автора, а не восприятие Олега Муравина, в уста которого вложена характеристика Бунина-новеллиста.

Однако подмена героя автором бывает и не столь безобидна, как в данном случае. На протяжении всего рассказа «Перемена» перед нами «поблекшая», расплывшаяся

женщина, которая тратит силы на то, чтобы «ругать мужа, когда он выпьет, и делать замечания, когда он трезвеет». Женщина эта как личность, нет слов, менее интересна, чем ее дочь, школьница Нинка, девица острого и строптивого склада ума. И вдруг вот такой всплеск интеллекта, такая утонченность и сложность самоанализа: «...неужели эта потребность в смене ощущений, неистребимое желание всякого смертного испытать еще что-то... — естественно и необходимо?.. Может, так и полагается, чтобы вчерашняя потребность уступить, подчиниться, делать, как хочется другому, сменялась сопротивлением, раздражением иногда именно благодаря своей похожести на прошлое, повторяемости. И все, что когда-то трогало, роднило, теперь отталкивает, разъединяет?.. Ей захотелось кричать, делать что-нибудь. Как-то остановить этот разрушительный процесс» — и так далее.

Конечно же, подлинная Алена если бы и додумалась до чего-нибудь подобного, то в других словах, другими интонациями, но эти слова и интонации не найдены, как они, скажем, найдены для Нинки, а потому рассказу не на чем держаться...

Думается, что дарование З. Богуславской по преимуществу лирическое, и привлекательность ее произведений во многом определяется умением показать напряженность лирических состояний души. Сквозь призму лиризма преломлены и раздумья героев, и экспрессивность их поступков, и их особое пребывание во времени и пространстве. Диктующее писательнице необходимость всяких композиционных сдвигов и смещений. Однако есть в этом безраздельном господстве лирической стихии и некая недостаточность реалистического видения объективного мира. Стоит только автору выйти за намеченные пределы, как художественное изображение подменяется скучным и поверхностным пересказом: «Начальник строительного участка СУ-112, где Толя был прорабом, очень быстро освоился на их отсталом участке и понял, что не всегда проделанная работа соответствует установленному графику расценок и прогрессивок...» («Перемена»); «Докладная Олега вызвала оживленные прения. Как он и ожидал, прения быстро свелись к вопросу о том, будет ли экономически целесообразно создавать такого рода приборы... Спрос на приборы появится только тогда, когда они станут диагностическими...» («Транзитом»).

То, что я процитировал, вообще не является художественной прозой — это в лучшем случае первоначальная регистрация материала в черновом блокноте. Помимо такой регистрации, в книге З. Богуславской встречаются и явные стилевые огрехи: «Убийство врезалось в биографию этого человека, как ампутация, отсекающая пораженную гангреной конечность»; «Организм человеческий предстал ему уже на срыве нервов, в ошеломлении чем-то или неумении чего-то, но он, заглядывая в бездны разлаженности механизма души, чувствовал себя уверенным, здоровым спортсменом»; «приписывали мои отлынивания греху тайного рвения к работе...».

И в то же время наряду со стилистической небрежностью мы видим в прозе Зои Богуславской и точное в своей неожиданности сравнение («Все это было ему хорошо знакомо, как трещина на дне умывальника, когда он утром всполаскивал лицо»), и живые, остроумные зарисовки характеров («А я больше всего не переносила именно «эдакое» в Софке. Стоило появиться кому-то в доме, как в ней начинался нестерпимый блеск; блесело все: мимика, походка, фразы. И вот уже новичок говорил неестественным голосом. В комнате начинало пахнуть мерзким интимом»), и выразительные публицистические формулировки («...из жизни неумолимо уходит протяженность. Длительность чувства, устойчивость дружбы и верность женщины. Искусство — это всегда пространство, наращивание чего-то, а не смена»).

Критика откликалась на произведения З. Богуславской по-разному. Иногда в недопустимом разносно-фельетонном стиле. Между тем дарование З. Богуславской как прозаика несомненно. Однако неравноценность художественного уровня книги, естественно,стораживает. Хочется пожелать автору большей точности и тщательности в работе. В повести «Транзитом» есть прекрасная идея — идея посредничества людей определенных профессий между человеком и обществом. Думается, что она имеет прямое отношение к искусству. Ведь именно художник в первую очередь призван «избавлять человека от изолированности, отторженности, приводить его к гармонии».

И чем выше профессиональное качество искусства, тем активнее оно способно решать эту задачу.

Вадим КОВСКИЙ.

ПРАВО НА ОТКРОВЕННОСТЬ

Сильва Капутикян. Весна на вершинах. Стихи. Перевод с армянского. М. «Советский писатель». 1972. 94 стр.

Иной раз для того, чтобы яснее понять смысл и цель стихотворения, бывает полезно представить себе реальную, житейскую ситуацию, из которой оно выросло. Впрочем, те стихи, о которых я хочу говорить, как раз и начинаются с обстоятельного изложения этой ситуации:

Та женщина, неведомая мне,
И по причине, неизвестной мне,
Так плакала, припав лицом к стене,
Беду свою всем телом принимая.
Внимала плачу женщины стена.
Я торопилась — дальняя страна
Меня ждала. Мой поезд был — «стрела».
Шла в даль свою толпа глухонемая.

В самом деле: описано «все как есть». Или — как бывает. Сколько раз сами мы оказывались в схожем положении, не успевая и не имея возможности задержаться и откликнуться на чужую беду. Мы сожалели — сожалели искренно, если даже и не столь обостренно, как поэт «Беду свою всем телом принимая» — так увидена плачущая женщина в стихотворении Сильвы Капутикян, замедляли шаг, но пробегали мимо, замороженные неотложностью своих дел — что поделаешь, действительно важных.

Так поступила и Сильва Капутикян (или, как принято говорить, ее лирическая героиня). Да и не могла иначе: «дальняя страна меня ждала...». Не опаздывать же на поезд!

Но это основательное рассуждение не дало душевного покоя:

Взлетел гудок. Станан пустился в пляс.
Как бледный мим. витал во тьме мой
плащ.

И вдруг огромный безутешный плач
Меня настиг средь мчащегося леса.
Печальный поезд сострадал ему —
Колесами, считающими тьму.
Он так звучал, внушая боль уму,
Как будто это плакало железо.
Болтался плащ. Приплясывал стакан.
О спешка мира! Как рвануть стоп-кран?
Плач, как палач, меня казнил стократ.
Подушка сна была груба, как плаха.
Остановитесь, поезд земли!
Не рвитесь, самолеты, в высь зари!
Мотор столетья, выключись, замри!
Виновны мы в беде чужого плача.

(Перевела Б. Ахмадулина)

Стихи не удержались на уровне быто-вой прозы. Они не могли ограничиться

пусть тысячу раз искренним, но все-таки мимолетным чувством сострадания. И самые разумные доводы рассудка не сумели остановить, сдержать это огромное чувство вины, вдруг испытанное поэтом за себя и за нас. Испытанное мучительно («плач, как палач...»), приводящее, казалось бы, к совершенно фантастическим выводам: «Мотор столетья, выключись, замри!»

Что же — стало быть, стихи вдруг разминулись с жизнью? Нет, конечно. Напротив, они к ней приблизились. Минутная случайность обстоятельств, которые могут быть теми или иными, преодолевая сугубую конкретность ситуации, они выразили самую сущность гуманизма поэзии, ее связь с человеком и человечеством, ее ответственность за них, ее страстное вмешательство в жизнь — как у Маяковского: «За всех расплачусь, за всех расплачусь».

Призывы к «мотору столетья» и слова жестокости, которые Сильва Капутикян обращает к самой себе, — это не расчетливое нагнетание экспрессии (что бывает среди стихотворцев), но действительное ощущение собственной непоправимой вины. То, что вины-то, если вспомнить исходную ситуацию, по сути, нету, не имеет значения. Поэты вообще не умеют и не хотят соотносить своих возможностей с желаемым (нельзя же, в самом деле, и вправду расплатиться и расплакаться «за всех»). Поэтому они и чувствуют себя должниками.

Это же ощущение запечатлено стихотворением Капутикян. В нем видна та цена, которой платят в поэзии за сердечную проницательность.

У Карела Чапека есть забавный рассказ, который называется «Поэт». О том, как некий стихотворец, случайно оказавшийся свидетелем уличного происшествия, равно ничего не мог сообщить следствию, но все необходимые сведения нашлись в его стихах, написанных под впечатлением случившегося, хотя смысла их был неизмеримо далек от события, да к тому же и просто темен.

Иронический Чапек тут все спародировал: и сам поэт выглядит каким-то придурковатым (пародия на фигуру «не от мира сего»), и стихи его нелепы. Но настоящая пародия всегда не только стрицает случай-

ное или чрезмерное, но и утверждает истинное. Смешны обстоятельства, смешон и сам поэт, но серьезен смысл рассказа: да, поэт, художник, способен запечатлеть в своих строчках ту истину, которая может ускользнуть от его житейского взгляда.

Мне кажется, в рассказе Чапека не просто ирония, но самоирония художника, который и сам удивлен своей неожиданной пронизательностью, удивлен настолько, что стесняется ее и маскирует усмешкой.

Не один поэт с удивлением открывал в своих стихах эту способность. Открывает ее и Сильва Капутикян — и тоже удивляется.

Несколько лет назад в предисловии к одному из своих сборников она так объясняла рождение «интимной» лирики: «Так как я не веду дневников, очень не люблю писать писем, то вся эта внутренняя энергия чувств уходит в «личную лирику».

Это бесхитрое, даже простодушное объяснение тоже, так сказать, на житейском уровне. В поэзии все выглядит несколько иначе:

Ты писем от меня не жди.
Мне трудно в письмах жить душою.
Огонь, бушующий в груди,
В них меркнет, слово в них чужое.
Как будто кто-то за меня
Писал их, избежав признаний.
Сердечного стыжусь огня,
Стыжусь рассказанных страданий.

«Стыжусь» — потому что стыдно приблизительно говорить о том, чем живет сердце. Это не боязнь откровенности; наоборот, боязнь невольно солгать, недоговорить, сказать не то и не так:

Но таинство, но волшебство —
Поэзия — преград ей нету:
В ней, скрытое от одного,
Звучит, всему открыто свету.

(Перевела М. Петровых)

«Волшебство», «таинство» — это наивные, детские слова удивления. Слова незапоминаемые. В другом стихотворении Капутикян, говоря о своей способности переплавить в счастье собственные беды, снова поразится: «Как я смогла?! — Какой алхимик я!»; и снова здесь не будет самолюбования. Поэту кажется, что все это произошло как бы случайно — как случайно, походя открывали средневековые алхимики тайну пороха или фарфора.

Сильва Капутикян не страшится быть предельно откровенной. Поэтому не то что писать об этой книге, но и читать ее не очень легко. Начиная иное стихотворение, словно бы нечаянно открываешь дверь в чужую квартиру и застываешь на пороге, не решаясь ступить дальше, ибо вдруг слышишь слова, предназначенные как будто совсем не твоим ушам. Но стоит задержаться, стоит понять чувство, которое только что было для тебя чужим и сейчас станет близким, — стоит, тем более что поэзия и рассчитывает на твое присутствие, тебе она и предназначает свою сердечную пронизательность: «В ней, скрытое от одного, звучит, всему открыто свету».

«Дождись, поэт, душевного затишья, чтобы дыханье бури передать», — советовал Маршак. Это мудрый совет, но основанный на личном опыте и приемлемый не для всех. Кажется, неприемлем он и для Сильвы Капутикян. Она не хочет дожидаться затишья в своей душе, у нее есть потребность немедленно, не откладывая выговориться в стихах. Потому-то и натыкаешься в них то и дело на острые, не сглаженные временем и раздумьем углы противоречивых чувств — противоречивых, какими обычно и бывают чувства неустоявшиеся, неуспокоившиеся.

Многие стихотворения книги — о любви. О разных ее моментах и переживаниях — от нежности до отчаяния, от решимости до уступчивости. Здесь можно встретить такое:

Замкнись в себе, пылай неудержимо!
Ведь гордость — твой высокий пьедестал.
Пусть грудь полна и пламени и дыма,
Лишь только б дым глаза не застилал.

(Перевела И. Лиснянская)

Но тут же встречаем: «От своей же силы я устала...» И стихи о том, как прекрасна, хоть и горестна, зависимость от любви, древняя зависимость, строки о которой, может быть, не случайно выстроились в нетрадиционную строфу — газель:

Не обжигаясь, ты сжигаешь, мой любимый.
Зачем до стужи улетаешь, мой любимый?!
Из нитей сердца соткала тебе я путы,
Так что ж ты в них не попадаешь, мой
любимый?

(Перевела И. Лиснянская)

Гордое «Замкнись в себе...» и печальное «Зачем до стужи улетаешь, мой любимый?!» — это те противоречия, которые образуют цельность души и характера. Поэт, как всякий человек, может быть разным

в разные минуты жизни, может метаться из крайности в крайность, лишь бы эти крайности были порождением одной системы нравственных координат.

«Замкнись...» — в этом неприступном желании все та же нежность, обманутая и оскорбленная, но не желающая удовлетворяться крохами. Все или ничего — таков душевный максимализм.

Откровенность — вещь обоюдоострая. Сама по себе она ни хороша, ни плоха. Больше того. Быть откровенным в поэзии, делать нас доверенными своих чувств — это не только надо уметь. На это надо иметь право.

Чем очевиднее, чем обнаженнее откровенность, тем прочнее должна быть ее нравственная обеспеченность. Иначе возможна инфляция.

В книге Капутикян есть стихи, названные печально: «Похороны». Поэт с ужасом сознает противоестественность смерти, тем более что на этот раз она унесла Ваграма Папазяна; это его лицо превращено в безжизненную маску, его творческая сила обратилась в бездуховный прах. «Не он это вовсе...»

Но отвращение к смерти потому и велико, что велика любовь к жизни. Стихи о смерти оказались стихами о жизни, о том, чем она особенно дорога, что особенно больно терять вместе с нею.

Поэт замечает, что на скорбных лицах людей, провожающих гроб великого трагика, лежит странное спокойствие. И догадывается: это потому, что провожают человека, до конца выполнившего свой долг перед людьми, родиной, жизнью. Само зрелище достойных и печальных похорон вдруг рождает острое желание вот так жить и вот так умереть, все до конца потратив на жизнь, ничего не оставив смерти.

Вот в чем суть душевного максимализма Капутикян, вот в чем суть ее непримиримости. Любовь к жизни и представление о счастье слишком велики, чтобы согласиться на малое.

Настоящее нас развело.
В будущем нас ждет непониманье...
Наше — только прошлое.
Оно —
В нас Звартноцами воспоминаний.
И мы знаем с тобой непреложно:
Реставрация их — невозможна.

Сноска сообщает: «Звартноц — разрушенный храм, памятник VII века». Сооб-

щает то, что и положено сноске. Но историческая справка мало что может сказать читателю стихов.

Есть вещи, перевести которые невозможно. Борис Заходер однажды скаламбурил — впрочем, всерьез, — что перевести на русский «Алису в стране чудес» Кэрролла — все равно что перевезти в Россию Англию. К слову, самому Заходеру это чудо удалось-таки, но все же подобная трудность не всегда преодолима.

Вот всего одно слово, одно название: Звартноц. Но для того чтобы понять сердечный смысл, вложенный Сильвой Капутикян в эти строки, нужно если и не перевести Армению в Россию, то перевести в Армению русского читателя, дать ему возможность постоять над камнями Звартноца и, больше того, понять, что значат для армянина эти развалины, которые, да же поверженные, все еще передают былую легкость и величавость своих сводов.

Только поняв это, можно понять смысл стихов — не только то, что в слове, но что за словом.

Это, разумеется, не укор Е. Николаевской, которая хорошо перевела стихотворение: это попытка пробиться сквозь естественную трудность перевода к пониманию того, что значит для поэта любовь, какими измерениями она мерится.

«Если в прошлое вдруг вернемся, чтобы были у нас хоть камни, пред которыми мы могли бы помолчать, преклонив колена...» — в этом «хоть камни» звучит: «такие камни». Камни Звартноца — память о великом прошлом. Сильва Капутикян хочет, чтобы ее воспоминания — пусть горькие, пусть мучительные, но достойные — были воспоминаниями о великой любви. Не меньше.

Между прочим, совсем не зря в этих стихах — как нравственный пример, как символ — возник образ родного Звартноца. Это очень характерно для Сильвы Капутикян: ее стихи, даже самые личные, связаны с историей родины и с будущим ее. Слова своей тоскующей любви она может вложить в уста легендарной армянской царицы Нуард, а перечень личных «бед и обид» закончить сокровенной мечтой: «Ах, в девятый столъ далекий год увидеть бы Армению мою!..»

Все это дает силы, несмотря ни на что, быть счастливой, ощущая связь с людьми, зависимость от них и ответственность за них. «И, устья ран закрыв здоровой тканью,

открытой оставаться все равно дыханью лет — да не замрет оно! — людскому теплому дыханью...»

Я не говорю о неудачных стихотворениях не потому, что их нет. Просто я не знаком с подстрочниками и мне трудно судить, в каком случае следовало бы укорять поэта, в каком — переводчика.

Иногда, правда, предположения перерастают в уверенность. Скажем, вряд ли виновен переводчик в схематической назидательности стихотворения «Ручки», вряд ли от него зависела поверхностность стихотворения «В Бюракане». Или, наоборот, не поворачивается язык упрекать Сильву Капутикян за переводы Э. Балашева.

Это имя для меня новое (может, только для меня?), и встреча не обрадовала. В сти-

хах, переведенных Э. Балашевым, несомненно, проглядывают обрывки искренних чувств, острого лирического сюжета (впечатление такое, что переводились далеко не худшие стихи Капутикян), но именно проглядывают — сквозь тягучую вялость интонаций, сквозь вольное или невольное стремление придать стихам всеобщую похожесть, то есть безликость. Кажется, что пытаешься жевать хлеб, обернутый в вату: хлебный запах ощущаешь, а зуб, увы, неймет.

В общем же книга переведена хорошо, во всяком случае, добротнo. Не желая обижать прочих переводчиков, я бы все-таки выделил трех лучших: Марию Петровых, Беллу Ахмадулину, Инну Лиснянскую.

Ст. РАССАДИН.



КАК ТРЕБУЕТ ЖАНР

Борис Агапов. Взбирается разум. М. «Советская Россия». 1972. 383 стр.

Больше десяти лет назад спор о том, может ли художник писать о науке, пользуясь художественными средствами, начался на страницах журнала «Новый мир» статьей Д. Данина «Жажда ясности», затем он перешел в «Литературную газету». Издательство «Советский писатель» в 1961 году выпустило сборник «Формулы и образы», где были собраны выступления участников дискуссии. Тогда, собственно, никто не отрицал права писателя писать о науке, речь шла о художественных средствах.

В статье «Когда подводит «художественность»...» («Литературная газета», 17 мая 1972 года) доктор физико-математических наук, профессор Александр Китайгородский с категоричностью, которую он наверняка не позволяет себе в физике, заявил, что всякая «художественность» противопоказана любому рассказу о науке. Он писал: «Итак, любой вид литературы, повествующей о науке,— будь то научно-популярная книга, научно-художественное произведение или научная публикация,— как нам кажется, оправдан лишь постольку, поскольку он сообщает читателю некие знания, то есть ответы на вопросы «как» и «почему». Однако сторонники «романтического» стиля полагают иначе. Им кажется, что статья должна быть прежде всего произведением литературы и создавать некое душевное состояние.

Не столь важно, о каких научных фактах идет речь, да и вообще дело не в фактах — так, вероятно, полагают защитники этого стиля. В крайнем случае факты могут быть неточными и даже неверными. Не в том дело. Важно создать у читателя смутное состояние романтической приподнятости, раскрывая перед ним мощь науки, заразить его очарованием научного прогресса, удивить и ошеломить его безбрежными горизонтами...»

Не удивительно, что запальчивая статья, высокомерно перечеркивающая самую правомерность существования научно-художественной литературы, откликов не вызвала. Чтобы убедиться в том, существует ли этот род литературы и в чем его назначение, можно не обращаться к пятому тому КЛЭ, где научно-художественной литературе посвящена большая аргументированная статья. Факт существования литературы, которая рассказывает о науке и в то же время является «художественной», подтверждается практикой литературной действительности...

Конечно, только случайностями издательской жизни следует объяснить появление в том же году книги, которая самым убедительным образом отвечает профессору А. Китайгородскому. Она принадлежит одному из зачинателей советской научно-художественной литературы, писателю, много и плодотворно в ней работающему,

возглавляющему единственный в нашей стране альманах «Пути в неизвестное» с подзаголовком: «Писатели рассказывают о науке».

Трудно найти другую книгу, которая так полно и темпераментно доказывала бы право и возможность художника художественными средствами рассказывать о науке, нежели книга Бориса Агапова «Взбирается разум», вышедшая в издательстве «Советская Россия».

В ней есть все, что приводит в негодование ученого противника «художественности» в рассказе о науке: свободный, не ограниченный прямой логической дорожкой разговор; самые широкие ассоциации; привлечение в качестве опорных точек рассказа множества имен; смелые предположения, бестрепетное заглядывание в будущее; утраченная способность удивляться всему новому и заражать этим удивлением читателей... И — как результат всего этого — книга Бориса Агапова действительно является «прежде всего произведением литературы и создает некое душевное состояние»... И при всем этом в большой книге писателя приводится множество фактов из самых разных областей наук — от химии до кибернетики, — и все эти факты безукоризненно точны.

Книгу «Взбирается разум» открывает эссе «Художник и наука». Борис Агапов пишет: «...художественное произведение ценно не количеством сведений, которые в него втиснуты... Тут же должен оговориться, что умение ясно изложить научную проблему есть необходимое умение для каждого художника, который берет научную тему. Это умение нужно ему так же, как умение держать карандаш в руке. Но это — только техника дела. Я не думаю также, что, рассказывая о науке, писатель обязан преподавать эту науку читателю. Как ни странно, но художественное произведение на научную тему должно в итоге, в главном говорить не о науке, а о человечестве, о постижении человечеством мира, природы. Пусть это парадоксально, но художественное произведение об объективной науке кажется мне более интересным, если оно написано субъективно».

Действительно, «Взбирается разум» вобрало в себя биографию писателя и биографию многих наук; размышления о соотношении науки и нравственности и философское осмысление существа научного прогресса; воспоминания о далеком прошлом и

заглядывание в самое далекое будущее... Всем строем своей книги Борис Агапов опровергает расхожее представление о том, что писатель лишь пересказывает узанное им о науке, является неким переводчиком знания с непонятного простым смертным языка науки на общепонятный всем язык литературы. Борис Агапов ничего не пересказывает. Он размышляет об узанном. И в этом увлекательном потоке мыслей, свободных ассоциаций проходят далекие Тифлис, Царское Село и близкие Москва и Дубна; Андрей Белый и академик Семенов; литературный опыт Максима Горького и современного писателя Артема Анфиногенова. Рассказ автора жив, разносторонен, в нем присутствуют все средства, имеющиеся в распоряжении художника: реалистическое повествование, ирония, гротеск, неудержимая фантазия, подлинная поэтичность метафор.

И в то же время «Взбирается разум» невозможно читать между прочим — в метро, в автобусе, парикмахерской, для того чтобы скрасить время. Эта книга требует от своего читателя глубокого внимания и умственного напряжения. Писатель вовлекает читателя в сложный мир своих размышлений. Меньше всего в них присутствуют последние и сенсационные открытия. Борису Агапову интересно и важно заглянуть в первооснову человеческого познания, соотнести новое со старым, философски осмыслить революционные изменения в познании человеком природы и ее законов. Он привлекает как опорные точки своих размышлений — Канта, Гегеля, «Философские тетради» Ленина. Разговор писателя с читателем, как видите, идет на самом высоком уровне... Никаких скидок!

Что же делает эту нелегкую книгу о самом трудном такой увлекательной и стремительной, что само чтение ее доставляет истинное наслаждение? Да то, что она написана талантливым писателем. Написана так, как никогда не сможет написать ученый, если только он не обладает еще и талантом художника... Вот в необычном по форме эссе «Зося» Борис Агапов дает характеристику двух явлений природы — Солнца и роз, — из которых одно является порождением другого. Солнце: «Движение, достигшее последних степеней быстроты. Движение во всех направлениях сразу. Миллиарды столкновений в миллиардные доли секунды. Хаос атомов, у которых отодраны электроны, бушевание атомных ядер сли-

пающихся в чудовишных взрывах, возникновение микрочастиц, тотчас исчезающих и порождающих энергию. Убивающий свет. Силы, нам еще неизвестные... Произвол — бесцельный, подвластный только самым грубым, примитивным законам... Там нет еще законов даже неорганической химии не говоря уже о более высоких. Если и есть что-нибудь организующее, упорядочивающее в этом клочкотании сверхпламени, то разве только силы тяготения и магнетизма. Ими взнузданы огненные кони протуберанцев, они не дают материи разлететься окрест в бездны космоса, они свалили ее в колючий гигантский шар, грозно висящий в пустоте и слепо вертящий вокруг себя дробины планет...»

...И роза: «Защищенная экраном пространства толщиной в полтора миллиона километров и куполом из озона, не пропускающим к ней жестких излучений, она — прохладный кристалл влаги, аромата, нежных оттенков, стройных и неизменных очертаний... Она — часть пространства, в которой действуют почти все законы Вселенной, и закон тяготения, самый примитивный и грубый, действует в ней почти незаметно.. Здесь, вопреки грубейшим законам природы, которые требуют, чтобы всё приходило к покою, к разложению, к уравниванию, к серости усредненности, дышит нечто, состоящее из атомных конструкций, наименее вероятных. Каждую секунду они готовы распастаясь, скукожиться, превратиться в пыль...»

Книгу Бориса Агапова отличает отсутствие категоричности, декретирования научных истин. Писатель не только распознает в окружающем его мире предметов и явлений самые сложные законы природы, он не перестает — совершенно искренне — удивляться тому, что он видит. И, наверное, это и есть то, что сближает художника с ученым. Наш авторитетный современник физик-теоретик академик А. Мигдал в статье «Симметрично ли пространство?» («Пути в незнание», сборник девятый) пишет: «Эйнштейн говорил, что ему посчастливилось повзрослеть прежде, чем он потерял способность удивляться. Способность удивляться — это качество, которое необходимо физикам так же, как художнику или поэту».

Так же, как ученый, художник должен обладать способностью построить модель будущего уметь представить себе еще неизвестную судьбу новой научной или технической идеи. Не стоит ссылаться на хресто-

матийные примеры из творчества Жюль Верна и Уэллса. Борис Агапов в очерке «Великие полимеры» вспоминает свою статью «Материя для сотворения мира», напечатанную в 1931 году в газете «Техника». Речь в ней шла о первых пластмассах — о скромных пепельницах и выключателях, сделанных из карболита. В это время ни у нас, ни за границей использование пластмасс не шло дальше простейшего ширпотреба. Но журналист писал с полной уверенностью в своей правоте: «Если до сих пор техника добивалась создания материалов преимущественно и прежде всего освобождением их от вредных примесей и механическим смешиванием их, то настало время, когда мы должны научиться «синтезировать материю», создавать ее так же, как создает природа... Мы должны уметь управлять ее качествами и внутри, придавать ей свойства, отвечающие заранее поставленным целям, делать ее теплопроводной или диэлектрической, вязкой или твердой, прозрачной или цветной, легкой или тяжелой... Химия органических соединений предлагает нам свое искусство, свое почти волшебное царство немыслимого разнообразия... Она необходима социализму, и она имеет право получить такие же темпы развития, как металлургия или уголь».

Это писалось тогда, когда не существовало капрона и нейлона, пластмассовых кораблей и пластмассовых деталей тяжелых станков, магазинов с огненными вывесками: «Синтетика», набитых чудесами текстиля, галантереи и парфюмерии... В книге Бориса Агапова воспоминания о начале 30-х годов, о времени, когда литераторы не только описывали достижения ученых, но и звали ученых вперед, превращаются в увлекательный рассказ о становлении в нашей стране того рода литературы, которая зовется научно-художественной. В этом рассказе особо дорого и ценно воспоминание о том, кому принадлежит самый термин «научно-художественная литература», — о Максиме Горьком. Страницы книги Агапова, где автор вспоминает свои встречи с Горьким, расширяют наши знания об отношении Горького к проблемам науки и привлечению писателей к освещению этих проблем.

Если рассматривать книгу «Взбирается разум» с позиции — сколько нового о науке мы можем из нее узнать, то, вероятно, мы немало наберем ответов на те «как» и «почему», которые, как считал А. Китайгородский, и должны составлять главное в

книгах о науке. Но насколько же мы оказались бы беднее, если бы в этой книге не было того, что на первый взгляд к науке отношения не имеет: удивления, радости, грусти... Конечно, можно просто написать, что беспощадные законы эрозии разрушают в конце концов то, что создано природой, и то, что создано самим человеком. И это будет безукоризненно точно. Но вот мы читаем у Агапова про развалины Акрополя: «...как одиноки эти камни! Они ни в чем не принимают участия, они прозрачно плывут вне нашего времени, со слепой медленностью следуя за поводом Хроносом — в небытие. Как все старики, они слушают только себя: непрерывно осыпается в них что-то, тончайшие пленки то ли отщепляются от них, то ли испаряются в синеву... Точнее, прах, поднимаемый ветром, невидимо сечет мрамор и стекает по каннелюрам.

Идет процесс исчезновения. По килограмму в год? Неизвестно. Но идет.

Как исхудали колонны! Иссохли, подобно рукам состарившихся красавиц... Провалами, морщинами, шрамами изрыты стены.

Подойти и незаметно прижаться лбом к материнскому камню, прощаясь».

Заканчивая свою книгу, Борис Агапов пишет, что есть способ мышления, который имеет в виду только пользу. Писатель, почти всю свою литературную жизнь посвятивший тому, чтобы приобщить читателя к пониманию величия и радости естественных, «положительных» наук, не любит и боится этого холодно-прагматического мышления в науке, в литературе, во всех областях человеческой жизни. Он пишет: «Мое окно раскрыто в весну. Там — цветут вишни.. Нельзя ли упразднить эту стадию развития ягод? Чтобы сразу, минуя всякие там цветы, получить плоды, и, если удастся, без косточек?»

Может быть, и можно. Но не хочется».

И нам, читателям книги «Взбирается разум», не хочется. Вместе с автором этой книги нам хочется, чтобы разум взобрался до вершин понимания того, что наука и искусство не противостоят друг другу, что человек в науке ищет и находит не только пользу, но и красоту.

Лев РАЗГОН.



Политика и наука

ОПЫТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ

Н. Н. Молчанов. Генерал де Голль. М. «Международные отношения». 1972. 496 стр.

«История вся слагается именно из действий личностей, представляющих из себя несомненно деятелей» (Ленин). Такие деятели, вклад которых в общественное развитие многократно превышает среднечеловеческий, придают истории особую, неповторимую выразительность. Без них она предстала бы скупой на краски абстракцией, зато благодаря им превращается в бесконечный ряд блестящих многоцветьем картин, доступных самому непосредственному восприятию, обретает психологизм, который наполняет ее биением живой жизни. Биографии исторических личностей оказываются ярким светом погасших звезд, широко распахнутым окном в прошлое.

Заглянуть в это окно тянет каждого. Отсюда общеизвестная популярность жанра биографий. Но и среди героев этого жанра особый интерес вызывают сегодня выдающиеся политические деятели

Книга профессора Н. Н. Молчанова «Генерал де Голль» разошлась мгновенно. Пожалуй, нет на Западе государственного деятеля, к которому у нас относились бы с большей симпатией, со столь же живым интересом. Имя генерала де Голля связано в нашем сознании не только с эпохой второй мировой войны — временем чудовищных катаклизмов, тяжелых поражений и великих побед, крупных решений и смелых действий. Для нас это имя символизирует близкую сердцу Францию, ее превращение из американского вассала, погрязшего в безнадежных колониальных войнах, в великую, независимую, дружественную нам державу, внушающую уважение всему миру.

Но успех книги не объяснить одной лишь привлекательностью ее героя. Эта вещь написана интересно, с блеском, широкими, яркими мазками. Жизнеописание де Голля

предстает не сухим перечнем событий, а увлекательным романом с живым, зримым героем. В стиле книги — темпераментном, приподнятом, местами даже патетическом — отложились не только вкусы и намерения автора, успешно добивающегося драматизации рассказа, но и черты его героя.

Один из наших основоположников жанра художественно-исторических биографий. Юрий Тынянов, бывший профессиональным ученым, утверждал, опираясь на собственный опыт, что «беллетризм» усиливает точность историографии. «Художественная литература, — писал он, — отличается от истории не «выдумкой», а большим, более близким и кровным пониманием людей и событий, большим волнением о них». Читая биографию де Голля, следя с неослабным интересом, как постепенно вырисовывается перед нами величественный и сложный образ генерала, мы убеждаемся, что благодаря беллетристу Н. Молчанову историк Н. Молчанов написал лучшую свою книгу.

Книга создавалась, как замечает сам автор, по горячим, еще не остывшим следам деятельности генерала, и отпечаток оперативности остался, особенно поначалу, в некоторых стилистических неровностях, небрежностях языка, мелких фактических неточностях, досадных «пропагандистских» упрощениях, к счастью редких. Зато читатели получили книгу как нельзя более ко времени.

Н. Молчанов не скрывает уважения к своему герою. Вряд ли это предосудительно, если помнить о первейшей цели автора — дать адекватное представление об исторической роли де Голля. Гегель в свое время издевался над мелочными историографами, которые придирчиво и не без злобности ведут тщательный реестр всем слабостям и просчетам великих людей, играя, так сказать, на снижение образа. Он ядовито именовал этих историографов психологическими камердинерами и вспоминал в связи с ними гомеровского Терсита, говорящего гадости о героях. Автору чужд этот терситизм. Не то чтобы он все прощал своему герою и писал его только в светлых тонах, нет, он не умалчивает о его заблуждениях, о его безмерном властолюбии высокомерии и эгоцентризме, презрении к людям и политическом цинизме. Но его пороки выглядят не мелкими грешками, а чертами этой крупной и противоречивой личности. По масштабам де Голль был шек

спировской фигурой, и таким он предстает в книге.

Это не означает, однако, что автор приукрашивает историю. Его книга, хотя и отступает от священных канонов «научного аппарата», есть труд ученого-профессионала, хорошо знающего историю страны, о которой он пишет, чувствующего ее дух. Обработав довольно широкий круг литературы, Н. Молчанов, однако, не сковывал себя ею, а «строил» своего де Голля в соответствии со своим видением историка.

Вероятно, придирчивый критик скажет, что автор идеализирует де Голля. Во всяком случае, показывая, как события подтвердили действительно замечательную интуицию генерала, он не всегда упоминает о его несбывшихся предсказаниях, о проявлениях политического консерватизма, который генерал, впрочем, обычно умел преодолевать. Возможно, автор пристрастен, но лучше естественная пристрастность, чем искусственная тенденциозность. В его книге генерал де Голль нарисован цельно и убедительно.

Ценность книги прежде всего в том, что она передает, по словам Стендаля, глубинное качество героя, первопричину его поступков, основу его мировоззрения и политики. У де Голля главной, если не единственной такой страстью — мотивом к действию была Франция.

«Я — это Франция», — говорил он без ложной скромности Рузвельту и Черчиллю еще в начале 40-х годов, вызывая у них то гнев, то насмешку: еще бы, ведь в то время у генерала было всего несколько тысяч солдат. (Впечатляют страницы, где рассказано об этом несоответствии устремлений де Голля его возможностям на фоне нелегкой жизни изгнанника — ситуация, которая могла бы быть фарсовой, но предстает драматической.) Из «большой тройки» Сталин вызывал у де Голля наибольшее уважение, и потому генерал не решался вести с ним подобные речи, но Сталин точно ощутил его самоотжествление с Францией, широту его амбиций. Хотя Сталину импонировала неуступчивость чопорного генерала, он заметил как-то Рузвельту, что де Голль — несложный человек.

«Одна, но пламенная страсть» генерала как будто подтверждала этот вывод, однако события нашего времени опровергли его. Ибо идейной основой этой страсти была убежденность де Голля в том, что высшей ценностью является нация — первоисточ-

ник и конечная цель общественного развития. А национализм — мировоззрение, и неоднозначное. Критикуя с марксистских позиций национализм де Голля, автор в то же время показывает, как национальная ориентация генерала не только изменяла в лучшую сторону положение Франции в хитросплетенные противоречий между двумя лагерями, но и способствовала оздоровлению всей международной обстановки в целом.

Вывод автора о том, что де Голль объективно проводил левую, прогрессивную внешнею политику, может вызвать аргументированные возражения. Однако же остается фактом, что в самый тяжелый период войны, когда американские политики не скрывали своей уверенности в скором падении СССР, глава «Свободной Франции» связывал надежды на победу прежде всего с Советским Союзом — конечно, не как с воплощением социализма, а как с извечной, великой Россией. Более того, де Голль всю войну лелеял идею франко-советского сближения, которое в ходе послевоенного переустройства могло бы уравновесить англо-американский блок. Хотя эта идея отразилась в советско-французском договоре 1944 года, она стала действительной силой лишь, к сожалению, двадцатью годами позже. Именно президент де Голль вывел Францию из военной системы Атлантического союза, а «ведь, кроме коммунистов,— пишет Н. Молчанов,— никто не ставил под сомнение НАТО, считая необходимым самое активное участие в этой организации».

Не меньше, если не больше впечатляет отношение де Голля к вьетнамской войне — ибо тот факт, что Франция и ее президент были в стороне от этой войны, позволял им сохранять объективность, несвойственную «национальному эгоизму». Еще в 1961 году, принимая Дж. Кеннеди, де Голль прочел молодому президенту суровую нотацию по поводу американской политики в Юго-Восточной Азии, сделав такой вывод: «После того как нация пробудилась, никакая иностранная власть, какими бы средствами она ни располагала, не имеет шансов на то, чтобы навязать там свою волю». Над этими словами стоит задуматься. Выдающийся английский журналист Александр Верт, известный советским читателям прежде всего по очень дружественной нам книге «Россия в войне 1941—1945», опубликовал незадолго до смерти политическую биографию де Голля. На титульном листе подарен-

ного мне экземпляра старый петербуржец Верт надписал по-русски: «Вьетнам нас всех превращает в полуголлистов, не правда ли?» Когда речь шла о внешней политике, левые, подобные Верту, почти всегда видели в де Голле единомышленника, тогда как правые — врага.

27 января 1964 года де Голль выдвинул план нейтрализации Юго-Восточной Азии, вызвавший бешеное негодование за океаном. Американские газетные ястребы издевательски предлагали переименовать реализм де Голля в «лунатизм». Сегодня, когда идея нейтрализации этого района стала небывало актуальной, не приходится доказывать, кого на самом деле одолевали сомнамбулические сны.

Самоотождествление с Францией, в сущности, не имело у де Голля эгоистического характера. Он воспринимал руководство страной как служение отнюдь не себе, а нации — разумеется, в том зачастую далеком от реальности смысле, какой он сам вкладывал в это понятие. Стремясь к власти и сосредоточивая ее в своих руках, де Голль был абсолютно чужд личной выгоде в низменном, корыстном смысле слова. К впечатляющим страницам книги о почти аскетическом укладе жизни генерала можно добавить и такую, например, историю. Поскольку скромной полковничьей пенсией, получаемой после ухода в 1946 году с поста главы правительства, явно не хватало (де Голль до конца жизни оставался «и. о. бригадного генерала», отказываясь повышаться в чине), мадам де Голль стала потихоньку распродавать семейные антики. Обнаружив исчезновение любимой статуэтки, генерал разбушевался. Стремясь унять мужа, Ивонна осторожно спросила: «Как вы думаете, Шарль, на какие деньги мы живем?» Генерал смущенно замолчал.

Подобные факты как-то не вяжутся с буржуазностью в нашем понимании. Несомненно однако, что генерал де Голль по праву занял исключительное место среди государственных деятелей, выдвинутых французской буржуазией — этой фразой завершает Н. Молчанов свою книгу. Конечно, де Голль принадлежал к буржуазии по рождению, воспитанию и семейным связям. Конечно, его мировоззрение формировалось не без воздействия идеологов консерватизма и даже реакции; хотя необходимо оговориться, что у них он заимствовал для своей программы лишь то, что соответствовало его главной страсти, — аргументацию, фра-

зоологию, некоторые элементы концепций, стремясь отбросить классово-политическую косность. Конечно, он воплощал в широком, перспективном смысле интересы французской буржуазии: как пишет Н. Молчанов, он «проявил исключительно глубокое и дальновидное понимание этих интересов». Но в этом — одна, и не всегда самая существенная, сторона политической биографии генерала. Не следует забывать, что и начало и конец его карьеры как государственного деятеля были ознаменованы острыми конфликтами с французской буржуазией. Она как класс была против него и 18 июня 1940 года, когда генерал призвал Францию к антифашистскому Сопротивлению, и 27 апреля 1969 года, когда президент де Голль вынес на референдум свою идею «участия» всех социальных групп в управлении. Едва ли не каждому смелому маневру де Голля французская буржуазия ставила палки в колеса, прилагая все усилия, чтобы не «выдвинуть», а «задвинуть» его.

Хотя сам де Голль предпочитал обращение «мой генерал», — формула «г-н президент республики» казалась ему, видимо, чересчур штатской и поэтому недостаточно внушительной, — именно с армией (которую Маркс ставит на первое место среди частей буржуазной государственной машины) происходили у него самые жестокие столкновения. В среде кадрового офицерства молодой де Голль оказался гадким утенком; став главой государства, старый уже генерал хлестал зачинщиков милитаристского путча в Алжире столь убийственно-презрительными словами, какие он никогда не употреблял применительно к коммунистам.

Классовая суть политики де Голля не заслоняла от него узколюбости и своекорыстия буржуазии. По свидетельству Н. Молчанова, президент де Голль в 1960 году, столкнувшись с мятежом армейской верхушки и белых колонистов в Алжире, констатировал, как и в 1940 году, «предательство буржуазии». И тогда и позже, выводя Францию из военной организации НАТО, он опирался не на правящий класс, а, по его собственным выражениям, на «глубины народной массы», на «тех, кто ездит в метро». Такие факты ставят под сомнение заключительную формулу книги, как и аналогичные утверждения автора, будто де Голль «не отрекался от своего класса» и будто его деятельность во время войны выглядела «своеобразной реабилитацией класса, предателем которого он был». Впрочем, этим

утверждением противоречит весь авторский пафос, весь дух книги, описывающей политика, который поднялся над своим классом вопреки его воле и которого поэтому невозможно втиснуть в прокрустово ложе политически однозначных характеристик.

Нет спору, режим личной власти был налицо, и некоторые традиционные институты буржуазной демократии, прежде всего парламент, оказались ущемленными. Памятуя о правительственной чехарде и других проявлениях деградации IV республики, можно, однако, серьезно усомниться, означал ли голлизм политическую реакцию. Н. Молчанов пишет, что де Голль «хотел сохранить власть только при условии ликвидации этой игры и этих нравов, то есть путем резкого ограничения республиканской демократии». «То есть» кажется здесь передежкой. Между авторитарной диктатурой, как ее осуществлял де Голль, и тоталитарной тиранией нет знака равенства, хотя нередко мы смешиваем эти понятия. Н. Молчанов прав, когда подчеркивает, что де Голль «сохранил уважение к основным личным правам и свободам...». Внешне несущественным, но показательным примером тому служит терпимость де Голля к насмешкам над его персоной, чего совершенно не выносят тоталитарные диктаторы. При нем миллионными тиражами расходились пластинки комика Тизо, который ядовито пародировал выпренные речи генерала. А юмористический «Канар аншене», систематически публиковавший карикатуры на президента, был одной из двух его излюбленных газет (вторая — интеллектуальный «Монд»).

Впрочем, не это главное. «Хотя де Голля называют диктатором, он является одним из наименее кровавых диктаторов в мировой истории, — писал Верт. — В характере де Голля нет жестокости, и он, бесспорно, ненавидит физическое насилие». Эта черта была одной из причин осуждения президентом Франции Израйля во время и после шестидневной войны. Позиция, повлекшая взрыв недовольства французских финансистов-евреев, как и всей диаспоры.

Поучительный рассказ Н. Молчанова обо всем этом дополнил личными впечатлениями. В те дни я был во Франции, и меня ошеломил накал антиарабских страстей и размах кампании поддержки Израйля: многолюдные манифестации, тысячи моментально записавшихся добровольцев, огромные пожертвования — 2,8 миллиарда франков за

два дня (за год для сражающегося Вьетнама было собрано 130 миллионов), появившиеся, как грибы после дождя, донорские пункты. Хотя уже было ясно, что в крови нуждаются не евреи, а арабы. Могло создаться впечатление, что де Голль опять идет против течения, но опрос общественного мнения неожиданно показал, что президентскую политику нейтралитета поддерживают 70 процентов французов, тогда как за помощь Израилю выступают лишь 28 процентов.

Осуждая Израиль за политику жестокого и грубого насилия, президент по той же причине решительно отвергал антисемитизм, как и другие формы национальной нетерпимости. Он не скрывал неприязни и к тем арабским политикам, кто позволял себе попираť свободы, традиционные для Франции, например право политического убежища. В 1965 году среди бела дня в центре Парижа был похищен, а затем зверски убит Бен Барка, лидер левой оппозиции в Марокко. Выяснилось, что преступление организовано генералом Уфкиром, всесильным министром внутренних дел королевского правительства Марокко. Хотя де Голлю претили политические взгляды Бен Барки, он не только отдал под суд замешанных в похищении французских полицейских, но и потребовал от короля выдать Уфкира французскому суду. Поскольку требование не было удовлетворено, де Голль пошел на резкое ухудшение ранее безоблачных отношений с Марокко. (Дело Бен Барки получило завершение лишь в прошлом году, когда замешанный в заговоре против короля Уфкир покончил с собой.)

Разумеется, было бы верхом наивности объяснять эти действия генерала предпочтением добра злу. Н. Молчанов живописует готовность и умение де Голя использовать сегодня своих противников, чтобы завтра же отбросить их в сторону. Представляется, что на этом фоне «морализация политики» была у генерала продуманным тактическим приемом, рассчитанным на снижение популярности. Поскольку она приносила ему поддержку французов, воспитанных в традициях уважения к правам человека, она становилась элементом политического реализма.

Неконтрреволюционность деголлевской диктатуры — в этом, между прочим, главное ее отличие от классического бонапартизма — выразилась и в отношении генерала к компартии, о чем интересно написано в книге. Вряд ли является случайностью, что

де Голль был первым французским премьером, включившим коммунистов в правительство, что даже в начале «холодной войны» он отказался удовлетворить требование Америки об изгнании их оттуда, что почти никогда (если не считать «фарса» с РГФ) он в отличие от лидеров всех других правых и «левых» партий не отделял коммунистов от Франции, хотя вел с ними упорную борьбу.

Скрепя сердце мирилась буржуазия с политическими эскападами де Голя и облегченно вздохнула, когда генерал отказался от власти. Интересно отметить, что современная буржуазная политическая социология, прежде всего американская, пытается теоретически обосновать непригодность лидеров, подобных де Голлю, проводящих собственную, относительно независимую политическую линию, не считающихся с требованиями классовых институтов. Так, авторы семнадцатитомной «Международной энциклопедии социальных наук» (Нью-Йорк, 1968) утверждают, что существуют два типа политического руководителя — «национальный герой» как воплощение «высших интересов» нации и «политический маклер, или искусный синтетик», который строит свою политику как равнодействующую разных классовых институтов и групп интересов. Первый тип, по мнению американских «энциклопедистов», олицетворяет де Голль, второй — Франклин Рузвельт.

Эту свою типологию они сопровождают пояснением в том духе, что «традиционный герой» отходит в прошлое, явно чтобы «архаизировать» де Голя, к его «типу» они относят многих лидеров молодых национальных государств, которым только предстоит пройти ступени, давно преодоленные развитыми странами. По мнению этих социологов, современная эпоха со все углубляющимся разделением труда и узкой интеллектуальной специализацией обезличивает само понятие власти, которая сосредоточивается не столько в лицах, сколько в институтах.

Не вдаваясь в критический разбор этой концепции, укажем лишь на ее социальные корни. Дело в том, что такие характерные для современного Запада процессы, как бюрократизация общественной жизни и отделение капитала-функции от капитала-собственности, привели к гипертрофированному развитию новых эксплуататорских, паразитических слоев. Целые колонны высших государственных чиновников, деятелей политических партий, управляющих — менед-

жеров — прорвались к власти и претендуют не только на приличествующую им долю доходов, но и на выработку политических решений. Обретая социальный вес благодаря местам, занимаемым ими в иерархических институтах и организациях, они могут осуществлять свои претензии не персонально, а лишь через эти организации. Поэтому анонимной власти этого слоя «технобюрократии», столь же многочисленного, сколь и безликого, противопоставлен сильный, независимый лидер типа де Голля, стремящийся во имя эффективности государственного руководства ограничить влияние различных буржуазных, технобюрократических институтов, которые преследуют собственную выгоду вопреки общегосударственным интересам. Между политическим динамизмом сильного, целеустремленного лидера и косностью слабой, обезличенной власти этот паразитический слой выбирает безопасную для него косность, предпочитая бездействие действию. Когда под угрозой оказываются его эгоистические интересы, поднимается крик: «Не раскачивайте лодку!» Потому-то американские «энциклопедисты» утверждают, что политической власти именно «рутинность» придает стабильность и непрерывность».

Вывод, свидетельствующий об узости мышления буржуазной социологии. Ибо бездействие точнее видимость действия, при которой социальные паразиты благоденствуют, наращивает нерешенные коренные проблемы, чем создает предпосылки политического кризиса. Удушливая, гибельная атмосфера такой рутинности, в которой безуспешно пытался действовать молодой еще де Голль и в которой процветали бюрократы и политики «с их нерешительностью, страхом за карьеру, безответственностью и беспринципной изворотливостью», замечательно передана в книге.

Впрочем, апологеты «технобюрократии» склонны признать ограниченную годность лидера типа де Голля на случай кризисных ситуаций. Верно, что де Голль был человеком таких ситуаций, когда требовались быстрые и решительные действия. Но не следовало бы забывать и о том, что не ограничившись разрешением, например, алжирского кризиса, президент де Голль выработал и реализовал — конечно, применительно к современному капиталистическому обществу — сравнительно устойчивую и эффективную государственно-политическую структуру, важнейшими компонентами которой яв-

ляются: признание первостепенного значения собственных и уважение иных национальных интересов; политика мира и мирного сосуществования; отказ от колоний; ориентация на технико-экономический прогресс; сильная исполнительная власть во главе с президентом.

В подходе к историческим личностям с давних пор существуют две крайности. Одни считают, что великие люди выносятся на поверхность событий волнами случая — не будь его, им так и пришлось бы прозябать в неизвестности. Если эту крайность можно назвать «ситуационистской», то противоположную — «личностной». Ревностный ее приверженец Карлейль с негодованием обрушивался на «маленьких критиков великих людей», которые считают таких людей «продуктом своего времени». «Время вызвало его (великого человека. — Е. А.), время сделало все, он же не сделал ничего такого, чего бы мы, маленькие критики, не могли также сделать! — иронизирует Карлейль. — Жалкий труд, по моему мнению, представляет такая критика. Время вызвало? Увы, мы знали времена, довольно громко призывавшие своего великого человека, но не обретавшего его! Его не оказывалось налицо. Провидение не посылало его... Я сравниваю пошлые и безжизненные времена с их безверием, бедствиями, замешательствами, с их сомневающимся и нерешительным характером, с их затруднительными обстоятельствами, времена, беспомощно размывающиеся на все худшие и худшие бедствия, приводящие их к окончательной гибели. — все это сравниваю я с сухим мертвым лесом, ожидающим лишь молнии с неба, которая воспламенила бы его». Великий человек и есть, по мнению Карлейля, такая молния.

Воинствующий идеализм этой теории очевиден. И все же нельзя безоговорочно отбросить значение личных качеств политического лидера. В конце концов, почему ни один из деятелей IV республики — а ведь целая их вереница прошла через пост главы правительства — не оказался в состоянии вывести Францию из перманентного кризиса? Вот представлявший столь эффективным Феликс Гайяр, падение которого, по выражению Н Молчанова, зажгло на политическом светофоре де Голля зеленый свет, открыло ему путь к власти. Сравнительно молодой (38 лет), умный, отлично образованный технократ американского типа обрел, казалось, прочную опору в лице француз-

ской и международной финансовой олигархии, чтобы надолго удержаться у власти. Но он не нашел ничего лучшего, чем усугубить авантюристскую колониальную политику и рабскую зависимость Франции от Вашингтона. Когда Даллес приехал в Париж добиваться от пришедшего к власти де Голля следования американскому курсу, генерал имел полное основание презрительно отрезать: «Помните, я вам не г-н Гайяр!» У Гайяра не оказалось ни собственной линии, ни личного и политического мужества. У де Голля все это было налицо. Не могу не напомнить, что, учитывая личные качества генерала, один наш внимательный наблюдатель предсказал его возвращение к власти за месяц до этого события. Я имею в виду статью Н. Молчанова в «Литературной газете» от 17 апреля 1958 года.

Де Голль производит, выражаясь словами автора книги, «сильное впечатление своим твердым характером, непоколебимостью убеждений, принципиальностью и стремлением к действию». Впечатление — на фоне вырождения буржуазных политиков — не такое уж частое. В свое время, намекая, очевидно, на неэффективность и беспомощность политического руководства в Соединенных Штатах, де Голль бросил фразу: «Ах, если бы у меня было 180 миллионов!» На что эти миллионы могли бы откликнуться: «Ах, если бы у нас был свой де Голль!»

И все же финалом было крушение. Его знаменовал не только ропот в кают-компании — среди правящего класса, но и взрыв недовольства в команде — в широчайших слоях французского народа. Авторитаризм де Голля, способствовавший его успеху, предопределил и его конечное поражение. Самоотожествление с нацией, придававшее ему целеустремленность и силу, было у де Голля глубоко антидемократично, ибо не оставляло места для других — для французов. Францией он считал себя — и никого больше. Масса, народ для него оставался чернью, сбродом; то же презрительное слово «canaille» употреблял и Наполеон I. Не без сарказма рисуя сцены «омовения в толпе», когда генерал как бы снисходил до своего народа, Н. Молчанов справедливо усматривает в разрыве с рядовыми французами трагедию всей жизни де Голля. Правда, «веселая революция» 1968 года неожиданно внесла комический элемент в эту трагедию, но де Голль сам проявил обычно не свойственную ему близорукость, не разглядев в эксцент-

ричных внешне событиях вполне серьезной подоплеку.

Бьющее на эмоции обращение президента к «соотечественникам и соотечественницам» (телевыступление 29 января 1960 года по поводу «мятежа генералов» в Алжире) находило отклик, когда речь шла о действительно реальной угрозе существованию республики. Здесь французы соглашались с президентским единовластием, но когда оно распространялось на все многообразие повседневной жизни, означая, таким образом, деполитизацию народа с развитым чувством собственного достоинства, французы этого стерпеть не могли. Тон отца семейства, с которым генерал обращался к народу, стал вызывать насмешки и негодование. Сейчас, когда Франция как бы переоценивает наследие де Голля, в частности институт почти неограниченной президентской власти, чрезвычайно метким представляется замечание, брошенное накануне мартовских выборов одним из лидеров левой оппозиции, генеральным секретарем компартии Жоржем Марше: «Мы не хотим, чтобы один человек решал все и за всех — начиная от высоты зданий в парижских кварталах и кончая другими вопросами».

А генерал действительно стремился решать все и за всех. И хотя он прибегал к услугам специалистов-советников, они играли при нем ничтожную роль. Он нарушал даже их ограниченную свободу действий в узкоспециальных областях, в которых, однако, сам был некомпетентен. В отличие от Наполеона де Голль не сумел или не захотел воспитать своих маршалов. «Огромная государственная пирамида стояла вверх ногами, опираясь на вершину! — восклицает Н. Молчанов. — Де Голль приобретал все более деформированное, фрагментарное представление об окружающей жизни. Свою старую, давно затвердевшую систему взглядов и представлений он просто накладывал на бурно меняющуюся действительность, важные стороны которой нередко ускользали от его взора».

Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно, говорил английский историк лорд Эктон. Почти абсолютная власть де Голля привела к тому, что коррумпированными оказались бонзы из партии ЮНР, на которую он опирался. Отстраненные генералом от выработки политики, они компенсировали себя теплыми местечками в административном аппарате. Еще одна немаловажная причина пресыщенно-

сти французов режимом личной власти и доказательство того, что ей полезно класть временной предел.

Ахиллесовой пятой де Голля как политика оказалось пренебрежение к социально-экономическим вопросам, к уровню жизни народа, одним словом, к тому, что сам генерал снисходительно именовал *l'intendance*. Оно, интендантство, должно быть там, где отвед ему место все тот же Наполеон, — в обозе. Устарелое представление. Крушение едва не произошло в 1963 году, когда де Голль издал декрет о принудительном возвращении на работу бастующих шахтеров, вызвавший негодование всей трудящейся Франции и потому благоразумно преданный забвению. Приходится, однако, отметить, что наш биограф, увлеченный своим героем, следует здесь за ним и как бы проскальзывает по экономической проблематике.

Со своим предпочтением международной арены де Голль импонировал скорее иностранцам, тогда как французов чем дальше, тем больше это раздражало. Возникало, таким образом, два несовпадающих представ-

ления о де Голле — внутри Франции и вне ее, и хотя второе, возможно, точнее исторически, для личной судьбы генерала первое не могло не иметь решающего значения.

Образом всеведущего и всемогущего вождя, за которым бездумно следуют массы, мы обязаны реакционной идеологии, буржуазной политической науке. Она считает, что эффективность и демократия несовместимы, тогда как марксисты придерживаются противоположного мнения. Строка из «Интернационала» — «ни бог, ни царь и не герой» — не поэтическая фигура, а политическая программа. Воздавая должное исторической роли генерала де Голля, мы не можем не понять наших французских товарищей, которые оценивают его в свете этой программы.

Работу Н. Молчанова, который нарисовал столь же волнующий, сколь и противоречивый образ Шарля де Голля, трудно переоценить. Ибо, как говорил Карлейль, хорошо описанная жизнь почти так же редка, что и хорошо прожитая.

Е. АМБАРЦУМОВ.



КОГДА ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЛИВАЮТСЯ...

И. Б. Литинецкий. На пути к бионике. М. «Просвещение». 1972. 222 стр.

С некоторых пор явственно определилась закономерность: чем сложнее становится техника, тем острее интерес конструкторов к живой природе.

«Чего только нет в ее «патентном бюро»! — пишет И. Литинецкий. — Гидравлический привод? Пожалуйста, у паука. Пневматический отбойный молоток? Вот он у земляной осы. Ультразвуковой локатор? У летучей мыши. Сонар? У дельфина, тюленя, кита. Реактивный двигатель? У кальмара. Точный барометр? У лягушки, вьюна, **пиявки**. Предсказатель штормов? У медузы. Запахоанализатор, способный различить 500 тысяч запахов? У обыкновенной дворняжки. Счетчик Гейгера? У улилки... Определитель морской воды? В клюве альбатроса. Высокочувствительный сейсмограф? У водяного жука и кузнечика...»

Изобретение радара и открытие ультразвукового локатора летучей мыши примерно совпали во времени. Прошло свыше тридцати лет, и радар удалось значительно усовершенствовать. Только всякий раз оказывалось, что конструктивные новшества не очень-то новы... И сегодня локатор ле-

тучей мыши — с учетом размеров «конкурирующих устройств» и способов дальновидения — все еще совершенней. А поскольку многие его секреты пока не разгаданы, это положение скорей всего сохранится и в дальнейшем.

Естественно, что возникающая в начале 60-х годов бионика на первых порах казалась наукой, призванной изучать и копировать «патенты» живой природы. Именно так изображала ее научно-популярная литература того времени. Бионика оправдала возлагавшиеся на нее надежды. Заимствованное у насекомых устройство — гиротрон — автоматически выводит самолет из штопора. Почти удвоили свою скорость обшитые искусственной дельфиной кожей катера и торпеды. Бег кенгуру подсказал идею «прыгающей» снегоходной машины. И так далее. Вскоре, однако, выяснилось, что перспективы и возможности бионики гораздо шире.

Ее символом стали скальпель и паяльник, соединенные знаком интеграла. Наука о живом вступила в союз с техникой, физикой, математикой. А затем — даже с ис-

куством. Сейчас проектируются мосты, форму которых подсказал свернутый лист. Схема строения скорлупы диатомовой водоросли использована при строительстве опор большого экрана Берлинского зеленого театра. Бионика тут работает на эстетику.

Впрочем, это не столь уж неожиданно! Паутина в свое время подсказала идею висячего моста. Изящная конструкция Эйфелевой башни, как выяснилось, в точности повторяет строение берцовой кости. А режущий элемент первобытного топора имел форму медвежьего зуба. Мы копируем, копируем, так о каких новых горизонтах идет речь?

Начнем с того, что примеры сознательного заимствования были случайны и многочисленны. Замена бессознательного использования научным — это уже сдвиг. Но даже не в этом дело.

Мир живой природы и мир техники несхожи, скорей антагонистичны в своих проявлениях (их противопоставление давно стало трюизмом). А теперь обратим внимание на одно принципиально важное положение книги И. Литинецкого: «Проследившая процесс эволюционного развития технических и живых конструкций, ученые все больше и больше убеждаются, что здесь имеется много общего. Природа и техника строят по одним и тем же законам...» (выделено мною. — Д. Б.).

Автору (специалисту-бионнику) эта мысль представляется настолько очевидной, что он не уделяет ей особого внимания. А жаль. Давно ли биология и техника являли собой пример параллельного развития? И вот они сошлись. Оказалось, что в основе эволюции столь разных объектов лежат общие законы — это фундаментальный факт. Теперь не приходится удивляться тому, что, «изучая биологические объекты и процессы, бионика не идет по пути слепого копирования «изобретений» природы». Она ищет не столько «готовые рецепты», сколько «новые идеи, методы и средства для решения многочисленных инженерных проблем...».

Природа не просто мастерская, она — академия. С другой стороны, «пожалуй, самая главная заслуга бионики заключается в том, что она заставила нас взглянуть на многоликий мир животных другими глазами».

Когда тунисский исследователь Санчи

установил, что пустынный муравей днем видит звезды и ориентируется по этим космическим маякам, он написал философскую поэму о маленьком муравье, который побуждает человека поднять глаза от земли к великим мирам, проплывающим в небе. Сходное чувство охватывает и нас, когда мы узнаем, что для кого-то запах имеет объем и форму, что есть «уши», способные уловить «шепот волны», которая короче диаметра атома водорода; что существуют глаза, видящие недоступные нам краски ультрафиолета. Один ученый справедливо заметил: «Мы живем в мире, границы которого определены возможностями наших органов чувств, и на протяжении столетий мы полагали, что этот мир — единственный».

Всякий отказ от антропоцентризма, связан ли он с коперниковским признанием заурядности Земли или дарвиновским низведением человека с «божественного» пьедестала, титанически возвышал самого человека. Рассказать в этом плане о бионике значило бы изложить всю книгу. Ограничимся пунктиром.

Человек и микробы стоят как бы на разных полюсах жизни. Тем не менее не было у человека более грозного врага, чем эти ничтожные «невидимки!» Сегодня, однако, жизнь преподносит нам новый поворот: от союза с микроорганизмами во многом зависит судьба человечества. Аспектов этой зависимости несколько: проблема пищевых ресурсов, проблема истощения сырья, проблема сохранения биосферы.

С точки зрения химика, обладающего бионическим кругозором, сонм микроорганизмов — это колоссальное, идеально отлаженное производство великого множества веществ практически из любого сырья (даже золото поддается микробам). В том числе — производство белков, углеводов, витаминов, основанное на тех же принципах, что и сельское хозяйство. С той, однако, существенной разницей, что сельскохозяйственные животные да и растения куда больше, чем микробы, работают «на себя» (например, выход продукции по отношению к кормам не превышает 20—30 процентов у молодняка и 5—10 у взрослых животных). Производство микробиологической продукции гораздо экономичней и не связано с капризами погоды. Излишне пояснять, сколь важны перспективы использования биологического микромира для решения проблемы пищевых ресурсов.

Концентрированные источники минерального сырья быстро убывают (под угрозой истощения все значительные месторождения некоторых цветных металлов). Эту проблему могут снять те виды микроорганизмов, которые способны извлекать практически все металлы из бедных и сверхбедных руд. Заметим, что биоготехнология — это уже реальность сегодняшнего дня. Как, впрочем, и микробиологический синтез белка, не говоря уже о витаминах. Тут завершается стадия лабораторных и полупромышленных опытов.

В биосфере техника способна противостоять загрязнению воды и воздуха. Но никакими способами нам не удалось бы собрать те ядохимикаты и продукты их разрушения, которые рассеялись в почве и представляют сегодня угрозу всему живому. Порой они настолько инородны кругообороту жизни, что их накоплению, казалось, ничто не может противостоять. Выяснилось, однако, что сверхпластичный мир мельчайших существ отреагировал и на них. Микробы могут очищать биосферу, могут увеличить ее стойкость, если человек приложит к этому руки (предоставленная самой себе природа реагирует на столь непривычное вторжение слишком медленно).

Так мы оказались перед необходимостью

управления живыми сообществами микроорганизмов, перед необходимостью своеобразного сращивания техники и живой природы как ради собственного будущего, так и будущего самой природы (впрочем, одно неотделимо от другого). Это относится не только к микроорганизмам, но, как показывает книга, и к более крупным существам. Не приходится доказывать, сколько важно управление насекомыми или птицами. Никакое управление ими, однако, невозможно без знания «языка» животных, без понимания, как они видят мир, что ощущают, кто и в какой мере разумен. И, следовательно, без попытки выйти «за пределы» собственных органов чувств, за пределы нашей системы мышления, без попытки в некотором роде «влезть в чужую шкуру».

На этом направлении прогресса должно возникнуть новое единство, новая гармоническая система «человек—техника—природа». И новое отношение к природе. Новое понимание ее. А через это — лучшее понимание себя... Процесс развивается бурно, он нацелен в будущее, и вряд ли случайно интересная, умная книга И. Литищевского названа «На пути к бионике». Да, мы еще в самом начале пути.

Д. БИЛЕНКИН.



НА ВОСТОКЕ РОССИИ

А. А. Преображенский. Урал и Западная Сибирь в конце XVI—начале XVIII в. М. «Наука». 1972. 392 стр.

После присоединения Сибирского ханства при Иване Грозном наша страна, как показывает в своем труде А. Преображенский, становится великой трансконтинентальной державой. Ее владения простираются отныне на две смежные части света — Европу и Азию. Важнейшей проблемой отечественной истории в этой связи является глубокое и всестороннее изучение взаимосвязей Руси и ее новых окраин во всем их многообразии и динамичности. Слов нет, задача эта нелегка и старая историография за ее решение почти не бралась. Потребовалась огромная работа, чтобы выявить разнообразные, притом разбросанные по различным архивным хранилищам, библиотекам и музеям, первоисточники этой отдаленной эпохи, подвергнуть их скрупулезному исследованию. Одной из не-

сомненных удач А. Преображенского следует признать то, что ему в результате многолетних изысканий удалось обнаружить и систематизировать многочисленные документы и даже целые коллекции их, которые помогли по-новому ставить и решать ряд кардинальных проблем. Для освещения своей темы автор к тому же прибег к использованию таких источников, которым, к сожалению, предшествовавшие ему исследователи не придавали должного значения. Это, в частности, так называемые крестьянские фамильные архивы, состоящие из разнообразных личных, хозяйственных и иных документов.

Используя богатейшие материалы, творчески переосмысливая все то, что было написано до него, А. Преображенский нарисовал поразительно яркую и красочную

картину развития Урала и Западной Сибири в один из наиболее драматических периодов нашей истории. Начинается работа с рассмотрения вопроса об отношениях между Русским государством и Сибирским ханством до 80-х годов XVI века, а также с выяснения роли уральских владений России как опорной базы для дальнейшего продвижения на восток — в Сибирь. Основную струю в миграционном процессе и в освоении новых земель, как убедительно показано в книге на основе анализа сохранившихся скудных данных, составляли русские крестьяне из приуральских и поморских уездов. На новых, почти незаселенных местах переселенцы рассчитывали избавиться от неумолимо возрастающего в государстве феодально-крепостнического гнета, обрести волю, лучшие условия для ведения хозяйства и т. д.

Большое внимание уделил автор походу Ермака в Сибирь, придя к интересным выводам. Читатель знакомится с положением первых переселенцев-крестьян на новых местах, их социальным составом, правовым положением. Уже тогда среди переселенцев стал выделяться тонкий слой «хозяйственных», то есть имущих крестьян. Значительную же часть их составляли, однако, неимущие элементы, так называемые гулящие люди, наемные ярыжки, жившие случайными заработками, жестоко эксплуатируемые сельскими богатеями. И все же в целом правовое положение переселенцев на Урале и в Западной Сибири существенно отличалось от положения крепостных крестьян центральных областей страны. Феодальный гнет на новозаселенных окраинах, а вместе с ним и власть правительства были куда слабее, а это привлекало сюда все новые волны переселенцев. Хозяйственное освоение новых земель рассматривается и как естественное продолжение процессов предыдущих эпох, и как качественно новое явление.

Глубоко проанализирована противоречивость характера политики царизма в отношении новых территорий. Автор вскрыл ее сугубо крепостническую природу, антинародную устремленность, показал, как она то и дело вступала в противоборство с общегосударственными задачами освоения и обороны края. Так, хотя правительство само было заинтересовано в заселении Урала и Сибири, тем не менее оно стремилось закрыть перед переселенцами «неуказные», то есть нелегальные пути через Урал, даже

«засекая» их, усиливая заставы, розыск, полицейские и иные репрессивные меры. Правда, меры властей не всегда оказывались результативными — тайные дороги продолжали существовать. Огромный интерес представляют те разделы капитального труда А. Преображенского, которые посвящены особенностям хозяйственной структуры и социального облика Урала и Западной Сибири указанного периода. Теперь уже не может быть сомнения в том, что феодально-крепостнические отношения тут были развиты намного слабее, а сословные перегородки были гораздо более зыбкими и условными, чем в старых районах страны. Крепостничество, которое буквально захлестнуло центр страны, по мере продвижения на восток утрачивало свою деструктивную силу. Все это, как убедительно показывает автор, стимулировало зарождение более передовых по сравнению с феодальными раннебуржуазных отношений. По мере освоения новых земель все успешнее развивалось сельское хозяйство, различные промыслы, возникали разнообразные предприятия, начиная от металлургических и кончая мукомольными. Одновременно росла и товарность хозяйства, укреплялись его связи с рынком.

Процесс разрушения патриархально-натурального уклада и развития новых отношений, процесс социального расслоения уральского и сибирского села происходил все более быстрыми темпами, несмотря на громадное давление всей крепостнической надстройки. Одной из самых сильных сторон работы А. Преображенского, значительным научным его достижением следует признать всесторонне аргументированный анализ генезиса капиталистических отношений на новых территориях, при этом и в земледелии и в промышленности. С интересом читаются разделы книги, рисующие антифеодальную и классовую борьбу на Урале и в Западной Сибири. Тут и народное движение первой половины XVII века против царской администрации, и отголоски крестьянской войны под предводительством Степана Разина, волнения, даже целая полосу восстаний 1695—1698 годов. Горячее дыхание антифеодального протеста масс в центре страны, как показывает автор, доносились также до ее далеких восточных окраин. Это, однако, не означает, что борьба народных масс на Урале и в Сибири не имела и своих специфических особенностей. Одной из них, например, было относительно

меньшее развитие «царистских иллюзий», другой же — распространение различных форм раскола от отрицания властей и официальной церкви и кончая, особенно в периоды поражения народных движений, массовыми саможжениями. Не ограничиваясь изложением хронологической канвы событий классовой борьбы и ее особенностей, автор показал также то, что вносила эпоха в формы и содержание классовых конфликтов, в частности вступление в борьбу новой социальной силы — приписных крестьян и рабочих людей уральских заводов. В итоге он приходит к следующему выводу: «Классовая борьба трудящихся масс являлась созидательным началом. Она указывала направление общественного прогресса, расчищала путь для роста производительных сил и совершенствования производственных отношений».

Работа А. Преображенского не лишена и некоторых недостатков. Хотелось бы больше узнать об этнографическом укладе этого периода, о судьбе абorigенов и т. д. Кста-

ти сказать, автор очень мало касается вопроса об участии в антифеодалном и освободительном движении коренных жителей. С другой же стороны, встречаются утверждения, с которыми нельзя согласиться. Так, автор, например, пишет: «В русском суде не существовало дискриминации для туземных жителей». Возникает законный вопрос: как же не существовала дискриминация в суде для абorigенов, когда она существовала и для русских? Ведь нельзя забывать, что речь идет о сословном суде XVI—XVIII веков, ставившем в неравноправное положение разные слои населения, не говоря уж о других факторах.

В целом же книга А. Преображенского, написанная ярко и увлекательно, — ценный вклад в изучение богатого прошлого восточных окраин нашей страны.

И. РОЗНЕР,

доктор исторических наук.

Киев.



КОРОТКО О КНИГАХ



МАРИЯ ПРИЛЕЖАЕВА. На Двадцать четвертом съезде. М. «Детская литература». 1971. 64 стр.

На полках детских библиотек рядом с полюбившимися книгами «Жизнь Ленина», «Три недели покоя», «Удивительный год» встало ярко оформленное издание: «На Двадцать четвертом съезде».

Все это — произведения одного автора, известной детской писательницы, лауреата премии имени Н. К. Крупской Марии Павловны Прилежаевой. И все они посвящены гениальному учителю и вождю, его деятельности, бессмертию его идей, воплощенных ныне в свершениях и планах народа, поднятого им к творчеству новой жизни.

Книга «На Двадцать четвертом съезде» посвящена одному из важных этапов большого пути, предначертанного Лениным, неустанной работе Коммунистической партии Советского Союза по осуществлению заветов учителя и вождя. Это рассказ о Двадцать четвертом съезде ленинской партии коммунистов нашей страны.

Но отнюдь не десятью днями работы съезда ограничены временные рамки повествования. Умело используя большой и разнообразный материал — исторический, современный и перспективный, — М. Прилежаева, как увлеченный и умеющий увлечь других собеседник, то воссоздает картины прошлого, то распахивает перед читателями широкую, красочную панораму настоящего и ближайшего будущего. Повествование охватывает жизнь стран и народов собоих полушарий земного шара. Ни на минуту не забывая о возрасте своего читателя и вместе с тем не сюсюкая, автор приемами художественной публицистики показывает ему поистине всемирное значение работы партии коммунистов-ленинцев, всех советских людей, показывает растущее значение их повседневного труда для победного исхода борьбы за светлое будущее всего человечества...

Молодые советские люди, самые молодые — мальчишки и девчонки — в том числе, жадно вглядываются в окружающую их действительность. Они хотят как можно лучше понимать смысл происходящего вокруг них сегодня, лучше готовиться к грядущему, когда им самим надо будет из рук отцов принять эстафету активного участия в большой жизни. Книга «На Двадцать четвертом съезде» бесспорно поможет моло-

дым советским гражданам подготовить себя к этой поре... Он» отвечает требованиям, которые были высказаны много лет назад Н. К. Крупской в статье «Как и что рассказывать детям о Ленине»: надо говорить им лишь о самом существенном, самом важном, самом основном. Поменьше лозунгов, побольше простых, понятных рассказов...

Думаю, что многочисленные читатели — ребята и родители ребят — скажут сердечное спасибо автору книги о партийном съезде и от всего сердца поздравят М. П. Прилежаеву с исполняющимся семидесятилетием.

И, конечно же, все они будут ждать новых рассказов писательницы о Ленине, о бессмертии и великой силе ленинских дел и идей.

Сергей Сугоцкий.



В. АСТАФЬЕВ. Дядя Кузя — куринный начальник. М. «Детская литература». 1972. 64 стр.

Село Джоров на пятьдесят рассыпалось по берегу реки. На окраине села — колхозная птицеферма. Прямо на ферме и живет хозяин ее дядя Кузя, который и «пенсию уже заслужил и покой, но без работы не может». Смешные, увлекательно написанные истории: «Как дядя Кузя лису перехитрил», «Милаха и кот Громило», «Кура — дура, Дядя Кузя — молодец» и другие. Ничего вроде бы в повести не происходит. Ухаживает себе человек за курами, помогает ему, охраняя птичник от крыс, кот Громило, победивший в отчаянной борьбе огромную прожорливую крысу Милаху. Да и что еще тут может происходить? Разве сама тема способна породить что-либо иное, кроме беззлых, комических ситуаций?

Но это только на первый взгляд. Присущий Астафьеву серьезный подход к жизни делает книгу не только занимательной, но и по-настоящему полезной, нужной детям. Писатель и здесь развивает свою излюбленную мысль о том, «как жить человеку надо».

Эта мысль заложена уже в структуре повествования. Как будто сам по себе дядя Кузя (он да куры), остальные человеческие персонажи едва намечены. Но есть внутреннее напряжение в повести, образ героя полемически заострен, есть у него антагонист.

Антагонист этот не назван, но все поступки дяди Кузи противопоставлены возможным поступкам некоего «другого». И спор этот безмолвный касается самого главного — отношения человека к труду. Вот заманивает дядя Кузя охотившегося на кур балобана (помесь сокола с ястребом) в курятник и забивает там хищника палкой — нет у него ружья и птичник «вольерой» не огорожен, а птиц сохранить он хочет. Другой, возможно, махнул бы рукой: обстоятельства, мол, сильнее меня, пусть «дядя» на балобана с палкой охотится. Дядя и охотится. Или другой случай. Строила бродячая плотницкая артель новую птицеферму и решила быстренько, на скорую руку работу закончить — для кур ведь строили, не для людей. Так бы и вышло, если бы не «куриный начальник», заставлявший плотников исправлять недоделки, каждый день приходя для этого на стройку. «Плотники, получая расчет за работу, пожаловались председателю: «Ну, брат, давненько мы такого тяжелого строительства не производили, давненько...» Это, пожалуй, единственный раз, когда «антагонист» дяди Кузи приобрел реальные очертания. Во всех остальных случаях — и когда дядя Кузя, чтобы добыть витамины больным курам, подледной рыбалкой занялся (хотя мог и не утруждаться на старости лет, никто бы его не упрекнул), и когда в неурожайный год по своей инициативе сагитировал школьников собирать корм курам (хотя председатель готов был «упростить проблему» и отправить половину кур на мясозаготовки) — во всех этих случаях мы только можем чувствовать и догадываться, как на месте дяди Кузи поступил бы этот неназванный «другой».

Хорошо это или плохо, что противник героя не индивидуализирован, многолик и одновременно безлик, — спорить здесь об этом не будем. Тем более что очевидна и положительная сторона такого подхода. Этого безликого, невидимого «другого» нельзя просто переубедить в споре, нельзя на него воздействовать административно хорошему председателю, ему можно противопоставить только жизненную позицию. Собственно, так Астафьев и поступил. Его герой силен личным своим примером. И существенно еще, что дядя Кузя не подвиги совершает, а просто работает, как каждый должен и может. Он обладает столь нужным каждому качеством — чувством личной ответственности за свою работу. И это то и есть самый важный для детей вывод из веселой и доброй повести В. Астафьева.

В. Кантор.



СЕРГЕЙ МАРКОВ. Стихотворения. Библиотека советской поэзии. М. «Художественная литература». 1971. 256 стр.

Сергей Марков, наш старейший поэт, вовсе не расцвечивает своих стихов обмакивая случайную кисть то в серебро севера, то в золото среднеазиатской пустыни, то в черноту вологодских лесов, то в свет бе-

локаменного Великого Устюга, — для него все эти края не экзотика, а живая часть его души.

Все, что Сергей Марков познает в своих путешествиях — в пространстве и времени, — служит обогащению его поэзии. В конце своего предисловия к книге он говорит: «И теперь продолжаю писать и стихи, и художественную прозу, и исследования по истории русских географических открытий, не делая никакого предпочтения ни одному из этих жанров». А мы имеем все основания добавить: во всех этих областях творчества С. Марков остается прежде всего поэтом.

С. Марков склонен к поэтическому повествованию. То, что принято называть в лирике эмоциональными взрывами, у него почти отсутствует. Но это совсем не значит, что стихи его холодны. Просто подспудная «энергия взрывов» распределена более или менее ровно на большую поэтическую площадь. Но под этим ровным покровом пульсирует живая стихия раскрепощенной лирической экспрессии, стихия во многом музыкальная.

Иногда эта стихия пробивает себе трещину в несколько строк и выплескивается наружу — стоит посмотреть с этой точки зрения хотя бы конец стихотворения «Улица Арабов».

Иногда же поэт будто запаивает «трещины» чуть ли не сталью, чтобы за внешней сдержанностью отчетливо ощущалась подспудная сила, чтобы нарочитая внешняя прозаичность резче контрастировала с глубинной могучей лирикой, сформировавшей стих. Так построено, например, стихотворение «Велемир Хлебников в казарме». В этом стихотворении, посвященном человеку, известному своим поэтическим бунтарством, С. Марков словно бы нарочно старается быть особенно традиционным. Здесь все предельно просто, классично, автор не позволяет себе никакого неожиданного эпитета, чересчур оригинального образа, но благодаря этому контрасту фигура Хлебникова производит особое впечатление.

Говоря о традиционности поэтического почерка С. Маркова, воздавая должное его вкусу, нельзя не заметить, что традиционность не мешает ему быть самобытным, мало на кого похожим поэтом. И прекрасным лириком. В доказательство хочется привести хотя бы одно стихотворение без единой «застекленной ледком» строки, ну, хотя бы «Горячий ветер»:

Горячий ветер, солью гóря
Сегодня губы не вяжи!
На землю пляшущие зори
Бросаюг алые ножи.

О чем звенит камышный ворох.
Где, как скопившаяся боль,
Сочится в стынувших озерах
Слезами мраморная соль?

С чуть розоватой горькой пылью
Смешался огненный песок.
Я жар солончаковый вылью
В клокочущие русла строк.

И — разве может быть иначе? —
 Так много ветра и огня,—
 Песнь будет шумной и горячей,
 Как ноздри рыжего коня.

Как обо всяком избранном, об этой книге трудно высказаться кратко, тем более что творческий путь С. Маркова начался очень давно (в сборнике есть стихи, помеченные 1924 годом). Книга дает основание говорить о движении поэта вместе со временем. Говорить об особом марковском юморе, которым он блеснул в таких стихах, как «Русская шутка», «Живешь, поешь в Голутвине...», «Соседка», «Прибаутка», «Донат — китовый дружок» и др. Можно особо высказаться о его великолепно написанных исторических портретах, целой портретной галерее («Сусанин», «Козьма Минин», «Суворов» и др.), о его пейзажах.

И тут нельзя удержаться и не высказать еще одного (уж которого по счету!) горького упрека нашей критике. Сергей Марков давно заслуживает самого пристального внимания, обстоятельного разговора. Но критики, специализировавшиеся на поэзии, как и составители поэтических антологий, по-настоящему не замечают его, словно бы ослепленные фейерверком иных стихов, иных имен, а это несправедливо как по отношению к поэту, так и по отношению к истории советской поэзии.

Вадим Сикорский.



АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ. Осенняя ярмарка. Рассказы и повести. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 1972. 368 стр.

Книга Альберта Лиханова не случайно открывается повестью «Дни в конце мая», известной читателям по публикации в журнале «Юность» в прошлом году (правда, называлась она иначе — «Паводок»). В этой повести наиболее явно обнаруживаются особое пристрастие писателя к жгучим темам современности, активная позиция неприятия компромиссов, беспринципности, карьеризма.

По вине одного из героев повести, Кирьянова, начальника отряда, группа геодезистов попадает в беду, один человек гибнет. Кирьянов же на вопрос следователя, почему, имея достаточный запас времени, он как руководитель ничего не предпринял для спасения людей, для помощи им, отвечает:

«— Помогли, но с опозданием.

— Слушайте, Петр Петрович, а вам не страшно?

— Не пугайте меня, я пуганный!

— Я не пугаю. Я спрашиваю, вам не страшно вот так говорить? Словно речь идет... ну, о невыполнении плана, что ли? Или о еще каком-нибудь недостатке, который можно исправить».

Кирьянову не страшно. В конце концов стихийное бедствие невозможно предусмотреть, а тем более, считает он, никак нель-

зя предвидеть, что станет с изыскателями в глухой тайге. Да еще если паводок...

Нет, не по роковому стечению обстоятельств, не случайно преступником становится этот человек, нравственно нечистоплотный, карьерист, окруживший себя подхалимами и никчемными, слабовольными людишками, человек, стреляющий с вертолета по оленям, шумно справляющий свой день рождения в тот момент, когда подчиненные ему люди в опасности, посылающий вертолет за ящиком спирта и только попутно — за терпящими бедствие геодезистами. «Ваша биография,— говорит Кирьянову следователь,— споткнулась не по ошибке... Вся ваша деятельность, вернее суть ее, нравственная сердцевина, преступна, понимаете, преступна!»

Действие повести «Дни в конце мая» развивается стремительно. Характеры героев очерчены резко, повествование сжато, публицистически заострено. Однако в ряде случаев эта публицистическая заостренность начинает граничить с прямолинейностью, с лобовым решением темы. Автор словно боится, что читатель не поймет его, не усвоит самостоятельно основную идею повести, и он начинает ее разжевывать, вкладывать в уста следователя различные морализующие сентенции.

В повести «Гончарный круг» прямолинейность и лобовое решение темы еще более заметны. Написанная в начале 60-х годов, повесть эта является для автора, на мой взгляд, пройденным этапом и вряд ли нужно было вообще включать ее в книгу. Голая очерковость, не поднимающаяся до обобщения, расплывчатость, бесформенность сюжета — вот основные недостатки, ставящие «Гончарный круг» особняком в книге.

Своеобразны рассказы А. Лиханова «Шаг в сторону» и «Осенняя ярмарка». В них мы узнаем автора несколько иным: перед нами иной стиль, неторопливый, порою до педантичности дотошный. Каждый шаг героя, каждое его душевное движение выписаны психологически скрупулезно. И все-таки после прочтения этих рассказов остается чувство некоторого неудовлетворения: чего-то не хватает в них. А не хватает... как раз той публицистичности, которая так ярко проявилась в повести «Дни в конце мая».

Эта повесть (кстати, и написанная позже остальных) представляет собой как бы синтез двух творческих начал: психологичности, с одной стороны, и публицистической заостренности — с другой. В этом синтезе, на мой взгляд, и заключается залог будущих творческих поисков писателя.

«Осенняя ярмарка» вышла в серии «Молодая проза Сибири». Молодая — потому особо отмечаешь и привлекательные качества дарования автора, и трудности, возникающие в пути. В пути открытия для себя и для читателя жгучего материала современности.

Л. Таран.

Дмитров Московской обл.



ГУЛЬЧЕХРА НУРУЛЛАЕВА. Ташкентское время. Стихи. М. «Советский писатель». 1972. 104 стр.

«Ташкентское время» — первая книга на русском языке молодой поэтессы Гульчехры Нуруллаевой. Очевидно, в сборник вошли стихи разных лет из четырех книг поэтессы на узбекском языке? В таком предположении хочется верить — стихи неравноценны. В одних — интересные мысли, отточность стихотворной формы, в других — беглые зарисовки, о которых принято с иронией говорить «женские».

В книге много знойного среднеазиатского солнца, белоснежного хлопка... Поэтесса так олицетворяет силы природы, что они даже кажутся иногда главными героями ее стихов: общительные тополя кивают птицам головами, дождь прозрачен и не мешает влюбленным, тоску развеивает ветер с гор, облака отдают свои поводья теплым ветрам...

«Ташкентское время» — книга стихов о старом и новом городе, где, по древнему обычаю, друг другу говорят «ассалам», где носят платья, переливающиеся всеми цветами радуги, но под пестрыми тубетейками уже не сорок косичек, а модные прически. И когда парижан заинтересовывает необычный наряд героини, им не нужен переводчик. Надо только сказать слово «Ташкент». «— О, Ташкент!» — повторяют с восторгом за мной парижане, и становятся сразу улыбки теплей и нежней».

Говоря о лучших стихах книги, нельзя не упомянуть такие стихотворения, как «Природа человека не проста...», «Мне б до пастбища добраться горного...», «Не позову тебя. Зачем?», «Сначала человек придумал бога...». В них свое видение мира, темперамент, неповторимое национальное своеобразие.

К сожалению, переводы не свободны от ряда погрешностей: в них много архаизмов, явно неудачных выражений. К примеру, «Лугов цветущих нега», «Светильника радости больше нету», «Кружусь, порхаю, трогаю цветы», «Желания в душе его горят, их столько — он и сам сочтет навряд»...

Гульчехра Нуруллаева широко применяет в своих стихах все виды повторов: строфическое кольцо, тернарные рифмы, строфические параллелизмы, рефрены:

Мне б до пастбища добраться горного,
Мне б за повод ухватить коня,
Необъезженного, непокорного,
Сбросить норовящего мена.

Однако при этом книга местами перегружена строфическими повторами, что создает впечатление упрощенности рифмовки, обедняет ее.

Методы статистики в поэзии, конечно, неприменимы, но если из семидесяти восьми стихотворений более сорока содержат в себе слова «земля», «солнце», «планета», «вселенная» «звезды»... то хочется поже-

вать молодой одаренной узбекской поэтессе обращаться к астрономическим терминам не так часто.

М. Гаврилова.

Харьков.



М. БРАЖНИКОВ. Древнерусская теория музыки. Л. «Музыка». 1972. 422 стр.

Если сравнить положение, создавшееся при изучении древнерусской музыки, с тем, что достигнуто в области изучения живописи, архитектуры, литературы Руси того же периода, то невольно огорчишься малым успехам в изучении музыкального прошлого русского народа. Если же сравнить теперешнее состояние в этой области с тем, что было известно нам лет десять—пятнадцать назад, то, конечно же, нельзя не порадоваться достигнутым успехам. Среди этих успехов большая доля принадлежит доктору искусствоведения М. В. Бражникову.

Однако в чем же в двух словах причина сравнительно малой изученности древнерусской музыки? В невероятной сложности ее записи. Она не имеет ничего общего с современным нотным письмом. Для записи музыки в Древней Руси служили специальные знаки — знамена (отсюда название «знаменное пение»), которые не указывали точной высоты звука. Ключ же к расшифровке значения этих знамен находится в древнерусских певческих азбуках. Анализ этих азбук посвящено первое в советское время исследование М. В. Бражникова.

И если памятники древнерусской живописи, архитектуры или литературы по количеству необозримы, то памятники древнерусского певческого искусства еще и не обозрены. Доказательством этому может служить тот факт, что большинство рукописных сборников, на основании анализа которых сделано исследование М. В. Бражникова, упоминается в музыкаловедческой науке впервые. А о скольких же еще не упомянуто!

Двенадцать глав книги М. В. Бражникова последовательно анализируют различные типы музыкальных азбук. Первые известные азбуки относятся к XV веку. До недавнего времени была известна только одна азбука этого времени. Благодаря же изысканиям автора исследования в научный обиход удалось ввести еще три.

Можно сказать, что буквально в каждой из двенадцати глав монографии имеется значительный новый материал. Так, например, полнее обычного излагается система так называемых помет — дополнительных знаков, изобретенных в XVI и введенных повсеместно в XVII веке для уточнения высоты звука. Большой интерес представляет глава, посвященная «Азбуке» Александра Мезенца. Впервые столь подробно проанализирован и знаменитый, но малоизученный «Ключ» Тихона Макарьевского.

В заключение позволим себе выразить несколько пожеланий. Во-первых, хотелось бы, чтобы плодотворная деятельность М. Бражникова, а также Н. Успенского привлекла к разрабатываемой ими проблема-

тике внимание большего числа исследователей. Во-вторых, в настоящее время можно констатировать, что создавался определенный разрыв между основательностью теоретических исследований в области древнерусской музыки и собственно исполнительским освоением музыкального материала прошедших эпох. Как нам кажется, следует серьезно подумать о публикации наиболее интересных памятников, например в виде факсимиле.

А. Майкапар.



Е. ПОЛЯКОВА. *Станиславский-актер. М. «Искусство». 1972. 430 стр.*

Счастьем была жизнь в театре рядом со Станиславским. Счастьем было учиться у него, смотреть спектакли, поставленные Станиславским-режиссером, видеть Станиславского-актера.

Я уже не застала его в ролях доктора Штокмана или Ракитина из «Месяца в деревне», не видела водевилей, которые он так любил играть в молодости. Но грепет радости проходил по залу, когда выходил на сцену Константин Сергеевич в роли Гаева из «Вишневого сада», или чайно-хитрого мольеровского Аргана, или кавалера Рипафратты, плененного очаровательной хозяйкой гостиницы.

Радость встречи с гениальным актером живо вспоминается, когда читаешь новую книгу о Станиславском. Книга Е. Поляковой «Станиславский-актер» проследживает весь путь Константина Сергеевича — от водевильной роли, сыгранной в 14 лет в домашнем спектакле, до последнего появления на сцене в 1928 году в роли Вершинина. Этот выход на спектакле, посвященном тридцатилетию Художественного театра, оказался последним для Станиславского. Он жил еще десять лет — режиссировал, занимался с учениками, работал над «системой». И вся эта работа, все законы «системы» основывались на огромном опыте собственной актерской практики. Об этом — книга Е. Поляковой.

Книга, в которой не перечисляются роли Станиславского, но воссоздаются роли Станиславского в их живой плоти, в их неповторимости, в том сочетании абсолютной психологической достоверности и истинной праздничной театральности, которое и составляло обаяние Станиславского-актера. Он никогда не был на сцене буднично-правдивым, незаметным, неинтересным, хотя герои его часто действовали в самой будничной обстановке — как Астров и Вершинин.

Страницы книги воскрешают Станиславского в ролях водевильных дядюшек и племянников, Несчастливцева и Паратова, Отелло и Уриэля Акости, игранных еще до Художественного театра. Доктора Астрова из пьесы Чехова и доктора Штокмана из пьесы Ибсена. Триумфальную премьеру «На дне» в 1902 году и эволюцию роли Сатина у Станиславского. Автор книги во-

обще проследживает жизнь ролей во времени — интересно читать, как менялся у Станиславского образ Фамусова в трех редакциях «Горя от ума», как новые зрители воспринимали после Октября старые роли Станиславского, его Астрова и Крутицкого.

Движение времени ощутимо в книге; эволюция Станиславского неотрывна от жизни Художественного театра, от развития русской культуры в целом. Особая, важная тема исследования — Станиславский и литература. Не только драматургия, но именно литература, единство его сценических поисков с поисками Толстого, Чехова, Горького, закономерность его обращения к инсценировкам (любимая роль — Ростанев в собственной инсценировке «Села Степанчиково»).

Стоит сказать о развернутых, интересных комментариях к книге (так же как стоит сказать о ненужной сухости авторского предисловия) о Станиславском-актере. Комментарии — «кухня» исследователя; просматривая все эти ссылки, сопоставления, цитаты, понимаешь, сколь трудно было восстановить облик Станиславского-актера. Сама же книга читается легко, увлекательно — это очень важно для повествования о жизни актера и о его легендарных ролях.

М. Кнебель,

*народная артистка РСФСР,
доктор искусствоведения, профессор.*



А. МОРУА. *Олимпико, или Жизнь Виктора Гюго. Перевод Н. Немчиновой и М. Трескунова. М. «Художественная литература». 1971. 447 стр.*

После издания в нашей стране ряда биографий, принадлежащих перу известного французского писателя Андрэ Моруа, советские читатели получили возможность познакомиться с жизнеописанием знаменитого Виктора Гюго. По мнению самого автора, книга о Гюго — одно из самых удачных его произведений.

Книги Андрэ Моруа не принадлежат в точном смысле слова к жанру «романизованных» биографий, получивших большое распространение в современной литературе, жанру, который действительно создал новый тип документальной прозы на основе как бы сплава исторического романа с биографическим жизнеописанием.

Путь Андрэ Моруа (по крайней мере в большинстве его биографий) принципиально иной. Глубоко и блестяще образованный писатель, автор около двухсот романов и тысячи статей, одна тематика которых поражает своей обширностью — от исследований философии Алэна или Марселя до брошюр о назначении и работе массовых библиотек, — остается верен своей концепции истории культуры, полагая, что глубже всего облик писателя, полководца, общественного деятеля выражается в его культурной роли и в соотношении со своей эпохой. Поэтому главная задача, мыслимая Моруа, — воссоз-

дать историческую атмосферу, окружавшую его героя, воссоздать тот «воздух культуры», в котором росла и развивалась душа поэта. И надо сказать, Андрэ Моруа прекрасно удается реставрация облика культуры того времени. К сожалению, гораздо удачнее, чем облик самого поэта.

В этом методе, которым пользуется Моруа, таится одна опасность. Та живая душа писателя, которую, несмотря ни на какую полноту биографических документаций, всегда надо где-то «угадывать», в психологическом отношении может быть затенена или оказаться уж в слишком большой зависимости от исторического фона эпохи. По-видимому, Моруа чувствовал психологическую обедненность облика Гюго в своей книге, и именно поэтому вставляет он в таком обилии эпистолярные материалы, цитаты из стихов самого Гюго, вводит многочисленные и часто совершенно не характерные свидетельства современников. Это придает книге несвойственный жанру жизнеописаний исследовательский характер, порой прерывает плавность и последовательность изложения, и часто документальный материал, не подвергаясь осмыслению, является для книги чем-то вроде балласта.

Эта психологическая бедность, неопределенность облика Гюго заставили Моруа — и часто совершенно безо всякой нужды — вводить в книгу многочисленные любовные интриги. Вполне возможно, что все эти исто-

рии совершенно правдивы, но, знакомясь с Гюго — пэрром Франции, республиканцем, изгнанником, любовником, дедом, воспевавшим своих внучат, мы прежде всего ищем поэта, того, с чьими стихами рождались и умирали люди. А облик поэта все время как-то ускользает от читателя. Не случайны такие беглые фразы, как: «...он написал четыре сборника прекраснейших стихов». Но ведь четыре сборника — это целая эпоха в жизни поэта! Личность «могучего» Гюго была полна самых крайних и великих противоречий, и одноплановость облика поэта в книге Моруа объясняется отчасти и тем, что Моруа не всегда склонен считаться с этой противоречивостью.

Все сказанное не означает, конечно, что книга Моруа о Гюго «не удалась». Напротив, ее высокая культура, пусть несколько односторонний, хотя и глубокий, исследовательский взгляд на многочисленные проблемы самого Гюго, изящный и непринужденный стиль придают ей большую ценность. Но многие, как нам кажется, с удовольствием прочитав книгу Андрэ Моруа, отметят несоответствие облика Гюго с тем, который гремел над миром подобно урагану (М. Горький), который был, по мнению Боллера, для Франции тем же, что Шекспир и Байрон для Англии и Гёте для Германии.

Е. Терновский.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Последние письма и статьи. 23 декабря 1922 года — 2 марта 1923 года. 72 стр. Цена 7 к.

В. И. Ленин. Избранные произведения В трех томах Том первый. 852 стр. Цена 1 р. 37 к. Том второй. 836 стр. Цена 1 р. 33 к.
Я. Ганецкий. О Ленине. 48 стр. Цена 6 к.
Героический путь КПСС. К 70-летию II съезда партии. 232 стр. Цена 39 к.

П. Капурин. Органическое единство интернационализма и патриотизма. 176 стр. Цена 58 к.

А. Костин. Ленинская концепция истории создания РСДРП и ее буржуазные критики. 80 стр. Цена 14 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Абу-Бакар. Тайна рукописного корана.— Исповедь на рассвете. Повести. 399 стр. Цена 83 к.

Е. Книпович. Ответственность за будущее. Литературно-критические статьи. 432 стр. Цена 1 р. 17 к.

В. Краковский. Лето текущего года. Повесть. 214 стр. Цена 28 к.

М. Луконин. Товарищ поэзия. 272 стр. Цена 70 к.

Т. Сыдынбеков. Женщины. Роман. Перевод с киргизского. 528 стр. Цена 1 р. 26 к.

Ты помнишь, товарищ... Воспоминания о М. Светлове. Составители Л. Либединская и З. Паперный. 335 стр. Цена 79 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Астуриас. Легенды Гватемалы. Перевод с испанского Н. Трауберг. 159 стр. Цена 1 р. 37 к.

У. Ашн. Пустыня. Рассказы. Перевод с хинди. 335 стр. Цена 1 р. 2 к.

А. Барбюс. Огонь. Роман. Перевод с французского В. Парнаха. Предисловие М. Горького. 327 стр. Цена 1 р. 9 к.

Е. Гуцало. Голубые овцы. Рассказы и повесть. Перевод с украинского. 287 стр. Цена 69 к.

М. Квливидзе. Продолжение следует. Стихи. Перевод с грузинского. Предисловие Д. Самойлова. 206 стр. Цена 71 к.

Литература и современность. Сборник 11. Статьи о литературе 1970—1971 гг. Составители В. Литвинов и Л. Тераколян. 543 стр. Цена 1 р. 54 к.

С. Макашин. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850—1860 годов. Биография. 600 стр. Цена 2 р. 3 к.

Ф. Фюман. Избранное. Перевод с немецкого. Предисловие С. Львова. 495 стр. Цена 1 р. 87 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ф. Вигдорова и Т. Печерникова. Двенадцать отважных. Документальная повесть. 184 стр. Цена 32 к.

В. Губарев. Космическая трилогия. Документальные повести 207 стр. Цена 36 к.

Дружба. Советско-болгарский литературно-художественный и общественно-полити-

ческий альманах. Выпуск 2. 320 стр. Цена 1 р. 77 к.

М. Пришвин. Сказка о правде. Предисловие В. Пришвиной. 495 стр. Цена 1 р. 22 к.

А. Сахнин. Вот что произошло. Очерки. Предисловие Р. Рождественского. 255 стр. Цена 1 р. 27 к.

В. Федоров. Книга любви. Стихи. 255 стр. Цена 1 р. 2 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С. Алексеев. Небывалое бывает. Избранные произведения. Предисловие С. Михалкова. 590 стр. Цена 1 р. 7 к.

А. Белянинов. Много дней впереди. Повести. 223 стр. Цена 48 к.

М. Бременер. Присутствие духа. Повесть. 206 стр. Цена 48 к.

В. Воронов. Анатолий Алексин. Очерк творчества. 112 стр. Цена 46 к.

Е. Герасимов. В родном лесу. Повесть. 110 стр. Цена 32 к.

Родные поэты. Стихотворения русских поэтов-классиков XIX и начала XX вв. Составление и биографические справки Н. Шер. 287 стр. Цена 53 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Б. Брянский. Доброта. Стихи. 94 стр. Цена 24 к.

С. Винулов. Избранное. Стихи и поэмы. 334 стр. Цена 1 р. 41 к.

В. Гончаров. Страницы переживаний. Стихи. 103 стр. Цена 40 к.

И. Гринберг. Вадим Кожевников. Рассказчик и его герои. 174 стр. Цена 20 к.

М. Киселева. Веселый третий. Повесть и рассказы. 189 стр. Цена 97 к.

С. Крутилин. Журавль над колодезем. Очерки. 85 стр. Цена 12 к.

Д. Кугультинов. Возраст. Стихи. Поэмы. Перевод с калмыцкого Ю. Нейман. 334 стр. Цена 1 р. 36 к.

А. Лесс. Рассказы о Шалапине. 174 стр. Цена 62 к.

Г. Нагаев. Русские оружейники. Повести. 447 стр. Цена 1 р. 5 к.

Е. Шевелева. Ронген — значит рябина. Документальные новеллы. 160 стр. Цена 34 к.

«СОВРЕМЕННОК»

А. Дымшиц. Проблемы и портреты. Предисловие В. Панкова. 383 стр. Цена 1 р. 4 к.

С. Есенин. Стихи и поэмы. Составление и предисловие Ю. Прокушева. 376 стр. Цена 1 р. 7 к.

В. Лихоносов. Осень в Тамани. Повести и рассказы. Предисловие О. Михайлова. 286 стр. Цена 72 к.

ВОЕНИЗДАТ

Верность долгу. Сборник очерков и рассказов. 96 стр. Цена 16 к.

Военная психология. Учебник. 400 стр. Цена 88 к.

А. Кулешов. Голубые молнии. Роман. 335 стр. Цена 74 к.

Страны мира. Военно-политический и экономический обзор. 320 стр. Цена 45 к.
Ю. Сушков. Кибернетика в бою. 152 стр. Цена 25 к.

«ИСКУССТВО»

Ленин о радио. Документы, постановления, декреты, очерки, статьи, воспоминания. Составители П. Гуревич и Н. Карцов. 183 стр. Цена 94 к.
Н. Брунов. Памятники афинского Акрополя. Парфенон и Эрехтейон. 174 стр. Цена 1 р. 63 к.
Из истории Ленфильма. Статьи, воспоминания, документы. Выпуск 3. 1920—1930-е годы. 278 стр. Цена 1 р. 95 к.

«ПРОГРЕСС»

Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. Сокращенный перевод с английского. 392 стр. Цена 1 р. 50 к.
Р. Арисменди. Ленин, революция и Латинская Америка. Перевод с испанского. 572 стр. Цена 2 р. 78 к.
М. Браухич. Без борьбы нет победы. Мемуары. Перевод с немецкого И. Шрайбера. 302 стр. Цена 93 к.
Т. Дурсун. Во власти моря. Роман. Перевод с турецкого А. Сверчевской и В. Феоновой. 240 стр. Цена 59 к.
П. Фресс и Ж. Пиаже. Экспериментальная психология. Выпуск четвертый. Перевод с французского. 343 стр. Цена 2 р. 1 к.

«МЫСЛЬ»

В. Бонч-Бруевич. Избранные атеистические произведения. 343 стр. Цена 88 к.
Г. Гегель. Работы разных лет. В двух томах. Том второй. 630 стр. Цена 2 р. 18 к.
Преимственность поколений как социологическая проблема. Сборник статей. 293 стр. Цена 1 р. 11 к.
И. Простяков. Ускорение технического прогресса в условиях хозяйственной реформы. 158 стр. Цена 50 к.
Ю. Рубинский. Тревожные годы Франции. Борьба классов и партий от Версаля до Мюнхена, 1919—1939 гг. 456 стр. Цена 1 р. 64 к.
М. Суслов. Марксизм-ленинизм — интернациональное учение рабочего класса. 263 стр. Цена 52 к.
Д. Чесноков. Исторический материализм как социология марксизма-ленинизма. 319 стр. Цена 1 р. 25 к.

«НАУКА»

Л. Веденина и Е. Шор. Некоторые приемы стилистического исследования текста. 72 стр. Цена 23 к.
Н. Ворнунова. Тулуз-Лотрек. 244 стр. Цена 2 р. 56 к.
К истории русского романтизма. 551 стр. Цена 2 р. 48 к.
Классическое искусство Запада. 272 стр. Цена 2 р. 30 к.
В. Кувалдин. Интеллигенция в современной Италии. 247 стр. Цена 99 к.
Новая история Китая. 636 стр. Цена 4 р. 4 к.
Словарь русских народных говоров. Выпуск 9. Ерепяна—Заглазеться. 362 стр. Цена 1 р. 33 к.
Словарь-справочник «Слово о полку Игореве». Выпуск 4. (О.—П.) Составитель В. Виноградова. 234 стр. Цена 1 р. 18 к.
А. Тутуола. Путешествие в Город Мертвых. Перевод с английского А. Кистяковского. 88 стр. Цена 25 к.
В. Шишмарев. Избранные статьи. История итальянской литературы и итальянского языка. 359 стр. Цена 1 р. 87 к.

ПРОФИЗДАТ

И. Сенченко и В. Зубков. Школа передовых методов труда. 64 стр. Цена 9 к.
Социалистическое соревнование в промышленности СССР. Сборник. 368 стр. Цена 1 р. 45 к.
А. Стаханов. Родник рабочих талантов. 96 стр. Цена 13 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Зульфия. Поэма огня и дороги. Перевод с узбекского М. Борнсовой. Ташкент. Издательство художественной литературы и искусства имени Г. Гуляма. 27 стр. Цена 22 к.
А. Коптелов. Горы и люди. Повести. Предисловие А. Никулькова. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 368 стр. Цена 81 к.
А. Лупан. Ночная песня. Рассказы. Перевод с молдавского Кишинев. «Карта молдовеняскэ». 223 стр. Цена 31 к.
Г. Напетваридзе. Неоконченная баллада. Рассказы, военные дневники, стихи. Перевод с грузинского. Тбилиси. «Мерани». 156 стр. Цена 37 к.
М. Рафили. Избранное. Сборник статей. Баку. «Азернешр». 488 стр. Цена 2 р.
Таджикские народные сказки. Переводы. Душанбе. «Ирфон». 304 стр. Цена 80 к.
И. Шамякин. Снежные зимы. Роман. Перевод с белорусского. Минск. «Мастацкая литература». 368 стр. Цена 72 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Р е д а к ц и я: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
 Почтовый адрес: Москва К-6. Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 26/III 1973 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 21/V 1973 г.
 Формат бумаги 70×108^{1/16}. 28,77 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. п. л.)
 А 02091. Зак. 985. Тираж 175000 экз. (1-й завод 1 — 75000 экз.)

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
 имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636